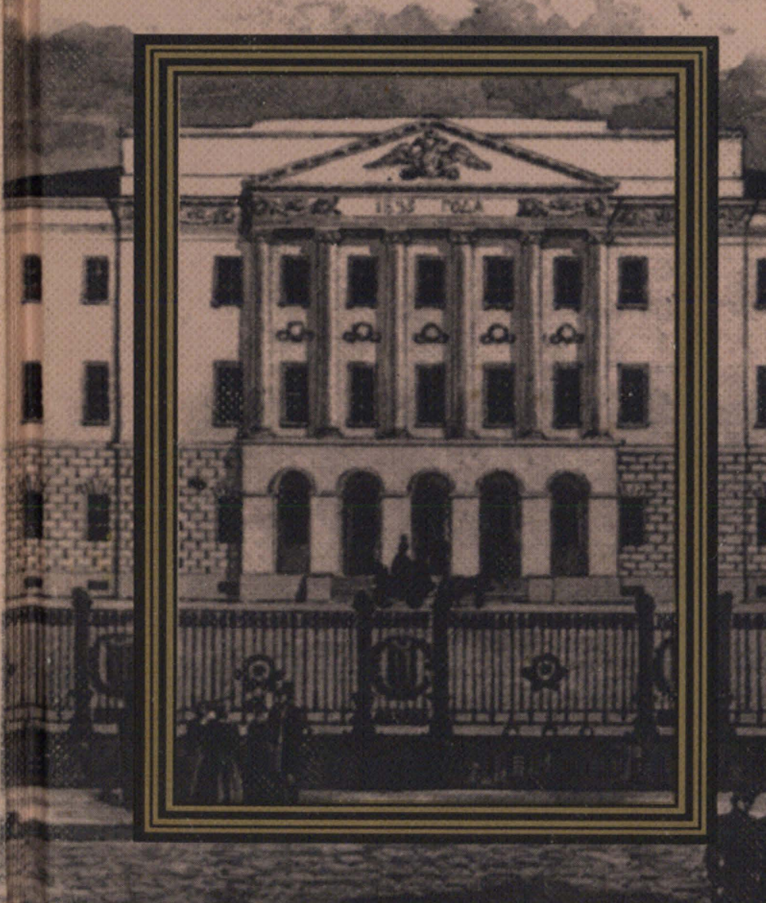
россия в мемуарах

А. Д. Галахов

ЗАПИСКИ ЧЕЛОВЕКА



ЗАПИСКИ ЧЕЛОВЕКА
А. Д. Галахов
россия в мемуарах

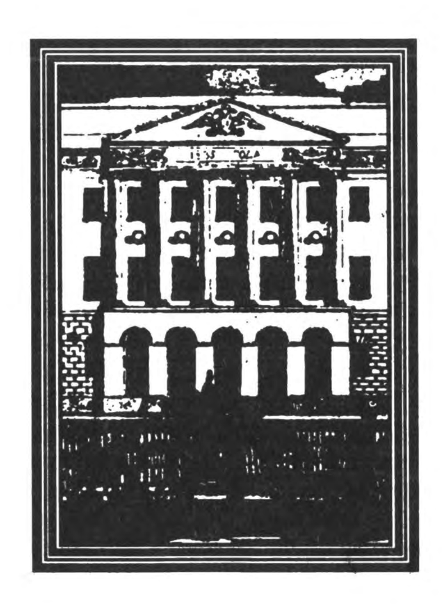
россия в мемуарах

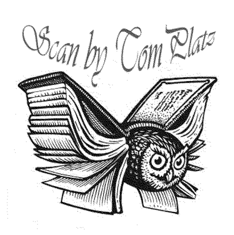
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

россия в мемуарах

А. Д. Галахов

ЗАПИСКИ ЧЕЛОВЕКА





Вступительная статья, составление,
подготовка текста и комментарии
В.М. Боковой

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

Оформление серии
Н.Г. Песковой

Художник тома
А.А. Брантман

Галахов А.Д.

Записки человека / Вступ. статья, сост., подг. текста и коммент. В.М. Боковой — М.: Новое литературное обозрение, 1999. — 448 с.

ISBN 5-86793-022-X

В мемуарах известного литератора и педагога ярко обрисованы помещичий быт и провинциальная жизнь начала XIX в., московский университет 1820-х гг., актерская среда Москвы того времени, литературная Москва 1830—1840-х гг. (в том числе Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, М.П. Погодин, М.Н. Катков, И.С. Тургенев, А.А. Григорьев и многие другие). Благодаря выразительному языку, живости описаний и точности характеристик воспоминания Галахова обладают не только информационной, но и высокой литературной ценностью.

ISSN-0869-6365
ISBN 5-86793-022-X

ВОСПОМИНАНИЯ МОСКОВСКОГО ЗАПАДНИКА

Алексей Дмитриевич Галахов (1807—1892) был широко известен в России в последней трети XIX — начале XX в. как создатель учебника и хрестоматии, по которым изучало историю русской литературы не одно поколение гимназистов. После Октябрьской революции в школьных программах появились другие учебные пособия, имя его забылось и сейчас знакомо только историкам педагогики и литературы, а также присяжным читателям мемуаров и переписки 1840—1850-х гг.

Однако Галахов был не только педагогом, но и талантливым литератором, активным «вкладчиком» (повести, полемические статьи, многочисленные рецензии) ряда журналов 1840—1850-х гг., прежде всего — «Отечественных записок». Уже в конце 1840-х гг. он начал печатать воспоминания и не раз возвращался к ним, публикуя свои мемуарные очерки в разных журналах. Однако обстоятельства сложились так, что воспоминания Галахова никогда не были собраны вместе и в силу этого не осознавались как достаточно целостный и весьма неординарный памятник отечественной мемуаристики. Книга, которую читатель держит в руках, позволит, как мы надеемся, исправить эту историческую несправедливость.

Хотя Галахов в своих мемуарных очерках описывает многие факты и обстоятельства своей жизни, но, с одной стороны, это изложение неполно и в ряде аспектов фрагментарно, а с другой — охватывает только первый, московский период его биографии, поэтому мы сочли необходимым охарактеризовать в предисловии основные этапы его жизненного пути.

А.Д. Галахов родился 1 (12) января 1807 г. в городе Сапожок Рязанской губернии в семье небогатого помещика. Отец его в разное время служил по выборам уездным судьей, заседателем в гражданской палате Рязани, губернским стряпчим по уголовным делам. Получив начальное образование дома у приглашенного «в учители» моряка, «охотника до рюмочки», но хорошо знавшего математику, Галахов поступил в двухклассное уездное училище, а затем в Рязанскую гимназию, которую окончил неполных шестнадцати лет в 1822 г.

В том же году он поступил в Московский университет — сперва на этико-политическое отделение, а через год, увлеченный математическими лекциями профессора Д.М. Перевощикова, перешел на физико-математическое. Среди университетских наставников Галахова были такие заметные фигуры, как математик П.С. Щепкин, историк права Л.А. Цветаев, историк М.Т. Каченовский, ботаник Г.И. Фишер фон Вальдгейм, литературовед А.Ф. Мерзляков, физик И.А. Двигубский (в журнале Двигубского «Новый магазин

естественной истории, физики, химии и сведений экономических» Галахов активно сотрудничал с 1823 г.).

Наиболее важную роль в формировании личности и научных взглядов Галахова сыграл профессор М.Г. Павлов, преподававший физику, минералогию и сельское хозяйство, — блестящий педагог-популяризатор, пропагандист шеллингианства. «Лекции Павлова, — вспоминал учившийся у него Я.И. Костенецкий, — открывали молодым людям новый мир идей, новый взгляд на науки, перспективу философских понятий»[1]. «Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны», — вторил Костенецкому А.И. Герцен в «Былом и думах»[2]. Под влиянием Павлова писались ранние «натурфилософские» статьи Галахова, особенно первая из них, «Четыре возраста естественной истории»[3]; школе Павлова будущий автор «Записок человека» был обязан той «силе научно-логического анализа» (выражение Н.С. Тихонравова)[4], которая обеспечила ему — естественнику, а не словеснику по образованию — заметное место среди филологов.

В 1825 г. Галахов окончил университетский курс, был награжден золотой медалью за лучшее сочинение по физике («О действии теплорода на тела») и оставлен при университете помощником инспектора и переводчиком при университетском правлении. С 1827 г. он служил также письмоводителем в Московском цензурном комитете (завязав знакомства в московской цензуре, Галахов впоследствии получил возможность первым, до появления в продаже, получать для рецензирования в журнале «Отечественные записки» все выходящие в Москве издания).

В 1830 г. началась педагогическая карьера Галахова: сначала в приюте для детей, чьи родители умерли от холеры, а с 1832 г. в Александринском сиротском приюте. Потом прибавились многочисленные частные уроки, преподавание русского языка и словесности в Александровском и Николаевском институтах. В 1840—1843 гг. он занимал еще и должность помощника инспектора классов в Екатерининском институте.

С конца 1820-х гг. Галахов печатается в «Телескопе» Н.И. Надеждина, «Московском вестнике» М.П. Погодина, «Московском телеграфе» Н.А. Полевого, «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» А.А. Краевского; это главным образом рецензии, но среди его публикаций есть даже стихи — альбомные безделицы, например, такая:

---

[1] *Костенецкий Я.И.* Воспоминания из моей студенческой жизни // Русский архив. 1887. № 1. С. 229—230.

[2] *Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 9. М., 1956. С. 16.

[3] См.: Московский вестник. 1827. № 17. С. 40—58.

[4] *Тихонравов Н.С.* Сочинения. Т. 1. М., 1898. С. 13.

Мне чувства скромные внушили,
Что вы, как роза, хороши,
Но только в розе нет души,
А вы — своею всех пленили...[5]

В 1839 г. началось многолетнее сотрудничество Галахова в журнале А.А. Краевского «Отечественные записки». Издателя и критика связывала крепкая дружба[6]; Краевскому импонировали безусловная преданность Галахова журналу, его взгляды и образ мыслей. Галахов был одним из немногих, способных оказывать на Краевского влияние[7].

В «Отечественных записках» Галахов поместил до девятисот критических статей и рецензий на книги по лингвистике, медицине и фармакологии, математике, географии, истории литературы, истории, садоводству и др. Своими откликами на книги современных писателей Галахов лавров себе не снискал — их было немного, если не считать бесчисленные рецензии на разного рода лубочные и полулубочные романы и повести, и резонанс имело только годичное обозрение «Русская литература в 1847 году» (1848. № 1). Зато внимание читателей привлекли и удостаивались обычно высоких оценок его рецензии на книги писателей XVIII — начала XIX века из выпускаемой А. Смирдиным серии «Полное собрание сочинений русских авторов». Галахов писал об издании книг А.Д. Кантемира (1848. № 11), И.Ф. Богдановича (1849. № 5), Я.Б. Княжнина (1850. № 4, 8, 12), Е.И. Кострова и А.О. Аблесимова (1851. № 11), Д.И. Фонвизина (Московский городской листок. 1847. № 49, 53, 60), А.Е. Измайлова (Современник. 1849. № 12; 1850. № 10, 11) и других, демонстрируя широкий историко-литературный кругозор и библиографическую эрудицию, умение проанализировать возникающие при издании писателей XVIII — начала XIX в. текстологические проблемы.

Когда в 1845 г. в письме к Краевскому Галахов писал: «Горжусь тем, что в итоге вашего успеха есть и моя лепта»[8], — он был безусловно прав, и заслуга его перед журналом заключалась не только в личном участии, но и в привлечении к сотрудничеству в «Отечественных записках» многих знакомых, в том числе П.Н. Кудрявцева, Ф.И. Буслаева, М.Н. Каткова, К.Д. Кавелина, В.П. Бот-

[5]Листки граций. М., 1829. Еще несколько стихотворений Галахова сохранилось в альбоме Ф. Кони (ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 5. Ед. хр. 49. Л. 2—4).

[6]Сохранилась их переписка (письма Галахова к Краевскому — ОР РНБ. Ф. 391; письма Краевского к Галахову — ИРЛИ. Ф. 419. № 82), фрагменты которой опубликованы: *Клеман М.* Белинский в неизданных письмах А.Л. Галахова к А.А. Краевскому // Венок Белинскому. М., 1924. С. 141—151; Белинский в неизданной переписке современников // Литературное наследство. Т. 56. М., 1950. С. 141—144, 158—159, 170—171, 176, 184.

[7]См., например, свидетельство в «Дневнике» А.В. Дружинина: «Андреас [Краевский] ведет себя, как сапожник, — если б его не обуздывали Галахов и Дудышкин, он наделал бы скандалов в литературе» (*Дружинин А.В.* Повести. Дневник. М., 1986. С. 401).

[8]Литературное наследство. Т. 56. С. 176.

кина и других, — но прежде всего В.Г. Белинского. Их публикации во многом определили лицо и направление журнала.

Белинский оказал огромное влияние на формирование литературных вкусов и стиль Галахова, так что великому критику даже приписывали некоторые галаховские статьи (например, рецензию на «Вексфильдского священника» О. Голдсмита)[9]. Близость их позиций ярко проявилась, в частности, в упоминавшейся выше статье Галахова «Русская литература в 1847 году». Ее вводная часть, в которой Галахов давал анализ современных умонастроений и, между прочим, проводил популярную в то время мысль, что открытые наукой закономерности развития природы можно использовать для анализа социальных явлений («успехи физиологии <...> приводят к сознанию начал и законов общественной жизни»), была высоко оценена Белинским, который в «Современнике» (1848. № 1, 3) поместил аналогичный обзор. «Кто прочтет общую часть и моей, и вашей статьи, — писал Белинский Галахову, — тот, право, подумает, что мы согласились говорить одно и то же. Но как только дойдет дело до оценки литературных произведений, тогда иная история: посылай за стариком Белинским, а без него плохо»[10].

Объединяла Белинского с Галаховым и кружковая солидарность. Когда в 1842 г. Белинский выступил с нашумевшим памфлетом на С.М. Шевырева «Педант»[11], Галахов писал Краевскому о своем беспокойстве за Белинского и предлагал принять меры для предупреждения опасности. Когда на изданную Галаховым хрестоматию ополчился «Москвитянин», Белинский вмешался в полемику, отстаивая правоту Галахова[12]. Тем не менее дружеской близости между ними не было. Они приятельствовали — не более, и каждый оставлял за собой свободу мнений по адресу другого. Белинский о Галахове: «Это половинчатый человек. В нем много хорошего, но это хорошее на откупу у [И.И.] Давыдова и Кузьмы Рощина (т.е. Краевского. — *В.Б.*)»[13]. Галахов о Белинском и круге «Современника»: «...это — люди крика и шума, люди, увлекающиеся легко тем, что примут они к сердцу или что понравится их уму, которым нужно одно слово со стороны их приятеля, чтобы бранить и позорить все то, на что указывал рукою этот приятель. Я называю их натурами, легко поддающимися каждому обаянию, exaltados, Орландами неистовыми <...> Благодарю Бога, что ни я, ни Кудрявцев не получили такого странного сгиба ума, такого устройства сердца: нас не так-то скоро увлечь, не так-то легко изменить составленное самобытное мнение»[14]. Он писал, что Белинский «в самой ум-

[9]См.: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 11. Пг., 1917. С. 46—55. Ср.: *Боград В.Э.* Журнал «Современник». 1847—1866: Указатель содержания. Л., 1959. С. 485.

[10]*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956. С. 465.

[11]Отечественные записки. 1842. № 3.

[12]Москвитянин. 1843. № 5—6; *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 7. М., 1956. С. 621—630.

[13]*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956. С. 257.

[14]Венок Белинскому. М., 1924. С. 145—146.

ной статье скажет непременно что-нибудь такое, с чем нельзя согласиться при всем уважении к автору, что-то слишком шокирующее ум и подающее повод к спорам и обвинениям»[15].

И все же резкость оценок не мешала дружескому общению и взаимному уважению. Теплое чувство к Белинскому Галахов сохранил на всю оставшуюся жизнь. Белинский был частым гостем в Полуэктовом переулке, на московской квартире Галахова; Галахов ностальгически вспоминал о встречах с Белинским у Боткина в Армянском переулке: «Я каждое утро часу в девятом являлся к ним для разговоров и чаепития... Лето 1843 г. было прекрасное, ясное, теплое. 45 лет прошло с того времени, но при одной мысли о нем у меня бьется сердце и радостно и вместе тоскливо. Как мы были тогда счастливы, веселы. Сколько смеха было при моих визитах Боткину и Белинскому...»[16]

В 1840-х годах Галахов попробовал себя как беллетрист: три его повести — «Старое зеркало», «Ошибка» и «Кукольная комедия» — увидели свет в «Отечественных записках» (1845. № 9; 1846. № 9; 1847. № 3), четвертая, «Превращение», была помещена в журнале «Современник» (1847. № 7). Написанные на стыке двух литературных эпох — романтизма и реализма, — повести несли на себе отпечаток обеих и сочетали романтический сюжет с приемами «натуральной школы». Более всего привлекала Галахова-прозаика проблема столкновения личности с устоявшимися моральными и этическими нормами, повелевавшими «усмирять себя покорностью и благоразумием» и «принести в жертву все, противное естественной цели» («Кукольная комедия»)[17]. Особых лавров проза Галахову не принесла («Много интересных частностей, — отзывался Белинский о его повести «Старое зеркало», — но в целом эта повесть не выдержана и развязка ее <...> неестественна»[18]), и после 1847 г. он к беллетристике не обращался.

Трудом, принесшим ему широкую известность, стала книга «Полная русская хрестоматия, или Образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей», вышедшая в двух частях в 1843 г. и совершившая переворот в педагогике. В обиходе русской школы она оставалась вплоть до Октябрьской революции! Работа Галахова была новаторской — он подверг очень строгому отбору литературу докарамзинского периода, как устаревшую по языку, и включил в книгу небольшое число произведений даже из таких авторов, как Ломоносов и Державин; центральное место в хрестоматии заняли Крылов, Жуковский и Пушкин. Сильнейший удар устоявшейся литературной табели о рангах был нанесен и тем, что большая часть хрестоматии

[15]Венок Белинскому. С. 147.

[16]Из письма Л.Н. Майкову 5 апреля 1887 г. Цит. по: *Боград В.Э.* Журнал «Отечественные записки». 1839—1848. Указатель содержания. М., 1985. С. 19. Вид дома, в котором Галахов квартировал в 1830-х гг., см.: Литературное наследство. Т. 56. М., 1950. С. 153.

[17]Подробнее см.: *Кийко Е.И.* Сюжеты и герои повестей натуральной школы // Русская повесть XIX в. Л., 1973. С. 278—281.

[18]*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 9. М., 1956. С. 397.

оказалась отведена творчеству современников. В книгу были включены отрывки из только что вышедших «Мертвых душ», стихи Ап. Майкова, первый сборник которого появился в 1842 г., и даже стихи юного А.А. Фета[19]. Немало страниц заняли произведения Лермонтова, Огарева, Бенедиктова, Кольцова, Красова и других, что очевидно демонстрировало влияние Белинского и его литературных предпочтений. Были, правда, и отклонения: явно в видах уступки общественному мнению Галахов дал место не любимым Белинским Языкову и Хомякову, зато исключил также не любимых Белинским Е. Ростопчину и А. Дельвига.

Новаторство хрестоматии было в полной мере оценено современниками, принадлежавшими к противоположным литературным и общественным лагерям. Вокруг книги долго бушевали нешуточные страсти, описанные самим Галаховым в мемуарном очерке «История одной книги».

Вслед за «Полной русской хрестоматией» Галахов выпустил «Русскую хрестоматию для детей» (М., 1843), «Историческую хрестоматию церковно-славянского русского языка» (М., 1848) и несколько позднее — «Историческую хрестоматию нового периода русской словесности» (Т. 1—2. СПб., 1861—1864). Все они выдержали не по одному изданию и использовались в школе вплоть до 1917 г.

В 1850 г. по протекции К.Д. Кавелина Галахову предложили составить конспект по русскому языку и словесности для ведомства военно-учебных заведений. Успешно выполнив это поручение, он вскоре занял кафедру в Николаевской академии генерального штаба. С получением этого места закончился тридцатичетырехлетний московский период его жизни. Расставание с Москвой далось ему нелегко: «Я прожил в Москве 34 года сряду, — писал он много лет спустя П.А. Бессонову, — образовался в ней, завязал дружеские и приятельские связи, устроил семейное счастие. Москва для меня — Мекка и Медина вместе, а каждый москвич — ближайший из всех ближних»[20]. На прощальном обеде в апреле 1856 г. собрались «любезные и дорогие сердцу» Галахова люди: Ф.И. Буслаев, М.Н. Катков, С.М. Соловьев, Н.Ф. Павлов, П.М. Леонтьев, В.П. Боткин, А.Н. Афанасьев, В.Ф. и Е.Ф. Корши, И.Е. Забелин, Н.Х. Кетчер, М.С. Щепкин, Е.М. Феоктистов, П.Л. Пикулин и другие[21] — все те, кто, собственно, и составлял его московский круг.

Он переехал в Петербург, где прожил еще 36 лет. В Петербурге Галахов одновременно служил в Историко-филологическом институте, был членом Ученого комитета министерства народного просвещения, в 1868 г. был удос-

[19]По поводу Фета Галахов выдержал объяснение с попечителем московского учебного округа гр. С.Г. Строгановым, недовольным появлением имени студента в учебном издании. «Ваше сиятельство, — сказал Галахов, — я выбирал стихотворения, заслуживающие, по моему мнению, быть помещенными в хрестоматию, и, виноват, не обращал внимание на положение автора» (*Фет А.А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 221).

[20]ОПИ ГИМ. Ф. 56. Ед. хр. 479. Л. 16 об.

[21]См.: ОПИ ГИМ. Ф. 440. Ед. хр. 40. Л. 142.

тоен звания члена-корреспондента Академии наук. Большое значение для развития отечественного литературоведения имела написанная Галаховым «История русской словесности, древней и новой» (Т. 1—2. СПб., 1863—1875). Подготовленная в качестве учебного пособия, она и по своему объему (более 1000 страниц большого формата), и по полноте изложения материала, и по подходу (первая попытка дать целостное изложение *всей* истории отечественной литературы) имела не столько учебный, сколько научный характер. Несмотря на отмечавшиеся специалистами недостатки (главный — компилятивность при изложении вопросов, которыми Галахов сам не занимался, особенно истории древнерусской литературы), она привлекала полнотой рассмотрения материала, умением включить творчество анализируемых авторов в широкий контекст отечественной и зарубежной литератур и, что главное, методологией автора. Галахов писал в предисловии, что хотя произведения в его книге рассматриваются с двух точек зрения — исторической и литературной, первая представляется ему более важной: «Главное ее внимание обращено на взаимодействие литературы и современной эпохи: она показывает, как эта эпоха отражается в литературе и как литература, в свою очередь, действует на понятия эпохи. В словесных произведениях она по преимуществу ценит их образовательную силу, те понятия и убеждения, которые были ими вносимы в оборот общества и посредством которых возвышался умственный уровень общества»[22]. Он исходил из того, что «чем сильнее в словесном произведении выразилось направление жизни, чем яснее в нем раскрылась какая-нибудь сторона народного духа, тем оно значимее»[23].

За эту книгу Галахов получил Уваровскую премию Академии наук, и, думается, эта его работа до сих пор не утратила своей научной значимости.

Умер Галахов 14 (26) ноября 1892 года. Современник Александра I, он прожил почти до воцарения Николая II. На его глазах прошла большая часть лучшего века российской литературы и просвещения; он сам был частью этого века.

С течением времени слава его потускнела, забылись исследования, вышли из обращения учебники. Галахов постепенно превратился в объект академических штудий... Если что и может вывести его за эти рамки, то это «Записки человека», дарующие их автору право на долгую читательскую память.

* * *

Воспоминания Галахова, как и его по большей части не опубликованная обширная переписка[24], являются главным и наиболее полным источником для характеристики его личности — характеристики очень неполной, так как о себе

[22] *Галахов А.Д.* История русской словесности, древней и новой. Т. 1. СПб., 1863. С. II.

[23] Там же. С. 1—2.

[24] Среди немногих публикаций, кроме названных выше, — письма к В.Г. Белинскому (В.Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948), М.Ф. Де-Пуле (Sertum bibliologicum

Галахов, в общем, писал немного и сдержанно. Можно выделить такие его черты, как трудолюбие, чувство юмора, наблюдательность, методичность, склонность к рефлексии, конформизм, доброжелательность и в то же время полемичность. Уверяя когда-то Краевского, что его, Галахова, «не так-то легко увлечь», Алексей Дмитриевич явно погрешил против истины, ибо вся его жизнь была сплошной цепью увлечений. «Любезный друг» юности З.П. Петров увлек его духовной литературой и сделал мистиком — в те времена, когда все кругом были мистиками. Профессор М.Г. Павлов воспитал из него шеллингианца и поклонника Л. Окена. В 40-е годы Галахов стал гегельянцем — тогда модно было быть гегельянцем. Из романов Жорж Санд выросло увлечение социально-утопическими идеями, а мысль о просвещении, как одном из путей преодоления социального зла, Галахов положил в основу своей педагогической деятельности. Еще позже его заинтересовали позитивисты О. Конт и П. Литтре, и он собирался написать статью с изложением основ позитивной философии. До эпохи реформ Александра II автор «Записок человека» был стойким либералом; после 1860-х гг. его можно назвать умеренным консерватором, которого возмущали «пошлые демонстрации, бессмысленный либерализм <...>, страшная путаница понятий, не только в молодежи, но и <...> в стариках» и «проповедники красноты и нигилизма — равно глупые и омерзительные»[25]. Отрадно, однако, что, состарившись, он не озлобился на идеи и увлечения собственной юности и сохранил к ним чуть отстраненное, но теплое и сочувственное отношение.

Судьба не предназначила Галахову первых ролей. Он не принадлежал к числу идеологов, о которых благоговейно вспоминают ученики и приверженцы, не отличался броской характерностью, которую так любят живописать мемуаристы (Галахов и сам любил такие персонажи). Он пережил всех своих близких друзей. Современники писали о нем мало и скупо: несколько проходных эпизодов, постоянное упоминание в перечнях... В общем, и чужие мемуары, и сохранившийся портрет соответствуют образу человека закрытого, действительно как бы «застегнутого на все пуговицы». Неожиданным диссонансом звучат лишь строки из «Дневника» А.В. Дружинина: «Обед у Боткина с Соляниковым и Галаховым. Игривость и приапизм сего последнего», и чуть ниже снова: «Вечер с Боткиным у Приапа Галахова»[26]. Что ж, действительно «человек он был»...

Видимо, фигуре Галахова и в дальнейшем суждено оставаться в тени своих великих и знаменитых современников. И все же он был одним из активных

в честь... А.И. Малеина. Пг., 1922), М.М. Стасюлевичу (М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 3. СПб., 1912), М.И. Семевскому (Новости. 1888. 4 янв.), выдержки из писем к Ф.И. Буслаеву (*Сакулин П.Н.* В поисках научной методологии // Голос минувшего. 1919. № 1—4). В архивах хранится переписка Галахова с М.Н. Катковым, В.П. Боткиным, Ф.А. Кони, К.Д. Кавелиным, И.К. Бабстом, Н.С. Тихонравовым, Д.А. Милютиным и многими другими.

[25] Sertum bibliologicum... С. 219, 223.

[26] *Дружинин А.В.* Повести. Дневник. С. 285.

участников русской литературной жизни середины XIX в., многое видел, запомнил и описал в своих «Записках человека».

Работать над воспоминаниями Галахов начал в 1840-х гг., и тогда это были мемуары, обращенные не столько вовне, сколько к внутреннему «я», пронизанные самоанализом, ставившие себе задачу исследовать возникновение разлада личности с окружающим миром (тема, напомним, излюбленная Галаховым-беллетристом). В 1847 г. фрагмент мемуаров был помещен в «Отечественных записках» и вызвал горячий и сочувственный интерес читателей, но также доставил автору некоторые неприятности со стороны влиятельного московского митрополита Филарета. Последнее обстоятельство заставило автора заметно изменить тон в продолжении рассказа, а затем, возможно, привело и к приостановке работы над воспоминаниями.

Вторично к этому замыслу Галахов вернулся годы спустя, писал их совсем в иной, повествовательно-эпической манере и поместил основную часть в журнале «Русский вестник» 1875—1877 гг., а продолжение — в «Историческом вестнике» и «Русской старине». Публикация очерка «Сороковые годы» («Исторический вестник», 1892), вызвавшего интерес у читателей[27], завершила описание московского периода в жизни Галахова.

Несмотря на разновременность написания мемуарных очерков, собранные вместе, они оказываются вполне созвучными по стилю и тону изложения, гармонично дополняют друг друга и создают целостную картину литературной и идейной жизни 1820—1840-х гг., очевидцем и участником которой был Галахов. Этому не мешает и известная фрагментарность и перенаселенность книги, в чем-то близкая кипящей разноголосице той достославной эпохи, что в ней описывается, эпохе, о которой М.О. Гершензон однажды сказал как о времени, когда «наиболее чутких из молодежи охватило восторженное предчувствие какого-то иного разумения, личного и вместе абсолютного, уверенность в том, что смысл жизни может быть неопровержимо выведен из начал гуманности и разума и что действительность должна и может быть перестроена по этому идеальному плану»[28]. Страстные мировоззренческие поиски, изучение и приспособление к своим нуждам последних открытий западной философской мысли, становление конфликтующих идеологий, споры о судьбах России, столкновения славянофилов с западниками, «Москвитянина» с «Отечественными записками», взаимные пристрастные обвинения, выплескивающиеся на журнальные страницы, литературные споры, перерастающие в политические сшибки, и политика, врастающая в литературу, — в этой живой, пылкой эпохе Галахов был как дома, и определение «идеалист сороковых годов» применимо к нему в той же степени, как и к любому из великих его современников.

[27]Как писал рецензент «Русской мысли»: «...первые книжки Исторического вестника нынешнего года разрезались с некоторой поспешностью благодаря воспоминаниям А.Д. Галахова "Сороковые годы"» (Русская мысль. 1892. № 6. С. 290).

[28]Русская мысль. 1911. № 12. С. 54.

Основные сферы «Записок человека» — журналистика и московский университет, и обе очерчены очень широко: Гоголь, Белинский, Тургенев, Катков, Н. Полевой, Греч, Грановский, Кудрявцев, Соловьев, Погодин, литературные салоны К. Павловой и Е. Салиас, и так далее, и так далее, а еще — театр, административные круги, множество бытовых реалий... Портретная живопись не особенно давалась Галахову: среди немногих удач — его дед, «помещик Сербин», и историк Петр Николаевич Кудрявцев, которого автор записок нежно любил и раннюю кончину которого оплакивал, зато в сфере характерности автору «Записок человека» немного равных. Какое изобилие колоритных эпизодов, «вкусных» деталей, разительных подробностей, типических штрихов, анекдотов, эпиграмм — всего, что создает живую плоть эпохи!

Конечно, далеко не все из виденного и слышанного вошло в «Записки человека». За их границами остались, например, отношения с А.Н. Островским, Н.А. Некрасовым, А.В. Дружининым, Ф.А. Кони, М.И. Семевским[29], приятельство с И.А. Гончаровым, которого Галахов знал с университетских лет и с которым вновь сошелся в конце 1850-х гг. в Петербурге[30]. Наверняка более подробными могли бы быть страницы, посвященные М.Н. Каткову: Галахов более тридцати лет печатался в катковском «Русском вестнике». Может быть, прозвучала бы и история столкновения с Н.А. Добролюбовым, имевшая в свое время широкий резонанс[31]. Все это и многое другое, возможно, планировалось описать во второй, петербургской части «Записок человека». Однако и то, что успел запечатлеть Галахов, представляет исключительный интерес для истории отечественной культуры и достойно нашей признательности.

В. Бокова

---

[29]См.: *Семевский М.И.* Из посмертных воспоминаний // Русская школа. 1893. № 5, 6.

[30]См.: *Алексеев А.Д.* Летопись жизни и творчества И.А. Гончарова. М.; Л., 1960. С. 191; *Егорова Н.М.* К вопросу об окружении И.А. Гончарова в годы учебы в Московском университете // И.А. Гончаров (Материалы международной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения Гончарова). Ульяновск, 1994. С. 262—269.

[31]Когда в 1856 г. вышла первая работа Добролюбова «Собеседник любителей российского слова» (Современник. 1856. № 8), Галахов откликнулся на нее полемической статьей «"Были и небылицы", сочинения императрицы Екатерины Второй» (Отечественные записки. 1856. № 10). Добролюбов ответил вставной главой в «Заметках о журналах. Октябрь 1856», написанных Н.Г. Чернышевским (Современник. 1856. № 11), Галахов — статьей «Неудачная апология в "Современнике"» (Отечественные записки. 1856. № 12), и хотя последнее слово осталось за ним, «все, — по свидетельству Чернышевского, — хохотали над ним, он стал заискивать милости Добролюбова, познакомился с ним, стал оказывать услуги ему» (Материалы для биографии Н.А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах [Н.Г. Чернышевским]. Т. 1. М., 1890. С. 439). О сути и смысле полемики Галахова и Добролюбова по поводу исторических взглядов Екатерины II и ее литературной программы см.: *Добролюбов Н.А.* Собр. соч. Т. 1. М.; Л., 1961; *Егоров Б.Ф.* Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982. С. 96—97. Известно письмо от 1860 г. Н.А. Добролюбова к Галахову: *Добролюбов Н.А.* Собр. соч. Т. 9. М.; Л., 1964. С. 416—417.

россия в мемуарах

ЗАПИСКИ ЧЕЛОВЕКА



[ГЛАВА I]
ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ

Мне трудно забыть день своего рождения: я родился *1 января* 1807 года.

Кто стоит почти у одного из двух пределов, указанных царем Давидом человеческой жизни[1], тот, при самом скромном о себе понятии, имеет, однако ж, право думать, что воспоминания его не будут лишены известного интереса. В течение семидесяти лет мне приходилось слышать, видеть и наблюдать многое, что стоит быть занесенным в записную книжку и может пополнять собою материал русских мемуаров. Я не был пассивным созерцателем происходившего пред моими глазами, не сидел сложа руки, а целый век провел в трудах. Конечно, сферы моей трудовой жизни были не высокие и обширные, а скромные и ограниченные; но история общественного развития той или другой эпохи почерпает для себя источники не из одних сказаний передовых, именитых деятелей: для полноты и целости она требует осмотра всех элементов, всех слоев народного быта: высшего, среднего и низшего. В этом отношении наблюдения каждого члена общества, к какому бы слою его ни принадлежал он, законный и полезный вклад в общем итоге современных свидетельств. Поговорка: «Большому кораблю большое плаванье» не отрицает выгод мелкого плаванья, когда имеешь возможность заходить в такие воды и осматривать такие местности, которые решительно недоступны большим кораблям потому именно, что они велики. Так и мне, при моем мелком плавании, суждено было наблюдать некоторые общественные движения, или окончательно отошедшие в область истории, или еще продолжающие свое существование, или только что возникшие. Я вырос среди полного разгара крепостного права и видел безвозвратное его уничтожение; долгое время принимал я живое и деятельное участие в периодической литературе; служба моя началась и продолжалась в педагогическом мире. Вот уже три статьи, по которым я могу сделать немало сообщений. Кроме общественных факторов есть еще явления общечеловеческой природы. Наблюдения над

ней, необходимые для характеристики человека как человека, независимо от его внешнего положения, я всегда ценил и ценю очень высоко. Самое название предлагаемых записок («Записки *человека*») достаточно показывает мое понятие об этом предмете. Да позволено мне будет кстати припомнить здесь то, что было напечатано почти тридцать лет тому назад, в первом отрывке из моих записок.

«В странной судьбе имен, в их неправом величии или незаслуженном презрении, я вижу закон неизменного движения истории. Это — в малом виде изображение великого шествия человечества, прообразование общей участи в судьбе частного предмета. Просвещение сделает со словами то же самое, что оно делает с людьми. История первых указывает на историю последних, на историю мира, которая есть суд миру и вместе его возвышение. Она поражает все несущественные, внешние признаки предметов, которые приковали к себе внимание легкомысленного человека, и мало-помалу открывает в полном достоинстве их признаки внутренние, существенные. Предмет, закутанный в покровы лжи, является тогда в неискаженном, естественном значении. Постепенное освобождение себя от внешнего, наносного, постороннего и торжество внутреннего, нашей родовой собственности — вот задача всех и каждого. «Я хочу от людей немногого, — сказал один из тех, которые живут, чтобы мыслить и страдать, — хочу, чтоб люди были *истинны*»[2]. Но в этом немногом — все. Людям часто всего труднее быть *людьми*. Однако ж желание великого страдальца мысли непременно исполнится. Рано или поздно мы выработаем себя: мы сделаемся *истинными*. Тогда, конечно, не будет лжи и в употреблении имен, как не будет ее в употреблении наших сил и способностей. И вот языческий поэт произнес уже великие слова: «Я *человек*, и все человеческое мне доступно»[3]. Это изречение должно служить твердым лозунгом живущего, похвальным надгробием умершего. И вот другой поэт, поэт христианства, заставляет Гамлета совлечь с человека блестящий внешний признак и о родителе-царе сказать как о родителе-человеке: «Человек он был». В этих словах такой похвальный отзыв, дальше которого идти невозможно» *.

Родина моя Сапожок, уездный город Рязанской губернии, стоящий при реке Машке. Несмотря на свой несколько романтический титул (Сапожок на Машке), он ничем не отличается от многих других уездных го-

*«Отеч[ественные] записки», 1847, декабрь[4].

родов, вся особенность которых, если только называть это особенностью, заключалась в том, что они имели кирпичные заводы*.

Отец мой начал свою службу в гвардии. По выходе в отставку он женился на дочери одного зарайского помещика и поселился в своем родовом поместье, в селе Мордове, Сапожковского уезда[6]. Он вовсе не был воином, и если поступил в полк, то единственно потому, что военное звание считалось тогда более приличным для дворянина, чем статское. По складу ума и свойствам характера он был более склонен к таким занятиям, которые требовали более самодеятельности и самостоятельности. Эта склонность была вскоре удовлетворена: сапожковское дворянство выбрало его в уездные судьи. За три выбора сряду, то есть за девять лет службы в одной и той же должности, он получил Владимира 4-й степени — знак отличия, которым он особенно дорожил и даже гордился. Меняя сельское житье на городское, в неизвестности, как еще пойдет дело и найдется ли удобное помещение, родители из трех бывших у них детей взяли с собой только меня, как первенца мужеского пола, а сестру и младшего брата оставили в деревне на попечение родной бабки. Это обстоятельство, вызванное необходимым расчетом, не осталось без некоторых последствий. Я сделался любимцем матери, а другие двое детей пользовались сравнительно меньшею любовью, да и сами не питали к ней такой сильной привязанности, как я. Конечно, такое неравенство материнского чувства с летами более и более сглаживалось, но на первых порах разница бросалась в глаза не только нам самим, но и всему дому. С другой стороны, привольное житье сестры и брата у бабушки служило для

*Эти заводы спасали, однако ж, учащихся при старом способе преподавания русской географии, когда на экзамене требовали не только перечета губернских и уездных городов, но и указания, чем каждый из них примечателен. На последний вопрос ученик обыкновенно отвечал: «Имеет кирпичные заводы», вполне уверенный, что ошибки не будет. Но раз при таком ответе вышел забавный казус. Один из московских преподавателей, г. Иванский, автор «Краткой географии для детей», по руководству статского советника и кавалера Гейма[5], производил экзамен в присутствии директора и инспектора гимназии и ассистента, также преподавателя географии, И.Г. Лихарева. После множества одних и тех же ответов: «Имеет кирпичные заводы» — Лихарев неожиданно остановил ученика: «Неправда, там нет кирпичных заводов». — «Как нет? — возразил смущенный преподаватель, — загляните в любую географию». — «Я знаю, что они были, — спокойно отвечал Лихарев, — но нынешнею весной сгорели». Против пожара, как Божьего наказания, сказать было нечего: все замолчали. По окончании экзамена Иванский подходит к Лихареву: «Что, ты говорил серьезно или шутил?» — «Будь покоен, любезный друг, целехоньки твои кирпичные заводы, но, признаться сказать, они мне до того надоели, что я решился один из них сжечь».

них школой баловства, напоминающего то воспитание, которое Фонвизин назвал «питанием»[7].

Не могу ничего сказать о нравах и обычаях тогдашнего провинциального чиновничества: я был так еще молод. В памяти моей мелькает только внешний вид гостей, вероятно, сослуживцев отца, приезжавших к нам на обед или на вечер. Были и военные, и статские лица; между первыми некоторые носили косу, другие пудрились. Но вот что я могу сказать наверное: на собраниях у нас никогда не было ни пьянства, ни буйных бесед, ни азартной карточной игры — явлений очень обыкновенных в сфере уездного городка, особенно между чиновниками. Причина тому заключалась в характере моего отца, человека примерно трезвого и рассудительного, который как себя, так и других не допустил бы выйти из пределов благоприличного держания и учинить какой-нибудь скандал. Он питал к вину врожденное отвращение; на пьяницу смотрел он как на несчастнейшее, погибшее существо. Нельзя, конечно, вменять ему в заслугу то, что было действием инстинкта: заслуга приобретается борьбой и победой, а он нисколько не принуждал себя отказываться от крепких напитков; можно сказать, наоборот, что крепкие напитки отказывались от его натуры. Единственное удовольствие находил он в двух предметах: в питье хорошего чаю и коммерческих играх того времени — бостоне и висте. Степенный, умеренный, ровный образ жизни отца приобрел ему общее уважение горожан. Его ценили как человека умного и степенного; к нему прибегали за советами по делам служебным и частным; он был первым лицом после предводителя, который, впрочем, жил в своем поместье, а не в Сапожке.

Чтению обучал меня приходский священник, а письму — сама мать. Каким образом и во сколько времени выучился я тому и другому, решительно не помню. Вероятно, грамота далась мне скоро, так как я не вкусил горького корня учения. При легком усвоении чего-нибудь память обыкновенно ничего не представляет; только тяжелый труд, соединенный с неохотою и скукой, оставляет по себе долго памятные неприятные впечатления и убеждает в справедливости пословицы: «Корень учения горек». Я же, шести лет от роду, без труда и свободно читал «Северную почту»[8] моим родителям, которые интересовались реляциями о подвигах наших войск за границей. Обучение письму производилось очень просто. Тогда не было еще и помину о «каллиграфии» и «каллиграфах», а скромно существовали «чистописание» и «учители чистописания». Руководством слу-

жили единственно прописи, а метода состояла в списывании с прописей, причем наблюдалось только, чтобы ученик не отступал в начертании букв от образца. Все требования ограничивались тем, чтобы письмо было чисто, разборчиво и по возможности красиво. Чистописание есть не головоломная работа, а занятие механическое, своего рода рукоделие, которое все дети больше или меньше любят, к которому все они больше или меньше склонны. Им нравится копировать данный образец, подходить к нему ближе и ближе. Замечая, что иная буква выходит неуклюжей, они сами, по доброй воле, старались выводить ее несколько раз сряду, чтобы набить на ней руку. Таким образом, они без понуждений приобретали хороший почерк и сохраняли его надолго, до самой старости. Отчего же в настоящее время, замечу здесь мимоходом, при разных методах каллиграфии, при разных к ней руководствах, очень многие пишут и нечисто, и неразборчиво, и некрасиво? Отчего у некоторых кавалеров, даже из числа военных, которые должны бы были обладать особенною ловкостью рук, оказывается нетвердый, дамский почерк, хотя почти нет дам с твердым мужским почерком? По моему мнению, оттого, что на нехитрое искусство стали без малейшей нужды смотреть очень хитро, тогда как в то же время на сериозную науку стали смотреть очень легко, приискивая все возможные способы освободить ее усвоение от труда и простирая облегчающие средства даже до уничтожения системы, без которой никакая наука немыслима. Почерк многих людей нашего времени ясно отражает на себе влияние праздных затей и педантических приемов немецкой педагогики вообще, немецкой методики в частности, то есть в приложении ее к каллиграфии.

О церковнославянской грамоте и говорить нечего. Она была не новым предметом учения, а непосредственною прибавкой к старому — грамоте русской. Мне показали только те буквы церковнославянского алфавита, которых нет в русской азбуке, разное начертание некоторых знаков и слова под титлами[9], и дело было готово. Чтение же утренних и вечерних молитв, пред обедом и после обеда и других служило практикой. Вопросы: нужно ли русского мальчика обучать славянскому языку? и буде нужно, то когда и где — в школе или дома? — тогда не возникали; да не следовало бы им возникать и впоследствии. Усвоение двух грамот нисколько не вредит ни той, ни другой, а что можно приобресть одновременно, почти зараз, то, конечно, выгоднее приобретенного в две разные, одна от другой отдаленные эпохи.

Отслужив девять лет по выборам, отец снова поселился в Мордове, очень красивом селе по своему местоположению. Оно раскинуто на нагорном берегу реки Пары, притоке Оки; против него, на другом берегу, лежит большое село Ягодное. Высшая линия нагорья застроилась господскими домами, отстоявшими друг от друга на значительные расстояния; а промежутки между ними были заняты крестьянскими усадьбами. От каждого господского дома непосредственно шел сад с огородом, а за садом луг (левада), примыкавший к реке и затоплявшийся ею при весеннем разливе. Наш дом, выстроенный, впрочем, после того времени, о котором здесь говорится, выигрывал пред другими красотою окрестных видов. В светлое летнее утро с балкона мезонина раскидывался пред глазами обширный горизонт, верст на пятнадцать. В настоящее время Мордово потеряло свою внешнюю прелесть. По размежевании помещики выселились из него, а крестьяне для хозяйственных удобств, гораздо более им ценных, чем красоты природы, спустились ниже к реке. Однако ж и теперь пассажиры Ряжско-Моршанской железной дороги, проезжая мост через Пару, между станциями Вердой и Алексеевкой, любуются как на самую реку, так и на оба села, расположенные по берегам ее.

Мы поместились в небольшом флигеле, состоявшем всего из двух комнат, разделенных темными сенями. Одну комнату заняли отец с матерью, а другую я с теткой-девицей (родною сестрой матушки), няней и прочими домочадцами женского пола. По пословице: «Люди в тесноте живут, но не в обиде», у меня даже не было кровати: я спал на полу, на мягком пуховике — перина то ж. Тотчас после приезда мне предстоял великий подвиг: познакомиться с дедом и бабкой, родителями отца моего, и с жившими у них моим братом и сестрой. Я не имел тогда еще понятия о «Недоросле», но когда впоследствии прочел эту комедию, то сцена первого свидания с родными живо возобновилась в моем воображении, и я понял, что быт помещиков в первое двадцатилетие нашего века сохранил еще многие черты провинциального дворянства Екатерининской эпохи. Еще больше убедился я в этом, когда однажды, при двух барынях, вздумал читать «Недоросля» вслух, желая доставить и себе и им удовольствие. Что же вышло? Я помирал со смеху при словах Простаковой: «Бредит бестия! как будто благородная!» А они... краска невольно выступила у меня на лице, когда я взглянул на них: вместо сочувствия я увидел недовольные, сердитые физиономии. Ясно было, что Простакова им не чужая, что и в их домах имелись бестии, которым не дозволялось бредить. Про-

должать чтение не следовало, и я, сильно сконфуженный, закрыл книгу при неодобрительном, почти угрожающем молчании барынь, которые, вероятно, заподозрили меня в умышленном желании нанести им личное оскорбление.

Дед и бабка жили в особом доме или на *том* дворе, как мы называли его в отличие от двора *этого*, то есть нашего. Оба они принадлежали к помещикам старого века. Бабушка была первенствующим лицом в доме: она заведовала всем хозяйством, внутренним и внешним. Дедушка даже не жил в главном корпусе, а занимал небольшую комнату, вроде светлого чуланчика, на конце задних сеней. Он как бы находился в домашней опале, причины которой я долго не знал, но потом мне открыли за великую тайну, что дедушка подвержен слабости — по временам запивает, почему и не показывается в люди. Нас редко водили к нему, но когда приведут, бывало, он ласково принимал своих внуков и никогда не отпускал их от себя, не наделив яблоками. В последние годы своей долгой, почти девяностолетней жизни он утешался двумя забавами: стравливанием одного гусиного стада с другим да узкими сапогами, до того узкими, что он долго натягивал их на ноги, а снимал, разумеется, вдвое дольше. Бабушка — другое дело. Она бодро держала в руках своих бразды правления. Ей было нипочем и самой сажать ржаные хлебы в кухонной печи, и собственноручно производить суд и расправу с прислугой, для чего и лежал у нее на шкапу арапник[10]. Одевалась она просто, по-старинному, повязывая голову платком. Шляпку и чепец считала чуть ли не ересью. Она неприветливо встретила мать мою, молодую жену своего старшего сына, когда та приехала к ней с первым визитом в салопе[11] и шляпке: «Что это ты, малушка (уменьшительное от *малый*), так разрядилась? Ты бы по-нашему прикрылась платочком». Все противное тем обычаям и порядкам, среди которых она выросла и состарилась, казалось ей или смешным, или преступным. Незнание чего-либо называла она незнанием арифметики, как труднейшей науки; например: «Так, по-вашему, Иоанн Богослов приходится 27 сентября, а не 26-го? Хорош же вы арифметчик!» Писать не умела, но твердо знала церковную грамоту и часто сама читала молитвы во время молебнов, которые служили у ней на дому в праздничные дни. Это чтение не мешало ей, однако ж, развлекаться предметами, совершенно чуждыми богослужению, так что мы не могли удержаться от смеха при вопросе или замечании, которым неожиданно прерывался псалом или молитва: «Отче наш, иже еси на небесех, —

читала бабушка и вдруг, взглянув в окно, кричала: — Девка, посмотри, кто там приехал». «Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей ...девка, беги скорей в сад, выгони корову» и т.п.

И вот к такой-то бабушке, строгой с домашними, но любившей своих внучат до баловства, явился я с почтением на другой или третий день после приезда из Сапожка. Она оставила меня обедать. Мы сели за стол втроем: бабушка, сестра и я; четвертый прибор, приготовленный для брата, оставался незанятым. Когда после первого кушанья — холодного, с которого тогда начался обед, подали горячее, дверь распахнулась настежь, и брат мой, разгоревшийся донельзя, весь в поту и пыли, вбежал в столовую с большою палкой в руке, чуть-чуть не с дубиной. Он не обратил на меня никакого внимания, как будто мы только что виделись; едва ли он даже заметил меня. «Где это рыскал? — смеясь, спросила его бабушка. — Полно тебе травить свиней, собачник; садись обедать». — «А что это такое?» — «Щи». — «Я не хочу щей; что будет после?» — «Жареный поросенок». — «И поросенка не хочу. А потом?» — «А потом пшенная каша со сливками». — «Ну вот, когда подадут кашу, пришлите за мной». И с этими словами вон из комнаты дотравливать свиней. Я был изумлен таким образчиком митрофанства. Мне, жившему при отце и матери, не могло прийти и в голову не сесть за обед в одно время с другими или выйти из-за стола до окончания обеда. Потом и я на деревенском приволье несколько позаимствовался от брата, который, в свою очередь, смотря на меня, делался менее разнузданным. Мне нравилось приходить к бабушке, которая дозволяла нам больше свободы или своеволия, если угодно. Бывало, как только отец и мать, следуя завету Мономаха[12], лягут отдохнуть после раннего обеда, я с радостью спешил на *тот* двор. Бабушка обедала еще раньше нас, и потому ее послеобеденный отдых оканчивался в то самое время, как он начинался у моих родителей, уже более цивилизованных. По приходе моем немедленно выдвигался столовый ящик и оттуда выгружались сдобные пышки, свежие огурцы, яблоки — чего хочешь, того просишь. Два-три часа праздной вольности были для меня сладким временем, ежедневною вакацией[13]. Зато, как только в четыре часа ударяли к вечерне, я тревожно выглядывал в окно, ожидая няню, которая приходила с нашего двора, со своим обычным припевом: «Пожалуйте домой! папенька и маменька встали».

Жизнь мордовских помещиков в течение трех лет (1814—1816), проведенных мною в деревне, представляла зрелище невозмутимого пребыва-

ния на лоне крепостного права. Это была пора затишья тревожных слухов о крестьянском вопросе, которому суждено было возникнуть позднее, в 1818 году, хотя и ненадолго[14]. Таким образом, душевладельцы, со своей точки зрения, могли бы считать себя вполне блаженными, если бы некоторых не точила мысль о заложенных в казну имениях, о наращении процентов за несрочные уплаты и о грозящих за то взысканиях. Правда, на их счастье, или, вернее, несчастье, как условия залога, так и производство взысканий отличались большою снисходительностью. Закладчик пред самой катастрофой находил средства извернуться и отвести грозу, хотя этот отвод походил на поправку Тришкина кафтана[15]. Он мог перезаложить имение на высший срок, внести часть уплаты во избежание описи, затянуть самую опись, благодаря пособничеству местной исполнительной власти, а между тем при помощи кой-каких изворотов, например частного займа, уладить дело до поры до времени, по истечении которого возобновлялась та же история, но уже при более стеснительных обстоятельствах, при меньших шансах на спасение. Рано или поздно должна же была наступить ожидаемая развязка — продажа имения с молотка. Аукцион! я помню, какое чувство производили звуки этого слова на иных помещиков. Публикации о продаже имений печатались в «Московских ведомостях», которые тогда выходили два раза в неделю, кажется по понедельникам и четвергам[16]. Деревенские подписчики получали оба нумера зараз, так как посылали за ними в город только в субботу. За день или за два до прихода газеты лицо провинившегося помещика омрачалось: он становился капризным и раздражительным, в чаянии опасных известий. Прежде всего набрасывался он в «Ведомостях» на объявления от Ссудной казны[17]. Если все там обстояло благополучно, с ним внезапно делалось Овидиево превращение[18]: лицо его прояснялось, обращение с семьею и с прислугой принимало обходительный и веселый тон. И в этом хорошем расположении духа оставался он дня три и четыре, до новой посылки в город, так что его времяпрепровождение состояло в периодическом приливе и отливе двух противоположных ощущений. Даже от прислуги не могло скрыться, что газета была своего рода психическим барометром. Барин не в духе — рассуждала она: значит, послали за «Ведомостями»; барин в духе: значит, в «Ведомостях» нет ничего. Страус, спрятавший голову свою в куст и воображающий, что охотники его не видят, — не точная ли эмблема помещика, успокаивающего себя тою мыслию, что по последнему нумеру газеты до него не дошла еще очередь неизбежной беды?

Как же проводили время мордовские помещики? Что они делали? В числе различных прав и вольностей дворянства самое соблазнительное право состояло в свободе от труда. Им-то дворянство преимущественно и пользовалось. Тому нет надобности трудиться, кто знает, что он и без труда получит доход, выработанный другими. Привычку пожинать плоды, их же не сеял, помещик приобретал с пеленок, в атмосфере крепостного права, и потом переносил ее в другие области своей жизни. В школе он считал обычным делом списывать задачи, приготовленные его товарищами, получать наравне с ними, а иногда и свыше их хорошие аттестации, даже кичиться неблагоприобретенным отличием, как будто заслугой. На службе он не совестился выдавать чужую работу за собственную и принимать награды, которые вовсе ему не следовали. Отсюда и развилась неудержимая наклонность загребать жар чужими руками, достигать служебных повышений легко и даром, брать все, как говорится, шаромыжническим образом. Само собою разумеется, что мелкие помещики самою бедностью поставлены были в необходимость трудиться. Один из таких, И.И. Толмачев, несмотря на полковничий чин и Владимирский крест, исправлял все полевые работы вместе с своим сыном и двумя работниками. Но хозяйственная заботливость большинства помещиков ограничивалась единственно понудительными мерами в отношении к работящему люду, обязанностью, не стоившею никаких усилий. За всем прочим смотрел староста, выбранный из крестьян, или управитель, поставленный из дворовых. Время свое помещики употребляли на псовую охоту, на карточную игру, на прием гостей и на выезд в гости. Это были так называемые благородные занятия. К неблагородным относилось пьянство и якшание для этой цели с кем ни попало. В последней категории стоял П.Е. Б[арышник]ов. Я помню его всегда в одном и том же виде: с ястребом на руке, которого он вынашивал или с которым охотился на перепелок. Соседи не водили с ним компании, не приглашали его ни на обед, ни на чай, зная его слабость — пристрастие к вину; но он сам, без зову и экспромтом, захаживал то к тому, то к другому, и всегда с ястребом, который звенел колокольчиками, привешенными к его ногам. С ним не церемонились, да и сам он не был взыскателен. Поставят, бывало, пред ним графин ерофеичу[19] и ломоть черного хлеба с солью; он выпьет несколько рюмок — и вполне доволен. Летом он почти не был видим в своем доме, которым распоряжалась его жена; все время проводил он с ястребом на пчельнике у пчелинца. Но если своя братия помещики сто-

differently ронились от него, как от человека нетрезвого, то крестьяне любили его за простоту и собеседничество, хотя и подтрунивали над ним, как над праздным, малочиновным и вдобавок картавым господином. О степени образования мордовских помещиков я должен умолчать, так как нельзя говорить о том, чего, собственно, не имелось. Однако ж и в этом отношении отец мой заслуживал быть поставленным в графе исключений: он запасся хоть какою-нибудь библиотекой, которою мы, повыросши, пользовались как первым материалом для домашнего чтения. Он любил также выписывать из книг замечательные отрывки или прозаические и стихотворные сочинения, ходившие по рукам в рукописях. Я просматривал эти тетради и нашел в них, между прочим, мнения Мордвинова[20], известную стихотворную переписку Державина-поэта с Державиным-священником[21], оды Ломоносова, пьесы князя И.М. Долгорукова[22], а равно сатиры и пародии, например, подражание оде Ломоносова из Иова, начинающееся таким образом:

О, ты, что в горести напрасно
На службу ропщешь, офицер[23].

Подобные сборники любопытны как свидетельство того, чем интересовалось грамотное дворянство, проживавшее вдали от столиц. Другие помещики решительно ничего не читали, уступая в этом отношении даже своим женам, из которых иные хотя не обучались письму, но зато твердо знали церковную грамоту и охотно читали духовные книги. Так, моя бабушка и утром и вечером долго стояла пред иконами, прочитывая каждый раз кроме обычных молитв по целой кафизме псалмов[24]. В одном только доме слышался не только французский язык, но и английский, благодаря гувернанткам и гувернерам, из которых один был даже аббат. Владелец дома (А.А. Ш[иловск]ий) считался мордовским магнатом по имуществу, а не по табели о рангах, как значилось по его рукоприкладствам[25]: «дворянин, в отставке 14-го класса». Внешняя цивилизация красавиц-дочерей его объясняется особым обстоятельством. Мать их, очень умная, общительная и ловкая дама, воспитывалась в богатом барском семействе, жившем на большую ногу, где и приобрела светское образование. Такое же образование захотела она сообщить детям; отец же их, честный и добрый человек, не знал ни одного иностранного языка.

По воскресеньям все мордовские владельцы собирались в церкви. Двое священников поочередно совершали богослужение. Положение этих свя-

щеннослужителей было очень печальное. Они вполне зависели от своих прихожан, как помещиков, так и крестьян. Вторая зависимость чувствовалась ими легче: получая от крестьян помощь в полевых работах, священник стоял к ним ближе по рождению и образу жизни и потому обращался с ними свободнее. Помещик же, сверх помощи хлебом, которою восполнялся скудный доход пастыря, мог держать его в постоянном страхе своими сношениями с епархиальным начальством. По желанию такого влиятельного лица церковная служба начиналась, а иногда и оканчивалась в назначенный им час, по домашним соображениям. Ударяли, например, в колокол не прежде, как барыня садилась за свой туалет. Случалось иногда и такое обстоятельство: когда в двунадесятый праздник священник вздумает сказать проповедь и дьячок берется за аналой, влиятельное лицо, стоящее против царских врат, рукою дает отказ, проговорив вполголоса: «Не надо, батюшка! Уж поздно, пора обедать». И сам пастырь рад сокращению службы; рады тому и прихожане. Все охотно расходятся. Крестьяне идут прямо с паперти в кабак, прямо против храма Божьего, от которого отделялся только проезжею дорогой. Туда же следуют и дворяне одной категории с П.Е. Б[арышник]овым. Туда же, управившись в церкви, спешат и священнослужители. Последние, говоря правду, держали себя несообразно с достоинством духовного сана. Отец Филипп по внешности казался еще несколько приличнее: он, по крайней мере, служил в сапогах, а не в лаптях, как то часто делал отец Селиван. Бедность, конечно, служила сильным извинением недостатков и нравственных, и материальных. Трудно, например, теперь поверить, что священник за молебен с акафистом[26] получал от бабушки только десять копеек, а без акафиста пять. Однажды мы с братом вышли за ворота нашего дома позевать на дорогу. Видим отца Филиппа едущим в телеге и навеселе. Он прямо подъехал к нам со словами: «А, здравствуйте, молодые господа; пожалуйте ручку». Вместо того чтобы нам самим подойти к нему под благословение, мы, по глупости, протянули к нему руки, которые он и чмокнул. А сколько раз, возвращаясь с полевой прогулки, мы находили отца Селивана лежащим на церковном погосте в беспамятстве, с раскинутыми врозь руками! Нечего и прибавлять к сказанному, что подобные пастыри не имели никакого доброго влияния на паству. Могли ли они указывать на сучки своих прихожан, когда из их собственных очей торчали целые бревна? Если они и поучали в известные праздники, то эти поучения не внушались им сознанием священнического долга, не вытекали из

убеждения в истине и важности проповедуемого, а были исполнением предписанного, чисто внешним очищением совести. Если бы такие пастыри решились объявить настоящий свой образ понятий, то их искренняя исповедь напомнила бы откровенный ответ одного пастора, которому духовный сын его намекнул, что человек, преследующий пьянство с кафедры, должен бы был прежде всего сам вылечиться от этой болезни: «Любезный друг, мне платят триста талеров в год за то, чтоб я отучал вас от крепких напитков, но чтобы мне самому не пить их... да я за это не возьму с тебя и трех тысяч».

Учение и воспитание мое производилось в духе того времени, но по некоторым статьям имело и свои отличия. Родители мои не настолько были образованны, чтобы заменить собою учителей, и не настолько зажиточны, чтобы приглашать к себе гувернеров или гувернанток, — и слава Богу! Последние слова я и доныне произношу как благодарный возглас за избавление нас от той напасти, в которой большинство дворян видело неизбежное и драгоценное руководство к так называемой цивилизации. Решено было до поры до времени обходиться домашними средствами, или и посторонними, но такими, которые стоили бы не золотых и серебряных, а медных денег. Сначала сам отец учил нас арифметике, а потом привезен был им откуда-то отставной офицер-моряк, который к арифметике присоединил и грамматику. Учитель этот (фамилии его не помню) знал свое дело, но уроки его часто прерывались, так как он пил запоем и пропадал дня на три, на четыре, скитаясь по близлежащим селам. Несмотря на неаккуратность занятий, мы, однако ж, выучились действиям с отвлеченными и именованными числами[27] и твердо выдолбили этимологию, так что почти были приготовлены к поступлению в первый класс уездного училища. Что касается до воспитания, то главное отличие нашего состояло в том, что мы никогда не подвергались телесным наказаниям. Так-то справедливо, что в обращении с детьми играют роль не одни педагогические взгляды, но и темперамент и нрав старших. Родители наши не прибегали к розгам вовсе не потому, чтобы следовали какой-либо воспитательной системе, а потому единственно, что им жалко было детей, которых они горячо любили. Любовь устранила их от тех дисциплинарных мер, которые в тихом и скромном субъекте ослабляют и без того слабую его энергию, а в живом и энергичном направляют силы в дурные стороны, возбуждая раздражительность, ожесточение, злопамятство. Одна из важнейших задач воспитателя — с ранних лет развивать в душе воспитанни-

ка чувство нравственного достоинства, которое не дозволяет ему, из уважения к себе самому, делать то, на что другой не решается только ради внешнего страха. Будь это чувство развито — вы можете быть спокойны за судьбу человека; не развито оно, никакие карцеры и розги не возместят его. Отец постоянно видел в нас любящих и покорных детей, но такое отношение к нему произведено было, конечно, не строгостью. Вся его строгость большею частью ограничивалась угрозами наказания, да и угрозы эти выражались часто в такой форме, которая заставляла нас внутренно смеяться, так как смеяться явно мы не смели. Бывало, он остановит наши проказы словами: «Я дам тебе такого подзатыльника, что ты стену проломишь лбом», или «Послушай, любезный, рано или поздно, а я сделаю тебе *дурно*». Удалившись в детскую, мы с братом смеялись и рассуждали, в каком смысле употребил отец последнее слово, в смысле наречия или имени существительного? * Нельзя, впрочем, упускать из виду и положения родителей среди семейства. Как ни будь снисходителен к молодой крови, требующей движения, все же захочется оказать снисходительность и себе самим, крови пожилой, требующей хотя временного покоя. Когда двое непоседов начнут без всякой надобности входить в комнату и выходить из нее, тогда одно хлопанье дверью способно вывести из терпения. Отец, бывало, и выйдет из него. «Господи Боже мой, что это они так беспрестанно шляются! Варвара Дмитриевна (так звали старшую сестру), братья ваши ничего не делают, а только снуют из угла в угол; налинейте-ка им страниц пять или шесть: пусть они списывают с прописей». И вот засадят нас, рабов Божиих, за чистописание, лицом к окнам, выходящим в сад. В комнате жар, духота, мухи; а там, в саду, соблазн: солнце, обдающее все ярким светом, приятный ветерок, пение птиц, полет и жужжание насекомых. Поэзия рядом с прозой, а самое прозаичное — прописи, а в прописях нравственные изречения. Окончив заданную работу, мы должны были показать ее отцу. Первые две страницы были написаны, конечно, старательнее, а затем чем дальше, тем хуже. «Отчего это так?» — спросит отец. «Перо уж иступилось». — «Врешь! Кто старается, тот и тупым пером напишет хорошо». Отойдешь, разумеется, без возражения, только подумав про себя: «Как же это так? Плохим пером написать хорошо!» Но в результате выходило, однако ж, недурно: дети провели два часа за работой, а родители их два часа отдохнули. Другая особенность нашего воспитания заключалась в той осмотрительности,

*Как у Гоголя в «Мертвых душах»: «Из моего прекрасного далека».

какую отец и мать наблюдали при разговорах с нами или с другими старшими лицами в нашем присутствии. Они понимали, что некоторые слова, произносимые без оглядки, всегда почти производят глубокое впечатление на чуткое детство, потому что выражают иногда мнения, прямо противоположные прежде высказанным и внушенным правилам. Иному отцу семейства ничего тогда не стоило (а теперь, быть может, стоит еще меньше) спросить сына о содержании проповеди, которую этот слушал, и тут же прибавить: «То-то, я думаю, оратор напорол дичи!» А между тем сын отправился в церковь по приказанию отца. Другой, требуя от сына почтительного отношения к начальнику, постоянно титулует последнего дураком, подлецом, мерзавцем. Разве должно, разве можно уважать такую личность? Третий, боясь несвоевременного развития плотских увлечений в сыне, сам на глазах его заигрывает в коридоре со служанкой или заводит с гувернанткой двусмысленный разговор. Эти и подобные им несообразности приводят детей в недоумение, ставят их в тупик. Дети скоро открывают ясное несогласие данных им правил с шутками или не шутками, происходящими на их глазах; потом начинают думать, что эти правила не что иное, как условные, пошлые сентенции, повторяемые родителями для очистки совести, тогда как настоящая тайна жизни скрывается в других, прямо противоположных им сентенциях; наконец убеждаются по малой мере — в легкомысленности своих родителей, по большей мере — в их лицемерии. У моих родителей этого не было, они имели единственный образ мыслей, а не двойственный: один для себя, другой для детей, на всякий случай. Им и не предстояло трудности выдерживать свою последовательность. По обычаю помещиков средней руки, живших не открыто, а скромно и уединенно, мы не толклись среди гостей, не принимали участия ни в обедах, ни в разговорах с посторонними. Нас выводили к ним на короткое время из детской, если они выражали желание взглянуть на нас. Зато чего стоил нам, не привыкшим быть на людях и потому чрезвычайно застенчивым, этот парадный выход! Но пущею бедой, своего рода пыткой, считали мы то время, когда отец и мать брали нас с собой в такой дом, где дети, нам ровесники, говорили по-французски. Сидишь там, бывало, словно приговоренный к смерти, моля Бога о том, чтобы оставили тебя в покое и, главное, не обращались бы к тебе с вопросом: «Parlez-vous français, monsieur?»[28] Вопрос этот подобно грому оглушал нас. Когда мы робко давали отрицательный ответ, спрашивавший приходил в изумление: «Не говорите! Как же это так?» — воскли-

цал он, качая головой и печально прищелкивая языком, точно заверяя этим, что мы испортили земную нашу карьеру, да и в будущей жизни едва ли не ожидает нас вечная гибель.

Был, однако ж, один значительный недостаток в нашем образовании, именно недостаток упражнения в тех предметах, которые укрепляют человека, дают ему бодрость и, кроме того, приносят немало удовольствий. Нас не учили ни стрельбе, ни верховой езде, ни даже плаванью, столь приятному в летние жары. Такое важное упущение объясняется характером отца. Он, конечно, понимал цену физического развития, но при мысли о средствах, к тому ведущих, пугался возможных гибельных последствий. Многие примеры показали ему, как иногда ничтожная, мгновенная случайность становится для молодости поводом к неисправимой беде, причиной несчастия на всю жизнь. Если б он был уверен, что сыновья его, купаясь, не утонут, стреляя из ружья, не убьют и не ранят себя, а при езде верхом не сломят себе ноги, не только что головы, то, разумеется, он дозволил бы им и то, и другое, и третье. Но кто же внушит человеку такую уверенность? Разве слова духовной Владимира Мономаха, что «Божие блюдение лучше человеческого»; но отец не читал этого памятника нашей словесности, а положиться на авось не хватало у него духа. Впрочем, мы сами поправили упущение родителей: заместили пробел разными телесными экзерцициями[29] — борьбою, беганьем взапуски, прыганьем, лазаньем. Мы ежедневно упражнялись в естественной гимнастике — в гимнастике на просторе и открытом воздухе, под чистым небом и частою практикой достигли отличных успехов. Нам ничего не стоило перескочить широкий ров, взобраться на крышу, вскарабкаться на самую вершину высокого дерева, шибко взбежать на гору и так же сбежать с нее, сряду перекувыркнуться через три соломенные омета[30], стоявшие в конце гумна. Обычные входы и выходы нас не удовлетворяли. Минуя ворота или калитку, мы перелезали через плетень; вместо того чтобы сойти с балкона, мы со всего разбегу спрыгивали с него в сад и уже не в силах были остановиться до тех пор, пока не добегали до самого конца его. А тут новая приманка — луг, расстилающийся к реке. Мы и его пробегали и домой возвращались таким же образом. Ноги и руки наши находились в постоянном действии. Название: «непосестный», «неугомонный» шло к нам как нельзя лучше.

Другою школой нашего воспитания служила дворня. Хотя никто нам не советовал иметь с нею общения, но и положительного на то запрета

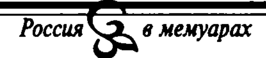
не было, вероятно потому, что исполнение его оказалось бы фактически невозможным. Мы жили в такой близости к прислуге, начиная с няни, ближайшего к нам человека, что волею-неволею должны были иметь с нею постоянные сношения. Поэтому в свободное от учения или от присмотра родительского время уходили мы то в конюшню беседовать с кучером, то в людскую прислушиваться к толкам слуг, сходившихся туда для обеда и ужина, то в избу на скотном дворе, где жили пастух, ключник и староста с их женами, смотревшими за птицей. Посещения эти доставляли нам большое удовольствие, да и тем, кого мы посещали, они не были ни тягостью, ни стеснением.

Не верьте тому, кто скажет вам, что общение с дворней в частности, с крестьянством вообще вредно для молодых людей, принадлежащих к образованному кругу. В известном возрасте может быть, но в годы детства и отрочества оно, как выразился один критик, никакого вреда, кроме великой пользы, не приносит. Говорю это по убеждению, добытому собственным опытом. Любопытство, свойственное отроку, влечет его из своей сферы в другую, ему неизвестную; он охотно выслушивает рассказы, мысли и чувства людей, живущих не барскою жизнью; бессознательно, мало-помалу слагается в его уме и воображении характеристический образ простонародья. Важное, драгоценное приобретение, тем более благоприятное, чем оно дается раньше. Никакою наукой, никаким чтением нельзя заменить потом этого раннего знакомства с народом — знакомства непосредственного, живого, которое вливается в кровь и претворяется в плоть. Я понимаю, что́ разумели воспитатели-моралисты, говоря о вреде сближения барских детей с дворовыми людьми и крестьянскими мальчиками: их поражало употребление кой-каких слов, недопускаемых в печати. Нельзя, конечно, одобрять подобного словаря, но надобно, однако ж, смотреть на дело с настоящей его стороны и различать в нем подлинно дурное от мнимо дурного. Исходящее из уст сквернит лишь в том случае, когда оно с тем вместе исходит от лживого ума или развращенного сердца. Поэтому сквернословие сквернословию рознь. Если с произнесением неприличного слова сопрягается представление чего-либо соблазнительного или ощущение чего-либо грубо чувственного, то оно, разумеется, есть улика в безнравственности; а если произносимый звук доказывает только попугайную переимчивость произносящего, что в нем безнравственного? Речь простолюдина редко обходится без непристойной приправы, почему знаменитый наш артист М.С. Щепкин справедливо

говаривал, что он не любит видеть мужика на сцене, так как он является на ней с неестественным разговором, разочаровывающим зрителя. Следует ли отсюда, что русские мужики — народ самый безнравственный? На самом деле этого вовсе нет. Напротив, они имели бы полное право обличать отсутствие нравственного и национального чувства в тех личностях, которые, под крылом ли родителей или под влиянием чужеземных детоводителей и детоводительниц, с ранних лет приучались замыкаться в особый круг, как в некую касту, питать презрительное отношение к другим кругам, не иметь ни понятия о всесословной связи, ни душевного к ней влечения, жить отрешенно от своего отечества. Зараза эта, благодарение Богу, миновала нашу семью. Мы до того свыклись со всеми элементами окружавшего нас быта, что нас нельзя было удивить никакою выходкой, никаким словом, не имевшими обращения в так называемой благородной среде. Это очень пригодилось нам впоследствии для многого. С двойным наслаждением, инстинктивным и сознательным, воспринимал я каждое поэтическое воспроизведение русской действительности, от кого бы оно ни исходило. Гоголь не мог озадачить меня характеристиками своих героев: я чувствовал их натуральность. Напротив, меня озадачивали и смешили суждения русских нерусских, из которых один замечал, что Гоголь напрасно говорит о тараканах в избе, как будто русская курная изба мыслима без тараканов, а другой, ретивый поклонник европеизма, проведший много лет за границей (Сол[овье]в)[31], находил слог Писемского дурным на том основании, что в каком-то его рассказе русский мужик сказал о своем соседе: «он в запрошлую весну *помер*», тогда как ему следовало бы сказать: *умер*[32].

В заключение скажу несколько слов об отношении мордовских помещиков к крестьянам. Крепостное право, безобразное вообще, по самому существу своему, выражалось в тех или других местностях различными явлениями, показывавшими бóльшую или меньшую степень его безобразия. В нашей местности и в то время, которое я провел там, положение помещичьих крестьян, конечно, не могло назваться благоприятным ни для их личности, ни для их собственности. Кроме отправления обычной барщины каждое тягло облагалось еще сверхкомплектными поборами: поставкой подвод, приносом известного числа талек[33] и яиц, одного или двух баранов и т.п. Это стесняло и без того неширокое хозяйство крестьянина, который вынужден был из своего имущества уделять другим то, что мог бы употребить для пользы собственной семьи. Но стеснение не одно и то же

с притеснением. То варварское обращение, те зверские поступки, которыми заклеймены имена Салтычихи, Измайлова[34] и других им подобных и которые вообще принадлежали к разряду исключений, может статься, были известны по слуху, но сходства с ними, даже самого отдаленного, никогда не было, да и не могло быть по личному составу помещиков. Большая часть этих помещиков по своему образованию, а некоторые и по имущественному положению стояли так близко к крестьянскому миру, что напоминали пословицу: «Свой своему поневоле друг». По какому расчету стал бы помещик Т[юмен]ев относиться враждебно к своим двум или трем «душам», когда он был их товарищем по работе? Каким образом помещик Б[арышник]ов мог выказывать дворянскую требовательность от крестьян, когда он был их собеседником по питейному заведению? В способе вести себя так или иначе с подвластными очень многое зависело также от темперамента и характера владельца. На отца моего и однодворцы, и помещичьи крестьяне смотрели как на человека для них нужного: к нему прибегали они за советами по своим надобностям, особенно в тех случаях, когда дело касалось суда, столько им страшного. Он любил ходить на гумно не с тем единственно, чтобы смотреть за работой, но и с тем, чтобы поговорить с работниками. И мы часто прибегали туда же, не как соглядатаи и фискалы, а как знакомцы, находившие удовольствие в побывке с теми людьми, которых знали и по именам, и по обычаям. Когда крестьянская семья ставила очередного рекрута, отец горевал, плакал вместе с нею. Матушка со своей стороны заслужила любовь крестьян тем, что помогала им в болезнях. Сама часто лечившись, она приобрела кой-какие медицинские познания и собранною ею домашнею аптечкой пользовала приходивших к ней мужиков, баб и их ребятишек. За это врачевание крестьяне, по смерти отца и по размежевании, не требовали от нее выхода на хутор, а дозволили ей окончить свой век в селе, на принадлежавшей нам усадьбе. По указанным причинам в отношениях крестьян к помещикам не скоплялось ни желчного раздражения, ни ядовитого злопамятства, ни жадного ожидания мести. Так, по крайней мере, было в нашей местности и в мое время; за другие местности и другие времена не отвечаю.



[ГЛАВА II]
ДЕД МОЙ ПОМЕЩИК СЕРБИН

Из немалого числа родных моих, близких и дальних, особенно интересовал меня внучатный дед мой, Аникита Степанович Сербин, как помещик, стоявший вне ряда современных ему русских людей того же сословия. Если б он принадлежал к числу дворян родовитых или очень богатых, то положение, занятое им в кругу соседей, нисколько не казалось бы удивительным. Но он был помещик средней руки; в имении его (Ряжского уезда Рязанской губернии) числилось, говоря по-тогдашнему, двести душ с соответствующим количеством земли. Правда, имение было выгодно тем, что оно составляло особняк: владелец распоряжался в нем свободно, не стесняемый неудобствами чересполосности.

Жена Сербина приходилась сродни Петру Андреевичу Кикину, статс-секретарю у принятия прошений на Высочайшее имя, в царствование императора Александра I. Когда я в первый раз (1819) приехал к деду, он жил с двоюродною или троюродною сестрой своею, а моею бабкой, и с единственным сыном Михаилом, старшим меня тремя или четырьмя годами. Александра же Михайловна (так, кажется, звали жену деда) поселилась в своем собственном имении Пензенской или Саратовской губернии (не припомню). Формального развода не было: супруги расстались добровольно, по крайнему несогласию в характерах, мнениях и образе жизни. Кто из них был прав и кто неправ, сказать трудно. Одни винили деда за его слишком легкое отношение к супружеским обязанностям; другие — его половину, за ее пристрастие к крепким напиткам, хотя легко быть может, что она начала искать услады в дарах Вакха с горя или из ревности. Я склоняюсь на сторону жены, так как знаю, что дед и в преклонных уже летах держал в девичьей смазливых горничных, из которых одна по смерти его получила порядочное денежное вознаграждение, а при жизни была зорко оберегаема бабушкой не только от сериозных напастей, но даже от взглядов такого скромного и невинного мальчика, каким был я, двенадцатилетний гимназист. Бабушка, видно, забыла русскую поговорку: «Боярский сын гляденьем сыт».

Александра Михайловна получила хорошее образование. Она любила чтение, знала французский язык и перевела с него небольшой рассказ: «Заблуждение любви, или Муж о двух женах», напечатанный в 1802 году[1]. Перевод посвятила она Сербину, вероятно в первое время своей с ним жизни или незадолго до замужества. В посвящении она называет его «истинным другом», которому обязана «развитием своих способностей, возбуждением любви к умственным занятиям». Предвидела ли переводчица, что ее «истинный друг», подобно герою французской повести, не удовольствуется одною женой?..

Но пусть читатель не выведет отсюда заключения, что дед мой завелся крепостным гаремом, утопал в сладострастии. Нет, ни того, ни другого не было, да и не могло быть при его нежелании идти наперекор общественным приличиям, к которым он всегда относился осторожно, опасаясь укоризненного говора родных и знакомых. Сверх того, как человек очень умный, он не упускал из виду соображений гигиенических, почему был очень разборчив в сношениях с женщинами, из боязни повредить своему здоровью, за которым благоразумно наблюдал и которое умел сохранить крепким до глубокой старости. Вина деда в том, что он, по легкому взгляду на нравственные понятия вообще, верность мужа не считал добродетелью, а неверность — пороком, на что, конечно, жена его не могла смотреть равнодушно. К этой главной причине разножительства присоединилась другая, совершенное несходство в понятиях религиозных, о чем скажу ниже.

Хозяйственный порядок и довольство выказывались тотчас при въезде в село Сербино. Поодаль от него стояла небольшая, выстроенная дедом, церковь; с обеих сторон улицы, ведущей к господскому двору, не видно было ни раскрытых, ни опустившихся изб, что во множестве других имений встречалось сплошь и рядом. Обширный двор господского дома представлял оживленную картину, чрезвычайно заманчивую для детских глаз: посредине его разгуливал ручной журавль, забава дворовых мальчишек, постоянно воевавших с ним; павлин, распустив узорчатый хвост опахалом, шумел им в сладострастной дрожи перед павой; резкому его крику вторили звонкие и частые голоса цесарских кур[2]; в клетках над балконом били отборные перепела... Умалчиваю об индейках, гусях, утках и другой домашней птице, для которой отведен был особый так называемый птичий двор. Деревянный дом с мезонином отличался крепкою постройкой, поместительностью и прочими удобствами. Он разделялся коридором на

две половины, названные по тем временам года, которые расчетливый строитель, знакомый с климатическими условиями серединной Руси, обязан преимущественно иметь в виду, если не желает в зимние месяцы мерзнуть от холода, а в летние изнывать от жара. Никаких других особенностей не было: ни паркетных полов, ни богатой мебели, ни дорогих обоев. Единственною роскошью можно было считать биллиард, которым я любовался как диковинкой. На стенах залы и некоторых других комнат, а также на потолках и в окнах висели клетки, числом до сотни, с птицами разных пород. Одну из них, переимчивую сою, выучили говорить: «Ты дурак», что она и произносила каждый раз, когда человек, чистя клетку, спрашивал ее: «Союшка, хочешь ли каши?» Небольшая задняя комната, с сетчатою занавеской вместо двери, отведена была для канареек: там они плодились и множились, весело летая и неумолкаемо распевая. Из летней гостиной дверь отворялась на балкон, сход с которого вел в обширный сад, с тремя сажалками[3] для карасей и прудом, занимавший слишком шестнадцать десятин. Через сад протекала небольшая речка. Плодов и ягод было в нем несть числа. Куртины[4] были обсажены розами в таком количестве, что при ветре и без ветра дорожки покрывались лепестками, и гуляющие могли не в переносном, а в настоящем смысле слова считать свой путь усеянным розами. И все это было делом собственного мастерства Сербина. Как дом строился по его плану, так и сад разбивался и засаживался по его указаниям, без помощи наемных садовников.

Я назвал биллиард «роскошью». Но в доме деда находилась еще другая, более роскошная вещь: шкафы, построенные в форме печей, в *pendant*[5] к настоящим печам, хранили в себе библиотеку, состоявшую из трех тысяч томов, не считая ежегодно выписываемых журналов. Эта библиотека служила не модой, не тщеславным украшением комнат, как это часто бывало в вельможных хоромах. Состояние деда не позволяло ему тратиться на такую своего рода мебель; да и какую красоту могли придать комнатам печеобразные, запросто выбеленные шкафы со створчатыми дверями без стекол? Дед *пользовался* книгами, удовлетворяя чтением врожденную любознательность, свойство почти всех умных людей. Книги были исключительно русские, так как дед не знал ни одного иностранного языка, получив недальнее образование в какой-то школе, а потом служив некоторое время землемером. Он имел сведения в чистой математике (алгебре и геометрии) и в некоторых частях прикладной (механике и архитектуре). Последние две науки, разумеется в элементарном их значении,

дались деду как самоучке, который нуждался в них для своего сельского хозяйства. Самый большой отдел библиотеки относился ко французской литературе восемнадцатого века. В нем преобладали энциклопедисты, особенно Вольтер. Кроме того, немало было книг по математике, истории и географии, домоводству, романов и повестей. Состав библиотеки показывал, что она формировалась с толком и расчетом: пустые или глупые сочинения не нашли в ней места. Кто знает житье-бытье помещиков того времени, о котором я рассказываю (1819—1829), помещиков, не только не уступавших Сербину в состоянии, но и гораздо более богатых; кому известно, что расход на книги никогда не входил в их бюджет и что многие из них обходились даже без «Московских ведомостей» и «Календаря»[6], тот, конечно, согласится с высказанным мною замечанием, что дед мой выходил из ряда своих ряжских и сапожковских соседей, что он сам, так же как и его имение, стоял особняком.

Хотя дед мой не без основания слыл за вольтерианца, но соседи любили навещать его, отчасти по желанию провести приятно время с умным человеком, а более из любопытства взглянуть на его хозяйство, которое велось и держалось отлично от их хозяйственной рутины. Тогдашние помещики уважали единственно практику, напоминая собой дворянина Сильвана Кантемировой сатиры[7]; они дорожили непосредственно пользою; их не удивила бы никакая начитанность, направленная в теоретическую сторону: они скорее посмеялись бы над хозяином-теоретиком, как над «философом без огурцов»[8]. Но тут смеяться было нечему. Доказательства были налицо: все видели, что дед при помощи книг, без затрат на покупку материалов и земледельческих орудий, с умеренными средствами, собственным трудом и расчетом успешно достигал цели, что за какую бы часть хозяйства ни взялся он, эта часть шла у него споро, не вовлекая его в долги, не расстраивая имения, а видимо приращая его. Не было и мысли о каких-нибудь рискованных затеях с целью быстрой наживы: все дело ограничивалось разумными и осторожными соображениями, основанными на твердом знакомстве с местными условиями.

Сербин любил менять предметы своей хозяйственной деятельности, но, раз выбрав предмет, он уже отдавал ему всю свою заботливость и пристрастие. Занялся он садоводством, и сад его вышел образцовым, возбуждавшим удивление и зависть. Вздумалось ему завести пчел, и в короткое время у него явилось двести ульев, не цилиндрических или так называемых колод, а составных, весьма удобных как для подрезки меда,

так и для садки пчелы, потому что один и тот же улей был пригоден и большому и малому рою: стоило только в первом случае прибавить несколько ящиков, во втором — убавить. Устройство таких ульев замечательно как первый опыт в Рязанской губернии: помещики, из боязни вводить у себя то, чего прежде у них не было, не могли или не хотели понять выгод пчеловодства. Впоследствии дед, набросав несколько заметок об этих ульях, просил меня привести их в порядок и напечатать в каком-нибудь журнале, только под моим именем. Я исполнил его желание: статья помещена в «Новом магазине натуральной истории, физики, химии и сведений экономических», издававшемся профессором Московского университета Двигубским *[9]. Другие две статьи, с его уже именем: «О больших и малых ульях» и «О садке пчелы во время ройки», напечатаны в «Земледельческом журнале» Московского общества сельского хозяйства **[10].

В занятиях пчеловодством дед придерживался книги Криста, переведенной с немецкого: «Руководство к полезнейшему и приятнейшему пчеловодству» (1805)[11]. Он вел переписку с известным пчеловодом Прокоповичем, сообщая ему свои наблюдения и получая от него заметки и советы. Я читал его письма и не мог не удивляться ясному и точному выражению мыслей: умение, не всегда встречаемое между литературно образованными людьми и тем более редкое у людей, не имевших случая, как дед мой, навостриться в литературной практике. Чтобы покончить с печатными заявлениями деда о своих агрономических трудах, укажу еще на статью «Мысли о посеве хлеба», напечатанную в «Записках для сельских хозяев, заводчиков и фабрикантов» (1830), которые прилагались к журналу «Атеней» ***. Статья подписана моим именем, но мне принадлежит только изложение материала, собранного дедом. Редактор журна-

*1827, № 3.

**1828, № 22 и 23. Вторая из этих статей, ввиду того, что одно и то же количество пчел для некоторых ульев может быть мало, а для других велико, содержит в себе табличку, обозначающую в вершках диаметр улья, площадь его и количество фунтов и золотников пчелы, потребного на один вершок вышины. Заметка «О перемене в ульях старой узы», приложенная к статье, объясняет недостаточность и бесполезность двух до того употреблявшихся способов. Сербин предлагает свой, заключающийся в том, что старая уза заменяется новою на восемь вершков от головы улья, а не на четыре. Из наблюдений и опытов он вывел заключение, что пчелы могут тянуть соты во всяком направлении и что они ни в каком случае не оставляют детей своих, подобно муравьям, никогда не покидающим свои яйца. В первой же статье доказывается, что употребление больших ульев, которые обыкновенно предпочитались ульям средней и малой величины, вредит как размножению пчел, так и доходу, от них получаемому.

***«Записки...», ч. 3, кн. 1, август.

ла, профессор сельского хозяйства в Московском университете Павлов[12], нашел статью любопытною и счел нужным прибавить к ней несколько слов от себя в объяснение и разрешение вопроса, поднятого хозяином, умевшим мыслить и старавшимся рутину заменить рациональностью, насколько последняя была доступна его знаниям и материальным средствам. За это стремление к разумности в том деле, к которому привыкли относиться без всякой мысли и научной подготовки, Московское общество сельского хозяйства выбрало деда в действительные члены[13]. Впрочем, дед не обрадовался диплому, за который должен был ежегодно вносить по десяти рублей. Обязательный членский взнос казался ему обидой, а не свидетельством признанных заслуг, потому что он ставил его, действительно трудившегося помещика, наряду со множеством других, только по имени действительных членов, которые не умели ни хозяйничать как следует, ни строки написать о хозяйстве.

Дед искусно строил для себя мельничные механизмы, без ошибки в размере и в пригонке частей. Были у деда и молотильные и веяльные машины, также доморощенной работы, действовавшие всегда правильно. В особенности интересовала соседей машина для резки и просевания мака. Уборка этого продукта, весьма доходного в урожайный год, представляла долгую процедуру, возможную только при малом посеве. Она состояла в том, что бабы сначала срывали маковые головки, потом, разрезав каждую ножом, высыпали зерна в корыта и просевали их решетами. Сколько времени требовалось на все это при посеве на большом огороде или в поле! Машина же, которою управляли всего два человека, разом раздробляла несколько мер головок, быстро отвевала скорлупу, и мак, падая вниз на широкую раму с частою сетью, приводимую особым механизмом в движение, просевался в подставленные под сеть посудины.

Мой отец был доверенным лицом Сербина, как человек умный и притом опытный законник, к помощи которого нередко случалось и родным, и неродным прибегать в делах. Меня же любил дед больше других внуков за то, что я хорошо учился в гимназии (Рязанской) и по окончании в ней курса поступил в Московский университет. Кроме приездов к нему с родными я гащивал у него и один. В эти побывки я насмотрелся на его образ жизни. Меня в особенности удивляла его бодрая деятельность, которою вовсе не отличалось большинство помещиков. Он целый день был занят, несмотря на свои с лишком шестьдесят лет. Вставал он летом часа в четыре или в пять и тотчас пил чай, зеленый, по совету доктора, а не

черный. Затем, в эпоху его пристрастия к птицам, начиналась чистка клеток и закладыванье корма. Прочитав потом новополученный нумер «Московских ведомостей» или какую-нибудь статью журнала, он то отправлялся на пчельник, то ездил осматривать поля. В двенадцать часов был обед, очень вкусный и сытный. Во время обеда почти за каждым сидящим стоял особый слуга с тарелкою в левой руке, чтобы при новом блюде тотчас же поставить на место прежней чистую. Прислуга большею частию состояла из людей взрослых, даже пожилых. Она не отличалась особенною чистотой и опрятностью, при тогдашнем обычае нюхать табак и редко бриться. Зато она вся была грамотная. Дед сам обучал некоторых и поставил им в непременную обязанность выучить и своих детей чтению и письму. Буфетчик записывал расход, староста вечером подавал записку о полевых работах, даже повар получал иногда письменные заказы обедов. Орфографии, конечно, не требовалось, но пропуск слога или буквы не оставался без строгого замечания. Дед тотчас заставлял провинившегося сложить не вполне написанное слово, как это однажды случилось при мне с именем «Серей» (вместо Сергей). А провинившемуся, уже отцу семейства, было с лишком сорок пять лет. За обедом следовал самый короткий отдых: дед не спал, а скорее дремал с полчаса и выходил из спальни освеженный, иногда еще в лучшем расположении духа, чем до обеда. Тогда-то он угощал себя или гостей музыкой. Домашний оркестр состоял из тех же самых дворовых, что служили за столом. Дед сам учил их и всегда играл на первой скрипке. Доморощенные музыканты не походили на крыловских, хотя они и не пьянствовали[14]. Дед любил сериозную музыку, особенно квартеты Моцарта. Насколько верно и искусно исполнялись они, не могу судить; но знаю только, что мой слух и чувство находили игру стройною и приятною. В иные дни, после обеденного отдыха, дед чертил ульи, мельничные колеса и хозяйственные орудия, вычисляя их размеры. В пять часов подавался полдник, то есть творог, сливки, ягоды. Дед находил, что летом полезнее есть чаще, но понемногу. До чаю дед любил говорить со мной о моем учении, интересуясь преимущественно уроками математики и истории, о книгах, которые давал мне из своей библиотеки, о новостях, вычитанных им в журналах. Говорил он всегда дельно, умно и часто остроумно, хотя по временам заикался. В семь часов пили чай, после чего дед играл с гостем или проживавшим у него для компании бедным дворянином на биллиарде, в шахматы, в шашки. В девять часов ужинали и ложились спать.

Ранний отход ко сну и раннее вставанье, регулярное распределение времени, осмотрительный образ жизни наделили деда отличным здоровьем, которое, при врожденном крепком его сложении, обещало ему еще долгие и долгие годы.

Знакомство деда с сочинениями Вольтера не осталось без последствий. Он заразился религиозным неверием, сделался, как называли его соседи, «безбожником». «Я ничему не веровал, — сказал он мне однажды в откровенном разговоре, — хотя с малолетства был строго держан в правилах церковного учения». Он мог бы прибавить: «и теперь не верую», потому что до самой смерти оставался тверд в своем образе мыслей. Исповедь деда интересовала и вместе конфузила меня, как юношу крепкого в вере и боявшегося пошатнуться в своей крепости. Мое смущение увеличивалось, когда дед-вольтерианец в храмовой праздник и в день своего ангела бывал в церкви, после литургии приглашал священника на дом отслужить молебен, сам читал многое во время молебна и подтягивал дьячку. Я удивлялся такому противоречию в старом человеке, хотя оно объясняется, как я уже выше заметил, вниманием деда к суду и пересудам знакомых: не желая ни возбуждать дурной молвы, ни бравировать ее, если она была возбуждена, он внешним образом исполнял то, чего внутренне не признавал. Но, будучи неверующим, дед вовсе не отличался либерализмом: он все-таки был крепостником, хотя иного фасона, чем его соседи. Крестьяне и дворовые состояли у него в полнейшей рабской покорности. Выйти из-под его воли никому и в голову не могло прийти. Не исполнить его приказания считалось такою же виной, как исполнить его по-своему. Я сам бывал свидетелем, как провинившийся получал крепкие зуботычины, не смея сойти с своего места, моргнуть глазом, промолвить словечко; он должен был стоически выдерживать наказание, производимое без горячности и сопровождаемое внушительно бранными словами. Справедливость требует, однако ж, заметить, что эта безапелляционная власть умерялась в глазах дворового не одним лишь сознанием действительной провинности, но и убеждением в превосходстве деда как хозяина, хорошо разумевшего и свое и чужое дело. Ум равно подкупает и образованного и необразованного. Дворовые понимали, что требования и взыскания барина происходили от его рачительности. Благодаря ему они были грамотны и знали разные ремесла, так как дед, при постоянной, почти безвыездной жизни в деревне, имел надобность в своем коновале, своем садовнике, кузнеце, столяре, даже в живописце и часовщике.

Ремесла служили каждому из дворовых средством для личных заработков. Притом все они пользовались хорошим положением, не в пример соседним дворням, плохо одетым и содержимым и не имевшим, как говорится, ни кола, ни двора собственного. По этой причине они и мирились с бесконтрольною властью помещика, находя, что она все-таки вознаграждается его деятельною рачительностью о их пользе.

Сербин разошелся с женой в самом первом возрасте их сына. Добровольный вдовец сам взялся воспитать своего наследника. В педагогическое руководство было выбрано известное сочинение Руссо «Эмиль, или О воспитании». Дед принял за правило вести Мишу согласно с природой, ни в чем не стесняя его свободы, укрепляя физические силы и предохраняя от пустых страхов и всевозможных предрассудков и суеверий. Последние два слова разумелись в их обширном смысле. Деду хотелось направить детский смысл так, чтобы он с каждым годом более и более делался способным к восприятию тех понятий, распространение которых было задачею французских философов восемнадцатого века. Так как, по этой философии, вера в чудесное, сверхъестественное оскорбляла разум и роняла достоинство человека, то и следовало как можно скорее и вернее застраховать питомца от этого зла. Уроки пошли впрок и принесли быстрые плоды. Даровитый, восприимчивый, чрезвычайно живой Миша, пылкого, но доброго сердца, прежде всего начал отличаться в телесных упражнениях: еще отроком он отлично ездил верхом, отлично плавал, отлично стрелял. Деду говорил он «ты», вместо указного «вы»; называл его отцом, а не «папенькой»; здороваясь с ним, целовал его в губы, а не подходил к ручке. Строжайше было запрещено приставленной к нему няньке, а потом дядьке даже намекать о матери, так что мальчик долгое время не подозревал о ее существовании и едва ли знал, что он произведен на свет женщиной. Но как-то раз слуга, гуляя с ним, проговорился. Взволнованный мальчик тотчас вбежал в комнату отца с пылающим лицом, с глазами, блиставшими любопытством: «Отец, — закричал он нетерпеливо, — где же моя мать?» Отец побледнел. Он знал, что за одним вопросом пойдут другие, требующие объяснения. «Какая мать? Кто тебе сказал это?» Получив ответ, он успокоил сына первою пришедшею на мысль ложью и постарался отвлечь его любопытство в другую сторону. Но нескромный слуга был немедленно отдан в рекруты...

Как старались утаить от мальчика мать, так оберегали его и от многого другого, словно от запрещенного плода. Его не учили молитвам, не читали

рассказов из священной истории, не снабжали никакими понятиями касательно веры. Зато он рос на полной свободе, которую дали ему по принципу и которой он пользовался по инстинкту. Воля его не знала границ. Что ни пришло бы ему в голову, он тотчас исполнял или приказывал исполнять. Захочет обедать с отцом и старухою теткой — обедает; не захочет — обедает один, где ему угодно и когда угодно. Пожелает выйти из-за стола до конца обеда — встает без спроса и церемонии. Вздумается за обедом бросить тарелку в окно или на пол — никто ему не перечит. А если тетка или нянька невольно схватится за тарелку, сберегая господское добро, сам дед останавливает их: «Не стесняйте ребенка, после он сам узнает, что это нехорошо». К сожалению, этому ожидаемому «после», как увидим, не суждено было наступить. Впрочем, своевольный мальчик любил отца и, несмотря на свою вспыльчивость, был добр к домашним. Но доброта тогдашнего помещика — чувство капризное и ненадежное: она через минуту могла смениться противоположным расположением духа. Молодой Сербин не был исключением из этого правила.

С тринадцати лет наступила для него пора научного образования. Зажиточному помещику не было в то время надобности отдавать единственного сына в гимназию или частный пансион. Ни то, ни другое учебное заведение не давало тогда никаких видных прав. Обучавшийся дома нисколько не терял от того ни в военной, ни в гражданской службе. Напротив, он выигрывал в числе учебных лет, а при известной протекции — в чинах и наградах. Поэтому из Москвы или Петербурга был приглашен (по-тогдашнему выписан или нанят) Курганов, сын того самого Курганова[15], которого «Письмовник» долгое время служил настольною книгой, выдержав восемнадцать изданий[16]. Этот учитель как раз пришелся к воспитательным идеям деда: он был вольтерианец, вдобавок любивший рюмочку и не имевший понятия о нравственной сдержанности. Зная хорошо математику, он преимущественно занимал ею своего ученика, проходя с ним также другие науки: историю, географию, русскую грамматику. Уроками и беседами он развивал и укреплял в уме воспитанника те понятия, которые еще с малолетства были заложены дедом. В конце концов юноша стал совершенно распущенным, из не верующего в то или другое не верующим ни во что. Закон, правило не существовали для него; он жил по своей воле, слушался только своих желаний, руководствовался единственно своим удовольствием.

Сколько времени прожил Курганов у деда, не знаю; но помню, что вскоре после его отъезда я долго гостил в Сербине. И дед и дядя любили

меня. Последний был совершенная противоположность мне по воспитанию. Он делал все, что ни захочет: меня же с братом держали в страхе Божием, так что мы в письмах к родителям недаром подписывались «покорными и послушными сыновьями». Он не ходил в церковь, смеялся над богослужением, ел всегда скоромное; мы же читали при отце вслух молитвы, восстав от сна и на сон грядущий, пред обедом и после обеда, каждое воскресенье и праздник слушали обедню, строго держали посты Великий и Успенский, ежегодно говели и причащались. Он приобрел раннее знание таких вещей, которых мы не ведали, как сущие дети, хотя я находился уже в предпоследнем (третьем) классе гимназии. Он держал себя свободно, говорил со всеми громко и открыто, не боялся никаких страхов; мы же были до того застенчивы, что краснели при чужих людях, сидели смирно там, где нам укажут, и не смели ввязываться в разговор со старшими. Может быть, дядя и полюбил меня за такую с ним противоположность, равно как и я по той же самой причине почувствовал искреннюю к нему привязанность. Однажды гуляли мы с ним по саду, откуда пришли в большую рощу. Погода стояла жаркая — конец июня.

— Какая духота! — заметил дядя, прислонясь к дереву. — Нужно бы дождя, а то, пожалуй, греча пропадет от засухи.

— Что же делать! — сказал я. — Видно, так угодно Богу.

— Полно молоть вздор, любезный! Какой там Бог! Никакого Бога нет; дождь идет и нейдет сам по себе.

Несмотря на нестерпимый зной, дрожь пробежала по моему телу от таких, никогда мною неслыханных слов. Я не отвечал, но подумал с уверенностью: «Ну, брат, на этом не собьешь меня; ведь я прошел священную историю и катехизис и хорошо знаю Евангелие». В другое время я, может быть, и завел бы школьнический спор с юношей-атеистом, но тут как возражать? Ведь мы были далеко от дома, в густой роще; дядя ходил с ружьем, стреляя птиц на лету и без промаха попадая в цель, которую сам помечал на деревьях или меня заставлял намечать по моему выбору. Что значило ему, пылкому, своевольному юноше, при его понятиях, принять меня за птицу или выбрать целью вместо дерева?

Я упомянул о непоследовательности дедовского вольтерианизма. Твердый скептик во всем, что касалось религии, дед как будто и не знал того, что французские философы говорили о гуманном отношении к людям. От дяди не могло скрыться противоречие в образе мыслей его отца. По этому поводу между ними возникали несогласия, большею частию оканчи-

вавшиеся ничем: тот и другой оставался при своем, с тем различием, что мнение отца, как главы дома, переходило в дело, а мнение сына так и оставалось мнением. Нельзя сомневаться, что впоследствии и сын оказался бы в той же мере непоследовательным: роковая сила крепостного права налагала свою руку на лучшие умы и сердца, заглушая голос истины и вырывая с корнем благороднейшие чувства. Но в юношестве стремление к правде так живо, инстинкт любви так еще свеж, что и дурное воспитание не мешает ему порывисто выступать по временам наружу. Передам одну сцену между отцом и сыном. Она так твердо врезалась в моей памяти, что я и теперь как будто вижу ее пред собою. Все наше семейство было у деда по случаю какого-то праздника. Наехало также несколько соседних помещиков с женами. Дед был в отличном расположении духа, разговорчив и весел; гостей своих он настроил на такой же тон. Когда сели обедать в зале, выходившей окнами в сад, один только прибор оказался незанятым — прибор дяди, который всегда помещался рядом с отцом. Никто не удивился его отсутствию: каждый знал, что он вольная птица и что не для него писаны уставы общежития. Вдруг, после второго блюда, дверь из передней быстро распахнулась, и молодой Сербин почти вбежал в комнату. Никому не поклонившись, ни на кого не обратив внимания, он сильно взволнованным голосом обратился к деду: «Это ни на что не похоже, отец! Приказчик твой хуже мясника! Мясник сдирает шкуру с убитой скотины, а приказчик готов содрать кожу с живого человека. Хорошо, что я, возвращаясь с охоты, услышал крик и прогнал палача, а то он засек бы мужика до смерти».

Представьте положение сидевших за столом... Все ожидали грозной вспышки или еще худшего скандала. Но дед умел владеть собой: он только сильно нахмурился и продолжал есть. Гости последовали его примеру. Каждый наклонился над своею тарелкой, точно чувствуя особенный аппетит. Все присмирело и замолкло. «Я не буду обедать, — закричал дядя лакею, шедшему с тарелкой супа, — не подавайте мне ничего». Любимая отцовская собака подошла к нему приласкаться и хотела положить на колено морду: дядя дал ей такого пинка, что она, завизжав, отбежала в дальний угол. «Мне кажется, — заметил отец, не отрывая глаз от тарелки, — собака не виновата, что ты не в духе». — «Она виновата тем, — возразил сын, — что ей у нас жить лучше, чем людям». Размен слов, подливавший масло в огонь, а не тушивший пожара... Все еще больше сконфузились и присмирели, не зная, что делать: продолжать ли молча-

ние или завести о чем-нибудь речь. Наступила тишина, только не та, в течение которой «пролетает ангел». Положение было тягостное, крайне неприятное. К счастью, случай явился на выручку. Какая-то крупная птица прилетела в сад и уселась на дереве. Один из гостей, сидевших против сада, увидел ее и обрадовался возможности положить конец затруднению. «Посмотрите, какая большая птица», — сказал он, указывая в окно. Все глаза обратились по направлению его пальца. Действительно, это было какое-то особенное пернатое. Молодой Сербин, страстный охотник, дал знак гостям спокойно оставаться на местах, велел слуге принести из своей комнаты заряженное ружье, тихонько встал из-за стола и прицелился в открытое окно. Но от волнения, произведенного сценой с отцом, рука его не совсем была тверда; боясь промахнуться, он поманил к себе дворянина-компаньона, поставил его пред собою лицом к окну и положил к нему на плечо дуло. А компаньон страшно боялся огнестрельных ружей: ствол заколыхался еще сильнее. «Трус!» — проворчал с досадой дядя, оттолкнул старика в сторону и тоскливо обвел глазами всю компанию, спрашивая, кто заступит на его место. «Позвольте, я помогу вам», — вызвалась девочка лет пятнадцати, дочь мелкопоместной вдовы. Дядя кивнул ей. Она бодро стала на место; по небольшому ее росту надобно было согнуть одно колено для прицела. Раздался выстрел — птица свалилась наземь. Дядя не побежал через балкон, а прямо выскочил в окно, поднял добычу и внес ее в комнату, высоко держа за одно крыло. Все бросились взглянуть на птицу, но дядя подошел с ней к девочке со словами: «Кладу ее к ногам героини». Сердце у дяди было, как говорится, скоро отходчивое. Сердиться долго было не в его натуре. К тому же удача развеселила его. Заняв снова место за столом, так как обед еще не кончился, он протянул руку деду: «Ну, полно, отец, дуться: помиримся». — «Мирятся после ссоры, а я и не думал с тобой ссориться», — последовал ответ. «Вот ты всегда такой! Ну, если не хочешь протянуть руку, так я обниму тебя». Встал и обнял. Затем конец обеда и весь вечер он занимался девочкой, говорил с ней, угощал ее плодами, показывал сад.

За временем домашнего образования наступила пора службы. Деду не было надобности искать покровительства для выгодной карьеры сына. Он решил отправить его к Петру Андреевичу Кикину, который, как сказано, состоял в родстве с женою Сербина. Пред отправлением в Петербург послали юношу к матери. Мать душевно ему обрадовалась, но вместе и ужаснулась, когда он в первый же день свидания начал откровенно вы-

ставлять свое безверие. Она резко остановила его: «Как смеешь ты, несчастный мальчишка, судить о предметах, которые выше твоего понятия! Кто тебе внушил это? Неужели отец? Жалею и тебя, и его...» Однако делать было нечего: она благословила сына образом, вручила ему рекомендательное письмо к Кикину, дала денег и советы, как держать себя в Петербурге, и простилась с ним навсегда: больше им не пришлось уже видеться.

И вот мой дядя очутился в Петербурге. Кикин поместил его у себя, зачислив в свою канцелярию. Как держал себя среди совершенно новой обстановки сын природы, сербинский «Эмиль»? Нет сомнения, что на первых порах он разыгрывал Вольтерова Гурона*[17] и, подобно ему, натворил немало проказ, компрометируя и себя, и других. Да и мог ли человек, не имевший понятия о выдержке, о соблюдении условных общественных приличий, не знавший никаких форм и стеснений, росший на просторе и воздухе, творивший всегда свою волю, приноровиться к столичной жизни или канцелярским порядкам? Он скучал, бился, задыхался в обеих атмосферах, светской и бюрократической. Натура его не выдержала такой пытки: он бросил канцелярию и поступил в гусары. Последний род службы более подходил к его нраву и образу мыслей. Он скоро освоился с жизнью тогдашних кавалеристов: откровенное товарищество, разгул и проказничество пришлись ему по сердцу. Произведенный в корнеты, он проезжал однажды к отцу своему через Рязань. Это было в 1821 или 1822 году. Я оканчивал гимназический курс. Отец мой с матерью отправились на короткое время в деревню, оставив меня с братом и сестрами в городе. Неожиданно получаю я от дяди записку с приглашением повидаться с ним в такой-то гостинице. При входе моем в нумер он встретил меня словами: «Ну, любезный философ (так он прозвал меня за мою любовь к чтению), докажи-ка теперь силу своей философии: достань мне рублей двести взаймы. Как только приеду к отцу, тотчас вышлю эти деньги, а на возвратном пути привезу тебе подарочек». — «Где же мне взять? — отвечал я. — Отец теперь в деревне». — «Как где? Попроси у Вознесенского (смотритель уездного училища) или у Гаретовского (учитель русского языка в гимназии); говорят, они люди с деньгами». Я отправился на поиски, но Вознесенский отказал под тем предлогом, что в настоящее время у него нет свободных сумм, а Гаретовский хотя и мог бы дать, но не дал по другой причине: «Видишь ли, мой ми-

*«L'ingénu», роман Вольтера.

лый, если бы отец твой прислал тебя с запиской, я, не говоря ни слова, тотчас бы вынул из бумажника требуемое и вручил бы тебе, но ты — другое дело, ты еще молод еси (мне пошел шестнадцатый год): извини». Отказ того и другого огорчил меня: мне так хотелось услужить дяде! Я очень любил его, хотя и пугался его вольных мыслей и вольного обращения. Приехал я в гостиницу чуть не со слезами на глазах и хотел было начать рассказ о неудаче, как дядя остановил меня: «Спасибо, дружище, за хлопоты, я уж достал денег у одного знакомого». С этими словами вышел он из комнаты и тотчас же воротился. Минут через пять дверь отворилась: является молодой человек лет восемнадцати, как мне показалось, в солдатской шинели. «Рекомендую тебе, — сказал дядя, — юнкер нашего полка; отлично играет на гитаре и поет. Спой-ка нам что-нибудь». Юнкер снял со стены гитару и запел. Голос на мой слух был не мужской. Как ни был я наивен, но при догадке, что под юнкерскою одеждой скрывается женщина, я сильно покраснел, словно уличенный в преступлении. Дядя расхохотался. «Ах ты, красная девушка! — сказал он весело, вскочив со стула и бросившись ко мне. — Дай мне расцеловать тебя, мою невинность».

С этим-то юнкером-девушкой дядя прибыл к отцу, вовсе не ожидавшему такого визита. Мне чувствовалось, что в Сербине не обойдется без истории: так и случилось. Едва отец мой воротился в Рязань, как от деда прискакал гонец с письмом: «Беспутный сын мой, — писал дед, — приехал ко мне с развратною девкой. Когда я выговаривал ему за крайне неприличный поступок, он вспылил, раскричался, начал требовать денег, угрожая при отказе застрелить меня. Приезжайте как можно скорее». — «Что посеешь, то и пожнешь», — промолвил отец, складывая письмо, и тотчас велел запрягать. Ему удалось водворить согласие между дедом и дядей. Последний, возвращаясь в полк также чрез Рязань, снова прислал за мной и вручил мне обещанный подарок: «Немецко-русский словарь» Аделунга в двух толстых томах[18].

Это было последним нашим свиданием. В 1822 году я поступил в Московский университет, а дядя квартировал с полком в каком-то провинциальном городке, проводя время с товарищами обычным порядком. На одном завтраке поссорился он с другим офицером. Ссора вышла из пустяков, но должна была кончиться дуэлью. Товарищи, однако ж, коекак остановили ее, положив отпраздновать мировую вечернею пирушкой, которая продлилась за полночь. Все собеседники гурьбой вышли из гостиницы. На дороге к квартирам дядя остановился и сказал: «Что это за

глупая вещь — жизнь! Утром ссорься, вечером мирись; завтра опять ссорься, послезавтра опять мирись. Не хочу больше жить; застрелюсь!» — «Врешь, любезный, — возразили товарищи, — не застрелишься; это ты теперь так говоришь, спьяну». — «Ей-богу, застрелюсь!» — «Не застрелишься». Дядя замолчал, но, как только пришел на квартиру, взял пистолет и застрелился. Так кончилась жизнь молодого человека, даровитого и доброго, но загубленного странным воспитанием. Смерть его очень огорчила меня. Несколько дней я был невесел и задумчив, так что родные, у которых я жил в Москве, боялись, не заболел ли я.

Не знаю, как в первое время подействовала на деда смерть его единственного сына; но когда я увидал его через год после печального события, я не нашел в нем никакой перемены. По-прежнему он был здоров, бодр и весел; по-прежнему деятельно занимался хозяйством, музыкой и чтением; по-прежнему жила в девичьей молодая смазливая горничная. Говорили, что дед от времени до времени укрепляет и возбуждает себя так называемыми бестужевскими каплями[19] (нервная микстура) от 10 до 30 на прием. Каждый год приезжал я к нему летнею вакацией. Он рад был моему приезду, имея возможность делить уединение уже не с гимназистом, а со студентом физико-математического факультета. Выбор специальности ему очень нравился, он сам любил математику. Притом я не был невежда и в литературе, и в других предметах, например, в основаниях сельского хозяйства и в технологии, слушая лекции этих наук у профессоров Павлова и Денисова. В течение трехлетнего университетского курса я получал от деда по сту рублей (ассигнациями) на книги. Я же, с своей стороны, высылал ему из Москвы переводы исторических романов Вальтер Скотта, бывших тогда диковинкой. Дед жадно прочитывал их и, возвращая, просил о доставлении новых, как только они появятся.

По окончании курса я долго не выезжал из Москвы, удерживаемый частными уроками, которые давали мне средства жить самим собою, без помощи из отцовского дома. Поэтому о последних годах деда я могу говорить только по рассказам родных. В преклонных уже летах дед не избегнул смешной слабости, хотя и сохранил умственные силы. Пережив жену и сына, он задумал жениться. Хотя ему было уже за семьдесят, многие бедные помещики не затруднились бы войти с ним в близкое родство. Дед остановился на семействе ряжского помещика Тр[офим]ова. Из трех дочерей его деду более нравилась младшая, семнадцатилетняя девица. С того времени, считая себя женихом, он начал более заботиться с

своем костюме. Жалко было смотреть на умного старика, поддавшегося такой слабости... Ждали, кому из трех богинь вручит яблоко новый семидесятилетний Парис, но ожидание не сбылось, неизвестно по какой причине: девушка ли побрезговала старцем, нюхающим табак, или сам старец одумался и устыдился своей комической роли.

Скончался Сербин семидесяти шести лет, от апоплексического удара. Предполагая, что таков именно будет род его смерти, он давно уже запасся электрическою машиной, которую тотчас и велел привести в действие, когда за ужином ложка выпала у него из рук и он упал на правую сторону кресла. Но ни электричество, ни призванный доктор не оказали помощи. Законный наследник имения, племянник умершего, Ар[чаковск]ий, немедленно прискакал для распоряжений. Вскрыли завещание. Все дворовые получили отпускные, кроме одного, неизвестно почему, а горничная сверх того и денежное вознаграждение. Так как они были грамотные и каждый знал какое-нибудь мастерство, то освобождение от крепостной зависимости дало им возможность устроиться по их желанию. Все они зажили хорошо, а некоторые из них, более деятельные и распорядительные, даже разбогатели.

Наследник, приходившийся мне дядей, знал любовь ко мне покойного. Поэтому я мечтал и надеялся, что он подарит мне библиотеку. Не тут-то было: вместо библиотеки получил я золотые часы, которые вовсе не обрадовали меня. «И зачем ему библиотека? — повторял я с горем и досадой. — Ведь книги для него то же, что сено для собаки: и сама его не ест, и другим не дает...»

У Ар[чаковско]го было несколько сыновей. Одному из них, великому мастеру расстраивать наследственные имения, досталось Сербино. К расточительности владельца присоединились случайные бедствия. Сначала пожар истребил дом со всем бывшим в нем добром и — увы! — с библиотекой. Когда дворня и крестьяне сбежались тушить огонь, Ар[чаковск]ий остановил их, сказав: «Не трогайте! Пусть горит чертово гнездо!» Так поминал он деда за его вольтерианизм, хотя сам едва ли имел ясное понятие о Вольтере. Затем в одно жаркое лето страшная буря пронеслась над садом и рощей, одни деревья поломав, другие вырвав с корнем, и Сербино, мой милый, дорогой приют в юности, совершенно запустело, так что теперь и судить нельзя о его прежнем виде и состоянии.

[ГЛАВА III] ВРЕМЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЯ. УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ И ГИМНАЗИЯ (1816–1822)

Необходимость дать образование подросшим сыновьям и дочерям заставила моих родителей в августе 1816 года оставить деревню и поселиться в Рязани. Отец, после перерыва, снова поступил на службу. Несколько лет служил он по выборам заседателем в гражданской палате, а потом занимал коронную должность губернского уголовных дел стряпчего.

Гимназия, состоявшая в то время из четырех классов, помещалась вместе с двуклассным уездным училищем в одном и том же доме, в котором помещается и теперь[1]. Мы с братом поступили в первый класс училища. Ученики были разночинцы. На одних лавках с немногими дворянскими детьми сидели дети мещан, солдат, почтальонов, дворовых. Дворянство обыкновенно избегало школ с таким смешанным составом, боясь за нравственность своих детей, которых потому и держало при себе под надзором наемных учителей, гувернеров и гувернанток или помещало в пансионы, содержимые иностранцами. Но мои родители, как люди среднего состояния, не имели возможности прибегнуть ни к первому, ни ко второму способу образования. Им нужно было учение бесплатное, какими и были тогда уездное училище и гимназия. Сословное различие моих товарищей обнаруживалось и в одежде, и в прическе: одни ходили в сюртуках и куртках, снимая зимнюю одежду в нижнем этаже дома, а другие зимой сидели в тулупах и фризовых шинелях[2], подпоясанных кушаком или ремнем. Прическа также не отличалась одноформенностью: многие стригли волосы в кружок, а иные вовсе не стригли их, как дьячки. Наконец, возраст был заметно неровный: наряду с девятилетними, десятилетними мальчиками сидели здоровые и рослые ребята лет шестнадцати и семнадцати — сыновья лакеев, кучеров, сапожников. Все это пестрое общество, говоря правду, не могло похвалиться приличным держанием[3]. До прихода учителя в классе стоял стон стоном от шума, возни и драк. Слова, не допускаемые в печати, так и сыпались со всех сторон. Нередко младший класс гуртом бился на кулачки со старшим. Бой происходил на

площадке, разделявшей классы, и оканчивался, разумеется, побиением первоклассников. Однажды, я помню, какой-то бойкий школьник второго класса вызвался один поколотить всех учеников первого. Но он потерпел сильное поражение: толпа одолела самохвала, наградив его синяками под глаза. Трудно представить себе положение мое и братнино среди подобных сцен. Добропорядочно выдержанные дома, неопытные ни в борьбе, ни в кулачном бою, мы были изумлены, ошеломлены происходившим пред нами. Мы не только не могли принять какого-либо участия в рукопашных свалках товарищей, но и боялись потерпеть похмелье на чужом пиру, чтобы нам не надавал кто-нибудь тумаков или не влепил бы так называемой затрещины. Нам оставалось одно — сидеть или стоять в стороне да волей-неволей смотреть на буйную потеху. Остановить шалунов и забияк было некому: ни при училище, ни при гимназии не имелось надзирателей. Смотритель училища являлся только в учебные часы, а директор и на уроки не ходил, хотя квартира его находилась в гимназическом доме. Случалось, однако ж, но редко, что какой-нибудь учитель, живший также в гимназии и выведенный из терпения стуком и криком над его квартирой, придет угомонить развозившихся шалунов. При мирном настроении класса дело шло иначе: большинство учащихся громко повторяло уроки, остальные же занимались незатейливым завтраком: кто ел ломоть хлеба, обильно посыпанный крупною солью, кто огурцы или зеленый лук, кто печеные яйца и т.п.

Мы с братом поступили в первый класс училища несколько позднее срока, назначенного для приема, почему, как новички, и заняли последние места. Может быть, нам пришлось бы долго оставаться на них, если бы не выдвинуло нас вперед одно обстоятельство. Штатному смотрителю училища, Вознесенскому, вздумалось узнать, не забыты ли учениками «Правила для учащихся в народных училищах»[4], изданные при Екатерине II, знание которых требовалось от поступающего. Эта небольшая книжечка у меня и брата была в свежей памяти, тогда как все прочие успели забыть ее. Кого ни спросит смотритель, каждый или молчит, или путается в ответе; обратится к нам, мы так и режем без запинки. Окончив репетицию, Вознесенский сделал выговор классу, а нам с братом велел занять первые два высшие места. Не могу не сказать с чувством самодовольства, что я удержал за собой первый нумер не только в училище, но и в течение всего гимназического курса.

По уставу 1804 года двухлетний курс уездных училищ был очень обширен: в них полагалось преподавание пятнадцати предметов: Закона Божия

и Священной истории; должностей человека и гражданина*, русской грамматики и правил слога; географии всеобщей и русской с начальными правилами географии математической, истории всеобщей и русской, арифметики и начальных правил геометрии, начальных правил физики, естественной истории и технологии, чистописания и рисования. Опыт показал и бесполезность такого учебного плана, и невозможность выполнить его, если б он даже имел за собою какое-нибудь педагогическое основание; почему в мое время многие предметы сошли с расписания уроков: не было ни «должностей человека и гражданина», заменившихся «правилами для учащихся», ни правил слога, ни начальных правил геометрии, физики, естественной истории и технологии, ни рисования.

Из двух учителей уездного училища один обучал в первом классе Закону Божию и Священной истории (преподавание которых не было обязанностью исключительно духовных лиц), грамматике, арифметике и чистописанию, а другой во втором классе: арифметике, географии и истории. Оба они, особенно последний (И.А. Гульковский), молодой и даровитый человек, принадлежали к числу хороших преподавателей. Мы интересовались толковым объяснением его уроков и больше всего решением задач из математической географии.

Ни в училище, ни в гимназии за все время моего там шестилетнего учения не было телесных наказаний. Высекли только троих, и то по просьбе их матерей-вдов, у которых они отбились от рук и которые вынуждены были прибегнуть к начальству, чтоб оно усмирило непокорных детей. Провинившихся наказывали другими способами: ставили на колени и оставляли без обеда; в большом ходу были и другие, более грубые и недостойные меры внушения: волосодрание, пощечины, подзатыльники, иначе называемые затрещинами, и не без причины: кто получал их, у того действительно трещало в голове и сыпались из глаз искры, так что пол превращался в небо, усеянное звездами. Однажды учитель первого класса так артистически драл вихры шалуна-школьника, что у него распоясался кушак и из-за пазухи посыпался моченый горох, припасенный, конечно, на завтрак или на обед, если б ему пришлось остаться в училище без обеда. Мы с братом были избавлены от трех последних наказаний, сколько потому, что не заслуживали их, столько же и потому, что учителя иначе держали себя с нами, как единственными учениками из дворянского сословия.

*По книжке, изданной при Екатерине II[5].

В курсах уездного училища и гимназии был пробел, почитавшийся дворянами великим недостатком. Это отсутствие французского языка и танцования, двух предметов, необходимых в тогдашнем благородном обществе. Чтобы пополнить такой недостаток казенного образования, мы с братом в свободные от гимназических уроков часы ходили в женский пансион, очень недурной по тогдашнему времени, так как преподаватели в нем большею частию были гимназические учителя. Там же воспитывалась старшая сестра моя. Содержательница пансиона, madame Pelouse, при помощи своего мужа вела свое дело успешно. Она держала и полных пансионерок и полупансионерок, взимая с тех и других хотя не высокую по нынешнему времени, но значительную для тогдашнего плату, отчего после многих лет скопила порядочное состояние. Кроме пансионерок ей дозволялось брать в учение и мальчиков, которые приходили на уроки в известные часы и помещались в одной классной комнате с девицами, только за особым столом. В мое время там были дети губернских тузов: Князев (сын губернатора), двое Кобяковых, Росинский[6], все развязные, избалованные и своевольные барчонки, бойко говорившие по-французски и ловко танцевавшие. Боже мой! Сколько пришлось натерпеться от них мне и брату — застенчивым новичкам, только что начавшим французскую азбуку. Наш выговор носовых французских звуков возбуждал постоянные насмешки. Глагол «manger» особенно затруднял моего брата; passé défini[7] этого глагола всегда выходило у него каким-то русско-рязанским «маньжа», за что и прозвали его «маньжой». Бывало, как только он приходит в пансион, так и слышит приветствие: «Здравствуй, господин маньжа!» Сорванцы вели себя не лучше и с пансионерками.

Смотритель Вознесенский косился на меня и брата за наши частные уроки в пансионе. Он видел в этом как бы измену казенной школе, состоявшей в его ближайшем ведении. Однажды при повторении Священной истории он спросил меня, через сколько дней приходится Вознесение после Пасхи.

— Вот видишь ли, — сказал он, не получив ответа, — Священную историю ты забыл, а, верно, знаешь, как по-французски называется Вознесение.

— L'ascension, — ответил я быстро.

— То-то же, — промычал он.

Мне вдруг пришло в голову, что фамилия его (Вознесенский) во французском переводе будет monsieur de l'Ascension. Я не мог не рассмеяться, за что и был поставлен на колени с выговором:

— Как ты смеешь, дурак, смеяться, когда тебя спрашивают о двунадесятом празднике?

Директор гимназии, носивший также праздничную фамилию (Воскресенский), редко бывал в трезвом состоянии, почему мы и зрели его лик раза два в год, не больше: пред началом учения, в августе, и по окончании его, в конце июня. В оба раза он являлся как важная особа, давал нам строгие наставления, после которых, не знаю для чего, грозил нам пальцем. Редко видя его, мы не могли к нему присмотреться, как лисица ко льву, и потому очень боялись его. На втором году нашего гимназического курса он был замещен новым директором, нисколько на него не похожим. То был отставной полковник Иван Михайлович Татаринов[8], муж известной мистички (урожденной Буксгевден)[9]. Жена его, им оставленная, как свидетельствует П. Кукольник[10*], жила в Петербурге. Причина, почему разошлись они, неизвестна. Конечно, не за различие в образе мыслей, так как сам Татаринов принадлежал к масонам. Всего вероятнее ему, красивому и молодому мужчине лет тридцати пяти, не нравились странности жены, удалившейся от света и собиравшей к себе разнохарактерное общество для молитвенных «радений». Единственный сын их умер в детстве, и этою смертью была порвана последняя связь между ними. Не зная семейной истории нашего нового начальника, мы удивлялись, как такой бравый молодец не найдет себе под пару невесты, а живет один.

Директорство Татаринова принесло много пользы. Он сразу поднял гимназию во мнении рязанского общества, потому что принялся за дело с охотой и любовью. Гимназисты, для которых прежний директор был своего рода мифом, ежедневно видели нового в классе выслушивающим уроки учителей и ответы учеников. Состав преподавателей не изменился, но те из них — впрочем, весьма немногие, которые позволяли себе иногда являться в послеобеденное время «навеселе», воздерживались от своей слабости и аккуратно посещали классы. Много значило и то обстоятельство, что Татаринов по своему состоянию, чину, образованию и петербургским связям стоял наряду с губернскою знатью. Он держал себя независимо и как начальник отдельной части, и как лицо представительное в обществе, и как человек с самостоятельным характером. Дворянство не боялось уже отдавать своих детей в гимназию и относилось уважительнее к образованию, в ней получаемому. Сообразуясь с потребностью времени, Татаринов ввел частные уроки танцев для желающих, с платою

*«Русский архив», 1874, кн. 1.

по 25 рублей в год, пригласив отличного учителя, итальянца Коломбо, жившего прежде у богатого помещика Ржевского[11], который из крепостных своих девок устроил балетную труппу и нередко угощал публику балетами на рязанском театре*.

В день акта, утром, родители и посторонние собирались в гимназию на раздачу одобрительных листов и книг лучшим ученикам, а вечером на спектакль, устраиваемый в большой зале. Пьесы разыгрывались учениками. Татаринову же одолжена была гимназическая библиотека значительным приращением. Он подвигнул некоторых дворян на пожертвования. Тогдашний генерал-губернатор пяти губерний, А.Д. Балашов[13], выбравший Рязань местом своего пребывания, захотел с своей стороны сделать вклад и просил директора указать, в чем именно нуждается библиотека. Директор написал: «сочинения Шиллера, или сочинения Гете, или сочинения Корнеля и Расина», или... и т.д. Балашов понял смысл записки и заменил союз *или* союзом *и*, так что библиотека наша зараз получила книг рублей на шестьсот. Нельзя было не заметить перемены и в учащихся: они приличнее держали себя, лучше соблюдали классный порядок, внимательнее смотрели за своею одеждой, книгами и тетрадями. Неблагопристойные слова, грубые выходки, кулачные бои прекратились, хотя в промежутке между уроками дозволялись игры на просторном гимназическом дворе.

Важнее всего было внимание директора к успехам учеников. Отличая того или другого, он не имел надобности действовать по расчетам, с целью угодить знакомым или видным лицам. Доказательством служит тот порядок, в каком девять учеников четвертого класса гимназии окончили курс: первым вышел я, за мною следовали сын солдата, двое дворовых людей, сын мелкого чиновника, сын почтальона, двое дворян (из них один сын бывшего предводителя дворянства) и сын мещанина. В особенности отличал Татаринов тех гимназистов, в которых кроме успешного учения подмечал охоту к чтению, любознательность. Я с удовольствием вспоминаю, как, бывало, по окончании послеобеденных уроков** зазывал он меня к себе на квартиру, помещавшуюся в гимназии, угощал лакомствами и показывал библиотеку. Однажды, раскрыв лежавшую на столе

*Некоторые сюжеты[12] из этой труппы (Виноградова, Харламова) поступили потом на Московскую сцену.

**Каждодневно было по три двухчасовых урока: до обеда от 8 до 12, после обеда — от 2 до 4 часов.

книгу, я увидел «Приключения после смерти» Штиллинга[14]. Татаринов, как сказано, был масон, и потому большая часть его библиотеки состояла из сочинений масонского и мистического содержания.

Из числа учителей некоторые могли бы, по своим способностям и знаниям, и в настоящее время приносить пользу в учебном деле. Упомяну о Свистовском, учителе латинского языка, и о Воздвиженском, учителе естественной истории, занявшем впоследствии кафедру того же предмета в Демидовском лицее[15]. Но на первом месте я должен поставить И.А. Гаретовского, преподавателя Закона Божия и русской словесности. Он выходил из ряда своих товарищей как редкое исключение. В самом деле, что значило тогда учительское сословие? Оно образовало среду, почти совершенно замкнутую и жившую особняком. Ни оно не знало общества, ни общество не хотело знать его. Оно не пристало к дворянству, до которого ему было далеко; оно отстало и от круга средних и мелких чиновников, с которым не имело никаких общих интересов. Дворянин мог нуждаться в учителе, но вовсе не желал водить знакомство с учителем, которого если и приглашал к себе, то единственно с целью задобрить его в пользу своего ленивого или малоспособного сына, то есть угостить чем-нибудь или предложить какой-нибудь подарочек. На этом пункте и оканчивались все сношения. Самый визит педагога, несмотря на свою краткость, считался тратой времени, издержанного на скучнейший разговор. И о чем бы стали беседовать между собою лица, смотрящие в противоположные стороны? Не о грамматике же или арифметике, которые хорошо мог знать учитель, ничего остального не знающий. У чиновников были свои резоны не сходиться с учительским людом, так как последний не мог держать им компании ни в картежной игре, ни в толках о делах гражданских и уголовных. По этим причинам гимназические преподаватели, как существа непрактичные и неспособные для общежития, по общему мнению чудаки, пребывали в своем собственном кружке, ходили друг к другу в гости, ссорились и мирились между собою, проводя служебные часы в классах, а неслужебные — у себя на квартирах, большая часть которых находилась тоже в стенах гимназий. Вообще, ученые, на всех степенях учености, больших и малых, не пользовались ни сочувствием, ни уважением света, а скорее возбуждали сожаление и насмешки. Дворянин охотнее отдавал дочь за армейского прапорщика, если он был свой брат дворянин, или за чиновника, если он занимал теплое местечко, чем за ученого, вышедшего из духовного звания. Одна дама, жалуясь другой на

леность своих детей, прибавила: «Вижу, что им не бывать профессорами». Слушательница, дети которой, напротив, учились хорошо, приняла последние слова на свой счет и возразила с обидой: «Позвольте узнать, кто же это хочет сыновей своих делать профессорами?» Если на звание профессора смотрели так низко, чего могли ожидать бедные учители?

Не таков был Гаретовский. Двойное жалованье вместе с доходами жены его, первой акушерки в городе, обеспечивало его материально. Кроме занятий в гимназии он имел частные уроки, по пяти рублей (ассигнациями) — цена в то время значительная. Давал он их не по нужде, а по настоятельной просьбе некоторых родителей. Особой должности инспектора тогда не полагалось, но Гаретовский был им de facto[16], так как Татаринов постоянно советовался с ним по делам управления. В классе держал он себя превосходным образом: всегда прилично и ровно. Уменьем объяснять уроки он внушил нам охоту заниматься не только словесностью, но и Законом Божиим. Преподавание последнего предмета, да и всех вообще, отличалось в то время большею свободой. Преподаватель не был стесняем ни выбором учебных книг, ни их содержанием. Так и поступал Гаретовский: он сообщал нам многие вещи, которых не имелось в учебниках и которые ученик мог, по желанию, вносить в свою тетрадку. В конце курса мы познакомились с составом Библии и с содержанием Евангелия, благодаря тому, что и сам преподаватель вел объяснительное его чтение и нас заставлял читать его на дому. Мы не только знали наизусть отдельные тексты, приведенные в катехизисе, но и понимали их смысл в связи с предыдущим и последующим. Кроме того, Гаретовский давал мне из своей библиотеки законоучительные книги, между прочим какое-то полемическое богословие на латинском языке, где положения защищались или опровергались схоластически, в форме силлогизмов. С большим трудом, при помощи лексикона, я добирался до смысла того, что было предметом спора.

Еще с большею охотой учились мы у Гаретовского русской словесности. Предпочтение этого предмета другим было тогда господствующим во всех учебных заведениях, так как и в среде интеллигентного общества литературные интересы стояли на первом плане. Гимназист мог оказывать малые успехи в математике, латинском или французском языке, но тщательное приготовление уроков учителю русского языка считалось обязательным и заслуживало особую похвалу. Конечно, такое предпочтение много зависело и от личности преподавателя, от его способности вести дело,

от уменья привлечь учащихся к своим урокам. Гаретовский был наделен этою способностью: он хорошо знал свой предмет, владел даром слова и на письме, и в разговоре. Увидев при переходе нашем из училища в первый класс гимназии плохое знание орфографии, он занялся ею и довел нас до желанной цели. Проходя риторику, заставлял выучивать наизусть многие места из сочинений Карамзина, И. Дмитриева, Крылова, Жуковского, Батюшкова, которые начали сменять преобладавшее влияние Ломоносова, Державина, Богдановича и Хераскова. Незаметно приобрели мы и отдельные фактические знания из истории литературы. Нас трудно было сконфузить вопросами: что сочинили Херасков и Богданович, какие лучшие оды Ломоносова и Державина, в каком роде писали Капнист, Аблесимов и т.п. Из любви к чтению мы добровольно делали то, что при других условиях выполняется принужденно и потому безуспешно. Вот один пример из многих. Послеобеденный урок начинался в два часа пополудни. Чтобы выгадать время на чтение интересовавшей нас книги, мы, будучи в четвертом классе, сговорились обедать раньше и собираться в гимназию за полчаса до прихода учителя. На что же употреблялись эти полчаса? Я и товарищи мои поочередно читали «Освобожденный Иерусалим» Тасса в прозаическом переводе Москотильникова (1819). Помню, как мы восторгались битвами крестоносцев с мусульманами, нисколько не пленяясь прелестями Армиды и ее времяпрепровождением с Ринальдо. Если же случалось манкировать учителю и в нашем распоряжении оставались свободными целых два часа, мы задавали себе какую-нибудь тему для сочинения, которое в классе оканчивали и прочитывали, чтобы видеть, кто из нас лучше умеет выражать мысли. О самых мыслях умалчиваю. Нельзя требовать сериозного содержания от юношей 15 и 16 лет, при скудном материале их знаний. Хорошо и то, что мы мало-помалу приучились к литературному складу речи, на котором, по нашему знакомству с Карамзиным и Жуковским, отражалось влияние того либо другого.

Эти чтения и письменные упражнения в классе, устраиваемые учениками по вольному их побуждению, образовали своего рода литературные собрания, бывшие тогда в моде и в университетах, и в Благородном пансионе при Московском университете, и в кадетских корпусах[17]. Но, кроме того, в Рязанской гимназии учредилось, по почину Гаретовского, другое собрание под названием «Кабинет для чтения». В библиотечной зале раз в неделю (в среду), по окончании урока, сходились ученики третьего и четвертого классов, за исключением тех, которые провинились леностью

или шалостями. При открытии кабинета Гаретовский произнес речь*. С каким нетерпением дожидался я каждой среды! С каким удовольствием спешил в библиотеку, где на большом столе разложены были последние книжки журналов! Вокруг этого стола, занимавшего средину комнаты, садились мы и Гаретовский, а сторонние посетители размещались у стен. Читал сам Гаретовский и назначаемые им ученики. Для чтения выбирались частию известные сочинения писателей, преимущественно карамзинского времени, частию нововышедшие, например описание грозных действий Иоанна IV из девятого тома «Истории государства Российского». Иногда трое или четверо учеников декламировали какую-нибудь сцену из трагедий Озерова. При выборе пьес заметно было особенное пристрастие нашего преподавателя к Воейкову: он часто угощал нас отрывками из его перевода Делилевых «Садов»[19], его посланий и даже некоторых критических статей. Над этим пристрастием подтрунивал директор, да и мы не находили вкуса в блюдах воейковской стряпни. Заседание оканчивалось чтением шарад, печатавшихся почти в каждом нумере журнала. Нам очень хотелось отгадать их, но на беду всегда предупреждал нас кто-нибудь из сторонних посетителей, в числе которых бывали и почетные лица: сам Балашов, чиновники его канцелярии, приехавшие с ним из Петербурга, корпусный командир Потемкин и другие.

Слабость Гаретовского к творениям Воейкова имела свою причину. В Рязани проживала княгиня Екатерина Александровна Волконская[20], родственница князя П.М. Волконского, начальника Главного штаба. Женщина образованная и уважаемая обществом, она любила литературу. Из трех дочерей ее, умных и начитанных, одна вышла замуж за полковника Казначеева, бывшего впоследствии правителем канцелярии одесского градоначальника Воронцова[21]. С сильно религиозным настроением, княгиня искала человека, который своею беседой удовлетворял бы ее чувству, направленному на духовные и литературные предметы. Случай или рекомендация свели ее с гимназическим преподавателем Закона Божия. Гаретовский сделался ее желанным посетителем, домашним человеком. Взяв духовно-назидательную книгу или новое литературное произведение, он проводил у ней вечера в чтении и разговоре о читанном. У нее-то познакомился он с Воейковым, наезжавшим в Рязань**. Это знакомство льстило

*Она напечатана в № 21 «Вестн[ика] Евр[опы]». 1820[18].

**Письма Воейкова к этой княгине напечатаны в «Библиографических записках» Афанасьева за 1858 год (№ 9).

учителю. Имя Воейкова тогда славилось: оно стояло в поэтическом триумвирате наряду с Жуковским и Батюшковым. Между посланиями триумвира одно адресовано Гаретовскому:

Ты истинный мудрец, Гаретовский! и в свете
Немного мудрецов подобных на примете.
Не раболепствуешь надменным богачам,
В переднюю вельмож не ходишь по утрам
Потакать, постоять, польстить, попресмыкаться
И ни чинов, ни лент не хочешь добиваться.
В телесном здравии, в спокойствии души,
Однообразно ты, без блеска и в тиши,
Все дни свои ведешь и мирно, и блаженно,
И в маленьком кругу ты счастлив совершенно
Любовью, ласками подруги и детей*.

Гаретовский был действительно мудрец в смысле человека, обладавшего житейскою мудростью. В обществе служилого и неслужилого дворянства он умел поставить себя так ловко и достойно, как удавалось редкому педагогу. Он не разыгрывал роль вороны в павлиньих перьях, потому что знал себе цену и пользовался не покровительскою лаской, а таким уважением, какое оказывают друг другу стоящие на одной ноге. К каждому архиерею он входил в фавор, что и неудивительно: как отличный законоучитель, знаток церковного устава и богослужения, он был для него приятным собеседником, а как человек практически умный, хорошо знающий жизнь города и обычаи горожан, он был полезным советником. На экзаменах в семинарии он вопросами и возражениями выказывал знание и начитанность, удивлявшие профессоров. Особенно любил его архиепископ Гавриил[22], бывший его товарищем по Духовной академии. По протекции Гаретовского давались места священников и дьяконов, так что его в шутку называли викарным[23]. Служебную свою карьеру заключил он директорством в Витебской гимназии; а по выслуге полного пенсиона вышел в отставку и остальные годы жизни (ему было с лишком 80 лет) провел в Рязани.

Заботясь об успешном учении детей, которые были моложе всех своих товарищей, отец пригласил на житье с нами лучшего ученика старшего класса, И.О. Шиховского, занимавшего потом кафедру ботаники в Петербургском университете. Выбор оказался удачный. Поляк по происхождению, Шиховский до поступления в гимназию получил очень хорошую

*«Вест[ник] Евр[опы]», 1819, № 6.

подготовку, свободно говорил по-французски. А это-то и было нам в особенности нужно, так как гимназические преподаватели новых иностранных языков, плохо понимая свое дело, старались привести нас к цели, недостижимой в среднеучебном заведении. Мы с братом полюбили нашего приставника — доброго и образованного юношу. Его добросовестность в исполнении и уменье держать себя в чужом доме оказали доброе на нас влияние.

Гимназическое учение моего времени было свободнее сравнительно с нынешним. Гимназист, успевая в одних предметах, мог оказывать неудовлетворительные успехи в других, и это мешало его переводу в следующий класс. Уроки учителей французского и немецкого языков не приносили нам ни малейшей пользы. Мы смотрели на них как на трату времени, как на потешную рекреацию[24]. Не зная ни слова по-русски, наставники заставляли нас твердить наизусть грамматические правила. Труда было много, а толку никакого: смысл заученного оставался для нас загадкой. Свобода выражалась также в более независимом отношении к учебнику и в собственных, сверхкомплектных занятиях учащихся. Проходя историю по Шрекку[25], мы исключительно занялись Грецией и Римом, отчего получили особенное пристрастие к героям древности, подобно всем тогдашним юношам. Любознательные ученики по собственной охоте дополняли сведения о классическом мире отрывочными фактами из истории новых народов. Я, например, зная имена греческих и римских философов, поэтов, ораторов, историков... вносил в особую тетрадь имена ученых и авторов, прославившихся в других странах. Конечно, в памяти моей накопился простой запас чисел, имен и заглавий сочинений, которых я не читал, да и не мог читать, но все же это было нечто больше круглого невежества, которое разевает рот при имени Евклида или Исократа, смешивая последнего с Сократом. Вообще, мы многим обязаны самим себе. Можно сказать, что чтение книг приносило нам в иных случаях больше пользы, чем учебник, иногда дурно объясняемый преподавателем, иногда непоследовательно им проходимый. И потому в наше время было не редкостью встретить людей, которые хотя плохо учились в школе, но вышли развитее и образованнее кончивших полный курс учения. Такие факты имели место не только в жизни гениальных натур, каковы были Пушкин и Гоголь, но и в жизни натур просто любознательных. Наша любознательность большею частию возбуждалась какою-нибудь книгой, попавшейся в руки. Если нам нравилось ее содержание, мы старались даже забе-

гать вперед, то есть заниматься предметами, не положенными в гимназии. Увидав в доме моего товарища физику Гиларовского[26], я выпросил ее для чтения, а читая, начал делать выписки, которые обратились в сокращенное изложение всей науки. Подарили мне «Плутарх для юношества» Бланшара[27], я извлек из него биографические сведения о знаменитых мужах, а потом, достав «Плутарха для девиц» Ф. Глинки[28], пополнил жизнь героев новыми сведениями о жизни героинь. Сильно заинтересовала меня книга «Открытые тайны древних магиков и чародеев, или Волшебные силы натуры, в пользу и увеселение употребленные»[29], я научился из нее решению нескольких замысловатых задач и произведению некоторых физических и химических штук. Из библиотеки отца моего, очень скудной, прочел я «Театр» Коцебу, романы Августа Лафонтена и Редклиф, «Всемирный путешествователь» (аббата де-ла-Порта)[30]. Коцебу дал мне понятие о том, что такое драма, а де-ла-Порт сообщил множество географических сведений. Выписки из книг, более и более накоплявшиеся, я переписывал набело, в чистые тетради. Хотя на такую работу тратилось много времени, но я не могу и не хочу назвать его потерянным: это было бы и несправедливо, и неблагодарно. Неуменье справиться с каким-нибудь делом заставляло меня прибегать к чужой помощи. Преподаватель алгебры, объяснив нам, но очень смутно, теорию уравнений первой степени, задал несколько задач. Сколько ни мучился я над ними, но все не знал, как приступить к их решению. Нужно было обратиться к кому-нибудь за советом. Шиховский уже не жил у нас. Я вспомнил бывшего моего учителя арифметики в деревне, проживавшего где-то в Рязани, и послал за ним няню. Няня отыскала его и привела, к счастью, трезвого. Он тотчас объяснил мне не понятое мною в классе, и я при нем же сам решил задачи. Боже мой, в каком я был восторге от ниспавшего на меня света! Я готов был расцеловать моего просветителя. Нечего было подарить ему, да он же и не принадлежал к интересанам[31]. Он удовольствовался обедом и тремя рюмками ерофеича, который был для него дороже всякой гекатомбы[32].

При воспоминании о школьном периоде жизни я и теперь с интересом останавливаюсь на том внутреннем, духовном настроении, которое владело мною три года сряду: последний в гимназии и два первых в университете. Оно возникло и развилось под союзным влиянием нескольких причин: темперамента, домашней обстановки и гимназического учения.

Отец мой считался человеком очень религиозным в церковно-обрядовом смысле этого слова. Он твердо знал чин богослужения, за что был много уважаем приходским священником. По тому же направлению он повел и детей. С девятилетнего возраста мы ходили с ним к обедне каждое воскресенье, каждый двунадесятый праздник, а накануне последнего и ко всенощной. О манкировках[33] поблизости от нас приходской церкви (Семиона Столпника, на старом базаре) не могло быть и речи. Он строго требовал, чтобы во время службы стояли мы чинно и со вниманием слушали все, что поется и читается. Нередко и охотно бывали мы в соборе, где восхищались и хором певчих, и торжественностью служения архиепископа Феофилакта Русанова (потом бывшего экзархом Грузии). В результате вышло то, что я до такой степени освоился с богослужением, что, не проходя его в гимназии, твердо знал порядок литургии, вечерни и всенощной и, кроме того, еще поукрепился в церковнославянском языке. И то и другое было знанием, которым я даже гордился, сравнивая себя с детьми других знатных и богатых дворян, которые не умели порядочно прочесть ни одной молитвы и стояли в церкви без малейшего понятия о том, что пред ними происходит.

Столь же строго соблюдались в нашем доме посты Великий и Успенский. Съесть в эти девять недель что-нибудь скоромное было для нас немыслимо; даже оскоромиться нечаянно, по забывчивости, считалось великим грехом. Строгость особенно увеличивалась во время говенья на Страстной неделе: мы ежедневно ходили три раза в церковь — к заутрене, обедне и вечерне. Как ни хотелось нам спать, но делать было нечего: няня будила нас с первым ударом колокола, и мы, зевая, морщась и дрожа от холода, волей-неволей вставали и одевались. После исповеди нам не давали не только ужинать, но даже пустого чаю. Каково было мальчикам ложиться в постель голодными и оставаться с пустым желудком от 6 часов вечера до 11 часов утра. Конечно, это тяготило нас, но так как нам постоянно внушалось, что говенье — необходимая обязанность христианина, то мы не роптали на отца, требовавшего от детей того же, что он сам исполнял неуклонно. Сверх того, многие церковные песни нравились моему детскому сердцу. Я чувствовал такое удовольствие при чтении правила пред причастием[34], что вздумал было выучить наизусть все содержащиеся в нем молитвы. Однако ж работа оказалась не по силам: я остановился на шестой или седьмой.

Одновременно с домашнею атмосферой такого рода действовало на меня преподавание богословия в гимназии. Я уже говорил об охоте, возбужденной во мне к этому предмету нашим законоучителем Гаретовским, — охоте, заставившей меня читать даже полемические книги с желанием узнать, как думают противники православия и как следует опровергать их. Действительно, катехизические уроки и объяснительное чтение Евангелия интересовали меня более, чем хождение в церковь. Но еще сильнее было наступившее затем влияние мистическое. На него направил меня сам директор, давая мне, как первому ученику, книги из своей библиотеки. Хотя я весьма мало понимал и в «Приключениях после смерти», и в «Тоске по отчизне» (Юнга Штиллинга)[35], но это-то самое и подстрекало меня. Мне хотелось добраться смысла аллегорий, которыми наполнено второе сочинение, отыскать ключ к таинственному содержанию первого. Третья книга оказалась доступнее моему уму-разуму. Это было одно из *творений* госпожи Гион (так их тогда титуловали), розданное в награду лучшим гимназистам на экзамене: «Легчайший способ молиться»*[36]. Удовольствие мое было все-таки неполное: не было человека, с кем я мог бы поговорить о том, что прочтено мною, кто своими силами разрешил бы мои недоразумения. Случай пришел ко мне на выручку: он познакомил меня со студентом Рязанской семинарии, богословского курса, Захаром Петровичем Петровым**. Так как он жил почти рядом с нашим домом, то он часто приходил ко мне потолковать о предмете, равно нас интересовавшем. Он был лет на шесть, если не более, старше меня; но это-то мне и нравилось: я именно нуждался не в ровеснике, а в руководителе. На первый раз он принес мне рукопись известной полемики между Филаретом (ректором Петербургской духовной академии) и Феофилактом Русановым (архиепископом Калужским) по поводу «Эстетических рассуждений» Ансильйона, переведенных студентами Калужской семинарии и напечатанных с одобрения их пастыря, когда он состоял членом Синода[38]. Так как я не

*Вскоре, однако ж, чиновник, присланный из Москвы или Петербурга, отобрал у нас все экземпляры. Директор в это время осматривал училища. Возвратясь, он сделал выговор заступавшему его место, который допустил чиновника распоряжаться в гимназии в отсутствии ее начальника.

**Поступив в Московский университет, я писал к нему письма, адресовав первое из них таким образом: «Его благородию, милостивому государю и любезнейшему другу моему Захару Петровичу Петрову». Приемщик писем, взглянув на адрес, улыбнулся и сказал: ну, без любезнейшего друга можно было и обойтись. Петров из семинарии поступил в Духовную академию (Московскую), а по выходе из нее[37] был, если не ошибаюсь, священником в Берлине при нашей посольской церкви.

читал самого перевода, да если б и прочел, то ничего бы не понял по совершенному неведению, что такое эстетика, то спор двух иерархов не имел для меня значения. Но зато «Божественная философия» Дю-Туа[39], данная мне Петровым, была истинным сокровищем. Мистический пафос автора поразил меня. Я погрузился в ее чтение, тщетно стараясь понять смысл ее содержания так же легко и удобно, как понимал гимназические уроки. Особенно искушал мою пытливость «звездный дух», часто упоминаемый в книге. Сколько раз ни перечитывал я страницы, где встречается это выражение, сколько ни ломал головы над его уразумением, ничто не помогало. Я обратился за помощью к Петрову... Увы! И он сознался в своей несостоятельности на этом пункте: «звездный дух» так и оставался для меня загадкой сфинкса*. Новая книга «Брань духовная», составляющая первый том «Путеводителя к совершенству жизни христианской» (1816), переведенного Лабзиным, подействовала более на мое поведение, чем на любознательность[40]. Автор ее, Амвросий Ломбез, аскет и мистик, дает наставления, как побеждать страсть и торжествовать над пороками. Надежда, что я исподволь украшу свою душу добродетелями, достигну совершенства христианского... чрезвычайно манила и обольщала меня. Я стал выписывать советы о приобретении воздержания, смирения, милосердия и других качеств и старался, борясь с самим собой, следовать предписаниям выбранного мною морального кодекса. Действия моего подвиж-

*Мистики различают по отношению к человеку три рода духа или света: стихийный, звездный и чистый, или божественный, свет Духа Святого. Божественный был присущ душе Адама во время его райского блаженства, и он должен быть воспринят каждым возрожденным человеком, по словам апостола Павла: «преобразуйтеся обновлением ума вашего» (Рим. XII, 2); естественный же, просто разумный, но непреображенный человек его не имеет. Второй свет — свет разума остался в Адаме и по его падении и передан от него всем людям. Смотря по тому, примешивается ли к нему действие чувств или не примешивается, он представляет два вида. Действуя как здравый смысл, то есть приобретая мысли под влиянием внешних впечатлений, воспринимаемых нашими чувствами, он есть «дух стихийный»; тот же дух, действуя независимо от чувств и внешних предметов, есть свет или «дух звездный», названный так по своему сходству со светом звезд, который хотя и блистает, но не может сравниться с блеском солнца, уподобляемым божественному свету. Этому звездному духу дано знать многое, что служит предметом человеческого ведения, но не дано знать тайны Божии. Последнее знание принадлежит только духу божественному («Божественная философия» Дю-Туа, т. I, гл. 1 и 3). Замечу, что термин «звездный дух» сильно затруднял также одного из наших мистиков, князя Гавриила Петровича Гагарина, бывшего министром коммерции при Павле I и умершего в 1807 году. Сочинение его, изданное в 1813 году под названием «Забавы уединения моего в селе Богословском», содержит в себе, между прочим, шесть «духовных писем»: это не что иное, как извлечение некоторых мыслей из «Божественной философии».

ничества выражались различно, по мере моих сил. Вместо обычных двух чашек чаю я выпивал одну; дадут мне какое-нибудь лакомство, я отдавал его дворовому мальчику; помогу брату или товарищу в приготовлении задачи, и учитель похвалит их: я радовался похвале, как награде моему смирению, отсутствию во мне зависти и честолюбия; если прислуга разобьет стакан или тарелку, я принимал вину на себя, за что получал выговор, а иногда и стоял в углу: наказание не огорчало меня, так как я видел в себе своего рода мученика за любовь к ближнему. В послеобеденное время, когда отец и мать отдыхали, а брат и сестры резвились в саду, я уходил в пустой зал и молился втайне: это нужно было для искуса в мысленной молитве, в уменье поклоняться Отцу духом и истиной, по учению Гюйон. В классе я уступал товарищам, не ссорился с ними, перестал участвовать в общих играх. Таковы были факты моей духовной брани. Они оказались не без последствий: я потерял прежнюю веселость и живость, сделался смирнее и задумчивее, даже похудел. И дома, и в гимназии заметили во мне наружную и внутреннюю перемену. Родители испугались, думая, не болен ли я. Болезнь действительно была, если называть этим именем насилование молодой жизни. Оно могло, пожалуй, довести меня и до опасных результатов, потому что природа, по словам Гуфеланда, не оставляет без наказания добровольного отступничества от ее законов. Но дело в том, что я чувствовал тяготу лишь в некоторых моих подвигах: воздержание от пищи, игр и гимнастических упражнений было для меня действительно лишением, как противное позывам юношеского возраста; пристойное же, гуманное отношение к родным, товарищам и прислуге нисколько не тяготило и не стесняло меня, потому что оно было инстинктивным стремлением моей доброй натуры, которую, конечно, следовало развивать разумным образом, а не таким, на какой я напал случайно. И до знакомства с «Духовною бранью» я обращался с дворнею не по крепостному обычаю: я не оскорблял ее ни делом, ни словом, за что и был любим ею особенно.

Я кончил гимназический курс в июне 1822 года, пятнадцати лет с половиной от роду. Публичный экзамен был для меня торжеством. Родители восхищались мною как первым учеником. На акте раздавали посетителям мое сочинение: «Об истинной славе», напечатанное в губернской типографии. Не содержа в себе ничего, кроме слов, слов и слов, оно было написано по всем правилам схоластической риторики: сначала предложение, потом доказательство, далее противное... все, чему следует быть

в хрии[41]. В пример ложной славы кого было привести, как не Наполеона? И вот я заклеймил его всеми клеймами позорного, кровавого честолюбца, Risum teneatis, amia[42]... Тогда это не возбуждало смеха.

Что же, спрашивается, вынесли мы с собою по окончании гимназического курса? Своя ноша не тянет, говорится в пословице. Наша ноша не тяготила нас еще и потому, что она не была велика ни объемом, ни весом. Мы основательно прошли Закон Божий и русский язык, приобретя при этом значительный навык в литературном изложении. Преподавание латинского языка ограничилось этимологией, чтением истории Евтропия и нескольких биографий из Корнелия Непота; о переводах с русского на латинский, о так называемых экстемпоралиях[43] не было и помину. Особенно жалели мы о наших скудных успехах в алгебре и геометрии, в чем надобно винить неискусство учителя. Сведений по истории и географии набралось немало, но они не представляли целостности и систематичности. Новые языки остались для нас страной неведомою, которую пришлось нам открывать впоследствии самим[44]. Если прибегнуть к оценке наших успехов сравнительно с современным образованием гимназистов, то справедливо будет сказать, что мы едва ли выдержали бы экзамен в пятый класс нынешней гимназии. Я исключаю греческий язык, который у нас не проходился, а ставлю на вид только предметы, общие гимназическому курсу, как прежнему, так и настоящему. Такое сравнение говорит, конечно, в пользу новейшего состояния учебного дела, но вместе с тем оно не служит, однако ж, укором прошедшему. Нет, я вовсе не имел в виду укорять; напротив, я имею в виду совершенно другое, и именно вот что. При всем убеждении в непреложности прогрессивного хода вещей надобно помнить, что прогресс бывает двоякого рода: количественный и качественный. Можно преуспевать в ширину, и можно преуспевать в глубину. Нет сомнения, что при быстром развитии образования в такое-то время больше людей грамотных, больше знающих грамматику или арифметику, чем было до того лет за двадцать или за тридцать. Но отсюда не следует, чтобы каждая единица в позднейшем большинстве знала и грамоту, и арифметику, и грамматику непременно лучше каждой единицы прежнего меньшинства. Иногда выходит совершенно наоборот: многие личности старой эпохи превышали по развитости и знаниям людей, позднее их пришедших в мир. Применю эту мысль к гимназии моего времени. Мы кончили курс в числе девяти или десяти человек. По какому расчету, на каком основании каждый из нас должен быть поставлен не-

пременно ниже каждого из девяти или десяти гимназистов, кончивших курс... хоть бы, например, в 1876 году? На основании меньшего количества знаний, вынесенных нами из школы? С этим нельзя не согласиться, но в то же время нельзя не заметить, что, при скудном научном запасе, мы приобрели в гимназии то, чего и теперь можно не приобретать: любознательность, охоту к чтению и самообразованию, восполнявшие недостаток школьного учения, привычку к работе, желание и способность быть полезными своим трудом. Вот те драгоценности, за которые мы с благодарностью, с доброю памятью расставались с нашими наставниками. Душевно желаю, чтоб и сын мой, в итоге своих воспоминаний, сохранил, подобно мне, воспоминание об искренней привязанности к месту своего воспитания.

[ГЛАВА IV]
ВРЕМЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. УНИВЕРСИТЕТ (1822—1826)

По выходе из гимназии я не составил себе определенного понятия о выборе карьеры и положился на решение родителей. Отец, как помнится, думал повести меня по той же дороге, по которой сам шел немалое время, то есть записать меня в одно из присутственных мест Рязани, чтобы я там, служа и выслуживая чины, занял наконец какую-нибудь должность. Но мать решительно воспротивилась такому предположению. Она видела мою охоту к наукам и чтению, и ей больно было думать, что сын ее, кончивший гимназический курс первым учеником, остановится на полдороге своего образования. Конечно, при этом она не имела в виду сделать из меня учителя или профессора: такое намерение не согласовалось с общим мнением тогдашних дворян, относившихся неуважительно к ученому сословию; но, по крайней мере, она понимала, что университет дает известные права, с которыми и в службе, военной или гражданской, молодой человек идет более успешными шагами. И потому, после долгих разговоров и многих совещаний, решено было отвезти меня в Московский университет. Настояв на таком решении, мать моя едва ли постигала цену услуги, оказанной сыну; но сын и до сих пор свято чтит ее память, как память своей кровной благодетельницы.

По уставу я не имел права на поступление в университет: мне еще не было шестнадцати лет. Боясь помехи со стороны начальства, если б оно захотело в точности следовать постановлениям, отец выпросил у директора рекомендательное письмо к ректору университета, Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому. И вот с этим письмом явился я к нему в сентябре 1822 года. Прочитав его и просмотрев мой аттестат, он сказал мне: «Аттестат *твой* очень хорош, директор хвалит *тебя*, как прилежного юношу, и потому можешь подать прошение, хотя *тебе* и недостает трех месяцев до положенного возраста»*. Слова эти свалили гору с моих плеч.

*В мое время не только учителя гимназии, но и многие профессора, обращаясь к учащимся, говорили им: *ты*.

Я поспешил в правление университета и записался на юридический факультет, так как предполагал, что и по окончании университетского образования мне все же придется идти на гражданскую службу. От вступительного экзамена я был освобожден, подобно всем гимназистам, аттестат которых свидетельствовал об успешном прохождении ими полного гимназического курса.

Учение в университете продолжалось три года. Но из них первый проходил в слушании не предметов выбранной специальности, а предметов общих, набранных из разных факультетов. Я не могу сказать положительно, по какому поводу принята была такая мера, но, рассуждая теперь, нахожу ее небесполезною ввиду тогдашнего положения гимназий и университетов. Этот общий или сборный курс служил как бы переходною ступенью от общеобразовательного учения к учению университетскому. Гимназический аттестат не всегда верно указывал меру надлежащей подготовки к слушанию профессорских лекций. Первый год в университете доставлял возможность некоторым восполнить недостаток знаний в том или другом предмете. Кроме того, весьма немногие, заявившие желание поступить на такой-то факультет, руководствовались при своем заявлении разумным выбором или внутреннею наклонностью к известной отрасли наук: большею частию заявления были необдуманные, подсказанные родителями или внушенные советами товарищей. На первом году, при знакомстве с лекциями, в юном слушателе, иногда для него неожиданно, возбуждалась любовь к известному предмету, и тогда уже при выборе того или другого факультета он руководствовался правильным расчетом, независимым убеждением. Ему предоставлялось право заменить прежнее решение новым, как более рациональным. Такой именно случай был и со мной.

По табели, выданной юристам на учебный 1822—1823 год, в общий курс вошли следующие предметы: теория русского права, геометрия и тригонометрия, начала русского стиля, география, хронология, геральдика и нумизматика, логика, языки латинский и французский. Вместо последнего языка дозволялось по произволу выбирать немецкий или английский.

Лекции уже начались, когда я, запоздавший несколько приездом, вступил в первый раз в святилище наук или в храм муз, как тогда любили называть университет. Я был изумлен тем, что увидел. Студенты, по своему держанию до прихода профессора, а иногда и в присутствии некоторых профессоров, малым чем отличались от школьников. Можно

сказать, что последние даже выигрывали несколько в этом отношении: у них была какая-нибудь дисциплина, вовсе не существовавшая в высшем учебном заведении. Правда, кулачных боев не было; одна аудитория не выходила на ратоборство с другою; но в аудитории происходили иногда такие сцены, которые не могли не смущать благовоспитанного человека. Я помню, как один студент духовного звания и другой, дворянин, ребята взрослые и рослые, подрались не хуже дворников: они порядочно отколотили друг друга по зубам. Когда же семинарист, после такого взаимного скулобития, обозвал своего противника «холуем», этот пришел в такую ярость от оскорбления своей дворянской чести, что замахнулся бывшею у него в руках тростью с металлическим набалдашником и, вероятно, раскроил бы противнику лоб, если бы не был удержан товарищами. Двое других студентов, братья Б[ерсы][1], шалили и проказили не хуже gamins de Paris[2]. Особенно младший из них, Андрей, не давал покоя товарищам своими выходками: он то бросал чем-нибудь в лицо одному, то вскакивал на спину другого, то вырывал и рвал бумагу, принесенную третьим для записывания лекций. Для некоторого оправдания подобных пассажей необходимо прибавить, что перемена места или названия не есть еще перемена лица, занявшего новое место и получившего новое название. Сегодняшние студенты вчера только сошли с гимназических или семинарских скамеек: каким же чародейством недавний шумный класс бурсы[3] или гимназии мог преобразиться в достодолжную аудиторию, а сами бурсаки или гимназисты в степенных студентов? Различие возрастов и костюмов напоминало также среднеучебное заведение. Форменной одежды не было; каждый одевался как мог и как хотел, почему рядом со студентами, щеголявшими модными костюмами, сидели другие в бедных сюртуках, а иные даже не снимали с себя фризовых шинелей, прикрывая ими ветхость своих платьев. Сказать правду, некоторые преподаватели своим нравом, либо странностью привычек и грубостью обращения, либо, наконец, безынтересностью лекций сами вызывали слушателей на невнимательность и беспорядок. Например, Н.А. Бекетов, читавший нам исторические вспомогательные науки (хронологию, генеалогию, геральдику и нумизматику), постоянно являлся в таком костюме, который заставлял нас невольно смеяться: он или сидел на нем мешком, или обтягивал его до неприличной узкости. И вот у нас сложилось мнение, что профессор не заказывает себе платья у портного, а по скупости покупает готовое и ношеное на толкучем рынке. Другой профессор, преподававший начала российского слога (П.В. П[обедоносце]в), любил

декламировать тирады из од Державина семинарско-певучею дикцией, с долгим протяжением на тех словах, которые вовсе того не требовали, например:

На *горы* стал пятой Суворов —
И *горы* треснули под ним[4].

Среди декламации заметив глазенье студента по сторонам или разговор с товарищем, он останавливался и делал ему выговор тоже нараспев: «Матавкин, братец, ничего ты не слушаешь; все шалишь да вертишься на одном месте, словно ты на иголках». — «Я слушаю, П[етр] В[асильеви]ч». — «Коли слушаешь, повтори, о чем сейчас говорил?» — «Вы сказали, что я словно на иголках». Ответ, разумеется, покрывался общим дружным смехом; а профессор, покачав головой, снова затягивал стихи из Державина[5]. С.А. Смирнов знакомил нас с законоведением по составленному им руководству: «Легчайший способ к познанию российских законов». Книга эта, как отзывается о ней «Словарь профессоров Московского университета», была, при тогдашнем состоянии русского законодательства, истинным благодеянием для студентов первогодичных и второгодичных[6]. Нисколько не оспаривая такого отзыва, я должен сказать, что лекции профессора, очень сериозного по внешности, но весьма неостроумного, обдавали нас скукой. Во-первых, он *читал* руководство, что мы могли бы сделать и без него, и только изредка делал весьма неважные заметки и толкования; во-вторых, чтение это продолжалось два часа сряду, как и некоторые лекции других преподавателей. Какой простор времени для отклонения скуки разговорами или проказами! Бедного профессора прерывали в его объяснительном чтении, закидывали вопросами, придумывали неожиданные возражения, вступали в спор. Однажды говорил он о том, что в каждом уездном городе главное лицо городничий, за исключением некоторых, например Мурома; там полицеймейстер, а не городничий.

— Неправда, — возразил ему какой-то студент, — там тоже городничий.

— Ан полицеймейстер.

— Нет, городничий: я сам из Мурома.

— И я был в Муроме летом; извозчик, на котором я приехал, поссорился со мной и нас водили на разбирательство к полицеймейстеру: стало быть, там полицеймейстер.

По окончании лекции толпа студентов окружала Семена Алексеевича, провожая его в сени. Здесь-то, на дороге, он выдерживал осаду от пустых речей и потешных выходок. У него был дом на конце Покровского бульвара, приносивший ему немалый доход. Нижний этаж занимали те существа, которых Карамзин назвал «нимфами радости». Студенты проведали о том, и вот один из них приступает к нему с просьбой отдать ему в наем небольшую, но отдельную комнату.

— Я слышал, — говорит он, — что в нижнем этаже вашего дома живут...

— Ну, тут толковать нечего — живет ли кто или не живет, — останавливал его полурассерженный, полусконфуженный профессор, — они тоже платят деньги, да еще аккуратнее, чем знатные барыни.

В другой раз завязался разговор о мотовстве и бережливости. Смирнов, как великий скопидом, начал осуждать современных молодых людей.

— В мое время, — поучал он, — жили не так. Когда у меня было много уроков, я вовсе обходился без обеда.

— Чем же вы питались?

— А вот чем: дав урок, я по дороге покупал трехкопеечный калач, который и съедал до прихода на другой урок.

— От этого вы и богаты, Семен Алексеевич: у вас есть дом.

— Ну, это все равно, есть ли у меня дом или нет: это не ваше дело[7].

На лекциях же И.М. Снегирева, профессора логики и латинского языка, безурядица доходила, извините за выражение, до шутовства. Мы ждали его прихода, как ожидают появления на сцене актера, умеющего смешить публику. В числе первокурсников был некто Поляков, очень толстый, всегда покрытый потом и всегда жаловавшийся, что ему жарко. Его-то Снегирев выбрал мишенью своих комических заметок. Войдя в аудиторию, профессор прежде всего, с самой сериозною миной, обращался к нему с вопросом: «Как ваше здоровье, господин Поляков? Не жарко ли вам? Можно отворить форточку?», или, напротив: «По лицу вашему, господин Поляков, я вижу, что вам холодно: вам бы сесть поближе к печке».

Пожурив одного студента за леность, он подкрепил свой выговор текстом: «В поте лица твоего снеси хлеб твой», — и тут же задел Полякова: «Вот, берите пример с вашего товарища; он всегда кушает свой хлеб в поте лица». Но верх совершенства был по случаю долговременной болезни профессора Бекетова (Николая Андреевича). Шаловливая молодежь вырезала ножом на кафедре крупными буквами: «У Бекетова дурная болезнь».

Как только увидал это Снегирев, так тотчас обратился к нам с сериозно-соболезновательным выражением лица:

— Жалко Николая Андреевича, очень жалко! Человек уж не молодой; Бог знает, перенесет ли такую болезнь.

Каждую лекцию, в течение трех или более недель, он начинал с того, что посмотрит на кафедру:

— Все еще болен? Жалко Николая Андреевича!

Наконец экзекутор, заметив неприличную надпись, велел вынести кафедру и поставить новую. Является Снегирев и по обычаю спешит справиться о состоянии больного:

— Николай Андреевич выздоровел? Рад, душевно рад; поздравляю вас, господа!

В самой природе Снегирева лежала наклонность к глумленью и передразниванью. Еще студентом он, при входе в аудиторию вместе с отцом своим, профессором прав естественного, политического и народного[8], копировал его привычку поправлять широкие голенища сапог, надетых сверх брюк и спускавшихся книзу. Рассказывали также следующий его пассаж. При каком-то разладе с Маловым, профессором юридического факультета, Снегирев вздумал посмеяться над ним оригинальным образом. В издании басен Хемницера, им ли самим предпринятом или только под его надзором напечатанном, два стиха:

И *малого* не научили,
А навек дураком пустили, —

явились в таком виде:

И *Малова* не научили,
А навек дураком пустили[9].

Не ручаюсь за верность рассказа, но если он и выдуман, то очень удачно: он отлично характеризует лицо, бывшее способным и не на такие проделки[10].

Только у двоих профессоров аудитория была именно тем, чем она должна быть согласно с своим термином, то есть собранием слушающих, — у Т.А. Каменецкого и Д.М. Перевощикова. Но первый достигал этого не преподаванием географии, которое стояло на уровне гимназического, а сериозностью нрава, не дозволявшею никаких беспорядков; второй же

и достоинством обращения со студентами, и достоинством лекций. Ему вместе с другим профессором, П.С. Щепкиным, принадлежит почтенная, памятная в истории учебного дела заслуга: они поставили преподавание математики в Московском университете, а чрез его посредство и в гимназиях московского учебного округа на рациональный путь, по какому и обязана следовать каждая наука. До них как изложение теории, так и применение ее к практике велось почти что механически. Говорили, как нужно было поступать при доказательстве той или другой теоремы, но не объясняли, почему именно нужно поступать так, а не иначе. Простой памяти предоставлялось усвоение математических знаний. У кого она была крепка, тот, конечно, мог долго помнить демонстративные приемы, но основания, на которых строится демонстрация, единство же действия во всех приемах, состоящее в том, что неизвестное последовательно и необходимо раскрывается из известного, что доказательство новых положений извлекается из положений прежних, уже доказанных, все это, необъясненное, скрывалось в тумане. Перевощиков рассеял этот туман строго научным изложением элементарно-математического курса. Он прошел с нами арифметику, алгебру и геометрию как бы новые для нас науки. Сначала нам трудно было следить за его лекциями, читанными по курсу чистой математики Франкера[11], им же переведенному сообща с П.С. Щепкиным, но потом мы вошли в смысл и вкус рационального метода. Заинтересованный точностью этого метода, я решился перейти с юридического факультета на физико-математический, который вмещал в себе обе отрасли наук — и математических и естественных, образующие ныне два особых отдела.

Кроме меня на этот факультет поступило девять человек. Причина такого малого числа студентов объясняется трудностью предстоявших занятий; на математику шли только те, которые действительно хотели учиться по любви к науке. В течение двухлетнего специального курса мы обязаны были слушать лекции следующих предметов: ботаники, зоологии, химии, физики, технологии, минералогии и сельского хозяйства, математики прикладной (механики) и чистой (тригонометрии прямолинейной и сферической, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального счислений). При такой многопредметности курса невозможно было и думать об одолении его с надлежащим успехом. Волею-неволею каждый из нас вынужден был выбрать своею специальностью один или два предмета, а остальными заниматься как второстепенным делом. Но

к этой причине, обусловленной необходимостью и потому законной, присоединилось дурное побуждение, вызванное особенным обстоятельством, которое зависело уже не от студентов, а от обычаев и распоряжений университетского начальства. При выпуске студентов оценка их производилась не по среднему выводу из годичных отметок, а по голосам профессоров в факультетском собрании, на котором часто присутствовал и ректор. Если бы при этом основывались на большинстве голосов, никто не имел права возразить что-нибудь против такого порядка; но дело в том, что не все профессоры были одинаково голосисты. Судьбу нашу решали те немногие лица, которые ученым значением, давностию службы или энергичностию характера забрали в свои руки силу. Другие члены факультета соглашались с ними или уступали им частию по равнодушию и уклончивости, а частию страха ради потерпеть от влияния сильных. Таким образом, не цифры управляли миром студентов, а воля факультетских верховников. Поступающие в университет хорошо знали, кто эти верховники: Сандунов и Цветаев в юридическом факультете, Мерзляков, Каченовский и Давыдов в словесном, Двигубский, Фишер и Павлов в физико-математическом, Мудров и Мухин в медицинском. Поэтому при выборе специального занятия студент часто руководствовался не внутреннею к нему наклонностию, а именем профессора и, приютившись под могучим крылом его, надеялся вернее вознестись на степень кандидата. Хуже всего было то, что укоренившийся обычай влек за собою безнравственные явления: юноша, в груди которого сильно хранилось естественное чувство правоты и чести, сбивался с доброго пути: занимаясь наукой, он в то же время старался заискивать расположение профессора, и эта искательность нередко переходила в угодничество, недостойное и низкое. На беду некоторые профессоры очень любили обонять воскуряемый им фимиам. Особенно страдал этою слабостью профессор хирургии, Е.О. Мухин. Не было такой грубой или глупой лести, которую бы он не принял с удовольствием. Лекаря в своих диссертациях на докторские звания кстати и некстати цитировали его. Один из таковых докторантов, начав свой труд словами: «Человек состоит из души и тела», поспешил при этом мудром изречении заметить в выноске: «Смотри такое-то сочинение действительного статского советника и кавалера Е.О. Мухина». Чрезмерное тщеславие Мухина доходило до смешного. Он считал себя важным лицом и требовал почета. Как первый тогда хирург в Москве, он скопил значительное состояние; как превосходительная особа и со звездой, он смотрел свысо-

ка на своих сочленов, из которых очень немногие имели генеральский титул, да и тот более получался не от университета, а от другого места служения. Из знаков отличия звезда украшала только грудь ректора. Д.М. Перевощиков, читая однажды лекцию о падающих звездах, шутя заметил, что они постоянно обходят университетский меридиан. Но как ни предосудителен был обычай запасаться протекторатом, а мы, однако ж, заплатили ему дань. Каждый из нас десятерых выбрал себе по профессору. Мой выбор пал на знаменитость — на Фишера фон Вальдгейма (Григория Ивановича), стоявшего в ряду известнейших европейских зоологов. В увлечении мы не предвидели, что расчет наш приведет нас, как скажу ниже, к такому последствию, какого мы всего меньше ожидали.

Года за три-четыре до моего поступления в университет он обновился свежими силами. Кроме Перевощикова и Щепкина, о которых я уже говорил, другими представителями этого обновления были И.И. Давыдов, профессор латинской словесности, М.Г. Павлов, профессор сельского хозяйства и минералогии. Двое последних в мое время пользовались таким же сочувствием студентов, каким в сороковых и пятидесятых годах пользовались Грановский и Кудрявцев. Особенно Павлов, как более даровитый и самостоятельный, привлекал на свои лекции слушателей со всех факультетов. Переполненная аудитория с напряженным вниманием и в тишине следила за изложением его взглядов на природу и способы ее исследования, которые предпослал он как вступление в курс агрономии[12]. Но любовь к нему молодежи равнялась недружелюбию многих профессоров, смотревших на него косо, тем более что Павлов, столько же самостоятельный по мнениям, сколько и по характеру, не ограничивался преподавательским влиянием, но входил более и более в силу при управлении общими университетскими делами. Он хотел иметь равноправный голос и в совете, и в факультете, чего и добился благодаря своей настойчивости. Зная себе цену и обладая значительным самолюбием, он, разумеется, не скрывал своего пренебрежения ни к обветшалым ученым, ни еще более к тем, которые и никогда не были учеными.

Действительно, некоторые профессоры, во время оно видные по знаниям и приносившие несомненную пользу и науке, и студентам, в двадцатых годах сделались иными: они устарели и обленились. Лета и образ жизни наложили на них свои печати. Преподавание Мерзлякова уже слабо напоминало прежний блеск его лекций[13]. Не одно то, что он упрямо

стоял на лжеклассической теории искусства, отбивало от него слушателей, но и то, что он равнодушнее относился к своему делу, очень часто манкировал, а иногда приходил в аудиторию навеселе. Может быть, эта искусственная веселость лучше развязывала ему язык, но его красноречие — он сам не замечал этого — приходилось в ущерб содержанию. Слушатели замечали это, хотя все еще любили некогда знаменитого профессора за его доброе к ним отношение, за его всегдашнюю готовность оказать свое заступничество в случае какого-нибудь казуса. И.А. Двигубский (декан нашего факультета и секретарь совета) приобрел имя почтенного деятеля по своей специальности — ботанике. Его «Московская флора» ценилась в русской ботанической литературе[14]. Много лет издавал он хороший журнал «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических»[15]. Вообще он был человек добросовестно-трудолюбивый. Но его преподавание физики, предмета, мало ему знакомого и, как говорили, возложенного на него против желания, было крайне слабо и крайне утомительно, принимая во внимание двухчасовые лекции. Он читал по составленному им руководству; чтение сопровождалось опытами, которые производились при помощи заведовавшего физическим кабинетом Н.С. Семенова. Не знаю, почему называли его механиком; знаю только, что опыты редко удавались, за что доставалось механику. А иногда профессор, в объяснение неудачи, говорил: «Надобно заметить, господа, что этот опыт очень субтилен», хотя, собственно, никакой субтильности не существовало. На лекциях физики выказывался характер тогдашних отношений большинства профессоров к студентам. Между последними на нашем курсе находился Итинский, которого мы звали дядей, потому что он был много старше нас и аппетитно нюхал табак из тавлинки[16]. Ему-то поручил Двигубский отмечать в списке студентов, кто не пришел на лекцию. Руководство к физике, по которому мы готовились, начиналось определением этой науки в двояком смысле: обширном и тесном. На одной из репетиций профессор обращается к Итинскому с вопросом:

— Господин Итинский, что есть физика?

— В каком смысле прикажете: в обширном или тесном?

— В каком хочешь, мне все равно.

— А мне и подавно.

Другой образчик случился на лекции о свете. Надобно было показать разложение солнечного луча на семь цветов. Механик затворил внутрен-

ние ставни, из которых только одна имела отверстие, отчего в аудитории сделалось темно. Те из студентов, которые сидели поблизости к выходной двери, только и ждали этой благодатной темноты: они гурьбой хлынули вон. «Что это значит? — закричал рассерженный профессор. — Отворите ставни». Ставни отворили — аудитория полуопустела[17].

— Господин Итинский, подай список. Ты перекликал студентов?

— Нет еще, — отвечал дрожащим голосом Итинский, вынимая список из бокового кармана.

— Болван! Когда ж ты это сделаешь? Когда все разойдутся по домам?

На других факультетах происходили подобные же, а иногда и вящие казусы. Укажу для примера на лекции Матвея Ивановича Гаврилова, приобретшего себе известность изданием «Исторического, статистического и географического журнала, или Современной истории света»[18]. В мое время он был уж очень дряхл, глуховат и вообще болезнен. Он не шел, а волочил ноги к кафедре, на одной стороне которой клал табакерку, а на другой платок, запачканный табаком. Утомительное чтение его медленным и дрожащим голосом заставляло студентов для сокращения времени развлекать профессора чем-нибудь посторонним. Одно из таких развлечений нашлось в странной его причуде: он терпеть не мог, если его аудиторию посещали студенты не словесного факультета, чужаки, как он называл их. Едва только усядется он за кафедру и произнесет несколько слов, как на лавках с правой стороны раздается восклицание: чу! чу!.. Профессор останавливается:

— Что такое, господа?

— Чужак, Матвей Иванович.

— Где чужак?

Студенты указывают на самую дальнюю у стены скамейку. Гаврилов встает и медленными шагами по указанному направлению подходит к чужаку.

— Какого вы, милостивый государь, факультета?

— Юридического.

— Зачем же вы сюда пожаловали?

— Желал иметь честь послушать вас.

— Честь? Не угодно ли вам идти вон.

Берет его за руку и выводит за дверь. Заняв свое место и начав прерванную лекцию, он слышит новое «чу! чу!». Но чужак является на самой задней скамейке уже с левой стороны. Повторяется та же сцена до-

прашивания чужака и изгнание его. В таких путешествиях от кафедры к скамейке, от скамейки к дверям и от дверей к кафедре, глядишь, пройдет четверть часа, полчаса[19]. Иногда студенты, сговорясь, угощали профессора пением, и очень согласным. Среди монотонной его дикции, по данному сигналу, правая сторона начинала песнь «Во лузьях, во лузьях» или «Ой вы, сени, мои сени». Тихие звуки, постепенно возвышаясь, становились наконец слышными. Профессор останавливался. «Что это, господа? Никак ветер?» — «Да, Матвей Иванович, ветер». Затем наступала очередь хора с левой стороны: повторялся прежний вопрос и давался прежний ответ. Замечательно, что подобные шутки происходили в аудитории профессора, который в это время читал — что бы вы думали? — теорию изящных искусств.

Какое различие в умении держать себя у других профессоров: на словесном факультете — у Каченовского и Давыдова, на медицинском — у Лодера, Рихтера и Альфонского, на нашем (физико-математическом) — у Перевощикова, Щепкина, Павлова и Фишера! Последний был образец вежливости. Поставив себя в правильные отношения к слушателям, эти профессоры пользовались общим уважением, а их лекции своим достоинством возбуждали свободное внимание. Пальма первенства, по интересу преподаваемого, бесспорно принадлежала Павлову. Когда он занимал свое место, полная тишина водворялась в аудитории, несмотря на многочисленность студентов, стекавшихся из разных факультетов, и уже ничем не нарушалась в течение целого часа. Каждый с напряженным любопытством следил за мыслями профессора в прекрасно научном их изложении. Но одним изложением, как бы оно ни было хорошо, нельзя объяснить ни успеха лекций, ни сочувственного восприятия их студентами. Причина того и другого лежала как в самом предмете преподавания, так и в отношении к нему преподавателя. Павлов, заметил я выше, пред курсом сельского хозяйства прочел несколько лекций о природе, о способах ее исследования и о естествознании вообще как науке о природе, следуя воззрениям известного натурфилософа Окена, приложившего философию Шеллинга к естественной истории. Он был самый талантливый истолкователь этого учения, которое своею новизной и другими качествами не могло не поразить молодые умы и ретивую их любознательность. Оно пришлось нам по вкусу, тем более что большинство профессоров и нашего, и других факультетов держались совершенно противоположного направления, стояли, как тогда говорилось, на эмпирии, сообщая знания,

добытые наблюдением и опытом, но ничем их не освещая: ни общими выводами из многоразличных фактов, ни идеей, дающею им значение, ни основным началом, от которого поступает в своих трудах естествоиспытатель. Лекции таких эмпириков тяготили нас, потому что ничем не возбуждали умственной способности, не указывали ей ни точки исхода, ни конечных результатов. И вдруг среди такого затишья, такой вялости и застоя раздается голос молодого профессора, зовущий нас к другому направлению в науке — умозрительному, доказывающий его преимущества пред направлением эмпирическим. Кто хочет познакомиться с сущностью его взглядов, равно как с ясностью, точностью и образцовою логичностью его изложения, тому советую прочесть две статьи его: «О способах исследования природы»* и «Введение в физику»[20], определяющее ее место среди естественных наук. Сущность первой статьи была нам уже объяснена на лекции: «Так как природа имеет две стороны: внешнюю (phoenomenon) и внутреннюю (noumenon), то она подлежит двоякому способу исследования. Внешняя сторона есть область опыта, эмпирии; внутренняя — область умозрения. Начало эмпирии — явления; начало умозрения — самопознание. Путь эмпирии — наведение (индукция); ход умозрения — вывод (дедукция). Употребляя сравнение, можно сказать: эмпирик от окружности устремляется к центру наудачу; умозритель от центра поступает к окружности наверное. Опыт может доводить до открытий, но до знания никогда». Насколько Павлов своими лекциями выигрывал в расположении к себе слушателей, настолько же товарищи его относились к нему с большим и большим нерасположением, которое объясняется не одною jalousie du métier[21], но и другими причинами, например резкостью суждений Павлова и горделивостью, происходившею от сознания своего умственного превосходства. Нужно ли говорить, что мы безусловно становились на сторону любимого профессора и всех недоброжелателей его взглядов называли «стариками-младенцами» острова Панхаи**, служителями эмпиризма, который песчинки (то есть факты) прикладывает к песчинкам без основания, даже без связи, могущей скрепить их. Увлеченные Океном и Шеллингом, насколько крупицы их учения падали со стола профессорского, получили от товарищей название шеллингианцев; несогласные с ними сторонники Двигубского — название эмпириков. Между ними часто завязывались споры до начала лекций и в промежутках между

*«Мнемозина», изд. князя В. Одоевского и В. Кюхельбекера, ч. 4 (1824).
**Аллегория князя В. Одоевского («Мнемозина», ч. 1)[22].

ними. У первых, независимо от того, что им сообщалось в стенах университета, были в ходу две книги: «Биологическое исследование природы в творящем и творимом ее качестве» Велландского и «История философских систем» Галича[23]. Для непосредственного же знакомства с немецкою философией тогдашнего периода не имелось у нас средств: никто из нас, математиков, в то время не знал немецкого языка.

Теперь, при отсутствии всяких юношеских увлечений, я могу объективно относиться к лекциям Павлова, указать выгоды и невыгоды их влияния на молодые умы, выставить результаты, к которым они привели нас. Начну с того, что пристрастие студентов к профессору вытекало из их искренней любознательности. А при таком добром источнике, каково бескорыстное стремление к науке, весьма естественно было ожидать и добрых последствий. Главная невыгода состояла в усвоенном нами пренебрежении фактическим изучением предмета, с одной стороны, и гордом довольстве началами и выводами — с другой, довольстве, не только граничащем с леностью, но часто и переходившем в леность, в охоту убегать от кропотливой работы, от черного труда. Обобщение возможно не иначе как при знании частностей. Начала и выводы имеют высокую цену, когда они проведены через факты и оправданы фактами; в противном случае они образуют нечто бессодержательное, способное удовлетворять поверхностный дилетантизм или тешить празднолюбие любопытного сибарита. Едва ли кто поверит мне, что на лекциях минералогии мы восхищались классификацией царства ископаемого, которая образовала изящно-стройную систему, укладывавшую все виды и роды в определенные места. Мы очень хорошо знали, что минералы делятся на четыре класса — ни больше ни меньше, так как каждый класс образовался под преимущественным влиянием одной из сил, действующих в мире физическом, а этих сил четыре: свет с теплотой, электричество, магнетизм и гальванизм. На экзамене из этого предмета ректор, с своей точки зрения, пришел в ужас: «Зачем это знать им (студентам)? И кому это известно, кроме самого Творца?» Павлов был не такой человек, который выслушал бы замечание без ответа, а за ответом он не ходил в карман. Последнее слово, конечно, осталось за ним. А между тем действительно в течение всего курса мы не посещали минералогического кабинета и не видали ни одного камня.

Несомненная выгода лекций Павлова заключалась в дисциплине ума, в направлении его к началам науки и основным ее законам, истекающим

из этих начал, к отысканию существенного, к подчинению частностей общему, к системе, созидаемой на основных признаках предмета, к ясности, точности и логической последовательности в изложении — короче, ко всему тому, без чего нет и быть не может рационального знания, науки в истинном смысле этого слова. Вот что привлекало нас на лекции Павлова, что было нами выслушиваемо с жарким любопытством и многими воспринято на благую потребу в дальнейшем самообразовании. По моему крайнему убеждению, при вычете невыгод, сколько бы их ни оказалось, из этой выгоды — пусть она будет единственная — в результате выходит такой ценный остаток, за который имя Павлова возбуждало и до сих пор возбуждает во мне живое чувство уважения и благодарности. Нечего и говорить, что знание какой бы то ни было науки вещь очень хорошая. Но оно, как и всякое знание, легко забывается или часто не находит никакого употребления. Если я и теперь могу быть порядочным преподавателем элементарной математики, то этою возможностью я одолжен педагогической практике, на которую натолкнула меня необходимость искать средства для жизни. Но если товарищи мои, находившиеся в ином положении, никогда не имели надобности решать уравнения даже первой степени или измерять углы и треугольники, то следует ли отсюда, что лекции алгебры и геометрии пропали для них даром, что они напрасно учились этим наукам? Нет, при них навсегда осталось то, чем и забытое легко возобновляется в памяти и неизвестное удобно узнается. Рациональный метод в изложении математических истин, постепенность в переходе от известного к неизвестному, строгая точность доказательств... вот те полновесные приобретения, которыми наш курс был одолжен Перевощикову и Щепкину. В конце концов, нельзя не согласиться с мыслью Павлова, выраженною в предисловии к его «Основаниям физики»[24], что главная польза наук — развитие, образование умственной способности, при помощи которого нетрудно добыть и многознание, тогда как одним многознанием никогда не добудешь умственной развитости.

Кроме интереса к отрывочным воззрениям Шеллинга и Окена, насколько они пробивались в лекциях Павлова, среди университетской молодежи господствовал другой интерес, литературный, усиленный новым движением нашей поэзии. Здесь уже не было разногласий, ни шеллингианцев, ни антишеллингианцев: все сходились в одинаковом чувстве, все равно восхищались и переводом Жуковского из Мура: «Ангел и Пери» (1821), и «Кавказским пленником» (1822), и комедией «Горе от

ума» (1823), ходившею в рукописи, и, наконец, «Бахчисарайским фонтаном» (1824). Математики и медики не хуже словесников знали наизусть почти всю пьесу Грибоедова и безусловно поклонялись Пушкину. Полемика между классиками и романтиками не оставалась нам неизвестною; мы судили и рядили о предисловии к «Бахчисарайскому фонтану», написанном князем Вяземским в виде разговора между классиком и романтиком, и о споре, возникшем по поводу этого разговора между его автором и М.А. Дмитриевым[25]. Само собою разумеется, что мы становились не на сторону последнего. Упорные нападки его на новую комедию[26] раздражали нас, как будто они касались нашего личного дела, и мы с радостью записывали и выучивали рукописные эпиграммы на критика новой комедии, не признававшего в ней достоинств, которые мы частию сознательно понимали, частию непосредственно чувствовали. Две из таких эпиграмм сохранились у меня в памяти:

1

Михайло Дмитриев умре...
Считался он в девятом классе;
Был камер-юнкер при дворе
И камер-динер на Парнасе.

2

Собрались школьники*, и вскоре
Михайло Дмитриев рецензию скропал,
В которой ясно доказал,
Что «Горе от ума» не Дмитриева горе[27].

Я уже заметил выше, что трехлетний курс нашего учения кончился совершенно неожиданным для нас образом, вопреки всем нашим расчетам и предположениям. Случилось это следующим образом. На факультетском собрании, обсуждавшем после экзаменов успехи студентов, каждый профессор предложил своего protégé[28] в кандидаты: Фишер — меня, Двигубский — Итинского, Павлов — Малицкого и так далее, так что всего вышло десять кандидатов, именно столько, сколько было всех нас на курсе. Ректор, присутствовавший на совещании, пришел в изумление и страх от такого небывалого факта. «Как это можно? — воскликнул он. — Что скажут в министерстве? Ну, три, много четыре кандидата, пожалуй;

*Школьниками назывались классики, стоявшие за французско-классическое направление поэзии, в противоположность романтикам, как сторонникам новой, пушкинской поэзии.

а то всех!.. Это невозможно». Но выбор некоторых из всего комплекта оказался делом нелегким: никто из профессоров не хотел отказаться от своего предложения. Толковали и спорили долго, не решая ничем. Наконец Двигубский рассек гордиев узел самым простым образом: «Если нельзя всех выпустить кандидатами, выпустим всех действительными студентами, чтобы никто не считал себя обиженным»[29]. Факультет принял это решение, и мы должны были остаться еще на год для получения степени кандидата. Впрочем, такой неожиданный исход нисколько нас не опечалил. Мы спокойно приняли весть, довольные тем, что уравнены в оценке и не разлучимся еще целый год. Довольнее всех был я, так как на мою долю пришлось больше против товарищей: за лучшее сочинение на заданный предмет из физики (о действиях теплорода на тела) меня наградили золотою медалью, которая и была вручена мне на университетском акте 1825 года, июля 3-го дня[30].

На четвертый год университетского курса кроме слушания лекций были у меня и другие занятия. Мне хотелось выучиться французскому языку, так как гимназия в этом отношении не принесла мне никакой пользы, а пансион хотя и принес некоторую, но очень скудную. Я не хлопотал о языке разговорном, потому что для этого нужна практика; я желал только приобрести уменье свободно читать французские книги. Для достижения такой цели задумал я перевести одну из них, именно: «L'art de promener ses créanciers, par un homme comme il faut». Выбор мой пал на это сочинение, потому что о нем упоминал «Московский телеграф» в известиях об иностранной литературе[31]. Тяжело мне было на первых порах, с плохим знанием грамматики и малым запасом слов, ладить с подлинником; однако ж с помощью лексикона и советов И.О. Шиховского, бывшего моего наставника, оканчивавшего курс на медицинском факультете, дурно ли, хорошо ли, одолел трудности. Не только одолел, но даже решился напечатать перевод, который и явился в 1826 году под заглавием «Искусство не платить долгов, или Дополнение к Искусству занимать*, сочиненное человеком порядочным». Рукопись следовало представить в

*«L'art de faire des dettes, par un homme comme il faut»[32]. Сочинение того же французского автора, но вышедшее в свет прежде «L'art de promener ses créanciers». Оба сочинения не что иное, как остроумная шутка. Автор приводит из французского законодательства статьи, которыми должники могут пользоваться для своих выгод, и, кроме того, дает им советы, как не только избегать преследования заимодавцев, но и внушать последним уважение к себе, становиться для них необходимым. Советы подкрепляются примерами из истории и обыкновенной жизни.

цензурный комитет, который собирался в правлении университета. От него зависело поручить рассмотрение ее кому-либо из профессоров, так как они тогда исправляли обязанности цензоров. С трепетом вошел я в правление и вручил тетрадку ректору. Взглянув на заглавие («Искусство не платить долги»), он сказал мне: «Как же это вы не знаете правила, что после действительного глагола с отрицанием ставится родительный падеж, а не винительный? Долг*ов*, а не долг*и*. Да и стыдно студенту тратить время на перевод таких пустяков». К счастью, один из членов замолвил за меня доброе слово, сказав, что я и своим, то есть студенческим, делом нахожу время *заниматься хорошо*. Прокопович-Антонский смягчился, и вот при напечатании книги вместо долг*и* поставлено в заглавии долг*ов*. Типографщик, в ожидании уплаты долга, отпустил мне из полного завода (1200 экз.) двести экземпляров, которые я отдал на комиссию известному тогда книгопродавцу Ширяеву. Через неделю после того прихожу наведаться о судьбе их, и он — о радость! — вручает мне 125 р. (ассигнациями). Заманчивый титул книги быстро привлек покупателей: одни из любопытства хотели познакомиться с ее содержанием, но, вероятно, нашлись и такие, которые сериозно надеялись спастись ею как эгидой от своих кредиторов. И моим надеждам на еженедельную выручку ста рублей суждено было рассеяться: чем дальше шло время, тем меньше расходилось экземпляров, так что я, желая расплатиться с типографским долгом, продал все их количество Ширяеву за бесценок[33]. «Искусство не платить долгов» не пошло мне впрок, даже с первым моим заимодавцем — с типографщиком Семеном[34]. Другой перевод был сделан мною по заказу книгопродавца; сам я не имел средств для издания. Это «Правила биллиардной игры» (1826)[35]. Существенным вознаграждением за труд надобно считать не плату с листа, так как книжка очень небольшая по объему, а победу над французским языком, который с тех пор уже не затруднял меня более.

Наряду с постороннею работой вне университета я не выпускал из виду занятий, прямо относящихся к лекциям. Выбрав, на четвертый год, главным для себя предметом зоологию, которую читал Фишер, я представил ему сочинение «О различии человеческого рода». Оно составлено по Вирею, французскому натурологу, и напечатано Двигубским в «Новом магазине натуральной истории, физики и химии» за 1826 год. В том же журнале и за тот же год помещена переведенная мною с французского статья «Об ископаемых слоновых костях»[36]. Таких студентов, которые еще

до окончания полного курса заявили бы охоту сотрудничать в журналах, издаваемых от университета, едва ли было много. Вот почему меня отличали и Фишер и Двигубский. Последний даже предложил мне переехать к нему на вакацию, когда его семейство уезжало в деревню. Я с охотой принял предложение и прожил у него четыре месяца в здании старого университета, где он, как секретарь совета, имел казенную квартиру. Здесь-то я насмотрелся его редкого трудолюбия: он никогда не оставался без работы, а всегда что-нибудь читал или писал. Студенты, впрочем, не жаловали его за неприветливое с ними обращение и очень метко прозвали его «ярославским гербом»: он действительно походил на медведя своею фигурой[37].

Конец последнего года (1826) моего учения в университете ознаменовался замечательным для всех студентов фактом — избранием И.И. Давыдова, профессора латинской словесности, на кафедру философии, которая оставалась вакантною целых пять лет по смерти Брянцева. Чтения свои открыл он 12 мая 1826 года вступительною лекцией «О возможности философии как науки»*. В зале университетского совета за круглым столом разместились профессоры; остальное пространство ее заняли студенты, нетерпеливо желавшие послушать своего любимца о предмете, их интересовавшем, о философии. Было немало и посторонних посетителей, привлеченных именем профессора, а может быть, и другими побуждениями; в числе их находился граф С.Г. Строгонов, тогда еще полковник гвардии[39]. Все приняло вид какого-то торжества, но всего торжественнее была самая лекция. Профессор настроил ее на искусственный риторический пафос, который смешивали тогда с истинным красноречием и вменяли в непременную обязанность литератору как наилучшее украшение его слога. Не сила мысли облекалась в соответственное ей выражение, которое потому и возвышалось в своей ценности, нередко принимая поэтическую окраску, а подбором слов и строем речи силились возвысить мысль, не представлявшую иногда никакого величия, даже лишенную плодовитого значения. Простые предметы и понятия получали под пером оратора казистый вид, становились на дыбы без малейшего к тому повода. Почти совестились называть университет университетом: имено-

*Составлена по Шеллингу («Üeber die Möglichkeit einer Form der Philosophie») и другим источникам, как сказано самим профессором: «Соберем воедино рассеянное во многих творениях высоких мыслителей». Посвящена студентам Московского университета, напечатана в 1826 году[38].

вали его «святилищем науки» или «мудрости», «храмом муз» и т.п. В господствовавшей тогда моде нельзя, конечно, обвинять отдельные личности; однако ж люди истинно даровитые и более самостоятельные умели же освободиться от риторики и сообщить своему слову своеобразный склад, в котором достоинство научных взглядов и строго логическое развитие мысли сохранены наряду с подъемом воображения и зависевшим от того одушевленно-поэтическим тоном. Примером служит Павлов.

И.И. Давыдов начал предисловие к лекции á la Ломоносов и, надобно отдать ему справедливость, очень искусно подражал строю похвальных речей отца российской словесности:

«Восходя на сию кафедру, с которой достопочтеннейшие члены знаменитого нашего святилища наук и незабвенные мои наставники, с честью занимаясь преподаванием философии, разливали свет мудрости, сколько радуюсь, становясь преемником славных ученостью мужей и долговременным опытом искушенных, столько же робею, когда помышляю и о важности предмета, и о предстоящих трудностях в изложении, и о силах, для сего потребных, особенно для удовлетворения ожиданий, в продолжение пяти лет, по прекращении чтений философских, возраставших. Но подкрепляемый покровительством вашего превосходительства, наш благодетельный начальник, об открытии сих чтений ходатай*; ободряемый вами, милостивые государи, меня в сие звание избравшими, и видя пред собою тех юных друзей, с которыми уже подвизался я на поприще учения и коих блистательные успехи и одобрительный отзыв служили мне сладостнейшим, высшим в нашем деле вознаграждением — удостоверяюсь, что и в предстоящих занятиях буду иметь счастие заслужить доверенность и по возможности общей пользе содействовать».

Затем, обратясь к образу Спасителя, профессор произнес что-то по-гречески, чего никто из нас, студентов, не понял. Смысл этого молитвенного обращения узнали мы, когда лекция была напечатана и греческий текст явился в переводе на русский язык: «Премудрости Наставниче, смысла Подателю; немудрых Наказателю и нищих Защитителю! Утверди, вразуми сердце мое, Владыко; Ты даждь ми слово, Отчее Слово!» Сцена вышла очень эффектная. Профессор еще более выиграл в нашем мнении, вырос, так сказать, на глазах у нас.

Лекция разделена на три части, представляющие развитие одного полного силлогизма: всякое знание (наука) имеет содержание и форму; философия имеет содержание и форму: следовательно, философия есть наука.

*Попечитель университета, А.А. Писарев.

Что же служит предметом этой науки? Как определить ее? «Философия, в смысле науки принимаемая, есть психология, ведущая к открытию единства в знании и бытии».

Но такое определение не есть ни Вольфово, ни Кантово, ни Фихтово, ни Шеллингово... Давыдов предвидел это возражение и ответил на него таким образом: «Кто стремится к совершенствованию, тот, при должной благодарности к великим умам, предшествовавшим на поприще учения, по словам Гердера,

> Выйдя на берег, учения школ, как Левкофеи связки,
> В море бросает»[40].

Самая интересная для слушателей часть лекции отнесена была к концу. Она содержала в себе критику антифилософского направления в науке, и потому легко представить себе сенсацию, ею произведенную. Действительно, большинство профессоров, заседавших на чтении, и не знало философии, и не питало любви к ней, особенно к трансцендентальному идеализму Шеллинга. Они были эмпирики и по образу мыслей смотрели на Павлова и Давыдова как на недругов. Каково же им было публично, в присутствии студентов, или «юных друзей» своих, по выражению лекции, выслушивать осуждение эмпиризма, принимать советы своего, сравнительно младшего сочлена, ими же выбранного на кафедру философии! Кто ему дал право учить специалистов? Разве он обладает универсальным знанием, один своею особой представляет целый университет?

Такие или подобные мысли, вероятно, зарождались в уме профессоров юридического факультета, когда Давыдов заговорил о предметах, ими преподаваемых.

«От недостатка философских начал видим несогласие в книгах по одному и тому же предмету, нравственно-политическому. Монтескьё в «Духе законов» дает решительные приговоры для различных управлений; Руссо, говоря о договоре общественном, делает заговор против общества; Маккиавель преподает правила властителям. И между тем первый не открыл идеи закона; второй не помыслил различить существа разумные от бессловесных; третий не думал о нравственном достоинстве человека — и это ли значит философствовать?»

От юристов Давыдов перешел к физикоматематикам. Начал он с математики, представители которой — Перевощиков, Щепкин, Чумаков —

были налицо: последний даже рассматривал лекцию и одобрил ее к напечатанию:

«В чистой математике величайшие умы, каковы: Лейбниц, Невтон, Лагранж, Даламбер, Эйлер и другие, состязаются о значении количеств бесконечно малых. Сей спор останется также бесконечным, если не обратят внимания на начала законов математических, в уме нашем заключенных, и не отделят понятий от идей, конечного от бесконечного».

Затем выведена на сцену физика; привлекался к ответу Двигубский:

«В физике различные теории света, звука и других предметов служат доказательством, что в них недостает начал философских».

Далее наступила очередь естественной истории: глаза всех устремились на Фишера:

«Естествоиспытатели, составив произвольные системы для трех царств природы, думают, что объяснение ее кончено, вместо того чтобы постепенно преследовать произведения оной от неорудной стороны до духовной».

Крепче всего досталось медицинскому факультету:

«Часто изменяемые системы врачей показывают, что они должны обратиться к помощи философии, без которой погребли многие тысячи преждевременно: ибо многие слепотствующие врачи, выучив условные названия костей, мышц и других частей организма, переняв средства и пособия практиков-эмпириков, полагают, что их наука окончена, тогда как должно бы помыслить о внутренней стороне организма, которая в малом виде представляет вселенную».

Не пощадил оратор и своего собственного словесного факультета:

«Словесность и искусства откуда могут заимствовать образцы для произведений своих, если философия не введет их в храм истины, доброты и изящества, где идеалы от вечности пребывают? Лагарп, Жирард, Гоме* рассуждают о вкусе, высоком, прекрасном, и ничего из многоречивых рассуждений своих не выводят; Батте, Дюмарсе пишут об общих законах языков; целые толпы последователей тех и других спорят о классиках и романтиках — но подумали ль они рассмотреть все силы духа самопознающего? Дали ль себе отчет в идее изящного? Вникнули ль в глубокое значение слова? И это значит философствовать».

Эта тирада задевала Мерзлякова, а следующую должен был принять на свой счет Каченовский:

*Юм.

«Историки и антикварии с жадностью переносят известия из одной книги в другую; статистики переплетают газетные листы в учебные книги: но многие ли помышляют, что история народа принадлежит к истории человечества как часть к целому, что недоумения частные разрешаются обозрением общего, что для статистики выводятся начала из наук политических?»

Короче, ни один из присутствующих профессоров не остался без укора, всем сестрам досталось по серьгам, все были оглашены эмпириками, так что могли принять на свой счет греческий эпиграф к лекции, смысл которого выражается стихом Горация: «Procul, procul este profani»[41], или церковнославянским возгласом: «Оглашенные изыдите!» И они вышли из залы совета с неудовольствием, а некоторые в негодовании и даже в раздражении. Но зато мы, «юные друзья» Давыдова, сделались еще более крепкими ему друзьями, не замечая в обаянии ораторским чтением того, что было замечено и раскушено нами позже, а именно, что красная речь оратора исполнена фразеологии и пропитана аффектацией, которые никуда не годятся в профессуре. В самом деле, разве искренностью и естественностью, а не аффектированным пафосом звучат те строки, которые следуют за вышеприведенными выписками:

«Где ж, спросят, научиться преодолению таковых трудностей? Не смея утруждать внимания достопочтеннейших посетителей подробным рассмотрением целых громад книг по части философии, покоящихся вместе с развалинами всего бренного и земного, думаю, что довольно познакомиться со Стеффенсом, Эшенмайером, Клейном, Герресом, Таннером, чтобы научиться дорожить иногда одною страницей более, нежели огромными книгами, и возбудить деятельность духа познающего. Храм, отколе выходят со всем нужным запасом для созерцания природы и человека, имеет надпись: познай себя!»

Но так или иначе, а Давыдова засыпали поздравлениями: он торжествовал, но — увы! — торжество было кратковременное, напоминавшее судьбу калифа на час. Философские чтения его начались и кончились вступительною лекцией: министерство Шишкова не допустило преподавания «науки наук»[42]. Столь неожиданная развязка искренно опечалила нас как потому, что Давыдов не будет читать философию, так и потому, что вообще кафедры философии не будет в университете[43].

[ГЛАВА V] ОТ ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КУРСА ДО НАЧАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (1826–1832)

Окончив курс учения, я не расстался с университетом: я начал в нем мою службу. Григорий Иванович Фишер предложил мне одну из Стевенских стипендий[1], определенных на содержание двух студентов, которые преимущественно занимаются зоологией и ботаникой. Это предложение было мне вдвойне приятно: я получал жалованья триста рублей (ассигнациями) и, кроме того, оставался при месте моего высшего образования, имея в виду вести его дальше, то есть готовиться к магистерскому экзамену. На занятие кафедры я вовсе не рассчитывал, зная, что были лица, уже приобретшие на нее несомненные права, и особенно сын Григория Ивановича[2]. И независимо от кафедры степень магистра представляла выгоду: она давала девятый класс[3]. А если уж думать о чинах (кто тогда о них не думал?), то не лучше ли выбрать для того путь ученых занятий, приходившихся мне по сердцу, нежели путь гражданской службы, к которой я не чувствовал наклонности?

Обязанность Стевенских стипендиатов была очень льготная. Все дело заключалось в том, чтобы присутствовать в Зоологическом музее каждое воскресенье, когда он открывался для публики, показывать и объяснять посетителям неизвестные им предметы. Могли, конечно, даваться и особые поручения от профессора зоологии как директора музея, но таковых в мое время, видно, не представлялось. Взамен их я переводил с французского некоторые статьи Г.И. Фишера об ископаемых животных и переводы помещал в «Новом магазине натуральной истории»[4]. Для того же журнала начал я переводить знаменитое творение Кювье: «Discours sur les révolutions du globe», но труд оказался неудачным по недостаточному знакомству с предметом книги, требовавшим зрело научного изложения, почему я прекратил его по напечатании нескольких отрывков[5].

В 1827 году кандидат Григорович, исполнявший в правлении университета должность переводчика и при цензурном комитете писца, заболел сериозною болезнью. Для совершенного выздоровления его потребовалось продолжительное время, и правление поручило эти два занятия мне. Секретарем цензурного комитета, состоявшего при университете, был тогда П.В. Победоносцев, преподаватель на первом курсе русской словесности. Комитет собирался раз в неделю, и моя работа состояла в переписывании набело комитетских журналов[6]. Я с удовольствием занимался этим делом, потому что мог видеть и профессоров, заходивших к секретарю побеседовать или взглянуть на новые произведения русской словесности, и на господ сочинителей и переводчиков, приносивших свои рукописи, и на посыльных из книжных лавок и типографии, получавших билеты на выпуск отпечатанных книг. Последнему разряду посетителей Петр Васильевич обыкновенно говаривал: «Скажи, братец, своему хозяину, чтоб он и мою библиотеку не обошел экземпляриком». Цензорами были профессоры, иногда по назначению комитета, а иногда по собственному их желанию. Так, Д.М. Перевощиков усердно просил присылать ему переводы романов Вальтер Скотта, которые начали тогда появляться и которые он читал с жадностию; ради интересного содержания он мирился с самым плохим переводом, вдобавок иногда написанным дурным, нечетким почерком. Чаще других являлся И.М. Снегирев, не столько за делом, сколько за сбором материалов для изумления и сатирико-скандалезных рассказов. Нередко посещали нас профессор медицинского факультета В.М. Котельницкий, о котором будет речь впереди, и Мерзляков, бравший на прочтение новые книги из библиотеки комитета. Живо помню, как последний, возвращая «Цыган» Пушкина, с негодованием бросил их на стол.

— Ну что, Алексей Федорович, понравилось ли вам? — спросил его Победоносцев.

— Низко, скверно, постно и больше ничего.

В цензурном же комитете встретил я в первый раз приятеля Пушкина, блистательного Соболевского. Я был поражен изящным его костюмом, здоровьем, красивостью и свободною ловкостью обращения, выказывавшего самоуверенность. Он представил экземпляр «Братьев разбойников» для второго издания. На заглавном листе вместо прежней цены (20 коп.) выставлено было 10 коп.

— Разве первое издание все разошлось? — полюбопытствовал секретарь.

— Нет, не все, но книгопродавец Ширяев, купивший его, стал возвышать своевольно цену; между тем публика и без того жалуется, что Пушкин дорого пускает в продажу свои сочинения. Второе издание будет вдвое дешевле: это и остановит расчеты торгашей книгопродавцев.

Но Ширяев, арендатор университетской книжной лавки, был сам не промах: находчивый и неподатливый, когда с ним хотели обращаться бесцеремонно, он поведал о замысле Соболевского и немедленно подвел контрмину. Чрез несколько дней явилось в «Московских ведомостях» объявление от Ширяева о продаже «Братьев разбойников». Цена значилась прежняя —20 коп., но вслед за сим прибавлено: «а по выходе в свет второго издания будет продаваться по 5 копеек»[7].

Я упомянул о Василии Михайловиче Котельницком, посещавшем цензурный комитет. Здесь он познакомился со мною и почему-то почувствовал ко мне особенное расположение. В 1826 году он занимал должность инспектора своекоштных студентов, но чрез год был поставлен в инспекторы над казенными, находившимися в ведении профессора прикладной математики Федора Ивановича Чумакова, — говорю «поставлен», так как перемена совершилась словесным распоряжением нового попечителя, генерал-майора Александра Александровича Писарева. Котельницкий жаловался ему на трудность надзора за приходящими слушателями.

— Понимаю, — отвечал смеясь попечитель, — твое брюшко мешает деятельности. Ну что ж? Поменяйся ролью с Федором Ивановичем: ты будешь инспектором над студентами, живущими в стенах университета, а он займет твое место.

Надобно заметить, что Писарев хотя и мог считаться литератором, как устроитель литературных собраний в Калуге, где находился штаб его, и как издатель сборника («Калужские вечера», 1825) сочинений и переводов, которые были читаны на этих собраниях военными литераторами и над которыми, по выходе их в свет, современная критика посмеивалась[8], однако ж, привыкнув в своем прежнем кругу к патриархальному обращению с подчиненными, он, в сущности добрый человек, дозволял себе и в университетском обществе фамильярность с некоторыми лицами, конечно, не видевшими в том никакой порухи их значению. Другие думали не так, а потому держали себя иначе, что и давало повод к столкновениям. Однажды Сандунов, профессор русского гражданского и уголовного судопроизводства, завел с попечителем свободное и неуступчивое суждение о каком-то деле. Последний, раздраженный возражениями, громко заметил:

— Вы забываете, с кем говорите.

— Нет, — резко отвечал Сандунов, — я очень хорошо помню, что мое превосходительство говорит с вашим превосходительством.

Итак, переименованный, по щучьему велению, из инспектора своекоштных студентов в инспектора казеннокоштных, Котельницкий стал уговаривать меня вступить в число его помощников. Я сдался на уговор. Хотя должность субинспектора не приносила никакого вознаграждения, но ведь и обязанности, с нею соединенные и очень точно изложенные в инструкции, на самом деле никогда почти не исполнялись не потому, что служба была gratis[9], а следовательно, не стоила труда, а потому, что и при окладе она не могла отправляться иначе. Что предписывалось помощникам инспектора? «Иметь надзор за тишиною и пристойностью в классах; смотреть, чтобы студенты приходили на лекции в форменной одежде, ослушников же высылать из аудитории и в списках отмечать их выбывшими» (т.е. не бывшими на лекциях). Правила очень простые, но надобно представить себе характер тогдашних отношений студентов и к инспекторам из профессоров, и к субинспекторам из окончивших курс кандидатов, — между которыми иные, как я, например, были в прошлом году их товарищами, — чтобы понять, как на подобные правила смотрели обе стороны. Эти отношения отличались близостью, нестеснительностью. Студенты не смотрели на инспектора как на личного врага, с одинаковым вкусом и любовью отыскивающего и крупные и мелкие провинности. Они не сторонились от него и не боялись его, но легко могли питать к нему доброе расположение. Таким же инспектором, как Котельницкий, они даже забавлялись и, не избегая с ним встречи словно какой-то беды, напротив любили зреть его, как занимательный в своем роде субъект. Самые изыскания, соответственно характеру взыскивающих, не представляли обидно раздражающих свойств.

Василий Михайлович был действительно *занятною*, всеми искомою личностью. Не знаю, почему студенты прозвали его Котельфисом. Целый цикл сказаний сложили они об его профессорской и инспекторской карьерах и даже думали воспеть его в «Котельфисиаде». Читатель дозволит мне поделиться с ним некоторыми подвигами героя этой предложенной, но не явившейся в свет поэмы.

Начну с его профессорства. Читал он фармакологию, руководствуясь сочинением Пленка или, как он говорил, «по Пленку»[10]. Прочитав известное число страниц, он каждую лекцию заключал одним и тем же

финалом: «Вот как думает господин Пленк; что касается до меня, то и я... того же мнения». Затем загибал уголок в книге, чтобы видеть, откуда должна начаться следующая лекция. Приносил он «господина Пленка» в заднем кармане фрака. Войдя в аудиторию, он обыкновенно обращался к ближайшему студенту: «Ну-ка, батенька, ты молодой человек, помоги достать книжку из кармана: у меня, старика, и руки уж не гибки, да и спина что-то ломит». Студент, разумеется, помогает охотно. Но однажды, ради смеха, он, вынимая книгу, отогнул уголок и загнул новый, чрез несколько страниц вперед. Ничего не подозревая, Котельницкий начинает лекцию: «В прошлый раз, господа, мы говорили о свойствах тростника; перейдем теперь к его употреблению. *Из него строят дома*... то есть домики, детские игрушки, что продаются в лавках. *Корабли*... ну да, тоже кораблики и лодочки для забавы ребят; вы, чай, видали, как в деревнях мальчишки спускали такие лодочки на лужи и любовались их плаванием. *В вышину достигает десяти и более сажен, в диаметре бывает*... э, э! господа, это что-то не так. А вот что: по ошибке раскрыл я книгу не на той странице. Ну, это не беда: сказанное о тростнике надобно разуметь о дубе»*.

Как профессор медицинского факультета, Котельницкий имел пациентов, но его врачебная практика была очень неважная. На этом поприще первенствовали тогда терапевт Мудров и хирург Мухин. Одно время Василий Михайлович читал лекции в нижнем этаже университетского флигеля, в верхнем этаже которого помещалась аптека. Окна аудитории выходили на улицу (Моховую); в них были уже выставлены внутренние рамы. Раз как-то в апреле или в мае, при самом начале лекции, раздалось на улице похоронное пение. Василий Михайлович остановился: «Ну-ка, господа, посмотрим, кто отправился ad patres[11]». С этими словами он, а за ним и все студенты гурьбой встают с своих мест, растворяют окна и по пояс высовываются из них. Хоронили какого-то купца-миллионера; за траурною колесницей тянулся длинный ряд экипажей. Минут чрез двадцать, когда аудитория пришла в порядок, профессор наивно заметил: «Вот, господа, и видно, что не нашего брата работа, а либо Мудрова, либо Мухина; нашему брату дураку таких богатых тузов не дадут лечить». Он не сердился, если его слова производили hilarité générale[12], но иногда случалось ему, как говорят, входить в амбицию, и тогда он в выговоре не стеснялся. При одной из его простодушных выходок какой-то студент

*Слышано от покойного Ф.Л. Морошкина.

улыбнулся. «Чему ж ты смеешься, рябой черт? — закричал он. — Вот я тебя в карцер засажу».

Передам еще один пассаж, сообщенный мне главным действовавшим в нем лицом, уважаемым Г.Е. Щуровским. С малолетства любознательный и трудолюбивый, Григорий Ефимович и в университете не хотел оставлять праздными два-три свободных часа, которые приходились между его обязательными лекциями. Он выбрал Котельницкого, без сомнения ради удобства, а не ради интереса лекций. Однажды, как была назначена репетиция пройденного, один из студентов-медиков, Щировский, не явился. Щуровский, образец добросовестности, хотя и добровольный слушатель, пришел. Профессор, спросив того-другого, вызывает наконец Щировского. Глаза всех студентов обратились на Щуровского, который, будучи весьма застенчив, сконфузился и покраснел jusqu'au blanc des yeux[13], по французскому выражению.

— Господин Щировский! — повторяет Василий Михайлович.

Г.Е. Щуровский решился привстать с места и робко промолвил:

— Я вас не слушаю, господин профессор.

— Как смеешь говорить, что не слушаешь меня? Коли ходишь ко мне на лекции, стало быть слушаешь. Отвечай!

— Вы спрашиваете Щировского, а моя фамилия Щуровский.

— Экая важная разница! Одна только буква! Отвечай-ка... Что, брат, покраснел? Значит, не приготовился... То-то, господа, я вижу, он за вас прячется, чтобы я его не заметил... Вот тебе за леность нуль... Будешь нас знать и слушать.

Таким образом отсутствующий Щировский, благодаря присутствовавшему Щуровскому, получил наихудшую аттестацию.

Не меньше забавных фактов представляла и история инспекторства Котельницкого. Он, например, считал как бы подвигом своей служебной ревности, если число посаженных в карцере достигало двенадцати. Почему именно двенадцати, а не меньше или не больше, мы никак не могли догадаться. И к каким средствам ни прибегал он для укомплектования этой таинственной цифры! Встретится ему студент в одном из университетских коридоров — он тотчас к нему:

— Куда, батенька, идешь?

— На лекцию.

— Ну, нет, брат, не надуешь. Ты просто слоняешься без дела или направляешь свои стопы в трактир... По глазам это вижу... Пойдем-ка лучше со мной.

— Куда?

— В карцер.

— Помилуйте, Василий Михайлович, за что?

— Пойдем, пойдем. Я знаю за что... У меня же, кстати, недостает двенадцатого.

И засадит, без дальних разговоров. Это бы еще ничего. Плохо то, что, засадив, он, по рассеянности, забывал срок наложенного ареста и студенту приходилось голодать. Но в таком случае сторож, свыкшийся с обычаем инспектора, самосудом выпускал заключенного. Если коридорная вербовка не удавалась, Котельницкий отправлялся за ловлей на университетский двор. Но тут дело выходило иначе. Арена была обширней, и ловцу, довольно грузному и не легкому на ходу, нельзя было состязаться с юношами, быстроногими не хуже Ахиллеса. Попечитель, знавший за инспектором указанную слабость, любил обращаться к нему с вопросом: «Ну, сколько у тебя в карцере?» — «Двенадцать, ваше превосходительство», — отвечал этот с самодовольством.

Другою характеристичною слабостию Василия Михайловича было какое-то детски наивное тщеславие: он любил показать студентам свое превосходство пред ними в учености. Особенно претендовал он на знание химии, с той поры, как прочитал одно из сочинений Тенара, которого еще не было в наших руках. По праву инспектора посещать лекции он чаще всего выбирал лекции Рейса, читавшего химию на латинском языке. Садился он в это время не рядом с профессором, а поблизости к студентам, чтоб им подсказывать. И действительно подсказывал шепотом, но не с целью оказать помощь незнающему, вывести его из затруднения, а единственно с тем, чтобы показать себя всем сидящим. «Вот, дескать, как мы знаем химию», или, как он нередко говаривал, «химишку». Иногда он являлся и в отсутствие Рейса. Тогда он сам предлагал вопросы. Если студент отвечал удовлетворительно, это ему не нравилось, и он обыкновенно замечал: «Ты, брат, не думай о себе много; ведь не велика еще важность вызубрить тетрадишку. Вот я тебя, постой-ка, из Тенара жигану; посмотрим, как-то ты вывернешься?» Студент, не знакомый с Тенаром, хранил молчание. А Василью Михайловичу то и надо. Незнанию, которым успокоивалось его наивное тщеславие, он радовался больше, чем обрадовался бы знанию, в этом-то и комизм: «Что, брат, прильпе язык к гортани? Ведь я говорил — не важничай; мы сами химишку-то смыслим».

Из событий внутренней университетской жизни самым интересным и приятным для студентов было возобновление профессуры И.И. Давыдо-

ва в 1828—29 учебном году. Мне очень памятна вступительная лекция профессора, некоторое время состоявшего, так сказать, в заштате и неожиданно воздвигшегося. За неимением подходящих кафедр назначили Давыдову преподавать высшую алгебру. Она-то и служила предметом вступительного чтения. Но какая разница между двумя лекциями: прежнею философскою и новою математическою! Тогда с гордою самоуверенностью держал себя оратор пред слушателями; теперь, наученный опытом, он смирился и принизился, по крайней мере до поры до времени. Самый предмет чтения не допускал ни того тона, ни тех приемов, какими отличалось чтение о возможности философии как науки. Впрочем, сочувствие студентов к профессору не охладело. Задолго до его прихода они из всех факультетов собрались в аудиторию и заняли места амфитеатра. На скамьях у противоположной стороны сели некоторые профессоры и сторонние лица, между прочими М.П. Погодин и С.А. Маслов, секретарь Московского общества сельского хозяйства. Но этому многолюдному сборищу пришлось разойтись самым забавным образом, благодаря нецеремонности и бестактности университетских властей в лице И.А. Двигубского (ректора) и Ф.И. Чумакова (инспектора). Им была не по нутру реставрация Давыдова. Не имев сил запереть ему двери в университет, они хотели, по крайней мере, нанести удар его тщеславию, лишив его слушателей. И вот, едва вступили они в аудиторию, как Чумаков закричал грозным голосом: «Что это значит? Откуда такая толпа? Математиков не много: пусть они и останутся; все другие — вон!.. вон, вон!» — повторял он, больше и больше разгорячаясь, и наконец до того расходился, что даже к посторонним посетителям начал подходить с тем же грозным возгласом. Напрасно сконфуженный С.А. Маслов указывал ему Анненский крест на шее, давая тем знать, что он не студент; напрасно и Погодин объяснял ему, что за лицо Маслов, он долго не мог прийти в себя. Наконец как-то опомнился и попросил извинения у кавалера Св. Анны. Представьте положение студентов и мое, субинспекторское! Не смеяться было невозможно, а смеяться на виду у властей — другая беда. Самая лекция прошла благополучно, то есть тихо и смирно. Давыдов читал по тетради, не думая об эффектах. Вообще его лекции оказались ниже его дарований и известности. Он занимался математикой как дилетант, хотя и перевел курс высшей алгебры Франкера[14]. На новую кафедру смотрел он как на переходную ступень к третьей кафедре (по русской словесности), которую и занял по смерти Мерзлякова.

Боюсь, как бы при чтении того, что мною высказано о Котельницком, Чумакове и некоторых других профессорах, не заподозрили меня в желании налегать особенно на слабости и странности членов тогдашнего профессорского персонала. Но что же делать, когда те, о которых у меня идет речь, были действительно такими, а не иными? Нет спора, что в свое прошлое время они, по своим ученым трудам, пользовались известностью и оказали, каждый в своем роде, заслуги Московскому университету, с которыми обстоятельно знакомит биографический словарь его профессоров и преподавателей. Чумаков, например, слыл когда-то замечательным математиком. Но я воспоминаю мое время, а не предшествовавшее ему. В мое же время этот ci-devant[15] замечательный математик очень плохо готовился к лекциям, почему и путался в объяснениях и выкладках. Стоило только студенту спросить: «Отчего это, Федор Иванович, вышел у вас плюс? Кажется, тут следует быть минусу», как Федор Иванович, конфузясь и не смотря, есть ли какая-нибудь ошибка в вычислении, стирал все написанное им на доске или вместо ответа сердился на спрашивающего и давал на него окрик: «А вы что, милостивый государь, сидите так невежливо — положили нога на ногу, да еще облокотились?..» Transit gloria mundi[16]: отчего же не проходить и славе профессоров?

Что же мои приготовления к магистерскому экзамену? Подвигался ли я сколько-нибудь к предположенной цели? С сожалением должен признаться, что нет.

Каждый труд, и всего более труд научный, для своего успеха требует благоприятных обстоятельств. Ему-то в особенности нужны содействие известной жизненной среды, известный градус умственной и нравственной атмосферы. Та же среда, в которой суждено мне было провести четыре года по окончании курса, не представляла не только помощи, но даже сочувствия задуманному мной намерению. Всем своим складом и бытом она, напротив, неодолимо ему противодействовала. Я жил в Замоскворечье, у родной тетки, женщины очень доброй, но совершенно необразованной, не имевшей понятия о том, что такое ученые занятия и ученые степени, и видевшей в каждом студенте по малой мере либерала, по большей — безбожника. Ни в ее семье, ни между ее знакомыми не встретил я ни единого лица, которое своим примером или хоть советом могло бы поддержать добрые начинания юноши. Да и откуда было ему явиться? Тетка моя принадлежала к дворянскому сословию и, гордая этою принадлежностью, несмотря на свою бедность, так как ей по разделе имущества

родителей между шестью дочерьми досталась неважная часть — каких-нибудь душ двадцать, нередко говаривала она с гонором: «Я сама родилась в карете», давая знать этими словами, что ее, при воспоминании о прежнем неразделенном имуществе, не удивишь никаким экипажем, хотя при настоящем ее состоянии она вынуждена была трястись на калибере*[17] или даже делать визиты пешком. Описать времяпровождение молодых людей Замоскворечья в том именно кругу, в каком, по житью моему у тетки, я вынужден был обращаться, — дело нелегкое. Оно так далеко от нынешнего, так на него не похоже, что едва ли воображение современного читателя легко перенесется слишком за сорок лет назад и вполне поймет нравы и обычаи тогдашнего московского люда по ту сторону реки. Если американцы говорят «время — деньги» и потому каждый потерянный час измеряют карманным ущербом, то мы поступали совершенно наоборот: мы не ценили денег, и может быть, потому не дорожили временем, а тратили его непроизводительно. Короче, наше времяпровождение было бездельно. Стыдно в этом сознаться, а не сознаться — совестно. Большая часть года уходила на прием гостей и на хождение в гости. При той дешевизне на все предметы, которая теперь сделалась археологическою редкостью, при том расположении довольствоваться малым и обходиться попросту, а главное, при том отсутствии сериозных интересов, которые и не могли быть доступны Замоскворечью по низкому уровню его умственной развитости, иной житейский обиход был и немыслим. Существенный запрос был запрос на беззаботное и бесцеремонное веселье. Удовлетворять ему не представлялось трудности. Тетка моя, при небольшом доходе за наем ее деревянного дома и с малоземельного имения, однако ж, нередко давала танцовальные вечера, которые, при произвольном расширении значения слова, назывались даже балами, потому что приглашалось человек пять музыкантов, по синенькой (пять рублей ассигнациями) на брата. Но музыка была единственною дорогою статьей: все прочее обходилось без ощутительных издержек. В конфетах, например, весь интерес состоял в русских стихах на бумажках с завернутым в них сахаром: стихи отличались безграмотностью, а сахар дурным качеством. Комнаты освещались свечами, редко восковыми и часто сальными, нагар с которых прислуга то и дело снимала щипцами. В иных домах музыканты заменялись домашним органом, не нового устройства, когда он заводится, а прежнего, с ручкой, которую вертел лакей, приводя в дви-

*Экипаж вроде дрожек, вышедший из употребления.

жение вал с известным количеством пиес и сменяя их передвижением винта с одного рубчика на другие. Лакей иногда ошибался, по скорости или усталости: подвинет винт на лишний рубчик, и орган вместо французской кадрили заиграет унылую песню или «Коль славен», что производило общий веселый смех.

На танцы смотрели как на важное, сериозное дело. В характере их выражался эстетический закон: искусство само себе цель. Танцовали ради танцев, потому что любили танцовать. И кавалеры и дамы тщательно соблюдали правила искусства, не так, как теперь, когда танцы обратились в хождение по комнатам. Матушки обыкновенно рассаживались вокруг залы, выбирая каждая место позади дочки, чтобы восхищаться ее красотой или грацией и сверх того присматривать, с одной стороны, за ее кавалером, а с другой — за аккуратным исполнением танца. Заметив какую-нибудь небрежность, maman шепотом напоминала дочке обязанность: «Ma chère[18], выделывай хорошенько па». Танцы были разнообразные: польский, которым открывался вечер и в котором принимали участие все гости, без различия возрастов, затем экосез, матрадур, вальс, кадриль (русская и французская), котильон, мазурка[19]. Последние два танца нравились особенно. Котильон, с своими бесконечными фигурами, давал возможность заинтересованным парам долгое время пребывать неразлучно и беседовать сколько душе угодно. Мазурка, кроме этого субъективного значения, имела и самостоятельное, объективное: она была хороша сама по себе, как ловкий и красивый танец; поэтому, как только раздавались ее звуки, так все гости высыпали в залу; даже старички, игравшие в задних комнатах в бостон или вист, выходили из-за ломберных столов полюбоваться на бойких мазуристов. В танцорах мог быть избыток, но уж никак не недостаток. Они сами напрашивались на веселье. Хозяева старались только уравнять число танцующих обоего пола, боясь, как бы иная девица или иной кавалер не остались за штатом по невозможности составить пару. И что бы стал делать приглашенный кавалер без танцев? Играть в карты или смотреть на играющих? Но его пристыдили бы и старые и молодые. Курить трубку или папиросы? Но, во-первых, папирос тогда не было и, во-вторых, курить на балу или вечеринке считалось невозможным. Ходить в буфет? Увы, буфетов тогда не устраивалось, и закуска подавалась в одно свое время, а не стояла готовая на всякое время. Оставалось одно — быть действующим лицом; действовать же значило плясать. Кроме общих, бывших в моде танцев иногда угощали при-

сутствующих и танцами характерными: гавотом с шалью, даже казачком или венгеркой. Это делалось по общей просьбе гостей или по желанию каких-нибудь почтенных личностей. Само собою разумеется, что танцовавшие награждались громкими аплодисименами. На вечеринку, или, пожалуй, на бал, собирались рано, часов в семь или восемь, и, не теряя драгоценных минут, приступали к делу и продолжали его почти без перерыва часов до двух, трех и более. Затем садились ужинать. Ужин был незатейлив: ветчина с горошком или телячьи котлеты, жареное и пирожное. Потом снова начинался пляс, который часто завершался шумным гроссфатером. Помню, как один из таких балов кончился в пять часов утра. Это было летом, так что гости разъезжались и расходились при дневном свете. Я принадлежал к числу пеших. Путь предстоял мне длинный — с Донской улицы к Петровским воротам, куда я в то время переехал от тетки на квартиру. Это составляло не меньше пяти верст. Весь в поту, не чувствуя под собою ног, я досадовал, что по ранней поре не встречалось извозчиков. На полдороге один и встретился, но тут другая беда: не на что было нанять его. Зато какой крепкий сон! Поутру вставал я бодрый, не раскаиваясь в пусто проведенном времени, а только вспоминая пословицу: «Охота пуще неволи».

Кроме частных вечеринок молодежь посещала и общественные увеселения в собраниях, которых было три: Благородное (Дворянское), Купеческое и Немецкое[20]. В первое из них не могли иметь входа лица той дворянско-мещанской смеси, с которою вела знакомство моя тетка: для этого требовались значительные расходы на костюм и экипаж. Но последние два приходились нам по плечу: здесь и за малые деньги легко было и натанцоваться вдоволь, и поужинать; так, ужин стоил пятьдесят копеек ассигнациями. Впрочем, я не любил шустер-клуба[21] по причине скандалов, там случавшихся. Каждый раз выводят под руки одного, двух визитеров за учиненные ими дебош или проказу. Вывод совершался просто или торжественно, то есть без музыки или с музыкой (трубным звуком), смотря по важности вины и по желанию виноватого. Справедливость требует сказать, что провинялись по преимуществу русские посетители, которые иногда намеренно выбирали местом своих подвигов Немецкое собрание, зная, что в нем сойдет им с рук то, что никак не сошло бы в Благородном.

На святках танцы перемежались с игрой в фанты. Мы очень любили ее: она давала законный способ высказывать расположение взаимно заинтересованных молодых людей и пользоваться льготами, запретными в обычном

обращении. При розыгрыше фантов, когда, например, кавалеру назначалось быть продавцом лент или фруктов и, подходя к каждой из игравших, спрашивать, сколько ей угодно купить, он, после ответа, отмеривал требуемое, то есть целовал ручку по мере запрошенного. В более интимных кружках, при коротком знакомстве, целовали не руку, а в щеку или в уста. Всего более интересовала роль исповедника, если ее приходилось исполнять девице, которую в таком случае сажали на кресло и покрывали большим платком. Исповедывающийся становился пред ней на колена и подсовывал голову под платок, чтоб исповедь сохраняла тайну. Признаваясь в грехах, ему нетрудно было признаться и в любви, пожать ручку, сорвать поцелуй. По крайней мере, он не считал этого грехом.

Наконец, последнюю и самую занимательную статью увеселений составлял благородный театр. Неудивительно, если он устраивался в домах зажиточных, где не было недостатка ни в помещении, ни в средствах на значительные расходы, ни в известной образованности, нужной как распорядителю, так и исполнителям; удивительно то, что те домашние спектакли, в которых я был или зрителем, или действующим лицом, давались в квартирах квартального надзирателя г. Худякова. Сам он не принимал в них участия, даже косился на них, как на затею неприличную его званию, но терпеливо подчинялся желанию своей супруги, страстной театралки. Здесь-то в течение двух зим было разыграно несколько пиес: «Сын любви» (Коцебу), «Воспитание, или Вот приданое» (Кокошкина), «Великодушие, или Рекрутский набор» (Ильина), «Воздушные замки» (Хмельницкого), «Роман на большой дороге» (Загоскина) и др. При постановке их помогали нам артисты Московского театра: Ленский, талантливый водевилист, и Козловский, бездарный трагик. В числе любителей-актеров находился Ф.А. Кони, водевили которого имели успех на сцене и который с тем вместе обладал сценическою способностию.

Независимо от частных и общественных удовольствий, сколько времени тратилось на волокитство, отличавшееся сентиментально-романтическим характером. Не надо забывать, что образованный в тогдашнее время юноша состоял под двойным влиянием — Карамзина и Жуковского. Сочинения последнего действовали сильнее; и вот, при коротком с ним знакомстве, сложился у нас идеал любви со всем ее процессом: завязкой, перипетиями и катастрофой. Первым условием для возбуждения чувства служила, конечно, внешность, красивое личико — conditio sine qua non[22]; вторым — прелесть душевных качеств. В первом невозможно было оши-

биться, но второе, как недоступное глазам, сплошь и рядом предполагалось. Это предположение успокаивало совесть и принципы влюбленного романтика. О приданом нисколько не думали: мы презирали брак по расчету, видели в нем или преступление, или знак черствого эгоизма, противоестественного в молодом человеке. Бедность девушки считалась даже достоинством своего рода, потому что влюбленный мог выставить ее как верное свидетельство неподкупности, искренности своей любви, возбужденной единственно субъектом, без всякой мысли о каких-либо других, побочных предметах. Обоюдное чувство должно было отличаться платонизмом. Насколько в этом платонизме было действительно идеального элемента и насколько он действительно был безупречен, то есть свободен от чувственных позывов, — история каждой романтической любви умалчивала. При самообольщении, которое охватывало ум и чувство влюбленных, они сами не сознавали, что чисто и что нечисто, какая доля чистоты приходилась на принцип и воображение и какая доля нечистоты на фактическую действительность, раскрашиваемую принципом и воображением. Выражалась любовь различными средствами: взглядами (большею частию унылыми), вздохами, молчанием и проч., и проч. — все как следовало по элегиям и балладам Жуковского. Видное же гласное выражение предоставлялось альбомным стихам, и самый интересный из подарков, какие могла получить девушка, был альбом, разумеется, с золотым обрезом, со стихотворениями различных форм — элегиями, песнями, сонетами, акростихами[23]. В таком обращении с предметом сердца и состояла, по нашему убеждению, суть любви[24]. От Петровских ворот на Донскую улицу, почти под самый Донской монастырь, хаживал я на целые дневки, с десяти утра до десяти вечера, хаживал и летом и зимой, несмотря ни на сильные жары, ни на сильные морозы, доходившие до 25 и более градусов, собственным опытом доказывая справедливость одного водевильного куплета:

А тридцать градусов мороза
Какой любви не прохладят?

Моей любви они не прохлаждали.

«Пустота пустот и всяческая пустота!» — заметит, может быть, современный юноша, прочитав описание моей замоскворецкой жизни в течение трех или четырех лет. И он будет прав. Я не расхожусь с ним во мнении. Я сам выше назвал это четырехлетнее времяпровождение пустым и

бездельным. Таким названием я принес повинную. Но, сознаваясь в вине, надобно определить ее качество и степень. Она была скорее отрицательная, чем положительная; иначе сказать, она не нанесла существенного вреда тому, что всего дороже ценится в человеке. А сравнивая ее с поведением других молодых людей того времени, я нахожу себе некоторое оправдание, своего рода «смягчающее обстоятельство». Если мы вменяем в заслугу Карамзину и Жуковскому, что один своим сентиментализмом, а другой идеализмом полезно действовали на читателей, представляя им образцы нравов, противоположных господствовавшей грубости, то ведь и провождение времени в танцах, в бесцельном волокитстве и кропании стихов, конечно, извинительнее сидения в трактирах, азартной игры, попоек, разврата. Не говорю: что смешнее, говорю: что хуже — ухаживать несколько лет за девушкой и кончить ухаживанье ничем или, под пьяную руку, не думая долго, завершить беспутную связь беспутным браком? Последний акт бесповоротно губит человека; акты моего времяпровождения не погубили меня. Позыв любознательности, дающий возможность юноше образумиться в своем застое, нравственная совестливость, которая при всей пустоте окружающей среды останавливает малейшее покушение на низость и толкает в сторону благородства, сохранились во мне непотемненными. Природа моя спасла меня; однако ж, воля ваша, известную долю спасения надобно откинуть и на романтизм.

Внешним поводом, вытащившим меня из болота замоскворецкой жизни, послужила холера[25]. Общественная благотворительность, помогая страждущим, приняла, кроме того, средства обеспечить положение сирот, которые остались без приюта после их родителей, похищенных эпидемией. На первый раз для девочек устроено было помещение в доме князя Павла Павловича Гагарина. Здесь, под надзором трех дам высшего московского круга, должны были оставаться сироты до дальнейшего их устройства правительством. По возрасту и домашней учебной подготовке образовали из них два класса. Объявлением в «Московских ведомостях» князь приглашал гг. учителей оказать содействие доброму делу — уделить несколько свободных часов на безвозмездные уроки сиротам. Я обрадовался случаю заняться чем-нибудь полезным. Князь в то время занимал место обер-прокурора в Сенате и пользовался общим, вполне заслуженным уважением. Его имя произносилось как имя человека благородного, справедливого и самостоятельного. Как в служебных, так и в частных сношениях он держал себя не то что гордо, а с сознанием своего достоинства,

не смотрел на лиц и не боялся становиться им в оппозицию, если на его стороне были законность и правда. Он приветливо принял мое предложение обучать сирот русскому языку, а потом, увидев их успехи, просил заняться тем же предметом с его сыном, Сергеем Павловичем, очень даровитым юношей. Но здесь, к сожалению, успехи не соответствовали его дарованиям, что зависело единственно от тогдашнего образа воспитания в высшем обществе. Молодой князь четырнадцати лет уже отлично владел французским языком, гораздо лучше, чем родным. А преподавание последнего идет очень туго в то время, когда ему обучаются как иностранному и притом теоретически, без должной практики, так как в семействе князя и в кругу его знакомства почти постоянно слышалась французская речь. Благодаря рекомендации князя скоро нашлись у меня уроки в других домах, где предстояла мне та же трудность, то есть господство французского языка. Впрочем, моими занятиями оставались довольны и учащиеся, и их родители. Тем и другим нравилась, как они выражались, моя метода, а все достоинство этой методы заключалось в ясности толкований, да разве еще в том, что я, зная французскую грамматику, нередко прибегал к ней для объяснения правил грамматики русской. Немаловажною вещью считалось и то, что я был дворянского сословия и держал себя на уроках иначе, чем преподаватели из семинаристов, или вовсе не знавшие французского языка, или, при знании, пугавшие своих учеников и учениц прескверным выговором, на который тогда обращали особенное внимание, ценя его выше теоретического знания, как бы оно ни было капитально.

Кроме дома князя Гагарина памятен мне еще дом г-жи Есиповой (в первом замужестве г-жи Сольдан)[26], очень обходительной и образованной женщины, интересовавшейся литературой. Я давал уроки двум дочерям ее[27] и племяннице, г-же Лубяновской, дочери известного и по службе и в литературе Ф.Ф. Лубяновского[28]. У ней собирались молодые представители умственной жизни Москвы. Из числа их часто бывал И.В. Киреевский, в то время оскорбленный запрещением своего журнала «Европеец»[29]. Здесь же, на большом балу, в первый раз увидал я Пушкина, князя П.А. Вяземского[30] и обеих Гончаровых, из которых одна была уже невеста поэта[31].

По поводу моей учебной практики в великосветских московских семействах я должен заметить, что запрос на уроки русского языка проистекал вовсе не из настоятельной в нем потребности, еще менее из любви к родному слову, как бы внезапно восчувствованной. Ни то, ни другое не могло

явиться там, где без родного слова обходились очень удобно, где каждый и каждая гораздо свободнее объяснялись на французском диалекте. Факт объясняется взглядом правительства на народное образование и сообразно тому принятыми мерами. Оно, согласно с намерением и волею государя, должно было совершаться «в духе православия, самодержавия и *народности*», как выражено в циркуляре графа С.С. Уварова, при занятии им министерского поста[32]. Подчиняясь этой формуле, русское юношество стало предпочтительно воспитываться в отечественных учебных заведениях, а не в пансионах, содержимых иностранцами, или дома, под крылом иностранных гувернеров[33]. Конечно, знание русского языка, не только научное, но и просто практическое, не имело еще обязательной силы для лиц женского пола — для дочерей богатых и знатных семейств: они учились русской грамоте, следуя моде, по чисто формальному склонению в ту сторону, в которую хотя-нехотя направлялись их братья.

После двухлетнего учения в доме князя Гагарина сирот перевели в дом графа Разумовского (на Гороховом поле)[34], где они и должны были оставаться до устройства нового для них заведения. Мне было жалко покинуть моих учениц, которые полюбили меня. И вот романтическая привязанность опять взяла верх над расчетами. Явившись к новым лицам, заступившим место князя, я предложил безвозмездно продолжать мои занятия. Предложение приняли очень охотно, и я в новом помещении вел прежнее дело до 1832 года, когда утверждены были штаты особого воспитательного заведения, названного Александринским сиротским институтом.

[ГЛАВА VI] ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В МОСКВЕ (1832—1849), ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

В 1832 году из временного помещения в доме Разумовского (на Гороховом поле) дети родителей, умерших от холеры, были переведены в дом, принадлежавший Апраксину (на углу Знаменки и Пречистенского бульвара), разумеется, перестроенный, увеличенный и вообще приспособленный к потребностям нового учебно-воспитательного учреждения — Александринского сиротского института[1], который в простолюдии постоянно назывался холерным заведением. Он состоял из двух отделений — мужского и женского, в каждом по двести человек. Весь этот четырехсотенный комплект был вверен управлению надворного советника В.Н. Ш[енши]на. Видное место директора, обеспеченное содержанием и квартирой, доставил ему председатель московского Опекунского совета, князь Сергей Михайлович Голицын, крестивший у него единственного сына. В письмоводители к директору дали из того же Совета одного мелкого чиновника, который вскоре умел сделаться крупным, то есть из письмоводителя превратиться в правителя дел и, кроме того, соединить в своем лице две другие должности: казначея и эконома[2]. Обе эти персоны с первого же раза отлично поняли взаимную необходимость. Директор крайне нуждался в человеке опытном в ведении дел, а правитель канцелярии крайне нуждался в протекции директора, сильного еще более могучею протекцией своего вельможного кума. Впрочем, отношения между ними нельзя сравнить с отношениями Фамусова к Молчалину. Хотя директор и походил на Фамусова, но правитель был самостоятельнее Молчалина: он знал свою силу так же хорошо, как и бессилие начальника, никогда не бывшего деловым и потому старавшегося застраховать себя опекой подначального ему дельца.

Высший надзор за всеми частями институтского управления обыкновенно поручался двум почетным опекунам: у нас заведовали этим надзо-

ром князь С.М. Голицын и князь С.И. Гагарин, человек умный и образованный, занимавшийся, как говорили, агрономией, физикой и химией, но болезненный. Может статься, по этой причине он редко посещал институт, да и в эти редкие визитации выказывал какую-то спешность и равнодушие, которые не могли скрыться даже от детского внимания.

Единственный в то время московский вельможа — вельможа по именитости рода, богатству, придворному и общественному положению — князь Сергей Михайлович Голицын слыл в общем мнении москвичей за человека очень доброго. Но те, которым известно различие между истинною, разумною добротой и добротой инстинктивною, не могли увлекаться господством молвы. И без басни Крылова «Слон на воеводстве» они знали по собственным опытам, что доброта такого разбора часто приводит к совершенно противоположным результатам, смотря по образу мыслей, по расположению душевному, а чаще по воздействию людей окружающих, втершихся в доверие. Они знали, что иному боярину так же легко подарить первому встречному шубу со своего плеча, как и разрешить волкам содрать по шкуре с каждой овцы на тулупы. Нет сомнения, что в лице, о котором здесь говорится, вовсе не было зла, что оно всегда готово было делать добро и делало его своею властию или предстательством пред властию еще высшею. Свидетельств тому немало. Но беда в том, что по недальновидности, не различая границ, отделяющих добро от зла, добрый вельможа нередко принимал первое за второе и наоборот. От этого в его действиях оказывалась чересполосица, чего больше в итоге выходило от таких переходов с одной межи на другую — хорошего или худого, зависело от чистых случайностей. Занимая высокий пост, легко оказывать милость, которая иногда ничего не стоит оказывающему, но так же легко и лишать своей милости, что дорого обходится лишенному. На такие переходы от одного настроения к другому способны все те, в душе кого, по словам какого-то французского писателя, много доброты, но очень мало истинной любви к ближнему (beaucoup de bonté, mais très peu de charité)[3]. Еще хуже, если к этой способности присоединяется другая — податливость на предубеждения, принятие их на веру и затем тугое освобождение от них собственным толком, если не придет к нему чужой толк или неожиданная случайность. Князь часто обнаруживал эту слабость. Расскажу один пример, за истинность которого не ручаюсь, но который, по пословице, если и выдуман, то выдуман хорошо, потому что правдоподобен и верно характеризует действующие личности. Как всем москвичам известно, князь

отличался набожностью, в церковно-обрядовом смысле этого слова. И вот в бытность свою попечителем Московского учебного округа (с 1830 по 1835) он узнает, что Ю.Н. Бартенев, директор одной из гимназий этого округа, член масонского братства. Одного слова «масон» было достаточно, чтобы прийти к заключению о невозможности терпеть на службе такое лицо. Проведав о том, Бартенев, очень ученый и хитрый человек, во избежание грозящей ему неприятности принял свои меры. Он выпросил у одного из близко знакомых с князем рекомендательное к нему письмо. Приняв его двумя перстами, как нечто зачумленное, и бросив на стол нераспечатанным, князь сказал сердитым голосом: «Хорошо, я сам приеду в вашу гимназию, а теперь ступайте».

Приезжает с твердым намерением сокрушить масона, входит в класс к законоучителю, садится на кресло и строгим голосом приказывает экзаменовать учеников.

«Позвольте, ваше сиятельство, — останавливает его Бартенев, — по-нашему, по-православному, не так. Мы привыкли каждое дело начинать молитвою. Дети, читайте молитву!» И вот дети начинают молиться; вместе с ними молятся князь и законоучитель, а Бартенев молится больше всех, даже кладет земные поклоны. Кончилось тем, что гимназисты оказались отлично знающими катехизис. Князь остался всем и всеми доволен. Потрепав директора по плечу, он сказал: «Ну, вот теперь вижу, что ты хороший человек».

Таким образом злостный масон, по понятию князя еретик, преобразился в православнейшего христианина. Впрочем, не всегда удавалось князю так быстро отрешаться от усвоенного им мнения. В большинстве случаев оно крепко хранилось в его памяти и проявлялось самым откровенным, подчас наивно-комическим образом, как увидим дальше.

За выбор инспектора классов взялся сам Ш[енши]н. Наслышавшись о дарованиях и учености И.И. Давыдова, занимавшего в то время кафедру русской словесности в Московском университете, он отправился к нему на лекцию с одним из приятелей, лично знавшим профессора. В чем состояла эта лекция — не знаю; знаю только, что по окончании ее Ш[еншин]н в восторге сказал своему приятелю: «Mais c'est un génie, mon cher[4]; познакомьте меня с ним».

Вскоре за этим профессор принял сделанное ему предложение. Нельзя было желать лучшего выбора. Обладая многоразличными знаниями, опытный в организации учебной части, И.И. Давыдов сообщил ей определен-

ную систему, составил программы по всем предметам, из бывших до него преподавателей удержал тех, которые оказались пригодными, а места других упраздненных предложил новым, более надежным. Я принадлежал к первой категории: остался преподавателем русского языка и арифметики в двух низших классах женского отделения. При отличном инспекторе и при хорошем персонале учителей дело с самого начала пошло ходко, что и оказалось на быстрых успехах учащихся. Дивиться тут нечему. Как в басне «Царь и два пастуха»[5] волки не похищали овец у одного пастуха, потому что он выбрал *добрых псов*, так и в учебном заведении успех несомненен при соблюдении главного условия — выбора *хороших учителей*... Извините, пожалуйста, за сравнение: оно само собою подвернулось под руку при воспоминании, как в это время третировали педагогов.

В истории Александринского сиротского института, на первой поре ее, в малом виде повторялось то же самое явление, какое представляет нам история Академии наук. Как академическая канцелярия, в лице Шумахера и Тауберта[6], взяла верх над конференцией академиков, так и институтская канцелярия, в лице ее правителя и директора, своею распорядительною силой покрыла значение инспектора и учителей. Она выдвинула себя на первый план, а более существенное — распорядителей и деятелей по преподаванию — поставила на задний. Она, конечно, понимала, что в учебном заведении без учителей обойтись нельзя, но она смотрела на них как на последние спицы в институтской колеснице. Велика важность — учитель! Одно из двух: или он не хорош как преподаватель, или хорош, но почему-нибудь не угоден директору. В том и другом случае легко заменить его новым: мало ли этих господ в Москве? Иное дело — правитель канцелярии (он же эконом и казначей): без него директор очутится круглым сиротой, вся бюрократическая машина прекратит свое действие и дети останутся без обеда, и некому будет раздавать служащим жалованье. А найти другого правителя так же трудно, как было трудно Диогену с огнем сыскать человека. В силу таких убеждений учительская корпорация не пользовалась достодолжным вниманием. К ней относились свысока, словно к чернорабочему люду, хотя необходимому, но не имеющему права выступать вперед. К сожалению, сам инспектор иногда испытывал на себе следствие канцелярских взглядов. Я помню, как однажды, при раздаче жалованья, казначей, наскучив ждать его в канцелярии, прислал ему деньги со сторожем в класс, во время его заня-

тий с девицами. Инспектор обиделся и выразил свою обиду директору. Но чем же кончилось дело? Не казначей, а обиженный протянул первый ему руку на мировую. Можно, конечно, обвинить здесь обе стороны: одну — за неуважительность обращения, другую — за излишнее уважение пословицы: «Худой мир лучше доброй ссоры», но факт остается тем же фактом. Еще понятно такое «умоначертание» в директоре: принадлежа к классу родовитых дворян, он заражен был общим для всех Фамусовых понятием, по которому иной отец мог мириться с тою мыслию, что сын его ничему не выучился порядочно, мог даже любить сына-неуча, но никак не переварил бы той беды, если бы сын его выбрал профессию учителя. Но казначей наш, исшедший от обыкновенных смертных, не имел права на подобные оправдывающие обстоятельства. Поэтому надобно искать других причин его «умоначертания», и главные из них, во-первых, сознание своей неизбежности не для заведения, даже не для места, им занимаемого, а для лица, и, во-вторых, состояние чиновничества, большею частию очень мало образованного. Человек от природы очень неглупый, но самолюбивый, он завидовал двоякому над ним превосходству учителей: превосходству в образовании и превосходству по служебным правам, соединенным с образованием. Его чиновническое честолюбие страдало от той мысли, что им даются чины в меньшие сроки против тех лиц, которые не были даже в среднеучебных заведениях. Отсюда гнев. Впрочем, он напрасно гневался: он не только не отставал от нас в этом отношении, но даже постоянно опережал нас, получая и чины, и знаки отличия, и другие награды не в указные сроки, а по особым представлениям за отличия.

Стоя во главе управления, директор был очень ревнив к своей власти. Он не хотел делиться ею с теми, которые, по своему назначению, долженствовали бы помогать ему и по учебной и по воспитательной части, особенно на женской половине института. Здесь главная надзирательница, К.К. Кинович, не имела почти никакого голоса. Добрая, но равнодушная, обязанная семейством и по бедному состоянию дорожившая своим местом, она и не покушалась на какую-нибудь самостоятельность в сфере своей обязанности. Только по имени стояла она выше классных дам. О последних и говорить нечего. Между ними и воспитанницами не могло быть такого тесного сближения, как в других московских институтах (Екатерининском и Александровском), потому что директор не потерпел бы иного влияния, кроме своего собственного. Все должно было исходить от

него и притекать к нему. Замечателен был ежедневный выход директора из его квартиры в классы. Он отличался торжественностью и совершался постоянно в одно и то же время — в 11 часов, то есть за час до окончания предобеденных уроков*. Все время до этого часа посвящалось туалету. Говорю: «посвящалось», потому что этот туалет, как ходили слухи, был своего рода священнодействием, главная доля которого состояла в ежедневной краске волос седых или начинавших седеть. Анфиладное расположение классных комнат дозволяло каждому учителю издали, сквозь стеклянные двери, видеть приближение процессии, которую открывал экзекутор[7]; за ним следовал директор в сопровождении инспектора либо главной надзирательницы. При входе в класс воспитанницы, по заведенному обычаю, потом отмененному, гурьбой сходили с мест своих, окружали директора и здоровались с ним, целуя его в губы. Этот обряд целования отнимал у урока минут десять или пятнадцать, смотря по числу учениц. Директор редко останавливался послушать преподавание или поговорить с преподавателем. Но последнему нередко случалось выслушивать наставление или выговор начальника детям по поводу какой-нибудь жалобы. Как то, так и другое не отличалось ни содержанием, ни формой. Для подтверждения слов моих приведу два примера, из которых на одном я имел неудовольствие присутствовать, а на другом имел удовольствие не присутствовать. Выслушав донесение дежурной классной дамы Черепановой (дочери бывшего московского профессора) о провинности всего класса, директор сказал: «Чего ж вы хотите от этих девчонок? В них ни капли нет хорошего. Если даже разложить их химически, то ничего в них не найдешь, кроме дряни». Другой пример эффектнее не по словам, а по действию. Одна воспитанница предпоследнего класса, следовательно девушка лет шестнадцати, дозволила себе нагрубить преподавателю географии. Тотчас доведено было это до сведения директора, который является в класс, вызывает провинившуюся и спрашивает ее, как она смела решиться на дерзость. Ответ виновной и здесь был не совсем вежливый. Директор, вспыхнув, тут же, в присутствии всего класса, надавал ей пощечин, а потом оттрепал за косу. Скандал не разгласился, так как наказанной строжайше было запрещено говорить о нем родным.

На мужской половине главный надзиратель и его помощники дурно обращались с воспитанниками, тем более что директор мало интересовался

*Всех уроков было четыре: два утренние (с 8 до 12) и два послеобеденные (с 2 до 6). Впоследствии двухчасовые уроки заменились полуторачасовыми.

ею. Главная причина зла, — как же иначе назвать дурное отношение к юношеству? — общего почти всем лицам, приставленным для надзора за детьми в классе и вне класса, заключалась в том, что все эти приставники, надзиратели, детоводители, называйте их как угодно, смотрели на свою обязанность как на страшную обузу, невыносимую пытку. Глядя со стороны, можно было подумать, что они в каждом воспитаннике видели личного себе врага, рушителя своего покоя, помеху своему занятию или отдыху. Привязаться к нему тем искренним, свободным чувством, которое напоминало бы хотя мало-мальски не чадолюбие отца или благорасположение родственника, а просто приязнь или внимание доброго человека, они были не в силах; но и отвязаться от него также не могли, интересуясь своим местом. Поэтому ничего другого им не оставалось, как проклинать свою судьбу втайне да вымещать ее на вверенных им лицах явно. Весь день их надзирательства начинался и оканчивался скучающим, недовольным, сердитым выражением лица да криком «не шуметь!» да взысканиями, которые большею частию налагались без толку и меры, без мысли о их цели и последствиях. Вот один из многих тому примеров. Пришедши в институт на мужскую половину, где я впоследствии также имел уроки в высших классах, я увидел странное прибавление к костюму одного воспитанника, малого лет четырнадцати или пятнадцати: на груди у него, под самым почти подбородком, висел мешок не мешок, подушка не подушка, а что-то в этом роде. Я попросил объяснения у дежурного надзирателя. «Этот негодяй, — отвечал он, — съев свою порцию каши за обедом, начал еще брать с блюда и прятать в платок». Что бы сделал в таком случае здравомыслящий человек? Полагаю, он просто сказал бы ученику: «Если хочешь еще каши, спроси — тебе дадут, а тайком брать и прятать стыдно». Институтский ментор распорядился иначе: он велел всю кашу, оставшуюся на блюде, сложить в платок и привязать его на шею воспитаннику, который и просидел целый урок с большим искусственным и вдобавок еще теплым зобом. Это, видите ли, служило наказанием за жадность, а по-нашему, за аппетит, который у разных людей бывает разный. Нет, подумал я, никогда бы Минерва не решилась явиться очам смертных в образе классного надзирателя.

От воспитательной системы института мысль моя с удовольствием переносится к постановке в нем учебной части. Здесь иное дело: здесь есть что вспомнить не лихом и смехом, а добром. Несмотря на различие как в возрасте, так и в предварительной подготовке сирот, они на первый же

год оказали, видимо, быстрые успехи, за что, конечно, прежде всего должно благодарить умное руководство инспектора и добросовестные труды набранных им преподавателей. Сравнительно с другими учреждениями того же рода Александринскому сиротскому институту много помогло и то обстоятельство, что воспитанницы его были распределены на классы, с переходом из одного класса в другой, разумеется, при удовлетворительном экзамене, а не на два отделения — лучший и худший, с подразделением каждого на два класса — младший и старший, как было тогда в институтах Екатерининском и Александровском и чего теперь уже нет. Наибольшая успешность оказалась по математике и русскому языку. Математика не ограничивалась арифметикой, но заключала в себе алгебру и геометрию — и в какое же время? Когда и в домашнем и в общественном обучении господствовало убеждение, что женский ум решительно не способен к этой науке, что девушке достаточно знать четыре арифметические действия, по преимуществу с простыми числами. Да и эта цель не вполне достигалась: большинство заканчивали умножением. Поэтому в институтах смотрели на арифметику как на предмет совершенно побочный, даже излишний; никто из учащихся не занимался ею как должно, и незнание ее не принималось в расчет при аттестации кончивших курс. В Александринском сиротском институте преподаватели этой «ненужной» науки, Погорельский (директор 3-й гимназии) и профессор Зернов, доказали несправедливость мнения, обратившегося почти в аксиому: их ученицы усвоили все части элементарной математики так же основательно, как гимназисты, и по окончании курса сами обучали ей. Знаниям одной из них (г-жи Ефимовой) и умению передавать знания дивился П.Л. Чебышев. Отзыв такого лица, конечно, выше всяких моих похвал. Наряду с успехами по математике ставлю успехи в русском языке. Дети чрезвычайно скоро выучились правописанию, чему особенно способствовало частое объяснительное диктование. Имея в своем распоряжении двухчасовые уроки, преподаватель мог каждый раз уделять достаточно времени на это упражнение, которым впоследствии напрасно стали пренебрегать, ударившись в подробный до мелочности синтаксический разбор. Правда, что правописание того времени усвоивалось легче по своей однообразности. Руководством в низших и средних школах служила почти одна и та же книга: сначала грамматика Греча, а потом грамматика Востокова[8]. Поэтому оканчивавшие курс в этих школах следовали определенным орфографическим правилам. А что вынесено из школы, то остается надол-

го, почти навсегда: не многим придет охота переучиваться на новый лад или своим умом доходить до изобретения новой орфографии. Другим весьма полезным подспорьем к достижению той же цели, то есть уменью писать правильно, было переписывание учительских записок по некоторым предметам. Каждая воспитанница должна была запастись собственным экземпляром, за неимением печатного учебника. Писать приходилось много. А от долгой практики в этом деле не только глаз, но и рука привыкает к правильному употреблению букв и даже некоторых знаков препинания. Изучение немецкого языка воспитанницы начали с азбуки, но преподаватель, руководясь распространенною тогда методой Эртеля[9], сообщил им такой запас слов и оборотов, что они в короткое время стали понимать нетрудную повествовательную и описательную прозу. Каллиграфия без преувеличения процветала в институте. У многих воспитанниц сформировался такой четкий и красивый почерк, что они сами могли быть очень хорошими преподавательницами этого искусства. Некоторые из них по окончании курса занимались перепиской, бывшею для них особою статьей дохода. Наконец, сам инспектор в старших классах женского отделения преподавал педагогику, знакомя учениц с предстоящею им карьерой. Менее удовлетворительными оказались успехи в разговорном французском языке, что паче всего требовалось от тогдашних гувернанток. Но как можно было научиться ему основательно при том отчуждении, в каком директор держал воспитанниц от классных дам? Притом же половина этих дам была немки, или вовсе не говорившие по-французски, или говорившие плохо, да и большая часть русских объяснялась на нем незавидно.

На окончательном экзамене воспитанниц первого выпуска выказались вышеупомянутые их успехи в науках. При производстве этого публичного испытания институтское начальство благоразумно отступило от некоторых традиционных обычаев, несвоевременность которых хотя сознавалась почти всеми, но которые, однако ж, по давности держались твердо. Главное отступление сделано было в пользу учителей, производящих экзамен и своим положением возбуждавших чувство сострадания. Посудите сами: все посетители спокойно сидели на креслах или стульях, инспектору также отводилось особое место, один только учитель — в мундире, при шпаге и с треугольной шляпой под мышкой — должен был во все время экзамена из своего предмета стоя предлагать вопросы воспитанницам. В Александринском сиротском институте и ему дозволили сесть подле инс-

пектора. Эта новость поразила многих, а некоторые сочли ее даже за оскорбление, так что один сенатор, как бы не выдержав афронта, удалился из залы. Несмотря на такой пассаж, экзамены кончились отлично, выпущенные воспитанницы тотчас нашли себе места в семействах и пользовались справедливо заслуженною репутацией отличных наставниц.

В 1847 году И.И. Давыдов простился с институтом, вызванный на службу в Петербург, где получил место директора Главного педагогического института. Преемник его, профессор П.Г. Редкин, обнаружил в своем инспекторстве живую преданность педагогическому делу и соединенную с нею энергию. Он обновил состав учителей новыми лицами, достойными воспитанниками Московского университета. Сам он в специальном курсе мужского отделения, имевшем целию образование гражданских чиновников, преподавал предварительные понятия о законоведении, основные законы, учреждения и законы о состояниях. Под влиянием его рвения воспитанники как бы почувствовали усиленное возбуждение и предались занятиям с охотой и любовью. Но этому доброму направлению не суждено было продолжаться долго. В Петербурге высшею властию решено было устроить новый кадетский корпус. Для избежания особых расходов на устройство нужного для него помещения подлежащее начальство вошло в переговоры со статс-секретарем императрицы[10], по управлению женскими учебными заведениями, А.Л. Гофманом. Последний предложил следующий план: дом Александринского сиротского института передать начальству военно-учебных заведений для помещения имеющего быть нового корпуса; всех институток для окончания курса перевести в Николаевский сиротский институт (при Воспитательном доме), воспитанников низших классов поместить в кадетские корпуса, а воспитанникам высших (специальных) классов предоставить окончить курс с переводом также в здание Воспитательного дома. Боже мой, что сталось с нашим директором! Выходы его потеряли обычную торжественность, он притих, как бы пришибленный нежданным сюрпризом. Конечно, он был уверен, что его, благодаря протекции князя Голицына, не выбросят за окно, но вместе с тем он знал, что, какое бы ни дали ему назначение, оно не заменит прежнего, а будет своего рода изгнанием из рая. Он действительно, по совершенном упразднении института, был определен директором сберегательной кассы при московском Опекунском совете с жалованьем в три тысячи рублей и с обязанностью посвящать службе один только день воскресный для приема вкладов от народа, занятого все ос-

тальные дни работой. Что касается казначея, то он устроил свою судьбу иначе. Он давно уже завел лошадей и соответствующие им экипажи, потом учинился домовладельцем, а дальше поступил в экономы в Воспитательный дом. Экономом же в то время шутить было нельзя: этого местечка добивались даже люди с состоянием, даже зажиточные помещики. Так на экономство в Екатерининский московский институт охотно перешел один советник калужского губернского правления, владелец значительного числа душ[11].

В 1849 году П.Г. Редкин также оставил инспекторство и переехал в Петербург на службу по министерству уделов. Место его занял профессор С.И. Баршев, третий и последний инспектор классов. Дни института, существовавшего семнадцать лет, были уже сочтены. В нем осталось немного воспитанников, да и у них как бы опустились руки. Интерес к учению пропал. Вместо того чтобы внимательно следить за уроками, они разговаривали между собою, читали какую-нибудь книгу, что-нибудь переписывали. Порядок, дисциплина исчезли. Явились знаки деморализации. Укажу на случай, бывший на моем уроке в утренние часы: двое воспитанников явились заметно хмельные. Подобные явления были тем более печальны, что в числе юношей, оканчивавших специальный курс, находились даровитые, любознательные и образованные, которые потом заслужили репутацию дельных, достойных уважения молодых людей. Мне особенно приятно вспомнить из них Г.Г. Новицкого. Он приобрел такие познания в иностранных языках (французском, немецком и английском), что свободно читал на них сериозные ученые сочинения. Брат его, кроме того, знал и латинский язык. Трудно сказать, каким образом достигли они так скоро той цели, которая другим дается работою многих и многих лет, если принять во внимание, что латинский и английский языки не преподавались в институте.

При небольшом числе уроков в Александринском сиротском институте у меня оставалось много свободного времени для таких же занятий в других местах. В 1837 году мне предложили преподавать русскую словесность в старшем отделении Александровского института или училища. Это училище, основанное в царствование Александра I, своим характером, видимо, отличалось от того заведения, где я начал мою педагогическую карьеру. В нем крепко держались традиции императрицы Марии, память о ней хранилась как руководящий завет во всем круге распоряжений — воспитательных, учебных, хозяйственных[12]. Огражденное от посторон-

них влияний не одними стенами, но и особыми порядками и обычаями, глубоко пустившими свои корни, оно образовало отдельный мир, соприкасавшийся с миром внешним только немногие часы по воскресеньям и праздничным дням, когда родные и знакомые могли навещать воспитанниц. Но и этим соприкосновением, происходившим в присутствии дежурных классных дам и потому стеснительных, пользовались не все воспитанницы: его лишены были те из них, которые поступали в институт из других городов и не имели в Москве ни родных, ни знакомых. Понятно, что при таком устройстве все институтское население, от начальницы до воспитанниц, составляло своего рода семью, члены которой с каждым годом больше и больше привыкали друг к другу, теснее и теснее сближались между собою и при расставанье не могли не чувствовать искренней печали. Когда воспитанницы Александровского института называли свою начальницу «maman», то это слово звучало не тем звуком, какой слышался в том же слове, обращенном к главной надзирательнице Александринского сиротского института: в первом случае оно действительно выражало чувство привязанности, напоминавшей отношение дочери к матери; во втором оно было бессодержательною формой обычного обращения. Потом каждой классной даме поручалось известное число учениц, которые и оставались под ее надзором все время шестилетнего их пребывания в институте: она была обязана наблюдать и за их поведением, и за приготовлением ими уроков. Таким образом комплект учащихся разбивался на отдельные кружки, меньшие по объему сравнительно с целою институтскою семьей, но в этом меньшинстве завязывались еще более крепкие связи, исключавшие всякую мысль о взаимно равнодушных отношениях. Одна из особенностей Александровского института состояла в том, что он наполнялся по преимуществу дочерьми малочиновного и бедного люда. Неизбалованные жизнью в своих семействах, они вступали в казенное заведение безо всяких барских претензий, которые заметно обнаруживались в других заведениях, предназначенных для детей именитых и более богатых фамилий. Родители александровской институтки считали за счастье, что дочь их получит такое образование, какого они были не в силах дать ей дома, и что, кроме того, они освобождались от забот о ней на целые шесть лет. По своему общественному положению они не имели возможности стеснять распоряжений начальства. Обхождение с институтками не подвергалось опасности впасть в неровность, потому что неоткуда было явиться пристрастию или предпочтению одних пред други-

ми. Короче, положение институтского начальства было таково, что оно не смущалось, как Фамусов, при мысли, что скажет княгиня Марья Алексевна, приходящаяся бабушкой или тетушкой такой-то воспитаннице.

Указав хорошие стороны воспитательно-учебного устройства в Александровском институте, я, по чувству справедливости, не должен умолчать и о его невыгодах, которые он, впрочем, разделял с другими заведениями того же рода и которые теперь уже не существуют, благодаря новой постановке учебного плана и вообще значительным переменам во всей системе воспитания. Самый главный недостаток состоял в распределении воспитанниц на два разряда, сообразно их способностям и предварительной подготовке. Таким распределением, напоминавшим отлучение козлищ от овец, постановку одних одесную, других ошую, как бы заблаговременно, бесповоротно давали знать последним то, что Дант прочел на вратах ада: «Оставьте надежду входящие сюда!» Педагогично ли, гуманно ли обескураживать юношество, внушать ему печальную и вместе оскорбительную мысль, что оно обделено природой, не имеет надлежащей понятливости, не может надеяться на блестящие успехи в науках, а может только отличаться благонравием? Правда, иные из учениц второго, то есть худшего, отделения переводились в первое, лучшее; но это случалось редко, в виде исключений. Большое неудобство было соединено и с делением каждого разряда только на два класса: старший и младший, из которых в каждом воспитанницы оставались по три года. Не все же они оказывали равные успехи, так что на второй или третий год известное число их не могло следовать за уроками учителя наряду с другими, отставали от них. Различие между успевавшими и неуспевавшими определялось единственно местом, которое каждая воспитанница занимала в классе, для чего несколько раз в году производилась так называемая пересадка. Но ведь дело не в том, на какой скамье и какою по счету сидит ученица, а в том, не сидит ли она праздною слушательницей уроков по малознанию или малоразвитию. Странно, что новопринятых сортировали по отделениям, а как только они уже поступили и начали учиться, сортировка по ежегодным успехам прекращалась, так что каждая воспитанница очень хорошо знала, что, как бы ни училась она, хорошо или дурно, все же она кончит курс в одно время с другими, то есть пробудет в институте шесть лет, не больше. Впрочем, из этого шестилетия надобно исключить целый год: одно полугодие с начала курса и одно полугодие пред публичным экзаменом уходили на особые занятия. Поступали но-

вопринятые в конце августа; на поверочном экзамене их знания обыкновенно оказывались ниже требуемых программой: что же было делать? Не возвращать же их восвояси. Поэтому недостаток подготовки пополнялся в самом институте классными дамами и пепиньерками: они занимались с детьми чтением на французском и немецком языках, чистописанием, повторением молитв и пр. Приготовления к выпускному экзамену, который ожидался как грозный суд, равным образом похищали немало времени. За три месяца до вакации преподаватели только и делали, что повторяли пройденное, даже в вакационные полутора месяца обязаны были раз или два в неделю являться в институт для той же цели. А начальница с классными дамами устраивала репетиции торжественно-страшного суда: показывала ученицам, как они должны были выходить по вызову экзаменаторов, на каком расстоянии останавливаться пред посетителями, как отвечать и возвращаться на свои места и пр. Такую непроизводительную трату значительного времени на приготовления к одному дню нельзя, конечно, назвать вещью полезною. Нельзя также похвалить и того обычая, по которому пепиньерок, то есть воспитанниц, оставленных по окончании ими курса на трехлетие при институте, потом назначали в классные дамы. Они могли быть очень хорошими по характеру и знаниям девушками, полезными пособницами воспитанниц в приготовлении уроков, но не руководительницами при воспитании. Почти забыв мир семьи, из которого они пришли в институт, и совершенно не ведая мира общественного, в который никогда не входили, они составляли о нем мечтательные, фантастические представления, заражали ими воображение вверенных им девиц, запугивали их. Десятилетнее пребывание в институте приучило их находить счастие только в стенах его; что же происходило за его стенами, в свете, то казалось им жилищем тревог, печалей и напастей, чуть-чуть не царством антихриста. Отсюда ложный страх и ложный стыд, крайняя застенчивость, забавная наивность и столько же забавное неведение самых обыкновенных вещей. Недаром воспитанниц Смольного монастыря называли монастырками, то есть затворницами. Но это прозвище с одинаковою справедливостью могло прилагаться ко всем закрытым воспитательным заведениям для девиц. Каждая институтка более или менее была монастырка. Она всему удивлялась, от всего краснела. Стоило только преподавателю явиться с новою цепочкой на часах, в новом жилете или фраке — и в рядах воспитанниц пробегал шепот изумления: mesdames, смотрите, новая цепочка! новый фрак! Всего забавнее,

что вместе с воспитанницами конфузились, сами не зная отчего, и некоторые классные дамы из тех именно, что были поставлены в дамы из пепиньерок, по летам недалеко ушедших от учениц старшего возраста.

Директрисой Александровского института в мое время была Е.Л. Шарпио, очень умная и образованная женщина. Родом француженка, она, однако ж, свободно владела русским языком. Место инспектора занимал Юрий Иванович Венелин, известный своими сочинениями по истории болгар. Прекрасный человек во всех отношениях: добросердечный, прямой, откровенный, он скоро привязал к себе и воспитанниц и учителей. Но как инспектор он не подходил под те условия, которые требовались тогда от лица, заведующего учебною частью. В то время в женских институтах знание французского языка, особенно разговорного, считалось предметом первой важности, а он почти вовсе не умел на нем объясняться. Большое значение имели и внешность, костюм, соблюдение светских приличий, а он часто являлся в поношенном платье и с измятою шляпой. Входя в класс, он иногда садился не на стул, а на подоконник и болтал ногами, что смущало классных дам и заставляло улыбаться учениц. Назначив однажды в старшем отделении Екатерининского института экзамен в два часа пополудни, он явился в четыре. На вопрос о причине такой запоздалости он громко ответил: «Был в бане», и этим ответом, словно паром, обдал всех присутствовавших. Помощница начальницы, женщина добрая, но несообразительная, вместо того чтобы замять разговор, пустилась в расспросы: «Что это вам вздумалось в такое время? Лучше бы вечером». — «Вечером много народа, теснота, а теперь просторнее». Несмотря на короткий срок своего инспекторства Венелин успел, однако ж, сделать очень хорошее дело: он обновил состав преподавателей, пригласив на место одряхлевших, с избытком заслуживших новые и молодые лица. Так как цена людей и вещей определяется сравнительно, то эти учителя-новобранцы, конечно, показались кладом при сопоставлении их с педагогами-ветеранами. Да и не стоило большого труда перещеголять последних. Ведь это большею частию были своего рода антики[13], каких теперь едва ли представит самое живое воображение. Я уже не застал их, но хорошо познакомился с ними из анекдотических рассказов классных дам. При этом случае мне в третий раз приходится в моих воспоминаниях встречаться с почтенным П.В. Победоносцевым, преподававшим русскую словесность в Александровском институте. Он и с прекрасным полом общался попросту, как со студентами: каждой институтке говорил *ты* и

каждую классную даму, пожилую и молодую, называл *матушкой*. Между воспитанницами находилась одна уже взрослая, но малоспособная, которую он особенно не жаловал. Пред началом урока он постоянно заставлял ее стирать с классной доски написанное другими, а затем подзывал к себе спрашивать урок. Едва она раскрывала рот для ответа, как он останавливал ее словом: «Врешь!» Бывало, классная дама подойдет к нему с заступничеством: «Что ж это, Петр Васильевич, вы так ее конфузите? Подождите немножко, дайте ей подумать и сообразить». — «Чего, матушка, дожидаться? Я уж по глазам ее вижу, что она собирается врать». Или, подозвав к кафедре несколько воспитанниц и недовольный их ответами, он, укорительно помотав головой, начинал стыдить их: «Ах вы, мокрокрылые вороны, залетели вы в высокие хоромы!» Потом, вынув из кармана платок и привстав со своего места, махал им на стоящих, точно спугивал птиц, восклицая: «Кши! кши! мокрокрылые вороны! садитесь на свои места!»

Учитель истории, кажется Сокольский, любил к рассказу о лицах и фактах прибавлять нравственные сентенции. Если приличие не дозволяло обозначить предмет точным его именем, он прибегал к намекам или к междометию *гм*! Так, изложив царствование Лудовика XIV и упомянув о влиянии на него мадам Ментенон, он заключил свою лекцию словами: «Барышни, заметьте, что госпожа Ментенон была хорошая женщина... гм! гм!.. да не совсем». Наконец, диакон Хинковский, обучавший в младшем отделении Екатерининского института русской грамматике, пускал в ход столь распространенный ныне, а тогда еще мало употребительный, наглядный способ объяснения. Интересно, что при этой методе он преимущественно выводил на сцену себя самого и свою семью. Нужно ли было показать, что предложный падеж узнается по вопросам: где, в чем и т.д., он предлагал вопросы, на которые воспитанницы легко могли отвечать: «*Где* я?» — «В классе». — «*В чем* я?» — «В рясе». На уроке о значении предлогов *к* и *с* он фигурировал не один, но вместе с женой: «Я всегда ложусь *с* краю, а жена моя *к* стенке».

Учителей по исконному обычаю набирали преимущественно из класса людей женатых, которые поэтому предполагались нравственными и степенными. Из холостяков допускали только пожилых; молодые же получали право учительствовать лишь в том случае, если они имели несчастие (а в настоящем случае — счастие) быть невзрачными и, следовательно, от природы запаслись как бы наличным свидетельством полной своей бе-

зопасности для институток. Опыт показал, однако ж, что последние находили возможность точить свои юные сердца и при такой обстановке. Под влиянием наивной фантазии они сочиняли себе романтическую привязанность к тому или другому учителю и давали о ней знать выбранному различными способами. Если сюжет[14] потребует учебник или хрестоматию, ему подносилась книга девицы, им заинтересованной. Развернув ее, он на первых же страницах встречал слова: *ангел, архангел, божество, божественный*, начертанные рукой его обожательницы, или видел несколько начальных прописных букв подчеркнутыми; сложив их, он получал акростих, выражающий его имя или фамилию. На институтских балах, которых давалось три или четыре в год и где преподаватели были желанными гостями, шляпа сюжета доверху наполнялась конфетами и яблоками. Возвращать их вкладчицам или владелице было невозможно, и он волей-неволей уносил домой бальную провизию, которой хватало ему недели на две. На балу же, если учитель умел и решался танцовать, прыскали на него духами, как бы воскуряя ему фимиам, но вместе с тем портя ему фрак. Даже преподаватели Закона Божия не освобождались от общей повинности быть обожаемыми. Мне рассказывали, что одна воспитанница, в то время как законоучитель по окончании урока ставил отметки в списке баллов, сумела ножницами отрезать от его бороды прядку поседелых волос, которые и сохранила на память. Если весь педагогический персонал был разобран, воспитанница устремляла свое обожание на одну из классных дам. Случалось, что избранной льстило такое предпочтение, и она, по тщеславию, даже поощряла детское чувство особы, за нею ухаживающей. Когда же и комплекта классных дам недоставало на запрос обожания, тогда воспитанница привязывалась к другой воспитаннице, своей подруге, из старшего или младшего отделения — все равно. При взаимном и равностепенном чувстве привязанности появился особый термин — «обожаться», глагол нового *институтского* залога.

Предшественником моим в Александровском институте был Семен Егорович Раич[15]. Вот тоже, как и Венелин, прекрасный человек и сверх того известный литератор, основательно знавший древние и несколько новых иностранных языков и переведший с подлинников поэмы Тасса и Ариоста. Поэт в душе, он искренно хотел и своим ученицам внушить любовь к поэзии, развить в них чувство изящного. Намерение доброе, только он принялся за исполнение его неудачным образом. С первого же раза начал он диктовать им элегию Батюшкова «Умирающий Тасс», и они

должны были продиктованное в классе выучить наизусть к следующему уроку. Так как стихотворение очень длинно, то диктование и учение наизусть тянулось долго и до того надоело ученицам, что они, принимаясь за перо, с досадой говорили друг другу: «Господи, когда же, наконец, умрет этот господин Тасс!» Впоследствии оказалось, что учившие наизусть господина Тасса плохо знали орфографию, и первым предметом моих уроков была эта статья, крайне необходимая, хотя решительно прозаическая. Покончив с нею, я приступил к теории словесности и истории русской литературы. Результатами уроков я остался совершенно доволен. Вообще воспитанницы Александровского института отличались старательным приготовлением уроков и приобретали очень хорошие успехи в русском и французском языках. Каждый выпуск в течение одиннадцатилетней моей там службы насчитывал в себе много развитых и образованных девиц.

По смерти Венелина место его занял Н.Д. Брашман, профессор механики в Московском университете. Я определен был к нему помощником, в каковой должности и пробыл около трех лет (с 1840 по 1843). Так как, продолжая уроки в Александровском институте, я был обязан посещать и Екатерининский, то и перехожу к этому заведению. Но прежде этого считаю необходимым сказать несколько слов о новом инспекторе, как моем ближайшем начальнике. Не имея ни быстрого соображения и распорядительности Давыдова, ни любезных качеств Венелина, он отличался своеобразными особенностями. Добросовестный и доброжелательный, но крайне боязливый и осторожный, недоверчивый и подозрительный, а более всего нерешительный, он выводил из терпения, доводил до отчаяния тех, кому приходилось с ним вместе работать. Над каждым ничтожным делом он возился словно над квадратурой круга. Чего стоила одна пересадка (по его выражению, пересядка), то есть размещение учениц по новым местам сообразно их успехам, производившееся несколько раз в год! Ему казалось бедною двенадцатибалльная система аттестаций, принятая в институтах: он хотел бы 75 баллов в Александровском и 150 в Екатерининском, по числу воспитанниц в каждом отделении того и другого. Короче, он хотел невозможного. Нельзя же в самом деле с математическою точностью определять удельный вес каждой индивидуальности. А он как будто добивался именно этого, считая и пересчитывая баллы, выставленные учителями́, принимая в соображение большее или меньшее значение учебных предметов, раздумывая над разными величинами, входящими в итог оценки. Аптекарь не с таким тщанием отвеши-

вает скрупулы[16], с каким он взвешивал сравнительную стоимость такой-то ученицы, и все же при окончательном выводе оставался в сомнении: весы его инспекторского правосудия постоянно колебались, склоняясь то направо, то налево. Прибавьте к этому чрезвычайную неясность в мыслях, зависевшую от тугого формирования их в голове и от нескладного их выражения на словах. Брашман говорил на четырех языках: русском, французском, немецком и английском, и на каждом говорил дурно. Какой именно был его природный язык, для меня до сих пор тайна. Между тем, по обычаю многих немцев, живущих в России (Брашман был моравский уроженец), он считал себя знатоком русской грамматики, даже решался преподавать ее в случае манкировки преподавателя. Но урок оканчивался неудачно: ученицы не могли воздержаться от смеха, когда временный преподаватель говорил *высвистать* вместо *освистать*, или солнце *двигуется*, или когда он удивлялся, что глагол *ходить* не имеет совершенного вида и что, следовательно, нельзя сказать *ходнуть*. Несмотря, однако ж, на свою осторожность, Брашман нередко попадался, как говорится, впросак. Я был свидетелем забавного с ним казуса в день выпуска воспитанниц Екатерининского института, при раздаче им аттестатов, шифров[17] и других наград. Торжество это обыкновенно открывалось чтением письма императрицы ко кн. С.М. Голицыну на французском языке. Надобно было прочесть его во всеуслышание пред многолюдною публикой, состоявшею, кроме полного комплекта институток с классными дамами и учителями, из родственников и знакомых выпускных девиц. Князь поручил это дело Брашману, как инспектору классов. Но Брашман с первых же слов начал запинаться и выказал дурной выговор.

— Э, э! — громогласно остановил его князь. — Да ты, я вижу, не умеешь читать по-французски. Подай сюда. Monsieur Pascault*, lisez, je vous prie[18].

Разумеется, Пако прочел отлично, а Брашман с тех пор и залег в голове князя инспектором, не умеющим читать по-французски. Этот случай произошел до назначения меня помощником инспектора, и я передаю его по рассказу присутствовавших. Но вот прошло три года; наступил новый выпуск; повторился обычный порядок торжественного акта, на котором и я находился по должности помощника. С приездом князя, заметил я, Брашман начал беспокоиться и волноваться: его как бы подмыва-

*Пако — лектор французского языка в университете и преподаватель натуральной истории на том же языке в институте.

ло подойти к князю, но не хватало решимости. Наконец он решился и робким голосом заговорил о письме императрицы, хотя это вовсе было не его дело.

— Что? — спросил князь, не расслышав.

— Votre excellence, il y a une lettre de l'Imperatrice[19].

— Ну да, есть; да тебе-то что? Ведь ты не умеешь читать по-французски. Monsieur Pascault, lisez, je vous en prie.

Можете представить глупое положение тех, кто стоял в свите инспектора!

Начальница Екатерининского института, С.К. Певцова, вполне отвечала занимаемому ею месту. Светски образованная, ловкая, представительная и вдобавок генерал-лейтенантша, она держала себя независимо, потому что стояла в уровень как с почетными опекунами, заведовавшими учебною и экономическою частями ее заведения, так и с именитыми фамилиями лиц, дети которых воспитывались под ее началом. В молодости своею красотой и любезностью она кружила головы молодым людям*[21]. Трудно женщине забыть такие драгоценные дары; волею-неволею, в силу простого о них воспоминания, она и в позднейшее время выказывает на них притязания. Эту притязательность в Певцовой иногда останавливал князь С.М. Голицын своим откровенным словом: «Полно, полно, матушка, — говаривал он ей, дружески трепля ее по плечу, — пора перестать кокетничать: ведь тебе уже шестьдесят лет». Что касается учебного дела в Екатерининском институте, то воспитанницы его отличались пред всеми другими институтками знанием французского языка. Это и неудивительно: они уже дома хорошо были приготовлены к нему гувернантками; посещение родных, говоривших по-французски, иногда свободнее, чем по-русски, поддерживало практику, начатую еще в семействе; начальница и классные дамы объяснялись с ними на том же диалекте; наконец, лектор Пако, преподававший историю французской литературы и краткий курс естественной истории — то и другое на французском языке, очень много содействовал его разговорному усвоению. Благодаря другому отличному преподавателю, г. Архидиаконскому, воспитанницы оказывали в мое время не меньшие успехи и в языке русском. Многие приобрели навык в свободном литературном изложении, а две выказали даже особенную к

*«Выдержки из старой записной книжки» («Русск[ий] архив» 1875 года, кн. 2, стр. 454—455)[20].

тому способность: Васильева и Хвощинская — родная сестра писательницы, известной под псевдонимом Крестовского[22].

Хотя Александровский институт находился в очень близком расстоянии от Екатерининского, отделяясь от него только Мариинскою больницей и потом улицей, однако ж между воспитанницами того и другого существовал своего рода сословный антагонизм, выражавшийся, конечно, ребяческим образом, но зато откровенно. Екатерининские смотрели на александровских несколько свысока, называли место их воспитания мещанским, а их самих мещанками. Поэтому странным казался мне обычай — сводить их вместе на вакации. Раз в году екатерининские приходили к александровским, а затем последние отдавали визит. Время проводили в танцах и угощении, но истинного веселья не было. Обычай вытекал из очень хорошего намерения — познакомить и сблизить одинаково воспитываемую молодежь. Но можно ли в два вечера в году сблизить то, что разрознила история, общественное положение и давнишние понятия, переходившие от поколения к поколению, от отцов и матерей к сыновьям и дочерям? Александровские институтки по собственному опыту знали, что прием, оказываемый им екатерининскими, имеет смысл снисхождения, а визит последних первым — смысл оказанной чести. Поэтому они без удовольствия шли из дома и с удовольствием возвращались домой[23].

Кроме трех описанных институтов мне хорошо знаком и четвертый — институт обер-офицерских сирот при московском Воспитательном доме (Николаевский сиротский). Я поступил туда в 1839 году также преподавателем русской словесности. Место главной надзирательницы занимала в это время Лукерья Алексеевна Неймерн, а инспектором классов был А.О. Армфельд, профессор судебной медицины — совершенная противоположность Брашману: даровитый, быстрый, с умом ясным и скоро обнимающим предметы, он в совершенстве владел не только языками русским и немецким, которые можно назвать его природными (по матери — русской и по отцу — немцу), но и другими — латинским, французским, английским, итальянским. Постановка учебной части в институте одолжена ему исключительно. В этом отношении заслуга его одинакова с заслугой И.И. Давыдова, с тем, однако ж, различием, что Давыдов действовал в новоучрежденном заведении, не имевшем истории, тогда как Армфельд должен был изменять и преобразовывать до него существовавший план, что представляло больше трудностей. Благодаря нововыработанному плану преподавания, а равно и другим распоряжениям инспектора, в осо-

бенности выбору учителей, учебная часть Николаевского сиротского института стояла на одном уровне с тою же частию в Александринском сиротском. И здесь и там воспитанницы получали очень хорошее образование и выходили с солидною подготовкой для собственной педагогической деятельности. Для этой подготовки устроены были в Николаевском институте два специальные класса, в которые, по окончании общего курса, поступали лучшие ученицы, желавшие посвятить себя делу воспитания и образования и потому называвшиеся кандидатками. В первом кандидатском классе (теоретическом) они проходили некоторые дополнительные предметы, преимущественно педагогику, а во втором (практическом) практиковались в обучении воспитанниц низших классов. По знанию немецкого языка воспитанницы Николаевского сиротского института даже брали верх над воспитанницами Александринского сиротского. Это происходило оттого, что на немецком языке преподавались некоторые предметы (например, педагогика) и что сама начальница и классные дамы преимущественно говорили с ученицами по-немецки. Кандидатки свободно владели этим языком и в разговоре, и в письменном изложении. Обучение математике велось также весьма основательно: адъюнкту[24] Н.В. Кацаурову, помощнику инспектора, поручено было преподавание не только алгебры и геометрии, но и тригонометрии. Наконец, уроки русской словесности приняли нормальное направление и потому принесли большую пользу, тогда как прежде они страдали схоластицизмом, отсутствием живой связи между теорией и образцами, да и самая теория ограничивалась скудными правилами риторики, рецептами для разных родов сочинений. Особенно успешно пошло дело с того времени, как мы с П.Н. Кудрявцевым, тоже преподававшим русскую словесность в нескольких классах до поездки своей за границу, устроили особый класс чтения, которое воспитанницы считали приятнейшим уроком, лучшею для себя наградой. На этих чтениях мы познакомили их с капитальными произведениями нашей литературы, известными им до того по одним названиям да по именам авторов. Они узнали Жуковского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Это развивало их эстетический вкус, приучало чувствовать и оценивать достоинства поэтических произведений. Сверхкомплектные, бесплатные занятия наши оплачивались с лихвою видимым удовольствием слушательниц и столько же видимым добрым результатом, а также благодарностью инспектора и начальницы, в квартире которой происходили чтения и которая нашу услугу в пользу институток ценила как личное себе одолжение.

В педагогической профессии ничто так не способно возбудить добровольную ревность учителей, как свободное и приязненное отношение их к лицу, заведующему учебною частью. В таком именно отношении состояли мы с П.Н. Кудрявцевым к нашему инспектору А.О. Армфельду. Он ничем и никогда не стеснял нас. Я преподавал в высших классах, Петр Николаевич, поступивший в институт позднее меня, в низших, так что воспитанницы, начав с ним русскую словесность, доканчивали ее со мною. Чтоб избежать неудобств, всегда соединенных с переходом учениц от одного преподавателя к другому или — что еще хуже — к нескольким другим, мы условились с Петром Николаевичем поочередно меняться местами и вести каждому свой курс от первого класса до последнего. Распоряжение это устроилось не официальным порядком, а, так сказать, домашним образом, со словесного разрешения инспектора. Не было никакой надобности прибегать к формальностям в том случае, где слово — закон. В сфере педагогической суровая требовательность безусловно точного исполнения того или другого устава нередко останавливает самые добрые намерения и обрекает их на бесплодность. Если нельзя обойти ни одного пункта, случается нередко обходить и те хорошие последствия, которые имели бы место при возможности обхода. Да, хорошо было бы, если бы каждый мог положиться на себя и на других так же верно, как все знавшие Кудрявцева полагались на него! Исчезли бы все принудительные и поощрительные меры, упразднились бы все письменные ограждения и формальные основы действий, заменившись одною нравственною основой, безусловно прочною и в высшем смысле законною*.

Главная надзирательница Л.А. Цеймерн была замечательная женщина, поэтому я должен сказать о ней несколько слов. Она обладала таким чувством долга и такою силой воли, какие редко встретишь в нашем брате, мужчине. Эти дорогие качества и были ей нужны ввиду отношений, существовавших между нею и главным надзирателем, И.А. Штриком. По номинальности звания обе личности стояли на одной доске, но по объему и значению власти одноименные звания не равнялись: главная надзирательница заведовала только воспитательною частью, а главный надзиратель управлял всем Воспитательным домом, в сферу которого Николаевский сиротский институт входил как часть в целое. Он мог вмешиваться, и действительно вмешивался, в распоряжения директрисы, касавшиеся непосредственно ее круга действий, мешал тому или портил то, что, по

*«Мои воспоминания о П.Н. Кудрявцеве» («Русский вестник», 1858, № 4)[25].

ее убеждению, было необходимым и полезным. Отсюда возникали между ними частые несогласия. Так как на директрисе лежала прямая ответственность за все, что относилось к воспитанию вверенных ей девиц, то она справедливо хотела формальное право главного надзирателя устранить de facto[26]. И она достигла своей цели, благодаря твердой настойчивости и умному самообладанию. Особенно раздражался Штрик в тех случаях, когда Воспитательный дом посещали высокопоставленные особы. Он, разумеется, водил их по разным частям своего управления, но при входе в институт г-жа Цеймерн тотчас заступала ему дорогу и брала на себя труд давать отчет в своих действиях по воспитанию и учению девиц, отвечать на вопросы, объяснять все принадлежащее к кругу ее распоряжений. Главный надзиратель терял при этом первую роль: он уже не предшествовал гостям, не фигурировал с ними рядом, а шел позади их, даже позади той, которая, говоря строго, была подчиненным ему лицом, но которая из этого официального подчинения умела упразднить то, что не согласовалось с ее прямою обязанностью. Отсюда гнев, отсюда и неприятности. Последние или равнодушно переносились ею, как победительницею на главном пункте, или обращались ей же в честь. Она знала, что у кого больше власти, тот всегда найдет средство так или иначе нанести оскорбление менее властному, но она от этого не падала духом. Например, воспитанницы Николаевского института проводили летнюю вакацию на так называемом Загородном дворе (верстах в двух от Дорогомиловской заставы). Правление Воспитательного дома, из экономии, присылало только один экипаж главной надзирательнице: она отказывалась от него и, несмотря на свои годы, шла весь долгий путь пешком, отказывалась, потому что знала, что маловозрастным воспитанницам низших классов нужна такая же льгота, как и ей, пожилой женщине. Другой пример: ежегодный выпуск окончивших курс учения сопровождался обыкновенно обедом, на котором присутствовали многие почетные особы, и духовные, и светские. Дело эконома, разумеется, экономить, то есть пригласить поменьше лиц на трапезу, что, впрочем, им делалось не без воли ближайшего его начальника. Когда он являлся с приглашением к Л.А. Цеймерн, первым вопросом ее было: «А будут ли приборы для классных дам?» В случае отрицательного ответа она благодарила за оказанную ей любезность, но не принимала ее. «Классные дамы, — говорила она, — мои помощницы: деля со мною труды, они должны разделять и праздники; нет им места за столом — не нужно его и мне». Так как отсутствие на праздничном обеде такого лица, как директриса,

было бы равнозначительно публичному скандалу, то, разумеется, она одерживала верх, а представитель экономии сдавался. Некоторые находили один недостаток в образе действий главной надзирательницы, именно деспотичность и часто сопровождающий ее иезуитизм: она требовала беспрекословного исполнения своих распоряжений от классных дам и других подведомственных ей лиц, хотела все знать и ведать, рекомендовала кандидаток не на те места, каких просили их родители ради более возможного и более удобного свидания с детьми, а на другие, совершенно вопреки их просьбам, одним словом — считала себя как бы вторым Провидением, обязанным пещись о воспитанницах даже и после того, как они вышли изпод ее начала. Может статься, в этом обвинении есть правда, но надобно иметь в виду и облегчающие обстоятельства. Во-первых, кто убежден в доброкачественности своих мер, тот почти всегда больше или меньше наклонен к диктатуре, как простейшему средству достигнуть желанного результата мер. Во-вторых, надобно было знать родителей (а г-жа Цеймерн знала многих, и очень коротко), прибегавших с просьбами: они, конечно, любили своих детей, но эта любовь не мешала им часто ввязываться в отношения их детей к тем лицам, у которых последние получали места, и своим вмешательством быть причиною неприятностей и даже отказа. Испорченное дело приходилось поправлять той же г-же Цеймерн, которая вела постоянную переписку со своими бывшими воспитанницами, давала им советы, исполняла их поручения. Гувернантка, оставившая место по своей воле или по другим причинам, находила в ее квартире временный приют до приискания нового места. Много ли таких, которые согласились бы добровольно брать на себя подобные заботы и хлопоты? Не говорю уже о кандидатках, живших в Москве: при первом известии об их болезни или посетившей их нужде она немедленно спешила к ним с помощью и утешением, как бы исполняя долг ближайшего родного человека.

В заключение скажу несколько слов об институтах вообще. Я не буду говорить, как о предмете уже известном, ни о тех педагогических началах, на которых они основаны, ни о том широком развитии, которого они достигли при заботливом управлении Императрицы Марии Феодоровны. Эти учебно-воспитательные заведения для девиц были закрытые, согласно с мыслию Екатерины II: образовать новую породу граждан, разлучив ее, в период образования (от шести до десяти лет) с породой старою, то есть с отцами и матерями. Время обнаружило многие неудобства такой системы, и начальство, внимая опыту, старалось постепенно

устранять их. Но улучшения не примирили с нею некоторых публицистов: смотря на предмет с известного пункта, они пришли к отрицанию всякой полезности закрытых учебно-воспитательных заведений вообще и, следовательно, к необходимости безусловного их упразднения. Они забыли, что найти недостатки в каком-либо учреждении так же легко, как выразить крайнее мнение, но что гораздо труднее ответить на вопрос: чем заменить прежнее, оказавшееся по некоторым статьям несостоятельным? А в ответе на этот вопрос и заключается вся сила. Дайте лучшее — тогда нелучшее падет само собою.

Что же было тогда лучше институтов? Женские гимназии? Но они еще не существовали; они и теперь далеко не во всех городах. Но если б и существовали, все же не могли бы они служить удовлетворительною заменой. У них особое положение: они назначены для приходящих, следовательно, для живущих в городе, имеющем гимназию, а не для деревенских жителей, которые не имеют возможности переселиться из места своего жительства, а между тем нуждаются не только в образовании своих детей, но и в надежном за ними надзоре за все время образования. Одни пансионы восполняли тогда недостаток учебных заведений для девиц, но они, разделяя указанное неудобство с нынешними женскими гимназиями, представляли еще другое, а именно: они, как известно, возникали по коммерческим соображениям и держались ими от начала до конца. Содержательницы их, всегда почти иностранки, имели в виду барыш. У них дело велось по очень простому расчету, тождественному с формулой прямого геометрического отношения: чем меньше расходов, тем больше приходу, а чем больше приходу, тем лучше. Это желание лучшего, то есть наибольшей прибыли, заставляло их прибегать к соответственным тому мерам, в особенности к двум: к плохому содержанию пансионерок и к набору плохих учителей — числом поменьше, ценою подешевле. Нередко случалось, что один и тот же учитель, иногда муж мадамы, живший при ней на покое, вроде нахлебника, брал на себя одного преподавание многих предметов. Могло ли при таком ведении дела пансионское образование быть, не скажу, лучшим, а просто удовлетворительным? Как оно могло конкурировать с образованием в казенных учебных заведениях, какими были тогда единственно институты?

Представьте же положение той части дворянского сословия, которая проживала в своих поместьях. Не говорю о высшем его слое: родовитые и богатые не отдавали своих дочерей ни в институты, ни в пансионы, а

воспитывали их дома, под руководством гувернанток, которые и учили их французскому языку или даже преподавали на том же языке все науки, не исключая и священной истории. Дворянство средней руки находилось в ином положении: при значительной семье иностранные гувернантки обошлись бы им дорого, а русские хотя и вели дело успешно, но только до известного возраста и до известной, большею частию низкой степени. Дальнейшая степень предлагалась казенными заведениями, где, кроме того, надзор лиц, ответственных пред правительством, обеспечивал и детей, и их родителей. Что касается бедных, мелкопоместных дворян, то вся их надежда была на учение даровое. Чья дочь при баллотировке[27] вынимала счастливый жребий, та, поступив в число казеннокоштных воспитанниц, на шесть лет устраивала себя и тем успокаивала своих родителей. Одним словом, без институтов нельзя было обойтись, как нельзя без них обходиться еще и теперь. А что необходимо, то, разумеется, полезно.

Некоторые вменяли в недостаток институтам даже то, что бедная девушка, переходя из простой жизненной обстановки в другую, совершенно на нее не похожую, приучалась к просторному помещению и другим удобствам, так что по возвращении к себе домой чрез шесть лет ей было трудно помириться со скромным бытом родителей, к которому она поэтому и относилась с пренебрежением. Подобные обвинения по малой мере забавны. Какое бы здание ни воздвигла казна для полутораста или трехсот воспитанниц, как бы она ни экономила при устройстве его с необходимыми приспособлениями к жизни и учению, все же оно окажется палатами сравнительно с домом или домишком иного помещика, часто крытым соломой. Не в этой новизне дело: она вовсе не опасна. Дело в других новизнах, которые поступившая в институт встречала, может статься, в первый раз. Она встречала там чистоту, порядок, дисциплину; приучалась к правильному распределению времени, к слушанию и приготовлению уроков, к общему для всех уставу, к понятию о долге. Исключений, перестановок, откладываний не допускалось. Отношения девицы к окружающим изменялись: в каждой воспитаннице она видела себе ровню по обязанностям и занятиям. Даже обращение с прислугой было совершенно иное: институтка говорила ей *вы*, а не *ты*, просила ее о чем-нибудь, а не требовала, не смела сердиться или выговаривать. Если все это сначала делалось невольно и принужденно, как нечто, вовсе не похожее на то, что девица видела в родительском доме и к чему она привыкла, то в течение шести лет она приобретала иную, противоположную

привычку, которая весьма нередко и оставалась при ней как ее вторая натура.

Это личная польза институток. А сколько пользы заявили они, по выходе из места своего образования, на двух поприщах — педагогическом и семейном! Если это явление замечалось немногими, то единственная тому причина в скромном характере женской деятельности вообще. Что не бросается ярко в глаза, что не трубит торжественно в уши, того мы сплошь и рядом не признаем, даже не хотим признать. Подземные ключи не выступают наружу, но об их полезном существовании дает знать свежая, сочная зелень, покрывающая ту почву, под которою они текут. Кто станет вычислять пользу занятий какой-нибудь гувернантки в деревенском захолустье? Кому нужна подобная статистика? А между тем этой гувернантке десятки детей одолжены своим начальным образованием, а иногда и таким, с которым мальчики могли поступать в низшие классы гимназий (прежнего устройства). Умалчиваю о помощи, которую институтки приносили в родной дом младшим братьям и сестрам: они снимали тяготу с родителей, избавляя их от забот и издержек на подготовительное обучение детей.

Еще благотворнее было влияние в сфере семьи. Оставим в стороне класс зажиточный и высший: здесь девушка большею частию выходила замуж за ровню как по состоянию, так и по образованию. Говорю о большинстве, следовательно, о дочерях бедных родителей. Судьба их устраивалась иначе. Они вступали в брак преимущественно с такими кавалерами, которые, при равенстве с ними общественным положением, вовсе не равнялись им по образованию. Надобно знать характер этих малообразованных, а гораздо чаще необразованных женихов. Кто они были в большинстве случаев? Мелкие чиновники, армейские офицеры, иногда из прежней породы так называвшихся бурбонов, квартальные и тому подобные личности, иногда с добрым сердцем, иногда без доброго сердца, но всегда почти с пошлым или грубым образом жизни, с неблагородными навыками, часто с наклонностью к брутальному, деспотическому обращению в своей мелкой среде, в которой, однако ж, считали себя крупными, полновластными господами. Нужно было запастись большим терпением и силою воли, чтобы не задохнуться в душной атмосфере этой среды, очистить ее, осветить. Многие, конечно, падали под тяжестью такой задачи: горькая доля забивала их; они невольно втягивались в пошлую жизнь. Что делать? Сила ломит солому. Но зато многие спасались

от беды и спасали своих мужей, если только последние не совсем были лишены способности воспринимать доброе влияние. В противном случае они, помирившись с мыслию о невозможности собственного счастия, находили его замену в любви к детям, в заботах о их воспитании. В этой материнской заботливости, в этом самоотречении и состоял тот сокрытый от света героизм, примеры которого в разных местах нашего отечества, от больших городов до провинциальной глуши, дали воспитанницы институтов. Здесь припоминаются мне слова Белинского из одного письма его, написанного по прочтении моей повести «Превращение», которую я послал к нему в числе других приятельских вкладов для задуманного им альманаха*. Крутая нравственная перемена в героине повести, недостаточно мотивированная и потому имевшая вид волшебной метаморфозы, подвергалась справедливой его критике. «Где вы встречали такое чудо, неисправимый москвич? — писал он мне. — Нынешний читатель неугомоннее беса в своих требованиях. Ему мало, если вы скажете: с таким-то действующим лицом произошло вот что. Нет, покажите ему, как и почему произошло это. Притом вы сильно ошибаетесь, если думаете, что женщина так легко опошляется, попав в пошлую среду. У меня другое убеждение. По-моему, о нашем русском прогрессе, рост которого не по дням, а по часам так восхваляют, вернее судить по женскому развитию и образованию. На женщинах он выказывается ощутительнее и остается при них прочнее и долговременнее...»[29]

*Альманах не состоялся, и потому повесть моя, переделанная по совету Белинского, напечатана в № 7 «Современника» 1847 г.[28].

[ГЛАВА VII]
МОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЖУРНАЛАХ

Я очень рано, еще на университетской скамье, начал работать для журнала, издававшегося профессором Двигубским: «Магазин натуральной истории». То были большею частью переводы из книг, относившихся к главному предмету моих занятий — естествознанию. По выходе из университета, избрав педагогическую службу, я не прекращал так рано начатого участия в периодических изданиях: то в тот, то в другой журнал по временам я делал вклады, разумеется бесплатные, но приносившие мне пользу в том отношении, что я лично узнавал редакторов, интересовавших любознательную молодежь. Так, в первом году издания «Московского вестника» (1827) напечатана моя статья: «Четыре возраста естественной истории»[1], пропитанная, по тогдашнему выражению студентов, «павловщиной», то есть духом и тоном лекций любимейшего нашего профессора М.Г. Павлова. Это доставило мне знакомство с издателем журнала, М.П. Погодиным, а чрез него и с С.П. Шевыревым, принимавшим деятельное участие в издании. Другая статья, в «Телеграфе» 1832 года, разбор книги А.Л. Ловецкого, профессора Московского университета «Краткое начертание естественной истории животных»[2], познакомила меня с К.А. Полевым[3], который представил меня своему брату, Николаю Алексеевичу. При свидании с последним он сказал мне несколько лестных слов, после чего я почувствовал себя как бы выросшим в своих собственных глазах. Молодежь того времени держалась скромно перед известными литераторами и ласковый прием с их стороны считала особенною честью. На положенные дни для вечерних у них собраний мы смотрели как на дни табельные[4]. Видеть на этих собраниях умных людей, слушать их умные речи было для нас наилучшим угощением, именно слушать и поучаться, а не самому врываться в разговор. Такого азарта мы себе не дозволяли по нашему малознанию или по скромности, которая и при порядочных знаниях сдерживает юношу от заносчивости, внушает ему чувство приличия, такт. Я помню, как в первый визит мой Николаю Алексеевичу завязался у него

спор с А.Ф. Вельтманом о сравнительном значении Петра I и Екатерины II. Вельтман восхвалял Екатерину за ее гуманные идеи; Полевой гораздо выше ставил Петра, как такого государя, который делал свое дело, имея в виду лишь пользу своего отечества, без всякого тщеславия, без всякого желания выказать себя в блеске перед Европой. Я страшно боялся, что Полевой будет побит; к удовольствию моему, вышло иначе: он взял верх, чему я искренно обрадовался. Да и как было не радоваться? Ведь он был наш любимец; мы всласть читали его журнал. Знакомством с издателем «Телескопа»[5], Н.И. Надеждиным, я одолжен одному из моих университетских товарищей, Н.С. Селивановскому, сыну известного в свое время московского типографщика[6], в доме которого он занимал квартиру. Там часто встречал я давнишнего моего приятеля, Н.Х. Кетчера, переводчика Шекспира. Он помогал Надеждину переводами с немецкого и французского; им-то было переведено первое философское письмо Чадаева[7], наделавшее столько шуму и причинившее переворот в судьбе редактора «Телескопа». Мое же сотрудничество в этом журнале ограничивалось грамматическими статейками[8], почему Кетчер и прозвал меня «великим мужем русской грамматики»*. Замечу, что, несмотря на все уважение к таланту, знаниям и профессорской деятельности Н.И. Надеждина, у меня, равно как и у других студентов одного со мною курса, был «против него зуб» за его критические нападки на Пушкина, которые он помещал в «Вестнике Европы» из угождения его издателю, Каченовскому[10]. Несправедливая критика, конечно, принесла ожидаемые плоды: по собственным словам Надеждина, он «въехал в университет на спине Каченовского», но такой результат, по нашему чувству, не облегчал вины, а скорее усиливал ее. Белинского, редактировавшего листок «Молву» при «Телескопе», не удавалось мне встречать у Надеждина. В первый раз я увидал его на вечере у Селивановского[11]: он показался мне застенчивым, каким действительно и был по природе. В том же доме началось мое знакомство с В.П. Боткиным, скоро ставшее на приятельскую ногу.

С прекращением «Московского телеграфа» в 1835 году[12] и «Телескопа» в 1836 году мое журнальное сотрудничество остановилось. Между тем я привык к нему и полюбил его. Оно некоторым образом выдвигало меня из среды учителей, нахватавших такое количество уроков в казенных учебных заведениях и в частных домах, что им не оставалось времени не только для постороннего их профессии дела, например, для журнальной ра-

*Одно из сочинений Карамзина носит именно такое заглавие[9].

боты, но и для чтения книг по их предмету. Поэтому они стояли на одном и том же месте с запасом когда-то приобретенных сведений, глохли и даже тупели. Я, напротив, боялся запрячь себя исключительно в педагогическую упряжь; у меня были свободные часы, которые и употреблял я на знакомство с выходящими в свет сочинениями, чтобы следить за литературным движением, и на составление статей для журналов. Что я терял при меньшем числе уроков сравнительно с моими товарищами, то вознаграждалось двойною пользой: и для кармана, и для самообразования. С появлением «Библиотеки для чтения» литературный труд сделался статьей дохода[13]. Но где было искать такого труда? У редактора «Библиотеки для чтения», г. Сенковского (он же барон Брамбеус)? Но он отталкивал от себя направлением своей редакторской деятельности[14]. В «Московском наблюдателе»[15], основанном в 1835 году? Но ни имя его редактора (Андросова), ни денежные его средства не обещали долговечности журналу. Он наполнялся статьями случайными, так сказать, забеглыми, авторы которых не принимали к сердцу судьбы издания, потому что не находили в том существенного интереса. Только С.П. Шевырев радел о нем усердно, сильно, хотя и всуе, ратуя против «Библиотеки для чтения» и Сенковского, или, справедливее, против так названного им меркантильного направления в литературе, которое, по его мнению, началось с того времени, как писатели стали получать гонорар за свой труд и тем самым будто бы обратили умственную производительность в ремесло, а ее произведения в простой товар[16]. Напрасно Гоголь доказывал ему несправедливость такового взгляда: дело не в том, писал он в «Современнике» Пушкина, что редактор потчует своих подписчиков статьею, за которую, как за всякий другой товар, заплатил деньги; дело в том, каков товар — хороший или дурной. Если хороший, то нет причины браковать его и оставаться им недовольным; если же дурной, то качество его не улучшится от того, что он прислан в журнал даром[17]. Вообще «Московский наблюдатель» не имел успеха; публика относилась к нему равнодушно, а со смертью Андросова, покинутый на произвол судьбы, он кое-как влачил свое существование и, наконец, с 1838 года перешел в руки Степанова, содержателя типографии, в которой печатался. Степанов пригласил в редакторы Белинского, с прекращением «Телескопа» и «Молвы» оставшегося без журнальной работы и вместе без средств для жизни[18]. Но эта редакция не могла обеспечить критика: она ежемесячно приносила ему только сто рублей. За неимением запроса на литературный труд в Москве

нужно было искать его в Петербурге, где стала развиваться журналистика, не боясь уже соперничества Полевого и Надеждина. Кочевое участие в периодической прессе было ни то ни сё: мне хотелось сотрудничества постоянного, оседлого, и скоро представился к тому удобный случай.

В 1836 году А.А. Краевский, служивший в Петербурге и работавший несколько лет в редакции «Журнала министерства народного просвещения»[19], задумал сам быть журналистом. Он вошел в соглашение с Воейковым, редактором «Русского инвалида», о передаче ему «Литературных прибавлений» к этой газете. В это время я имел уроки в женском пансионе, который содержала его мать, Варвара Николаевна[20]. С истинным удовольствием вспоминаю я о многолетнем знакомстве с нею. Более добросердечной женщины мне редко случалось видеть на моем веку. Доброта ее неизменно выказывалась и в отношении к воспитанницам. Я хорошо знал многие, очень известные тогда московские пансионы (Жарни, Данкварт, Севенар)[21], но ни в одном из них не видал, чтобы пансионерки были так искренно привязаны к своей начальнице, как в пансионе Варвары Николаевны. Они любили ее родственной любовью. Они не только называли ее обычным именем «maman» во время своего образования, но сохраняли это название по окончании учения, даже по выходе замуж, и привозили к ней своих детей, словно внучат и внучек к доброй бабушке. На учителей смотрела она не как на наемников, которые, сведя с ней счеты, могут и не знать ее, потому что она, со своей стороны, также в них не нуждается. Нет, она обращалась с ними приязненно, дружески, как с добрыми пособниками. Нуждался ли учитель в деньгах? Она ссужала его вперед, не дожидаясь срока, установленного для платежа за известное число уроков. Хотя она и знала не хуже других, что порядок есть душа дела, но кстати оказанную помощь ставила выше порядка и потому, сама нередко находясь в стесненных обстоятельствах, выводила педагога из затруднения. И все это делалось у нее просто, охотно, благорасположительно, конечно, потому, что человеку доброму от природы легко и приятно быть добрым[22].

К ней-то обратился я с просьбой познакомить меня с ее сыном и предложить ему мое сотрудничество в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду». Предложение было охотно принято. Редактор петербургской газеты нуждался в таком человеке, который извещал бы его о книжных московских новостях и давал бы о них отчет. Мы обменялись письмами: А.А. Краевский выразил мне свои желания, а я откровенно

объяснил ему, за что я могу взяться. Таким образом, от 1836 года я веду счет моему продолжительному журнальному сотрудничеству. На первой поре оно ограничивалось разбором книг по русскому языку и словесности. Из числа их «Основания русской грамматики» Белинского мне особенно памятны тем, что отзыв мой послужил поводом к знакомству с автором, который остался доволен моим мнением, оценившим главную мысль книги согласно с его собственным взглядом. До этого времени, как выше сказано, я видел его только раз, и то мельком, на вечере у Селивановского, где также был Н.А. Полевой, находившийся «не у дел», по запрещении «Телеграфа»[23]. Другой памятный факт — получение 450 рублей за статьи, напечатанные в течение года. Такого куша никогда еще не бывало у меня в руках.

При занятиях для «Литературных прибавлений» я не имел нужды в помощниках. Но, когда в 1839 году г. Краевский, издавая эту газету, сделался еще редактором «Отечественных записок», в которых кроме отдела «Критики» была введена «Библиографическая хроника», тогда оказалось невозможным справиться одному с работой для двух изданий. Явилась необходимость в разделении труда между несколькими лицами. Кроме того, надобно было подумать о том, где и как добывать все выходящие в Москве книги, так чтобы и московская библиография, согласно с программой журнала, отличалась полнотою. В последнем случае пригодилось мне мое знакомство с университетом, при котором состоял цензурный комитет, и с служившими в этом комитете, особенно с секретарем его. Два раза в месяц отправлялся я туда за литературным фуражом, то есть забирал все книги, доставленные туда из типографий в течение предыдущих недель. После того я распределял полученное по взаимному соглашению между мною и сотоварищами. Обстоятельно, в особых тетрадях, вел я список всех книг, перебывавших в наших руках, с обозначением времени, когда они взяты, и лиц, к кому поступали на рассмотрение. Тетради эти, с 1839 по 1863 год, хранятся у меня в целости. Я берегу их как сокровище и по временам перелистываю... Сколько светлых, приятных воспоминаний! Сколько дорогих, незабвенных имен! Нет нужды, что мои тетради обветшали, чернила полиняли, да и бумага грубая, речного изделия: они — живая хроника литературного, современного мне движения; они — и личная хроника моих литературных понятий и взглядов[24].

Первыми лицами, взявшимися со мною за обзор текущей московской литературы, были М.Н. Катков, только что кончивший курс в университете кандидатом, и Белинский, занимавшийся редакциею «Московского

наблюдателя», но имевший довольно свободного времени для работы и в других периодических изданиях. Кто писал рецензии в «Отечественные записки», тот, разумеется, не мог писать о тех же сочинениях в «Литературные прибавления»: они поступали к другому, который, с своей стороны, передавал ему те, что находились у него. Два раза в месяц происходила такая смена*. В 1839 году, сбираясь на жительство в Петербург, Белинский в замену себя рекомендовал П.Н. Кудрявцева, тогда еще студента, но уже известного нам своими повестями «Катенька Пылаева» и «Флейта», из которых первая напечатана в «Телескопе», а вторая в «Московском наблюдателе», обе под псевдонимом «Нестроев»[26]. В 1841 году расстались мы с М.Н. Катковым: он отправился в Германию для довершения образования. Мы крепко по нем тужили: в небольшой период совместного с нами сотрудничества он выказал сильно выдающийся талант и большие знания на критических статьях: о «Песнях русского народа» (Сахарова), о «Жизни» (доктора Зацепина), об «Основаниях риторики» (Зиновьева), об «Истории русской словесности» (Максимовича) и других[27]. Оставшись вдвоем с Петром Николаевичем, мы старательно правили свое дело до половины 1845 года, то есть до отъезда его за границу с тою же целию, с какою уехал М.Н. Катков. Изредка присоединялся к нам В.П. Боткин, а позднее вошел в наш круг профессор зоологии Рулье, как специалист по своей части. Хотя на нашей обязанности лежала московская литература, однако ж мы принимали на себя, иногда по собственному вызову, иногда по предложению редакции, разбор книг, выходивших в Петербурге. Случалось и наоборот: о сочинении, напечатанном в Москве, появлялась критическая статья Белинского или другого петербургского сотрудника «Отечественных записок» и «Литературных прибавлений». Редактор предварительно сносился о том с нами. Никаких неудовольствий, подозрений и пререканий по этому поводу не выходило.

*Позволяю себе, ради любопытства, приложить здесь список первых книг, взятых мною из цензурного комитета: 1) «Народный русский песенник», 2) «Как любят женщины», 3) «Необыкновенный случай», 4) «Письмо из Бородина», 5) «Собрание рецептов», 6) «Рассуждение о лаже», 7) «Карманная книжка о ценности российской и иностранной монеты», 8) «Borodino—Moscou», 9) «Бородинская годовщина», 10) «Сын миллионера», 11) «О весеннем лечении болезней», 12) «О жизни», 13) «Галерея умных животных», 14) «Лексикон городского и сельского хозяйства», 15) «Aux calomniateurs de la Russie» (французский перевод стихотворения Пушкина «Клеветникам России»), 16) «Прожектер», 17) «О болезненных влияниях в Германии», 18) «Таблица о ценности российской и иностранной монеты». Первые шесть нумеров достались на долю Белинского; следующие шесть на долю М.Н. Каткова; остальные шесть на мою долю[25].

Критика «Отечественных записок», в первый год их существования, не имела строгой определенности и единства направления. От редакции мы не получали на этот счет никаких положительных указаний. Мы знали только, что библиографическая хроника должна была по возможности отличаться полнотою, что статьи следовало доставлять к известному сроку и что под ними не следовало выставлять имен авторов. Характер этой «безыменной» критики, как бы исходящей от предмета безличного — от редакции, формировался исподволь и установился лишь в то время, когда Белинский стал главным распорядителем критического отдела. До тех же пор отчеты наши представляли такие качества, какие всегда появляются в работе людей благонамеренных. При неприязни нашей к петербургской журналистике в лице трех ее магнатов (Греча, Булгарина и барона Брамбеуса) мы вменяли себе в заслугу и честь выражать мнения, противоположные их мнениям. В их литераторстве мы видели неуважение к литературе и наукам, служение не истине, а лжи и мамоне. «Не делай того, что они делают; делай вопреки им» — вот отрицательное правило, служившее для нас руководством. Оно сообщило и нашим статьям хотя отрицательный, но доброкачественный характер, так как противоположный ему характер, по нашему убеждению, страдал злокачественностью. Притом мы имели перед собою пример Белинского. Мы хорошо знали его взгляд на литературу вообще, на поэзию в частности — взгляд, вынесенный им из кружка Н.В. Станкевича и уже достаточно разъясненный в критических статьях «Молвы» и «Московского наблюдателя». В поэзии он видел не просто источник эстетического наслаждения, но и нравственное орудие, облагораживающее человека. Этого понятия не упускали мы из виду и в нашей работе.

Направление «Отечественных записок», как и вообще всей литературы, начиная с сороковых годов, или даже ранее (от смерти Пушкина), отличалось тенденциозностью, выражавшеюся всего сильнее в критике и библиографической хронике. Эти два отдела должны были служить известным идеям и стремлениям нравственным, общественным и литературным, которые критик считал полезным проводить в среду читателей. В силу такой тенденциозности, служебного значения критики, всегда ей более вредящей, чем приносящей пользу, нас интересовало не столько самое содержание разбираемого сочинения, сколько отношение содержания к дорогим для нас убеждениям. Мы пользовались новым трудом литератора или ученого как поводом поговорить о том, что составляло зада-

чу журнала, давало ему цвет, отвечало сущности его программы. Повод же легко было найти не только при разборе важной и дельной книги, но и при рецензии самой ничтожной книжонки, вроде «Средств для истребления клопов и тараканов» или «Искусства носить сапоги, не изнашивая». Мы ухитрились прицепляться к чему ни попало, чтобы высказать то, о чем, по нашему мнению, не следовало молчать в настоящую минуту. Способы высказывания были различны: прямое или косвенное изложение наших мыслей; прямое или косвенное осуждение мыслей, несогласных с нашими; похвала лицам одного с нами поля; порицание лиц поля неприятельского. Иногда мы писали двусмысленно, в уверенности, что многие уже выучились читать между строк и потому поймут настоящий смысл. Для достижения цели употреблялись многие средства: серьезное изложение предмета, сатирические выходки, насмешка. Не хватало у нас пороха — мы бросали пылью в противника и так или иначе старались вредить ему. Начала, которым служила критика, носили название либеральных; тем же названием обозначался и характер нашего журнала «Отечественных записок». Они развились и господствовали в Западной Европе, сближение с которой начато Петром: отсюда наше благоговение к его памяти и нелюбовь к славянофильству. Одним словом, мы были приверженцы западной цивилизации, так называемые западники.

Здесь я считаю нужным объяснить, как *в то время* мы относились к представителям славянофильства и в чем, по *тогдашнему* нашему понятию, состояли пункты различия между их учением и нашими взглядами. Прежде всего замечу, что большинство петербургских литераторов имели превратное понятие о том и другом. Из разговоров с ними обнаруживалось, что они считали славянофилов врагами просвещения, своего рода обскурантами, приравнивали их к издателям «мракобесного» журнала «Маяк»[28] и даже, по неведению или недомыслию, заподозревали их нравственную благонадежность. Другое дело — Москва: здешним литераторам и журнальным сотрудникам очень хорошо были известны солидная и многосторонняя образованность корифеев славянофильства, крепость их нравственных начал, искренняя и бескорыстная преданность идеям, которые они старались распространять в среде своих соотечественников. Если Белинский относился к ним неприязненно и дозволял себе частию запальчивые, частию колкие выходки, то это легко объясняется, во-первых, его темпераментом, с которым трудно бороться человеку, и, во-вторых, уверенностью в истине своей доктрины, тогда как доктрина, ей противо-

положная, могла — так он думал — вести к вредным последствиям, именно к ослаблению или застою русского просвещения, к отчуждению нас от европейской цивилизации, в которой он единственно видел идеал всяческого преуспеяния. С другой стороны, и поборники славянофильства были несправедливы к западникам, обвиняя их в отсутствии патриотического чувства и прилагая к ним название космополитов. Странно было выслушивать подобные отзывы тому, кто знал, что к числу несогласных с славянофильской доктриной принадлежали такие личности, как профессоры: Грановский, Соловьев, Кавелин, Кудрявцев, Чичерин... Несогласие во взглядах вовсе не исключало взаимного уважения и приязненного знакомства, равно как и ученой борьбы. Грановский полемизировал с Хомяковым, Самарин с Соловьевым и Кавелиным. Ведь и Шиллер находил, что исключительно национальный интерес есть скудный идеал для философа, который не только имеет право, но даже обязан быть современником всех веков, гражданином всего мира, или человечества. Следует ли отсюда, что поэт не уважал немецкой национальности, не любил своего отечества? Да зачем так ходить далеко? Послушаем, что говорит автор «Писем русского путешественника»[29]: «Путь образования или просвещения *один* для народов... Все *народное* ничто пред *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не *славянами*. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо я человек»[30]. Можно не соглашаться с таким взглядом и оспаривать его, но непозволительно думать, что Карамзин во время своего путешествия не был патриотом. То же самое непозволительно и в отношении к так называвшимся западникам: они, наравне с восточниками, то есть славянофилами, искренно любили свое отечество. С этой стороны между теми и другими не существовало ни малейшего различия; различие заключалось в основном, исходном пункте учения о развитии народной жизни и в средствах, ведущих к этой цели. По славянофильскому взгляду, русская народность должна развиваться из собственных, ей присущих начал; западники, напротив, требовали усвоения западноевропейской цивилизации. Чего желали с обеих сторон? Освобождения крестьян, распространения народного образования, простора и большей свободы литературе. Запад «разлагается», «гниет», говорили Хомяков и Шевырев; сторонники Запада смеялись над этими выражениями. За идеалом развития славянофилы обращались к древней, допетровской Руси, подобно немецким романтикам, ушедшим от со-

временной им действительности в средние века; отсюда их неблаговоление к петровской реформе, повредившей естественному росту России, отчуждившей образованные классы от народа. Профессор Морошкин в частном разговоре развивал такую мысль, что Россия до тех пор не начнет возвышаться, пока Петр I не будет в общественном мнении низведен с своего пьедестала. Нет, возражали противники, надобно идти не назад, а вперед, следуя примеру Петра, сблизившего нас с Европой, и вот Белинский пишет две критические статьи по поводу нового издания «Деяний Петра Великого» (Голикова), «Древнерусских стихотворений» (то есть песен) Кирши Данилова, с целью выставить все величие преобразователя как творца новой России и всю неприглядность Руси древней[31]. Слейся с народом — таков был совет, который давали славянофилы образованному классу русских; западники не понимали слова «слияние» и толковали его в том смысле, что образованный должен нисходить к простолюдину, становиться в уровень с ним, тогда как, по их мнению, надлежало, напротив, простолюдью восходить к высшему классу, равняться с ним силою образованности. Вот в сущности пункты сходства и различия между двумя противными лагерями. Очень может статься, что главною причиною разлада между ними служило плохое понимание основного тезиса славянофилов о сущности народности и развития народной жизни, приведшее ко многим второстепенным недоразумениям.

Возвращаюсь к рассказу после небольшого отступления, нужного для ясного представления характера периодической прессы.

Чтобы современный читатель, далеко ушедший от той эпохи, о которой я говорю, мог судить о значении и методе критики сороковых годов, я позволяю себе привести один из ее образчиков.

В прибавлениях к «Творениям святых отцов в русском переводе», издававшихся при Московской духовной академии, напечатано «Первое письмо о конечных причинах» (год 5, книжка 2-я, 1847 г.)*[32]. Оно имеет целию опровергнуть взгляд известного французского ученого Литре, выраженный им в статье «О важности и успехах физиологии»**[34]. «Учение о конечных причинах», говорит Литре, разрушено в наше время новыми открытиями и исследованиями наук положительных; одна из великих за-

*«Письма о конечных причинах» изданы отдельной книжкой. Сочинение их приписывали Голубинскому, профессору философии в Московской духовной академии; но, собственно, это труд студентов академии, просмотренный их профессором.

**«Revue des deux mondes»[33].

слуг этих наук состоит в изгнании отовсюду вымышленных целей и замене гипотез фактами. Так как Огюст Конт и его последователь Литре увлекали нас в то время «положительной философией», и я даже намеревался изложить главные ее положения, о чем и было заявлено в ноябрьской книжке «Отечественных записок» 1847 года, то понятно, что автор «Письма», как оппонент Литре, не мог ожидать похвального отзыва, и вот что было сказано в рецензии:

«Большая часть ошибок, в которые впадали и впадают защитники конечных причин, состоит в том, что они в миросозерцание вносят понятие пользы. Они забывают, что предмет может быть сам себе целью и что, следовательно, целесообразность и собранность с пользою не одно и то же. Другой источник ошибок заключается в том, что философы, отыскивающие во всем пользу, выводили ее из ограниченного числа фактов и явлений. Вращаясь в крошечном уголку мира, ничтожном в сравнении с целым, они упустили из вида, что в других уголках есть те же творения, несколько иначе устроенные, и что одна и та же часть нашего тела или тела животных, необходимая там, где жил какой-нибудь Сократ, была обходимою там, где Сократ не жил. Подобные рассуждения походили бы на рассуждения лилипута, который стал бы отыскивать пользу и необходимость в малом росте. Легко представить себе, в какое бы отчаяние впал лилипутский философ, посетив страну гигантов. Есть страна, жители которой наделены зобами: хорошо бы было, если б один из них стал доказывать необходимость или пользу зоба, не подозревая, что возможно и отсутствие зоба. К таким воззрениям на устройство мира принадлежат слова Сократа: «Не есть ли это дело промысла, что Творец, по причине нежности глаз, оградил их веками, как дверьми, которые, как надобно глядеть, расторгаются, а во время сна смыкаются, и, чтоб защитить глаза от ветра, покрыл их ресницами; а чтоб им не причинил вреда пот, текущий по лбу, вырастил над ними брови». Сколько в этих словах произвольного и ограниченного! Они подают повод не только к неразрешимым, но и к странным вопросам о пользе разных предметов мира. В самом деле, волосы бровей останавливают пот, текущий по лбу, — какое же назначение волос на бороде и усах? Они выращены еще в большем количестве, должны иметь, по теории конечных причин, свою неотъемлемую пользу, и вот безжалостная бритва отнимает ее, эту пользу, и многие из нас завидуют тому полу, у которого не растет ни бороды, ни усов. Таким образом расчет человека, его мысль об удобстве или красоте торжествует над расче-

том природы, над ее конечной причиной. Борода в жарком климате скопляет в себе пот, и та же борода северных жителей покрывается инеем: который же из этих двух предметов служит ее истинным назначением? Сверх того, мы не знаем, что будет делать теория конечных причин с уродами, которых так много и которые представляют явное уклонение от целесообразного устройства природы. Находить целесообразность в каждой части животного тела значит доказывать вместе ее необходимую пользу и тем стеснять всемогущество Творящего. Вы говорите, ресницы защищают глаза от ветра? Но для чего же ветру дана сила вредить столь полезному органу, каков глаз, и для чего же ресницам не дана полная сила ограждать этот орган от губительных влияний ветра, пыли и жаров? Зачем человек устроен именно так, что он падает на землю теми частями тела, которые для него всего драгоценнее? Вы ответите, что Творец не хотел силою своего могущества нарушать естественное течение природы. Прекрасно! Следовательно, великое слово истинного воззрения найдено: естественность. Вот ключ к истинному учению. А теория конечных причин никогда не сладит с своим делом. Испытатели природы открыли уже многое в действительном устройстве мира и очень мало знают о пользе всех ее творений и каждой части творения, да и знания эти, большею частию, гипотетические, добыча фантазии. Вот уж сколько времени человек живет с комарами и мухами и до сих пор не знает истинного их назначения, по крайней мере, не видит пользы вреда, ими причиняемого. Пожалуй, можно искать ее в том или другом влиянии на нашу нравственность, то есть объяснение конечной причины перенести из мира физического в мир душевный, но так как от этого не выигрывают ни физика, ни нравственность, то человек и решился на благое дело — истреблять целесообразных комаров и мух, необходимо полезных по теории конечных причин, но чрезвычайно неприятных по естественному ощущению. С успехами астрономии звезды и луна потеряли свою прежнюю конечную причину — светить земле. Было время, когда астрономы, основываясь на своих предположениях, заставляли двигаться планеты по таким хитрым путям, что один венценосец воскликнул: «Если б я был при сотворении мира, то посоветовал бы устроить его получше!» То же самое, пожалуй, скажет иной при рассуждениях Сократа и других философов, установляющих конечные причины»*.

*«Отеч[ественные] зап[иски]», 1847 г., сентябрь, «Библиографическая хроника» (стр. 22—25)[35].

Голубинскому был неприятен такой отзыв, хотя высшая духовная власть и успокоивала его, говоря: «Огорчаться тут нечего; разве ты не видишь, что в статье больше остроумия, чем дела». Так передавал мне Александр Иванович Невоструев, брат Капитона Ивановича, трудившегося вместе с Горским над описанием рукописей синодальной библиотеки[36]. Он был законоучителем в московском Александровском институте во время моего там субинспекторства, а потом протоиереем в московском Казанском соборе, имел много знакомых в духовной академии и постоянно поддерживал с нею сношения.

Другой пример такой же критической манеры можно видеть в отзыве о новом русском переводе всем известного романа Гольдсмита «Векфильдский священник». Он помещен в «Современнике»*[37]. Рецензент не пощадил ни автора, ни его творения, хотя оно пользовалось и теперь пользуется несомненною всемирною известностью. Зато редакция «Современника» читала статью с большим удовольствием, а К.Д. Кавелин не мог удержаться от смеха при ее злобно-яростном тоне, который давал знать, что автор статьи видит в Гольдсмите как бы личного врага своего. Между тем этот автор может уверить читателя, что он никогда не страдал ни яростью, ни злобой. Но таково, видно, свойство тенденциозной мысли, настроенной на известный лад, смотрящей в одну сторону, что она и нежелчной натуре дает иногда возможность извергать желчь. Когда рецензент спросил у Т.Н. Грановского, что он думает о статье, то услышал от него следующее: «Статья, разумеется, хороша по отношению к вашему взгляду, но по отношению к роману от начала до конца фальшива. Знаменитый роман она смешала с грязью: так нельзя судить о поэтических произведениях. В них художество на первом месте, а вы художества-то и не хотели знать». Именно не хотел, потому что носил в голове совершенно иное. Роман оказался виноватым потому, что он, говоря словами рецензии, «не к лицу современным стремлениям: теперь-де нужны не векфильдские священники, а люди бодрые, деятельные, которые смотрели бы на вещи прямо и любили бы землю, как наше жилище».

Что тенденциозное направление критики приходилось ко времени, это доказывается постоянным из года в год возраставшим, хотя туго и медленно, успехом «Отечественных записок». Сочувствие людей, дороживших европейской цивилизацией, видимо обращалось на сторону этого журнала. Много помогло тому тогдашнее состояние литературы и подви-

*В 1847 г. (ноябрь), в отделе «Русская литература».

ги тех литераторов, которые господствовали в ней, или, вернее, претендовали на право господства. Я разумею Греча и Булгарина, владевших правом издавать единственную частную газету «Северную пчелу», и Сенковского (он же барон Брамбеус), редактора «Библиотеки для чтения». Умалчиваю о четвертом лице — Н.А. Полевом. Приниженный обстоятельствами, он волей-неволей был вынужден устроить компромисс с указанным триумвиратом, самозваным ценителем отечественной словесности, распорядителем ее судеб. Как относились они к лучшим ее представителям, к тем славным именам, которые неизменно дороги каждому русскому? Для примера достаточно прочесть драгоценные в своем роде письма Булгарина и Сенковского к Лелевелю*[38]. Боже мой, как они расстилались перед своим собратом в благодарности за критику на «Историю государства Российского»! Как упрашивали его (Булгарин даже становился перед ним на колени — «падал до ног») доконать русского историка! Не лучше было и обращение с Пушкиным и Гоголем. Первый обвинялся в безнравственности своих сочинений; юмор второго назывался малорусским жартом, а он сам приравнивался Поль де Коку[39]. Барон Брамбеус, воздвигший себе памятник тем, что первый ввел в нашу литературу омерзительный элемент — *глумление*, который чрезвычайно нравился нижнеэтажным и подвальным подписчикам на «Библиотеку для чтения», — барон Брамбеус, говорю я, возносил до небес стихотворения Тимофеева, никому теперь не известные, и каждый раз величал их автора прямым «наследником» Пушкина[40]. Смеясь над *сим* и *оным*, преследуя их в каждой книге и книжонке, он думал, что преобразовывает, улучшает наш литературный язык, а сам то и дело нашпиговывал свою речь полонизмами и другими антирусскими выражениями и словами**[41]. Вот каковы были наши ценители и судьи! Понятно, что органы таких деятелей должны были оттолкнуть от себя и сотрудников, и читателей, принадлежавших к классу людей благомыслящих, что те и другие перешли на сторону периодического издания, вовсе непохожего по своему направлению ни на «Северную пчелу», ни на «Библиотеку для чтения». Рассказывают, что в один из приездов Жуковского в Москву С.П. Шевырев умаливал его освободить рус-

*«Русская старина», 1878, № 8 и 9.

**Он писал: польце зелени, крокодилей, белость (вм. белизна), не совайся (вм. не суйся), отгружают (вм. разгружают), *наочный* свидетель (от польского naoczny), по *ступеням* царей (т.е. по стопам, по следам), я оглазел (изумился, остолбенел), калмыки кипят за городом (кишат). См. «Литературные пояснения» Греча в приложении ко 2-му тому «Сына Отечества» (март и апрель 1838 г.).

скую литературу от татарского нашествия Брамбеуса. Моление, конечно, эксцентричное, но чувство, которым оно внушено, вполне понятно: это — чувство благородного человека и патриота, горячо принимавшего к сердцу отечественное образование и отечественную литературу[42].

В настоящее время, когда газеты взяли верх над изданиями, обыкновенно называющимися у нас журналами, очень трудно составить себе верное понятие о силе того сочувствия, каким пользовались «Отечественные записки». Всякое о том представление современных читателей, которые в сороковых годах не могли еще, по своему возрасту, интересоваться литературою, окажется или слабым, или фальшивым. Еще за неделю до выхода книжки в Петербурге (каждый нумер аккуратно выходил в первое число месяца) мы, москвичи, находились в каком-то возбужденном состоянии: рассчитывали, когда именно прибудет она к нам, гадали и думали, какие статьи в ней появятся. При получении ее иногда и дело откидывалось в сторону. Мы торопливо разрезывали листы и прежде всего бросались на критику, потом просматривали библиографическую хронику, а затем уже переходили к отделу наук или отделу беллетристики, смотря по тому, в котором из них наиболее выражались наши любимые идеи. Романы и повести Жорж Занда были в этом отношении настоящим для нас кладом[43]. Ознакомившись с важнейшим содержанием нововышедшего нумера, мы вскоре собирались у кого-нибудь из нашего круга, взаимно передавали впечатления, поверяли свое удовольствие удовольствием других, а иногда любили и поспорить о значении такой-то статьи, о ее достоинствах и недостатках. То было истинно приятное времяпровождение! Никому из нас не приходило на мысль считать часы, проведенные в подобных беседах, потерянными. Мы были убеждены, что журнальное дело наше приносит пользу, а при таком убеждении нет места ни сожалению, ни раскаянию. На успех «Отечественных записок» мы смотрели как на успех общественный. И потому, когда цифра подписчиков этого журнала от 600 или 700 возросла через три-четыре года до 4200, мы искренно радовались и торжествовали. Он стал журналом первенствующим, благодаря своему направлению. Значит, рассуждали мы, правая сторона, рано или поздно, берет свое, одерживает верх над стороной неправой, как бы последняя ни была сильна и откуда бы ни почерпала свою нечистую силу.

1846 год был последним годом участия Белинского в «Отечественных записках», которые, конечно, ему одолжены были своим успехом. Вместе

с ним перешли в «Современник» (1847 г.) и другие крупные литературные силы[44]. Уменьшенному числу сотрудников г. Краевского пришлось работать усиленнее. Я начал писать более и чаще в отделы критики и библиографической хроники, по временам посылая кое-что и в другие отделы. Из статей моих я должен отметить те, которые имели значение не только для меня собственно, но и для истории самого журнала.

Больше всего памятен мне первый отрывок из «Записок человека», посвященный П.Н. Кудрявцеву*. Он явился под псевдонимом *Сто-один*, который был уже не новостью для читателей «Отечественных записок»[45]. Здесь кстати объяснить причину, почему я выбрал такую, по-видимому, странную подпись. Вот что подало к этому повод. В 1841 году вышел второй том смирдинского сборника: «Сто русских литераторов». К изданию предполагалось десять томов, с десятью статьями в каждом и портретами их авторов. Просматривая нововышедший том, я увидел наряду с такою возвышенностью литературного мира, как Крылов, и другими известными личностями (Вельтман, Загоскин, Надеждин) имена Каменского, Масальского, Панаева (Владимира Ивановича), Шишкова и Булгарина. Такая смесь талантов мне показалась забавною, и я подумал: куда мне тягаться с такими богатырями! могу ли мечтать о занятии места в их обществе, попасть хотя в последний, десятый том смирдинского сборника! Нет, я лучше подожду и открою своей особой вторую серию, вторую сотню русских литераторов, буду «сто первым». Вскоре после этого, под первой же статьей, отправленной в «Отечественные записки», — «Характер лирических стихотворений В. Гюго»**, я подписался выбранным мною псевдонимом. Но впоследствии редакция журнала заменила его другим — *Сто один*, полагая, что я имел в виду французский сборник «Cent et un»[46]. Эта замена так и осталась: мне не хотелось входить в переписку об ошибочном толковании моей мысли, да и не стоило: от сто первого до ста одного один только шаг.

Содержанием указанной статьи из моих «Записок» служило то мистико-аскетическое настроение, которое охватило меня в юношестве после прочтения переведенной с латинского книги «Брань духовная, или Наука о совершенной победе самого себя» (1787)***. В последующий период

*«Отечеств[енные] записки», 1847 г. № 12.

**«Отеч[ественные] зап[иски]», 1841, т. XVII (французская литература).

***«Русск[ий] вест[ник]», 1876, ноябрь[47]. Другой перевод того же сочинения напечатан в 1794 г., под заглавием «Подвиг христианина против искушений»[48].

жизни, при усвоении других, прямо противоположных воззрений, любопытно было вспомнить былое, сильно меня интересовавшее десятка за два лет. При интеллектуальном развитии личности с ее убеждениями часто происходит то же самое, что и с чувствами. К тем и другим удобно приложить поговорку: «Чему посмеешься, тому и поработаешь», только выразив ее наоборот: «Чему поработаешь, тому и посмеешься». Влюбленный, например, охладев к предмету своей страсти, не только становится к нему равнодушным, но иногда питает даже отвращение. Какими мольбами, каким приворотным зельем заставишь его пылать прежнею страстью! Скорее тигр возвратит свою добычу, чем угасшая любовь снова загорится с первоначальным пламенем. Такую же участь испытывают и убеждения: в чем некогда видели мы идеал, чему поклонялись и приносили жертву, как кумиру, то впоследствии, при дальнейшей степени сознания, вырабатывающего новые идеалы, новые кумиры, мы разбиваем в прах как неистинное. Мы негодуем и на доктрину, которой служили, и на самих себя, зачем подчинились ее обольщению. Испытывая подобное негодование, я также захотел отомстить моей бывшей доктрине за поражение юношеских стремлений, за принижение ума, за оскорбление человеческой природы... Вот как отозвался я об отверженном учении, в котором думал обресть и основу для суждений, и правило для действий:

«И я нашел этот кодекс, на темных страницах которого начертано, что жизнь есть суровое наказание, что на белом свете не свет и радость, а смятение и слезы, что обязанность человека — воевать с самим собою и принимать победу как сверхъестественный дар. Случайно попалось мне творение мрачного противника жизни, который видел в ней самого опасного врага живущих*. По его теории, врожденные способности человека были ни больше, ни меньше, как пороки, ибо они вытекали из зараженного источника. А так как главных способностей у нас две: сознание и воля, то и главных условий для брани с жизнью — два. Первое — крайняя недоверчивость к силам разума, полное отсутствие самоуважения: чтобы значить что-нибудь на поле сражения, надобно было убедиться, что мы ничего не значим. И даже в том случае, когда спасительная недоверчивость овладевала умом и сердцем, мы всего менее обязаны считать ее своей заслугой и все больше незаслуженным даром, чем-то вроде поэтического вдохновения. Исправив порок разума, то есть уничтожив его сущность, надобно, по теории гонений на жизнь, исправить таким же образом порок воли. В этом — второе условие борьбы, и главное здесь

*Разумелось цитированное сочинение «Духовная брань».

средство — отречься от естественных влечений. Притом надобно заметить, что цель подобного отречения отнюдь не в том, чтоб победить волю, но в том единственно, чтоб приписать победу не своей воле. Побежденная природа утратит все свои лавры, если дерзнет искать удовлетворения в самом акте победы: нет, стремление к победе и награда за нее должны лежать вне нашей натуры. Свое собственное удовольствие, которое мы ощущаем, упразднив волю, — ничто. При каждом действии необходимо освобождать себя от всех побуждений, в которых есть хотя что-нибудь человеческое. Одним словом (говорило мне руководство), воля да будет мертва, чувство тупым и ум безумным.

Увлеченный мыслию о возможности приобресть сверхчеловеческое совершенство, я стал прилежно вникать в способы для достижения цели. И тогда-то началась брань, крайне любопытная своей беззаконностью, — брань между правилами системы, грозной своей нетерпимостью, и увлечением жизни, сильной своею естественностью. Я осуждал все, что противоречило законам моей исключительной нравственности: биение сердца, свободное движение мысли, твердое желание воли — все надобно было умерить или подавить, как преступные замыслы человека, который хочет выйти из-под влияния спасительных постановлений. Я сетовал на радость, хотя она оправдывалась своею искренностью, боялся приятных образов воображения и всего более боялся горячих стремлений крови, находя в ней стихию самую мятежную, самую непокорную условным системам нравственности. Страсть была для меня страшилищем. Я из себя создал врага самому себе, врага опасного и безотвязного, потому что он домашний. На языке моей системы, счастье заключалось в отречении от того счастия, которым должен наслаждаться каждый, пришедший в мир; верховное благо — в отчуждении от собственной природы; жизнь человека и всего мира — в непрерывном самоумерщвлении. Таинство жертвы, благодать страдания — вот идеал, к которому я стремился по указанию моего руководства.

Но что же вышло? Чем меньше я уклонялся от предписаний руководительной системы, тем больше чувствовал неловкость своего положения. Верность тому, что я называл прямою обязанностью, награждала меня отвлеченным удовольствием; но это же исполнение долга заставляло меня живо ощущать действительное недовольство — плод существенных потерь. Наряду с одобрением, которое приписывал я себе, как послушный ученик, из глубины моего чувства раздавался другой, оглушительный и ни-

чем не заглушаемый голос естественной совести, крик природы, которая, подобно мстительным богиням, преследует без отдыха нарушителя ее законов. После напрасной жертвы — напрасное утешение, за утешением опять жертва — какая бесплодная наука! Это ли значит жить? Как ни был молод мой рассудок, но он замечал в избранной им нравственной системе два коренные недостатка: непоследовательность самой себе и противоречие естественному свойству вещей. Мне казалось странным, что при том разъединении элементов человеческой натуры, которое система проповедовала, при том превосходстве, которое она отдала одному из этих элементов, употреблялись, по ее же наставлениям, чисто чувственные средства для приобретения сверхчувственного совершенства. Мне казалось странным, что эта система никогда не позволяла нашим способностям идти прямо, развиваться естественным ходом, но перестанавливала мысли, чувства и дела, как бы забавляясь их противонатуральным перемещением. Стремилось ли сострадание помочь несчастному — система запрещала чувству испытывать сладость самоудовлетворения, находить красоту и награду в исполнении своего благородного стремления. Она требовала, чтоб и предмет, возбудивший чувство, и чувство возбужденное исчезли, уступив место третьему предмету, о котором человек в то время и не думал. Смотрели ли глаза и ум на прекрасное создание природы — уму вменялось в обязанность помышлять не о создании, обратившем на себя его любопытство, а о предметах, которые не имели к нему в то время ни малейшего отношения. Жизнь долженствовала рождать понятие о смерти, смерть — понятие о жизни. Такое извращение нормальных способностей наших не могло нравиться здоровому человеку, и я бросил свою систему.

Система правил, принятая мною в руководство, оказалась и потому бесполезною, что она не дала мне обещанного: я не приобрел небывалого совершенства. Силы природы беспрестанно увлекали меня из душного затвора на чистый воздух, под открытое небо, в объятия дружелюбных нам инстинктов. Кроме бесполезности система произвела положительный вред: она несколько ослабила деятельность данных мне стихий, тогда как нужно было возбуждать их энергию, сообщать естественное направление благородным страстям. Сторонняя, косвенная и неожиданная польза ее заключалась в том, что я впоследствии всеми силами вознегодовал на то, чему прежде покорялся»*.

*«Отеч[ественные] зап[иски]», 1847, декабрь.

Статья произвела сильную сенсацию в интеллигентных кружках обеих столиц. В Москве читали ее и западники, и славянофилы. Н.Ф. Павлов из дома в дом носился с нумером «Отечественных записок», где она напечатана, толковал ее значение, восхищался ею. Излишне говорить о том, как она понравилась редакциям и сотрудникам «Отечественных записок» и «Современника». Белинский писал к В.П. Боткину: «Я с удовольствием прочел повесть не повесть, даже рассказ не рассказ и рассуждение не рассуждение — «Записки человека», да еще с каким удовольствием!»* Боткин устроил обед, на который пригласил меня как автора и П.Н. Кудрявцева как лицо, которому посвящена статья; он хотел, вместе с другими общими нам приятелями, фетировать[50] нас, пить за наше здоровье. К сожалению, особенные обстоятельства не позволили нам явиться по приглашению, за что и получили мы сильные, хотя и незаслуженные, упреки, как дикари, чуждающиеся общительности. Студенты, приходившие к Кудрявцеву по воскресеньям для бесед о своих занятиях, расспрашивали его обо мне, рассуждали о статье моей. Один из них, сын или племянник (не помню в точности) бывшего директора Вологодской гимназии, Ф[ортунато]ва[51], сделал мне визит. Другой еще более польстил мне: в театре, во время антракта, из ложи, соседней с моею, он обратился ко мне с приветствием и благодарностью как от себя лично, так и от всех своих товарищей за великое удовольствие, доставленное им «Записками человека». Не осталось к ним равнодушно и духовное сословие: их читали и в Московской духовной академии. Протоиерей церкви Благовещения, близ Разгуляя, очень образованный и притом математик[52], что большая редкость между лицами этого звания, разведовал обо мне у профессора Брашмана, инспектора институтов, зная, что я занимаю должность его помощника. В Петербурге, И.И. Введенский, преподаватель русского языка и словесности в бывшем Дворянском полку, на уроке прочел мою статью воспитанникам, о чем сам рассказывал мне под великим секретом. Были читатели, знавшие наизусть некоторые из нее тирады. Независимо от ее содержания им нравился самый слог. Наконец, позднее получил я из Ярославля (от 6 мая 1853) небольшой подарок при следующей записке: «В брошюре Парижского Общества религиозных сочинений: «Capitaine de vaisseau et son mousse»[53] (1825, № 21) я нашел первообраз «Капитана Боппа» Жуковского. Так как вещь эта вам, может быть, неизвестна и достать ее порядочно трудно, то, посылая вам список ее, прошу принять его как

*Белинский, его жизнь и переписка, соч. А.Н. Пыпина, т. 2, стр. 312 и 313[49].

малый знак того бесконечного уважения, которое питают к вам все ревнители серьезного, социального образования». Не выставляю имени писавшего, не зная, будет ли то ему годно, но считаю долгом выразить при этом случае сердечную ему благодарность: сочувствие людей просвещенных дорого каждому. Одним словом, время, о котором я говорю, было временем моего триумфа: фирма «Ста-одного» возвысилась.

Но торжество этим не кончилось. Новый блеск придала ему критическая статья под заглавием «Русская литература в 1847 году»*. Редакция «Отечественных записок» и «Современника», равно как многие сотрудники их, знали, что она принадлежит мне, хотя под нею и не выставлено мое имя. Она состоит из двух частей: общей и частной. Общая излагает направление литературы в лице лучших ее представителей, или, вернее, направление цивилизованного общества; частная, с точки зрения изложенного, делает обзор замечательнейших литературных произведений, явившихся в предшествовавшем (1847) году. Первая часть очень понравилась, вторая вышла неудачной, как спешное и слабое приложение основ к наличным фактам. В.П. Боткин, бывший тогда в Петербурге, и К.Д. Кавелин высказали мне в письмах большие похвалы, хотя последний остался недоволен второю половиной статьи. Белинский, поместивший также обзор литературы в двух нумерах «Современника» за 1848 год, писал мне по этому поводу следующее: «Кто прочтет общую часть и моей, и вашей статьи, тот, право, подумает, что мы согласились говорить одно и то же. Но как только дойдет дело до оценки литературных произведений, тогда — иная история: посылай за стариком Белинским, а без него плохо»[54]. Этими словами верно обозначался недостаток второй части моей статьи, что я и сам вполне сознавал.

Все это было бы очень лестно моему самолюбию, если бы за светлыми минутами торжества не наступила темная пора, если бы не пришлось мне пережить, как выражаются французы, un mauvais quart d'heure[55]. Начал ходить слух, совершенно неожиданный. Толковали, будто при описании характера моего деда (в «Записках человека»[56]) я метил на высокопоставленное лицо, имевшее такие же привычки. «По нелепости слуха, — сказал мне Т.Н. Грановский, — вы можете сами заключить, что он идет из какой-нибудь лакейской, и потому тревожиться им нет причины». Я и успокоился, но ненадолго. Собиратель всех возможных вестей, И.М. Снегирев, частый посетитель митрополичьего подворья, от которого он, кста-

*«Отеч[ественные] зап[иски]», 1848, январь.

ти, и жил недалеко, сообщил мне в одно прекрасное (точнее — прескверное) утро, что отрывок из моих записок возбудил негодование и владыки (митрополита Филарета) и некоторых профессоров Московской духовной академии; что они объясняют его как явное отвержение религиозно-нравственных истин, что под книгой «мрачного противника жизни» я разумею будто священнейшую из всех книг. Это уже пахло не шуткой. Я не мог не потревожиться. К вящему моему смущению, весть Снегирева подтвердилась. На масленице 1848 года получил я записку от П.Н. Кудрявцева. «Вчера, — уведомлял он меня, — отец мой* был вытребован к владыке. Речь шла об известной статье, мне посвященной. Было упомянуто ваше имя. Нужно ли говорить, любезный друг, что может случиться, если речь перейдет в действие?» Эти строки решительно напугали меня. Я бросился к Петру Николаевичу разузнать обстоятельнее то, о чем кратко говорилось в записке, а услышал от него следующее.

Совершив обычный земной поклон, отец Петра Николаевича увидел в руках владыки книгу в желтой обложке («Отечественные записки»). После вопроса: «Читал ли ты в этой книге “Записки человека”?» — и отрицательного ответа, владыка сказал:

— Знаешь ли, что эта статья не лучше сочинений энциклопедистов? В ней отвергаются существенные основы религиозной нравственности.

Священник, не знакомый с содержанием статьи, хранил молчание.

— Статья посвящена твоему сыну. Посвящают обыкновенно тому, кто сочувствует автору, единомыслит с ним. Значит, и у твоего сына такой же образ мыслей?

Молчание священника продолжалось.

— Я мог бы позвать твоего сына и предложить ему этот вопрос, но предоставляю тебе, как отцу, испытать его. Что же касается до автора статьи, то ведаться с ним уж мое дело[57].

Нужно ли объяснять, как этот рассказ встревожил меня? А не тревожиться было нельзя. Обстоятельства того времени, и общие, и мои собственные, угрожали мне опасностью, меру которой ни я, ни кто-либо другой не мог определить. Об общих обстоятельствах, последовавших за февралем 1848 года, не считаю нужным говорить: они известны каждому. В обстоятельствах же моей жизни совершалась важная перемена. Судьба моя была уже связана с судьбой другого, дорогого для меня существа. Вместо приятных хлопот по предстоящему семейному устройству мне

*Отец П.Н. Кудрявцева был священником на Даниловском кладбище.

пришлось скрывать от невесты мою внутреннюю тугу[58], потом объявить ей о могущей постигнуть меня беде, утешать ее... И теперь воспоминание об этих черных минутах тоскливо сжимает мне сердце.

За советом, как поступить в приключившейся со мной притче, пошел я к Т.Н. Грановскому, наилучшему, незаменимому в этом отношении человеку, никогда не терявшему бодрости духа в постигших его невзгодах и умевшему внушать ее другим[59]. Долго толковал он со мною, придумывая способ если не отвести удар, то хотя несколько ослабить его силу. Наконец, положено было немедленно написать другую статью, вроде объяснительной записки к первой, и немедленно же отправить в «Отечественные записки» для напечатания. Так я и сделал. Вторая статья из «Записок человека» явилась в мартовской книжке этого журнала (1848 г.)[60]. В письме к редактору журнала я просил наблюсти, где следует, нет ли из Москвы какой бумаги, и если есть, то принять возможные меры к моей обороне. Недели через три получен успокоительный ответ: бумага действительно поступила, но

Гром не грянул, и я перекрестился.

Замечательно, что «Записки человека», возбудившие сильный говор среди читателей, интересовавшихся каждым движением мысли, приняты были вовсе неодинаково людьми того круга, от которых зависит приговор, подлежит ли осуждению такой-то литературный факт. В этой неодинаковости впечатления выразилось различие взглядов двух местностей (Москвы и Петербурга) на одно и то же направление. Если в одной из них высоко стоящие на общественной лестнице интересовались предметами отвлеченными, лежащими вне текущих и практических потребностей, то в другой лица той же высоты относились к этим предметам совершенно равнодушно: витай себе сколько угодно в поднебесных пространствах, думали они, только не касайся земных порядков. В этом отношении статья моя, конечно, самая невинная: она ничего и никого не задела в земстве, даже не тронула чиновников бывшей управы благочиния.

Недаром говорит пословица: «Пришла беда — отворяй ворота». Только что отдох я от передряги по поводу «Записок человека», как посыпались на меня инсинуации с благородных листов «Северной пчелы» за «Обзор русской литературы в 1847 году». Некто г. К. в фельетоне означенной газеты (1848, № 17)[61] выставлял безнравственность мыслей, содержащихся

в первой, общей части «Обзора». Я, например, указывая недостаточность личной, одиночной благотворительности, выводил отсюда заключение о необходимости заменить ее благотворительностью общественной, как прочнее обеспечивающей нуждающихся: обличитель нашел, что я отрицаю чувство милосердия, сострадания к ближнему. Отвечать на подобные толкования было бы всуе, а по тому времени и опасно. Но зато г. К. вскоре понес чувствительное наказание: Булгарин *похвалил* его фельетон в своих «Заметках, выписках и корреспонденциях»*.

С первых месяцев 1848 года направление критики в «Отечественных записках» изменилось — к лучшему или к худшему, не решаю вопроса, а ограничиваюсь лишь заявлением того факта, что критика не могла уже по-прежнему быть тенденциозной, служить известным идеям и стремлениям. Она должна была обратиться к другим предметам, выбрать иную цель, настроиться на иной лад. Собственно моей журнальной работе открылось дело, прямо подходящее к специальным моим занятиям. Обильный для нее материал представило «Собрание сочинений русских авторов» смирдинского издания. И вот с 1848 по 1857 год в отделах критики и наук явились разборы сочинений Кантемира, Д. Давыдова, Богдановича, Княжнина, Кострова и Аблесимова, Карамзина, Жуковского, А. Измайлова и других**[62]. Все эти историко-литературные этюды нравились в свое время читателям, а преподаватели русской словесности пользовались ими как пособиями для своих уроков. Статьею «Карамзин как оптимист»***[63] заключился девятнадцатилетний период моего сотрудничества в двух наиболее распространенных тогдашних органах нашей периодической прессы. Конечно, я писал и после в некоторые журналы, но это участие уже не было постоянным: оно являлось от времени до времени, вызывалось случайными, иногда неожиданными побуждениями.

Позволю себе сказать несколько слов о моих беллетристических покушениях, или грехах, как кому угодно. Их всего на все четыре: «Старое зеркало», «Ошибка», «Кукольная комедия» и «Превращение»****[64]. Одна из этих повестей («Старое зеркало») заслужила одобрение славянофилов, которые хвалили ее А.О. Армфельдту, зная, что я учительствую в том институте (Московском Николаевском), где он был инспектором классов.

*«Северная пчела», 1848, № 22.

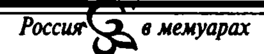
**Об Измайлове и Карамзине в «Современнике» 1849—1850 и 1853 гг.

***«Отечественные записки», 1857 г.

****Первые три повести в «Отечественных записках» 1845, 1846 и 1847 гг.; последняя в «Современнике» 1847 г.

Им пришлось по вкусу главное женское лицо, в особенности его сострадание к крестьянскому быту, стесненному крепостным правом. Рассказ «Кукольная комедия» понравился П.Н. Кудрявцеву и содержанием, и тоном[65]; зато Белинский просто разругал меня за него в горячо написанном письме, хотя тут же признавал за мною если не дарование, то способность (он различал эти два понятия) писать повести[66]. Вот два совершенно противоположные отзыва, при которых оставалась, по крайней мере, возможность утешаться одним из них, так как тот и другой принадлежали известным личностям. Белинский и не мог отозваться благосклонно о моем рассказе. Его мысль этого времени направлена была в ту сторону, где нет места идеальничанью. Поэтому настроенность чувства в моей повести он обозвал «противным элегико-идиллическим пафосом», а меня самого «романтиком», что на языке его значило «дрянь и тряпка».

Живо храня в памяти историю вышеизложенных моих журнальных занятий, я нахожу в их итоге несомненное для меня добро. Они принесли мне большую пользу — и литературную, и нравственную. Из ряда учителей, им же не было числа, журнальное сотрудничество выдвинуло меня на более видное место, дало мне положение литератора. Оно познакомило меня со всеми московскими и петербургскими литераторами, которые так достойно, так почетно продолжали в нашей словесности дело Пушкина и Гоголя и содействию которых «Отечественные записки» и «Современник» одолжены были своим торжеством. Все они ценили мою трудолюбивую деятельность, а редакции того и другого журнала интересовались моим участием. Но с особенною благодарностью поминаю я это журнальное сотрудничество за Москву, где оно ввело меня в круг самых даровитых, самых почтенных представителей университетской науки, в приязненное сообщество с такими людьми, которые во всякое время и для каждого возраста должны служить назидательным примером, идеальным образцом.



[ГЛАВА VIII] ВОСПОМИНАНИЯ О ЖУРНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ М.Н. КАТКОВА В 1839 И 1840 ГОДАХ

Я познакомился с Михаилом Никифоровичем Катковым в 1839 году, по окончании им курса в Московском университете. Поводом к знакомству послужило мое сотрудничество в двух периодических изданиях А.А. Краевского: «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» (с 1836 г.) и «Отечественных записках» с самого начала их появления (в 1839 г.). Обязанный, по условию, доставлять отчеты о всех новых книгах, выходящих в Москве, что требовалось для полноты критического отдела и библиографической хроники, я, разумеется, не мог один справиться с такою работой, тем более что она была срочная, и потому предложил Белинскому разделить ее со мною, на что он охотно согласился. Хотя он сам в это время редактировал «Московский наблюдатель», но у него оставалось еще довольно свободных часов для другой работы, в подспорье неважному гонорару за редакторство. Когда же он, в октябре 1839 года, переселился в Петербург, то надобно было заменить его другим подходящим лицом. Скоро представился к тому благоприятный случай. Я давал уроки русского языка сыновьям князя М.Н. Голицына[1], почетного опекуна в московском Опекунском совете. На лето переселялся он в свое именье, село Никольское, верстах в двадцати от Москвы, и оттуда раз в неделю высылал за мной экипаж. Я оставался у него целые сутки, чтобы дать три урока. Здесь-то я познакомился с матерью Михаила Никифоровича[2], которая временно гостила в семействе князя с младшим сыном своим Мефодием, а на постоянной квартире ее в городе оставался старший, готовившийся к магистерскому экзамену. Предложение последнему разделить со мною журнальную работу было принято не только с удовольствием, но и с благодарностью. Особенно же радовалась мать, не имевшая обеспеченного состояния.

Лучшего пособника нельзя было и желать. Катков работал скоро, но в каждой работе выказывал необычайную даровитость и редкое по летам

научное знание. Как по мысли, так и по изложению критика его отличалась силою, меткостью и оригинальностью. Эти качества обнаружились на первом же замечательном опыте его журнальной деятельности — на разборе сборника Сахарова «Песни русского народа», состоящем из двух статей*. Уже из первых вступительных строк виден в авторе ученик профессора Павлова, в пансионе которого он обучался[4]. Они живо напоминают мне университетские лекции естествознания, отличавшиеся предпочтением умозрения эмпиризму и синтетическим способом изложения — от общих основ к частным выводам, что мы, студенты, называли «павловщиной». Первая статья Каткова начинается вылазкой против исключительно фактического исследования научных предметов, приобретения множества фактов, без знания их смысла: «Конечно, фактическое изучение необходимо, но это только ступень, момент полного знания; внешнее в предмете есть откровение внутреннего, проявление его сущности, на которую и нужно устремить главное внимание: только живое объятие предмета в его целости с внешней и внутренней стороны — есть истинное знание». Затем критик обращается с вопросом к мужам, «велеречиво говорящим о необъятности России, и к труженикам, роющимся в архивах и наглотавшимся всякого сорта пыли»: знают ли они, что такое Русь. Вопрос этот вызван изречением Н. Полевого, занимавшегося тогда историей русского народа: «Я знаю Русь. Русь меня знает»[5]. Ответ критика — отрицательный: он осуждает мелочность занятий русской историей, если они ограничиваются розысками о Несторовой летописи и о варягах, бросаемых из угла в угол — то на север, то на юг. Это — упрек Каченовскому и Погодину, из которых последний доказывает скандинавское происхождение Руси, а первый вел ее с берегов Черного моря и в числе доказательств ссылался на чуб Святослава. Погодин, ратуя с Каченовским и опровергнув все его доводы, сказал, смеяся, одному из своих приятелей: «Теперь мне осталось уничтожить последний аргумент Михаила Трофимовича — вырвать из его рук хохол Святослава». Такие занятия отечественной историей, по мнению критика, не могут быть названы даже приготовлением материала для науки.

Что же нужно? Нужно решить вопросы: из каких стихий сложился характер русского народа? какие свойства составляют сущность его духа? в чем проявлялась его жизнь и что это за жизнь? как развивался он и в чем заключалось это развитие? Решение этих вопросов невозможно без иссле-

*«Отечественные записки» 1839 год (т. VI, отдел VI. стр. 1—24, 25—92)[3].

дования памятников, в которых народ выразился в своей непосредственности, наивно и объективно, преимущественно же песен. Мы должны стыдиться даже меньших наших братьев[6], говорит критик, они изучают эти песни, чтобы узнать физиогномию народа, понять смысл его истории; они упорно держатся своей народности и ищут ее не в мертвой букве, а там, где она кипит всею полнотою сил — в народной поэзии. А у нас разве жизнь была одним механическим вырастанием? Мнение о бесплодии и хаотизме русской истории до Петра Первого должно быть отвергнуто, как ложное.

Здесь оканчивается вступление и начинается разбор книги. Он состоит из двух частей, соответственно тому, что было перед тем высказано. Первая часть определяет сознание русского духа в поэзии; вторая отыскивает этот дух в частных явлениях той же поэзии. «Отыщем прежде смысл, а потом откроем его в действительном существовании, т.е. в созданиях народного поэтического творчества».

Главные струны русской души, по мнению критика, — *горькое, тоскливое чувство неопределенности и безотчетное недовольство.* Русский народ много и долго страдал, искупая великими жертвами каждый шаг развития, от которого ничего не получал в награду и которое ни на минуты не давало ему отдыха и беспрерывно росло для будущего плода, не давая знать ни малейшим намеком о том, чем должно увенчаться это развитие. Могла ли исполинская сущность русской души, которая естественно должна была иметь и требования исполинские, довольствоваться мрачною, безотрадною действительностью? Могла ли она найти себе *определение* в этих неопределенных формах, в которых не было ни тени прочности? Но если настоящее русской души было мрачно и уныло, зато впереди ждала ее будущность, в которой суждено было ей найти осуществленными все моменты и требования ее натуры, готовилось Провидением колоссальное определение на смену неопределенности. В народах, находящихся, как говорят немцы, im Werden[7] (в том состоянии зачатия, когда они еще только становятся тем, чем действительно будут со временем), живет всегда инстинктивное сознание того, что сокрыто в тайниках их существа, предчувствия будущей действительности, в которой найдут они свое определение. Так и русская душа, отрываясь по временам от тяжести настоящего, старалась забыться в инстинкте своего назначения, не отдавая отчета в том, что ожидало ее впереди, она, однако ж, в те минуты, когда вырывалась из тяжких цепей настоящего, тешила себя широким раздольем, которое

теперь вырабатывала себе жизнью и в котором ***некогда*** найдет себе определение. Вот значение того, что обыкновенно называют русским ***разгулом***.

Отсюда переход к песням: в идеале фантазии русской заключается то же самое, что и в русской душе. Поэтому наши народные песни выражают или *тоску*, или *разгул*, *удальство*, первое чувство преобладает над вторым. За сим самые песни рассматриваются по отделам в порядке расположения их в сборнике Сахарова, и рассмотрение заканчивается исчислением требований от лиц, изучающих народную поэзию. Считаю нужным выписать следующее патетическое место касательно важности этого изучения:

«Да, мы должны, мы обязаны посвятить без раздела все наши силы нашей родине, нашему народу. Все то, чем мы теперь пользуемся, чем наслаждаемся, эта жизнь духа, которой мы стали участниками, не он ли, не этот ли народ выкупил нам такой дорогою ценою? Не за нас ли, не для нас ли так тяжко страдал он? И мы ли дерзнем презирать его и не обращать внимания на то, как он жил, и на то, чем он жил? Мы должны благоговейно лобзать заживающие следы его ран; мы должны благоговейно собирать и хранить как святыню капли его крови. Не то — горе нам! Народ отдвинет от нас свою могучую сущность, не даст жизненных соков корням иноземных растений, и наша образованность, которою мы так гордимся, увянет и иссохнет — и не будет плода».

Молодой критик искусно владел и выражением научных мыслей, хотя оно, на первых порах, представляет два недостатка: излишество и, по местам, реторический пафос. Но не надо забывать, что в его время от того и другого были несвободны даже лучшие профессоры Московского университета: Давыдов, Надеждин, Шевырев. Особенно последний платил немалую дань второму недостатку.

В том же 1839 году вышло сочинение Зиновьева «Основа русской стилистики» (т.е. реторика)[8]. Катков счел нужным поговорить о нем, потому собственно, что ни одна «система сведений» не имеет, по его словам, такой жалкой участи, как реторика*. «Реторика», «реторический» стали обозначать недоброкачественную, пустую, фразистую речь, или, как выразился Гамлет: «Слова, слова, слова». К этому поводу, без сомнения, присоединилось и другое побуждение: сам критик в школе изучал эту науку и убедился в неопределенности ее содержания, в схоластицизме и бесплодности ее правил. Чтобы объяснить такое печальное

*«Отеч[ественные] записки», 1839 г. (т. VI, отд. VI, стр. 47—64).

состояние реторики, критик обратился к ее истории. В лучшую эпоху древности, у греков, она была не сборником правил, а ораторским искусством. Учиться реторике, говорит он, не значило взять в руки книгу и твердить ее наизусть, а значило развивать в себе элементы, составляющие существо оратора, как он изображен Цицероном в двух трактатах: «Orator» и «de Oratore»[9]. Но с постепенным падением древнего мира и реторика постепенно превращалась в книгу. У римлян особенно развелись реторические кодексы. Квинтилиановы Institutiones[10] представляют скелет когда-то гармонически стройного целого. В средние века, до эпохи Возрождения, реторика все еще имела некоторое значение: ибо нужно было все, что хоть сколько-нибудь во мраке варварства напоминало светлую жизнь исчезнувшего мира. Но и после того она не только не исчезла, но даже помещена схоластиками в число семи свободных искусств[11], и ее ведению предоставлено было распоряжаться словами (Rhetorica verba ministrat)[12]. Такое явление заставляет критика уподобить реторику вечному жиду[13]. Мало того, говорит он: «когда подумаешь об окончательном уничтожении реторики, нельзя защититься от невольной мысли, что вместе с нею будет оторвано от школы нечто существенное и живое». Чтобы объяснить эту странность, найти причину живучести того, что давно начало умирать и, казалось, совсем умерло, надобно решить вопрос: возможна ли теперь реторика и как? если возможна, то из этого ясно будет следовать ее необходимость. Решением этого вопроса занята вторая половина статьи, и решается он следующим образом.

Реторика возможна и необходима, но только отрекшись от своих претензий. Ее владения должны ограничиться и вне и внутри, то есть по месту ее преподавания (в низших школах) и по объему или ведомства, или содержания. Разделив науки на самостоятельные и чисто практические, критик ставит ее в средине между ними; изучение ее должно следовать непосредственно за изучением грамматики. Грамматика сообщает знание слов в их отдельности или в связи, отвлеченно от их значения, до которого ей нет дела: она может показать только формальные отношения знаний. Но этого недостаточно. Ученик, получив слово как материал, должен потом учиться отпечатлевать на этом материале форму; иначе: он должен узнать слово, как *внешнюю* форму мысли (речь). Реторике не по силам рассматривать внутреннюю форму, организацию мысли, за что она так безрассудно бралась: то и другое дает себе мысль сама. Ее дело показать правила речи. Правильною речью называется не только такая, в ко-

торой соблюдены требования грамматики, но и такая, которая ясна, полна и дает сквозь себя видеть заключающееся в ней содержание. То выражение, которое соответствует своему значению, равномерно ему и вполне обнаруживает его, называется изящным. *Правила* этого *изящного выражения* и составляют предмет реторики.

Статья эта требует некоторого объяснения. Что критик называет реторикой, собственно, есть стилистика (так автор и озаглавил свою книгу), которая в полном реторическом курсе занимала первую его часть под именем общей реторики, содержащей в себе правила, равно обязательные как для прозаика, так и для поэта. Оригинальность и ценность взгляда Каткова заключаются в том, что он на место хаотического содержания стилистики водворяет ее подлинный предмет и ставит ей настоящую задачу — учение о стиле, или слоге. Но что такое слог? И до сих пор путаются в его определении, потому что не различают двух его сторон: субъективной и объективной. Субъективная сторона была давно определена Бюффоном в его знаменитой речи (Discours sur le style)[14] словами: слог — это сам человек (le style — c'est l'homme), то есть в слоге отражаются духовные способности автора: его ум, воображение, чувство. Это — слог личный, или индивидуальный, зависящий от природы пишущего (отсюда слог Карамзина, Жуковского, Пушкина). Учиться ему нельзя, даже подражать ему опасно, потому что подражателю легко разыграть роль «вороны в павлиньих перьях». Предметом стилистики может служить только объективная сторона слога, зависящая преимущественно от содержания сочинения, а частию и от его цели, и обязательная для всех и каждого. Это — внешняя форма внутреннего, мысленного материала, долженствующая вполне ему соответствовать, быть ему равномерным, ярко обнаруживать его значение. Если, по счастливому выражению Бюффона, субъективный слог есть сам человек, то о слоге объективном немецкие ученые справедливо говорят: он есть само содержание. В таком только случае он будет иметь право называться «изящным выражением». Заслуга двадцатилетнего критика, повторяем, в том и состоит, что он дал надлежащее определение слогу как предмету особой науки и указал этой науке надлежащие пределы.

Характер критического приема, который мы уже видели в двух статьях Каткова, остался неизменным и в суждении об «Истории древней русской словесности» Максимовича (1839)[15], профессора Киевского университета. И здесь он отправляется от общего к частному: прежде чем рассматривать новый факт научной литературы, он предварительно считает необхо-

димым изложить свое собственное понимание предмета — решить вопрос: при каких условиях «словесность» может быть названа «литературой». Это понимание усвоил он на университетских лекциях и знакомством с капитальными историко-литературными трудами иностранных ученых. Да и трудно было избежать такого приступа к разбору, зная скудость тогдашнего наличного капитала по этой отрасли знания. Представителем его был «Опыт краткой истории русской литературы» Греча[16]. Поневоле придется начать ab ovo[17], когда прочтешь в этой книге такое определение литературы: «*Литературою* языка или народа называются все его произведения в *словесности*, то есть творения, писанные на сем языке, стихами или прозою». «Но что же такое литература и что такое словесность?» — спрашивает критик. «Если объем понятия словесности равняется объему понятия литературы, то все это выражение есть не что иное, как тавтология — и самая вопиющая; в таком случае можно будет так читать: *литературою называются все произведения в литературе*. Если же словесность и литература различны, то что же бы такое значила словесность? *То есть творения, писанные на сем языке в стихах и прозе*. Итак, словесность составляют все творения, писанные в стихах и прозе на каком-либо языке. Но это же самое, в силу определения, есть и литература — итак, литература и словесность совершенно одно и то же: они могут употребляться promiscue* и поставляться одно вместо другого. Итак, истинный вид этого определения следующий: *литература есть литература, словесность есть словесность*, следовательно, опять та же вопиющая тавтология!»

Ввиду такой путаницы критику пришлось разъяснять происхождение слова «словесность» и определять различные его значения. К словесности, по этому разъяснению, относится *язык*, насколько он осуществляется в словесных памятниках (устные произведения народа), а к литературе, согласно с производством этого слова, — *письменность* (письменные, словесные памятники). В этих последних главное, существенное — содержание: в них исчезает самостоятельный интерес языка, на который обращается внимание лишь по его отношению к содержанию.

Итак, словесность — это устные народные произведения (песни, сказки, пословицы), литература же — это письменные словесные произведения культурной эпохи. Содержание литературы — *раскрытие народного самопознания в слове*. Задача истории литературы — *указать это раскрытие*.

*Без разбора, смешанно.

Вот к каким выводам пришел молодой критик. Из них один — различение словесности и литературы — не укрепился в обычае: мы употребляем оба слова безразлично; другой — об интересе народной словесности единственно со стороны языка и понятие о ней как о младенческом лепете только что пробудившейся души народа — также не водворился в науке. Но зато сущность литературы и задача ее истории поставлены верно. Задача эта и в настоящее время еще не исполнена надлежащим, вполне достойным образом.

Переходя к словесности русской, критик прежде дает характеристику славянского племени, а затем говорит о России. Речь его клонится к тому, что у нас, до той самой эпохи, когда Петром Великим внесены были элементы европейской цивилизации, не могло быть даже и тени литературы в том смысле, как, по мнению критика, должно понимать это слово (то есть как *выражение народного самопознания в слове*). Памятники нашей древней словесности не представляют с своей внутренней стороны особенного интереса ни для исторического, ни для критического изучения; единственная форма, в которой они могут быть рассматриваемы, это — расположение их в хронологическом порядке. Такой строгий приговор объясняется скудостью разработки литературных наших памятников в то время, когда книга Греча была единственным руководством для изучения нашей словесности.

Наконец, критик приступает к труду Максимовича и относится к нему скептически и строго. Он не допускает рассматривания древней нашей словесности в ее постепенном развитии и взаимной связи, и в связи со всею жизнию народа, особенно с его просвещением, после того как единственной формой расположения словесных памятников признал порядок хронологический. Он осуждает деление на периоды, ибо, по его убеждению, в древней русской словесности никакого движения не было, кроме движения в языке. Кроме того, периоды характеризуются Максимовичем не степенями развития словесности, как бы следовало, а внешними, не относящимися к ней фактами и обстоятельствами. Наконец, нет единства в делении: в первых трех периодах основанием служат, как сказано, события, совершенно посторонние словесности, а в четвертом начинает она понемногу обозначаться своими собственными явлениями.

Оригинален взгляд критика на «Слово о полку Игореве», объясняемый не скептической школой истории, основанной Каченовским[18], а малой тогда разработкой наших древних памятников словесности. Катков не

принимал его за действительный и достоверный памятник: «Трудно придумать, — говорит он, — кто мог написать такую нелепицу без всякой цели, без всякой arrière pensée»[19]. Он не утверждал, впрочем, что «Слово» — с умыслом составленная подделка: он думал только, что мы не имеем его в истинном виде, ибо «единственный экземпляр, в котором оно дошло до нас, представляет первоначальное слово не только в искаженном виде, но и совершенно переделанным, так что от первоначального осталось несколько следов, только отдельные клочки, которые отличаются от всего прочего не столько особенным изяществом, сколько тем, что в них отзывается время, близкое к описываемому событию».

Последняя (четвертая) критическая статья Каткова рассматривает «Сочинения в стихах и прозе графини Сарры Толстой», переведенные с немецкого и английского Лихониным, известным московским литератором того времени[20]. Она написана con amore[21]. Главною тому причиной служило сильное сочувствие к таланту девицы и ее внешней судьбе. Сарра была по матери цыганского происхождения, получила отличное образование, начала писать на четырнадцатом году и умерла семнадцати лет от ужасной болезни, зародыш которой гнездился в ее груди с самого рождения. Кроме того, сам критик имел поэтическое дарование, что доказывается его переводом Шекспировой трагедии «Ромео и Джульетта» и некоторых стихотворений Рюккерта и Гейне[22]. Поэзия, философия неизменно привлекали его к себе начиная еще с бесед у Н. Станкевича, о котором пришлось ему вспомнить в начале статьи как о человеке, «не столько принадлежавшем публике, сколько малому кругу людей, лично его знавших и не отдохнувших еще от невозвратимой горькой утраты»*. К числу этих немногих людей принадлежал и Михаил Никифорович вместе с Белинским. В биографическом очерке, под названием «Несколько мгновений из жизни графа Т.», Станкевич говорит об удалении современного человека от природы, о разрыве *его связи со вселенной***. Катков воспользовался этим выражением, потому что в поэзии Сарры находил проявление ее духа, *глубоко сознававшего свое родство с общим духом* жизни. Вот те обстоятельства, которые настроили критика на поэтический тон, почему и слог его, от начала до конца, является образным, цветистым, патетическим.

Особенность этой статьи состоит в том, что она уклонилась от обычного критического приема, известного нам по прежним статьям. Она не хочет

*Ранней смерти.
**Журнал «Телескоп», 1834 г.[23].

прибегать к масштабу искусства; не исходит из общего начала и раскрытием его сущности не определяет требований от индивидуального поэтического творения. Теория лирики остается в стороне, не берется за руководство в приговоре о таланте Толстой и о значении ее произведений — не берется потому, что эти произведения возникли иначе и имеют иной характер сравнительно с другими того же рода. Поэтому бóльшая половина статьи занята суждениями о предметах, которые естественно возбуждали внимание критика по своему близкому отношению к судьбе Сарры и к ее поэтической деятельности, ставили очередные вопросы и требовали ответа.

Первый вопрос касался различения деятельности мужчины от деятельности женщины, причем, само собою разумеется, нельзя было обойти бывших толков и споров об эмансипации женщины. Катков находит безрассудным запирать для женщины те или другие житейские сферы. Притязание женщины на литературные занятия и на известность, ими доставляемую, тогда только может быть осуждаемо, когда окажется, что дело действительно начинается и оканчивается только *притязанием*. В противном случае, ее участие очень желательно, как видно из примеров мистрис Джемсон, Беттины, Рахели[24], Жоржа Занд, заслуживших справедливую славу. Женщина должна пользоваться всеми Божиими дарами, ей должны быть отверсты все сокровища разума, все благороднейшие наслаждения образованной жизни. Все человеческое должно быть ей доступно. После всего сказанного об эмансипации как о вопросе века, созревшем по ходу истории, критик назначает ей известные границы, отводит женской деятельности принадлежащую ей область. Эта область — семейство. «Вот мир женщины, вот сфера ее подвигов! В этом мире высшее достоинство ее открывается в любви дочери, в любви невесты, в любви жены, в любви матери... Будучи создана для индивидуальной жизни, для жизни своею личностию, она не обязана выходить на общественную арену для поденного труда. Лучшее, полное возмездие, которым она может заплатить за дар существования, есть она сама, ее прекрасная, гармоническая личность... Истинно великая, гениальная женщина есть, по преимуществу, религиозное существо, натура глубоко внутренняя...»

Вслед за изложением предварительных рассуждений, занявших, как мы заметили, просторное место, Катков выражает свое мнение о сочинениях Сарры. Но он, еще до критической статьи, дал им краткую оценку в извещении о выходе первого их тома*: «Это — не какие-нибудь маленькие

*«Отечеств[енные] записки», 1839, т. VI, Библиографическая хроника.

чувствованьица, дорогие и понятные только для ее родственников и знакомых, но яркие проблески души глубокой и сильной, не какие-нибудь плаксивые излияния детской мечтательности и слабой, болезненной чувствительности, но действительные, нормальные стремления богатой натуры проявить вовне сокровища своего духа, глубоко осознававшего свое родство с общим духом жизни, глубоко понимавшего святое достоинство жизни и ее обаятельную прелесть». Этот-то отзыв, в двоякой форме похвалы, отрицательной и положительной, развит подробно в статье, о которой идет речь. Истинная точка зрения для критика состоит в раскрытии единства между личностью Сарры и ее поэтической деятельностью: «говоря о ее стихотворениях, мы будем говорить об ее личной жизни; говоря об ее жизни, мы невольно будем говорить о ее стихотворениях. Она не потому гениальна, что она гениальный поэт, но потому гениальный поэт, что гениальная женщина. Содержание ее сочинений было искреннейшим фактом жизни души ее. То, что заключается в них, — это она сама, сама Сарра; это — прекрасная, светлая, нежная, грациозная физиономия ее духа». Таков вывод критики, которая, в заключение, подкрепляет его выпиской некоторых стихотворений в прозаическом переводе.

Кроме вышеизложенных четырех критических отзывов Каткову принадлежат еще многие рецензии в «Библиографической хронике» тех же двух годов (1839 и 1840 гг.) «Отечественных записок»*. Несмотря на их краткость, они свидетельствуют о сильном таланте, большой научной заправке и рельефном слоге рецензента. В особенности сильно выказывается влияние на него немецкой философии (Гегеля). Каждое суждение его о той или другой книге выражает нечто новое, открывает какую-либо сторону предмета, на которую прежде или вовсе не обращали внимания, или обходили ее общими фразами. Нападки на ум, похвалы непосредственному, животному чувству, осуждение современного века за его будто бы материальное направление, короче, все то, что тогда обзывалось мракобесием, или обскурантизмом, встречали в юном критике мужественный отпор, заслуженное бичевание. Приведу два примера. В «Терапевтическом журнале» за 1839 год доктор Зацепин печатал свое сочинение «О жизни», странное по содержанию и изложению, какой-то уродливый мистико-философско-богословский трактат, с чистыми выходками против ума[26]. Катков по этому случаю писал: «К чему эти нападки на то, что выше вся-

*Список их приложен в конце статьи[25].

ких нападок? Не есть ли ум та божественная искра, которою человек отличен от животного, не есть ли то самое бесконечное, которое организировалось в конечной форме? *Чувство*? Но чувство есть форма животной жизни: оно тогда только становится истинно человеческим, когда наполнено *разумным* содержанием». Та же мысль развивается обстоятельнее в другом месте следующим образом:

«Все ум виноват! Позвольте, господа, не торопитесь своими проклятиями: ведь это дело не шуточное. Зачем вы видите ум только в практической стороне жизни, в успехах промышленности, железных дорогах и паровых машинах, словом, в одной только внешней полезности? Вы говорите только о чувстве, только в нем видите откровение истины, а на ум смотрите как на грех и заразу, — но ведь вы этим профанируете самое чувство. Чувство есть тот же разум, но разум, так сказать, еще *чувственный*, заключающийся в условиях организма, не отрешившийся от владычества плоти, не ставший духом в духе. Оно требует просветления, которое возможно только через мысль, через знание, словом, через *ум*. Те, которые нападают на ум, обыкновенно почитают истинность и благость неотъемлемою принадлежностию чувства и думают, что чувство никогда не ошибается и не заблуждается. Грубое заблуждение, которое из разума делает инстинкт, а из людей — животных! Чувство есть ощущение, а ощущения бывают и благие и злые, и истинные и ложные, как и мысли. Из одного и того же сердца исходит и доброе, и злое. Когда человек прощает своему врагу — он действует по внушению сердца; когда человек убивает своего врага — он действует опять по внушению того же самого сердца. Следовательно, сердце требует нравственного воспитания, духовного развития, которое возможно только при посредстве разума. Предоставленное самому себе и чуждающееся разумности, чувство и гаснет, и колобродит, и бывает даже источником преступления и злодейства. Испанцы, во имя Вечной Любви, страдающей и умирающей за ее же мучителей, перерезали целые племена и обагрили кровью целую часть света, и это они сделали будто бы по религиозному чувству, так же как и основали инквизицию для того, чтобы на кострах жечь еретиков, т.е. людей, признающих, кроме чувства, еще и разум».

Другой пример дает рецензия книги «Обед, каких не бывало, сочинение Ф. Глинки»[27]. В 1839 году в Москве открылись столы для бедных, устроенные некоторыми благотворителями. По билету в один рубль,

выданный нищему, этот последний мог обедать ежедневно в течение целого месяца. Ф.Н. Глинка, бывши свидетелем такого отрадного зрелища, выразил свои чувства, примешав к ним осуждение XIX века, «чувственного и внешнего, развившего в огромных объемах ум свой и забывшего про сердце», как он выразился. Катков отвергает такой пессимистический взгляд:

«Автор (говорит он) приступает к делу лирическою выходкою против XIX века. Он отнимает у нашего века всякое достоинство, всякую духовность; видит в нем один разврат, одну материальность; пировою храминой[28] его жизни называет *биржу* — место ума (?), расчета и торга; говорит, что теперь религия испарилась, как дорогой аромат из позлащенного сосуда... Бедный век! Или и в самом деле ты одряхлел, как умирающий лев в басне Крылова, и потому на тебя так все нападают? Или ты виноват перед всеми, которые увидели свет Божий прежде, нежели ты увидел его. Они сердятся на тебя за то, что не хотят понять тебя? Или, наконец, на тебя потому нападают все, что каждый видит в тебе — понятие, а не человека, который мог бы подать просьбу за бесчестье и увечье?.. Тебя бранят и поносят за безрелигиозность в то самое время, когда ты водружаешь знамена креста даже в Австралии, между дикими получеловеками; в то время как ты передал Слово Божие, глагол вечной жизни, на языки всех народов и племен земного шара; в то время, когда ты, отвергшись заблуждений прошлого, так называемого *лучшего* века, не одним сердцем, но и разумом своим признал Благовестие Богочеловека высшею истиною, небесною и божественною мудростию, предвечным и единым разумом, открывшим себя в завидности явления — словом воплотившимся! Тебя бранят и поносят за меркантильность направления, за эгоизм и сибаритство, за жестокосердную холодность к страданию ближнего — и когда же? — в то самое время, когда ты открываешь сиротские приюты, комитеты для призрения бедных, даешь «обеды, каких не бывало», словом, когда ты христианские подвиги милосердия и любви к ближнему делаешь уже долгом или добровольным порывом не частных лиц, но делом общественным, государственным!.. Ф.Н. Глинка хочет видеть представителей века в романистах, которых называет «угодниками общества»: это все равно, что судить о красоте русских городов не по Москве и Петербургу, а по Тамбову и Пензе. Далее, Ф.Н. Глинка хочет судить о веке по французским романистам, справедливо называя их «угодниками общества на

ловитве[29] ощущений»: это все равно, что по двум или трем пьяным мужикам судить об образованности русского народа, видя в них его представителей. Вольно же порицателям XIX века смотреть на него из Парижа и в Париже! Да и не лучше ли б было им в том же Париже взглянуть не на одну его грязную литературу, а, например, на его публичные больницы, где знаменитейшие врачи Европы посвящают свою деятельность на облегчение страждущего человечества, где уход за больными и порядок во внутреннем устройстве и хозяйстве свидетельствуют о высокой христианской филантропии»*.

Как впоследствии относился М.Н. Катков к выше изложенным журнальным работам для «Отечественных записок»?** Само собою разумеется, что он видел в них только пробу пера, изощряемого и готовившегося для более широкой и плодотворной деятельности, но он вспоминал с удовольствием о критических опытах своего юношества, особенно об оценке таланта Сарры Толстой, и любил говорить о них в кругу приятелей, как это видно из прилагаемых при сем двух его ко мне писем. Первое письмо, или скорее записка, получено мною 18 октября 1856 года, в ответ на мое приглашение отобедать у меня вместе с другими близкими и присными мне людьми, по поводу моего переселения из Москвы в Петербург. По тесноте моей квартиры, В.П. Боткин устроил обед у себя, в доме своего отца. Кроме самого хозяина были Грановский, Кудрявцев, И.С. Тургенев, Кетчер, Катков, Леонтьев... (увы! этот список есть вместе и поминки умерших)... и несколько других лиц, еще живых и здравствующих. Вот что писал Катков:

«Вменяю себе в особенную честь ваше любезное приглашение и с радостью им воспользуюсь, чтобы в кругу людей, равно нам близких, и вместе с ними выразить то глубокое уважение, которое всегда соединяло и будет соединять нас с вами. Кроме общего признания ваших заслуг и ваших нравственных качеств, для меня лично воспоминание о вас имеет еще особое значение: *с ним соединено еще дорогое для меня воспоминание моей первой молодости*. Где бы ни случилось нам встретиться, всегда дружески протянем мы друг другу руку и, я уверен, не изменимся никогда в нашем взаимном уважении и приязни».

*«Отечественные записки», т. VIII, отдел VI (Библиографическая хроника, стр. 31—32).

**Кроме их, он сотрудничал в «Москов[ском] наблюдателе», под редакцией Белинского, 1838 и 1839 гг.[30].

Второе письмо (31 января 1858 г.) извещает меня, жившего уже в Петербурге, о смерти Кудрявцева:

«Простите меня, дорогой Алексей Дмитриевич, за мое молчание на ваш привет, который тронул меня до глубины души. Поверьте, ваше сочувствие, ваше доброе расположение и к моей деятельности, и ко мне лично ценю высоко и вижу в том истинную для себя награду и утешение. Как вы знаете меня с давних пор, так точно и я помню вас с той самой поры, когда пробуждалась во мне мысль, и первые попытки ее неразрывно связаны с воспоминанием о вас, о той доброте, том доброжелательстве, том благородном сочувствии ко всему молодому, свежему, нравственно чистому, которые всегда отличали вас. Я не писал к вам просто потому, что был подавлен страдным грузом трудов, забот, горя. Выдалась же полоса! Бывали минуты, когда я приходил в совершенное отчаяние. С одной стороны — туча неблагоприятных и слухов, и предчувствий с севера*, с другой — быстрое, ужасное угасание нашего Петра Николаевича**, а тут обычным потоком, ни на минуту не останавливающимся, дела, дела, дела, которые падали на меня всею своею тяжестью. Да! к потере Петра Николаевича трудно привыкнуть. Многого с его смертию недосчитаем мы в нашем капитале. Мне он был особенно дорог, как нравственная поддержка, по сходству многих заветных убеждений. Жизнь с каждым днем становится и труднее и суровее.

Без сомнения, вы имеете все право участвовать в издании сочинений Кудрявцева и в составлении его биографии***. Мне кажется, эту последнюю обязанность могли бы разделить вы с Павлом Михайловичем****, который если еще не писал, то на днях будет писать к вам. Воспоминаний ваших ждем с нетерпением*****.

За статью вашу о Лермонтове[32] приношу вам сердечную благодарность. Я считаю ее одним из лучших приобретений журнала. Мне было дорого и отрадно видеть то доверие, с которым вы отдавали ее мне, но говорю вам откровенно и по чистой совести, что я не встретил в ней ни одной мысли, в которой не был бы согласен с вами. Я буду печатать ее не просто, как прекрасную статью, но и как статью совершенно мне сочувственную. Жду с нетерпением второй половины.

*Из Петербурга.

**Кудрявцева, профессора Московского университета.

***Намерение это тогда не осуществилось.

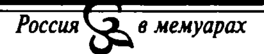
****Леонтьевым, профессором Московского университета.

*****Воспоминания о Кудрявцеве («Русский вест[ник]», 1858 г., т. XIII, № 4)[31].

Какое снова тяжкое испытание наступает для литературы! Сколько опять накипает на душе самых мрачных чувствований! Скажите, что выйдет из этих колебаний, из этих затягиваний и отпущений, и опять затягиваний, из этого вечного поддразниванья? И когда же? в то время, как, по-видимому, единственная и существенная поддержка П—ву* представляется лишь в свободном развитии мысли и слова. Напрасно суемся мы с нашими сочувствиями: нас отталкивают презрительнейшим образом. Так и быть! Будем ждать, что Бог даст.

Вы пишете, что в мае будете в Москве. Заранее радуюсь этому и надеюсь, что будем гораздо чаще видеться, нежели прошлое лето. Обнимаю вас от всей души».

*Правительству. Разумеются цензурные строгости тогдашнего времени.



[ГЛАВА IX]
ЛИТЕРАТУРНАЯ КОФЕЙНЯ В МОСКВЕ В 1830–1840 ГОДАХ

1

Знающим историю литератур французской и английской известно, какое значение некоторые кофейные, основанные в Париже и Лондоне, имели в жизни авторов и в их деятельности. Сначала цель их была специальная, что видно из названия (кофейная), но вскоре они стали сборным местом артистов и писателей, почему и получили эпитет «литературных» (cafés litteraires). Возникали они преимущественно по соседству с театром, потому что актеры нуждались в каком-нибудь притоне перед репетициями и после репетиций, чтобы потолковать о достоинствах и недостатках новопоставляемых пиес. Так первую кофейную в Париже основал сицилиец Прокопий в XVII в. — «Café Procope». Вскоре к артистам присоединились литераторы, сначала те, у которых были какие-нибудь отношения к театру, например, авторы пиес, при постановке их на сцену. Приходили они не столько для питья кофе, сколько для того, чтобы узнавать всякого рода новости и самим сообщать их, посудить о вчерашнем спектакле, оценить хорошие или дурные стороны исполнителей. Там же играли в шахматы и шашки. «Café Procope» существовала долгое время и видела в числе своих посетителей Беллуа, Ж.Б. Руссо, Пирона, Дидро. В Лондоне славилась кофейная Вилля, прозванная «Café des beaux esprits»[1]. Это был сборный пункт молодых, начинающих свое поприще поэтов, студентов, окончивших или оканчивающих курс наук, и других любителей слова. Здесь в классический период английской литературы господствовал Драйден. Посетители почтительно теснились вокруг его кресла, стоявшего летом подле балкона, а зимой у камина. Как властитель письмен, как установитель изящного вкуса, судил и рядил он, при глубоком внимании слушателей, новые произведения литературы. Кого удостоивал он словом, тот считал себя счастливым. Щепотка табаку, предложенная им из его собственной табакерки, почти равнялась патенту на звание академика.

И у нас в тридцатых годах явилась в Москве кофейная, получившая то же название и характер «литературной», благодаря некоторым обстоятельствам. Помещалась она в центре города, неподалеку от театральной площади, с одной стороны, и еще ближе от трактира Печкина, с другой[2]. Основателем ее был некто Иван Артамонович *Бажанов* (или Баженов), известный единственно тем, что знаменитый трагик Мочалов женился на его дочери и терпеть не мог своего тестя[3]. Помещение кофейной состояло всего на всё из пяти комнат: двух побольше — залы и биллиардной, двух поменьше, куда удалялись посетители для разговоров или закусок, и приемной, где снималась верхняя одежда. Кроме кофе и чая можно было получать порциями завтрак и обед из Московского трактира (Печкина), соединявшегося с кофейной особым проходом. Другими приманками служили биллиард — для любителей этой игры, газета («Северная пчела») и журналы («Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Московский наблюдатель» и другие) — для любителей литературных новостей. Обычные посетители делились на утренних, дообеденных, и вечерних, послеобеденных. Я принадлежал к числу первых, потому что компания тогда была интереснее. Собирались артисты и преподаватели, из которых иные сотрудничали в журналах — петербургских или московских. Тех и других сближал двоякий интерес — театральный и литературный. Если тогда было еще немало театралов из числа лиц, преданных литературе, то и меж артистов находились искренно интересовавшиеся литературой. Достаточно указать на Щепкина и Ленского. Первый вращался в кругу профессоров и писателей, был принимаем как свой человек у Гоголя, С.Т. Аксакова, Грановского. Беседою с ними он, насколько это возможно, развивал себя и образовывался. Второй, обладая самым скудным сценическим дарованием, выходил, однако ж, по образованию из ряда своих товарищей: он хорошо знал французский язык и отлично перелагал с него водевили и другие драматические пиесы; кроме того, бойко владел пером в том сатирическом и эротическом роде, в каком известны у нас Соболевский и Щербина[4]. Часто можно было встретить ранним утром Мочалова. По какой-то застенчивости, даже дикости, нередко свойственной тем гениальным талантам, которые, при отсутствии надлежащей воспитательной дисциплины, вели распущенный образ жизни и не хотели подчиняться никакому регулированию, он не входил в зал, где уже были посетители, а садился у столика в передней комнате, против буфета, наскоро выпивал чашку кофе и затем торопливо удалялся, как бы боясь,

чтобы кто-нибудь не завел с ним разговора. Вот Ленский — другое дело: он был, как говорится теперь, «завсегдатаем» в кофейной, нередко с утра оставаясь там до начала спектакля, а иногда и до поздней ночи, если в спектакле не участвовал. Кроме поименованных артистов часто бывали Живокини, Орлов, Бантышев, Садовский, Самарин. Из литературно-учительского кружка чаще других являлись профессор Рулье, Н.Х. К[етче]р, Межевич, Артемьев (Петр Иванович), прозванный «злословом», и ваш покорный слуга. Заходили иногда Белинский, М.Н. К[атко]в и Г[ерце]н, но редко. Одно время часто посещал кофейную Б[акуни]н, именно в 1838 году, когда печатались его философские статьи в «Московском наблюдателе»[5], издававшемся Белинским. Однажды зашел в нее вместе со мною П.Н. Кудрявцев, но ему, как человеку сдержанному и деликатному, не понравилось навязчивое запанибратство обычных посетителей. «Странные они люди! — говорил он потом. — Видят меня в первый раз, и уж каждый навязывается чуть не в родню — хочет быть или дядей, или кузеном».

Беседы и суждения, всегда более или менее горячие, переходившие в нескончаемый спор, становились еще более оживленными или, пожалуй, шумными при выходе новой книжки ежемесячного журнала, при каком-либо газетном фельетоне (субботнем в «Северной пчеле») или по поводу новой пиесы, появления известных сценических субъектов, напр[имер] итальянских оперных певцов, представлений Рашели, приезда из Петербурга трагика Каратыгина и балерины Адриановой. В последнем случае сильно разыгрывался наш московский патриотизм: мы ни за что не хотели дать в обиду нашего любимца Мочалова и нашу любимую, грациозную танцовщицу Санковскую (старшую)[6]. Оба разряда посетителей — артисты и литераторы — были заинтересованы, каждый по-своему, разговором: первые должны были выслушивать мнения о качестве выполнения ими ролей; вторые — преимущественно журнальные сотрудники — в свою очередь внимали отзывам артистов о своих театральных рецензиях, большею частию безыменных. И слава Богу, что не было под ними подписи автора en toutes lettres![7] А то ему пришлось бы тяжело выдерживать грубые и резкие осуждения своего отзыва за неверность, или пристрастие, или, еще хуже, — за непонимание того, о чем он взялся толковать. Дело, впрочем, не обходилось без неприятностей. Так, Межевич был обозван подлецом за резкую статью о Козловском, бездарном трагике[8], а Аполлону Григорьеву сильно досталось бы от Ленского, раздраженного его статейкой в «Ли-

тературных прибавлениях к [Русскому] инвалиду» о плохой игре в какой-то пиесе, если бы он не прибегнул к первому попавшемуся ему средству — свалить ответственность на меня, так как его сокращенная подпись под статьей — к счастью или несчастью для меня — по начальным буквам имени и фамилии была одинакова с моею (А.Г.)[9]. Зато уж что и вытерпел рецензент, когда ложь открылась!

Самые журналы возбуждали частые споры, так как читатели их делились уже тогда на литературные партии, различно смотревшие на направления, содержание и другие особенности периодической прессы. Одни предпочитали «Библиотеку для чтения» за брамбеусовское остроумие и за выбор статей, преимущественно относившихся к положительным знаниям; другие, напротив, отдавали преимущество «Отечественным запискам» и «Московскому наблюдателю», как изданиям более серьезным, имевшим благонамеренную цель. Единственная в то время частная газета «Северная пчела», отталкивавшая от себя известный круг читателей фельетонами Булгарина, другому кругу именно за эти фельетоны и нравилась по доступности их содержания, по легкости и понятности изложения, по остротам и шуточкам, по плавности и гладкости языка. Напротив, язык ученых статей вызывал насмешки своими новыми терминами. Особенно над философской статьей Б[акуни]на в «Московском наблюдателе», то есть над ее внешней стороной, а не над смыслом, Ленский изощрял свое остроумие. Распив с собеседниками бутылки две-три шампанского (на что он был великий мастер), он восхвалял их бывшее содержание, а теперь — говорил он печально, вертя в руках пустую,

С чем тебя сравняю я?..
В «Наблюдателе московском»
Философская статья[10].

Ленский принадлежал к числу тех личностей, которые не сознают своего настоящего призвания, а ищут его там, где его нет и не бывало. Бог дал ему способность писать остроумные драматические пиесы да сатирические стихотворения на случай, а он все мечтал видеть в себе сценический талант. Выслушивая похвалы как водевилист, он неодобрительно и как-то печально качал головою. «Что мне в этом? — говорил он. — Для меня это дело — второстепенное; я актер — вот моя главная профессия, а не авторство. Мне и фамилию дали другую за то, что я хорошо сыграл в

театральной школе роль Ленского»*. Но именно для сценического искусства у него не было средств — ни внутренних, ни внешних: ни выразительного лица, ни гибкой дикции, ни умения проявлять разнообразные чувства. Он не мог отрешаться от себя самого, становиться другим человеком: он всегда был Ленским. Мало-мальски удовлетворительная игра оказывалась случайностью, неожиданною для него самого. Была, впрочем, одна роль, которую он исполнял безупречно — роль Молчалина: это был истый Молчалин и по лицу, и по голосу, и по противной угодливости, и по столь же противному самоуничижению. Лучшего Молчалина я не видал уже потом.

Но зато Ленский принадлежал к интереснейшим посетителям кофейной, если только был в духе и если притом беседа оживлялась шампанским. Тогда остроты и каламбуры сыпались одни за другими и заставляли собеседников хохотать до слез. Но совершенно иным существом являлся он, когда что-нибудь возбуждало его неудовольствие: он становился раздражительным, капризным, невыносимым. Трудно было угомонить его. Только двое умели его обуздывать: товарищ его по театру, комик Живокини, и Н.Х. К[етче]р. Того и другого он побаивался. Первый, зная, что ему не по силам состязаться с Ленским игрою слов, прибегал к другому оружию, которым владел мастерски — к буффонству и тем переводил публику на свою сторону: все помирали со смеху от его уморительных выходок. Противник его, хотя и более образованный и остроумный, по самолюбию или раздражению, начинал конфузиться, терялся, плохо отражал удары, видимо отступал и должен был замолчать. Это-то и было нужно Живокини. «Что? — говорил он. — Прикусил язычок! Видишь — моя взяла! Я тебя одолел, втоптал в грязь, уничтожил. Где тебе со мной тягаться? Пошел вон!» Другого противника, Н.Х. К[етче]ра, рассердить было трудно. Хотя он, по своему темпераменту, говорил и спорил громко, но всегда просто, без всякого самолюбия, сохраняя всегда хорошее расположение духа, которое выражалось хохотом или, вернее, грохотом, столько же гомерическим, сколько и добродушным. Летом, в самые жаркие дни, К[етче]р, являясь в кофейную утром часов в одиннадцать, спрашивал себе на завтрак две неизменные порции: порцию мороженого и порцию ветчины. Все удивлялись таким блюдам или, по крайней мере, порядку, в каком одно блюдо следовало за другим. «Чему ж вы, господа, удивляетесь? — спрашивал бывший в то время Г[ерце]н. — Разве вы

*Настоящая его фамилия — Воробьев.

не видите, что К[етче]р — отличный хозяин: он сначала набьет свой погреб льдом, а потом и начнет класть в него съестное». Зная откровенность и прямоту К[етче]ра, Ленский иногда старался задабривать его, для чего и прибегал к известному ораторскому средству — возбуждению благорасположения (captatio benevolentiae)[11]: начинал, например, хвалить переводы К[етче]ра Шекспировых пиес. Выслушав серьезно похвалу, К[етче]р однажды ответил стихом Сумарокова:

Мне то не похвала, когда невежда хвалит[12].

Разумеется, все засмеялись, и больше всех сам К[етче]р. Но Ленский нашелся и тотчас отвечал:

Когда ж — скажите мне — вас умные хвалили?
Не помню что-то я.

Овдовев во второй раз, Ленский задумал в третий раз жениться на С[амарин]ой, дочери артиста, отличавшегося в ролях jeune-premier[13], и артистки, обладавшей превосходным комическим талантом[14]. Он сделал предложение; ему отказали, зная нрав его, не совсем удобный для семейного очага. Отказ погрузил его в самое скверное расположение духа. Не зная ничего, я спросил у К[етче]ра, отчего Ленский так невесел и пасмурен. «Оттого, — отвечал К[етче]р, — что он глуп, захотел быть троеженцем, сделал предложение, ему отказали, и вот он сидит теперь с носом». — «Ну, К[етче]р, — отвечал Ленский, — если речь зашла о женитьбе, то я скажу тебе, что в брачной жизни лучше быть с носом, чем без носа». Впрочем, Ленский хмурился недолго. Неудача действовала на него короткое время. Через несколько дней после отказа он стал в совершенно иное отношение к предмету своей легкой любви: начал посмеиваться над ним, мстить ему эпиграммами. Вскоре пришлось ему быть в гостях вместе с матерью и дочерью. Сидя за ужином против них, он тут же сочинил следующее четверостишие:

Матушка, дочка —
То ж и одно:
Матушка — бочка,
Дочка — ...*

*Обе они были очень полные.

То же повторилось потом и с актрисой К[улико]вой, представлявшей Офелию[15]. Ленский ухаживал за ней и восхвалял ее, но как только она вышла замуж за О[рло]ва, декорация переменилась. Вместо похвал явились насмешки, вместо мадригалов — эпиграммы. Я помню один куплет из насмешливого стихотворения, к ней обращенного:

Для вас пожертвовать целковым
Готов я был, моя душа;
Но сочетались вы с О[рловы]м —
И я не дам уж ни гроша.

Сам О[рло]в, которого Ленский называл дядей, не избег преследований от своего племянника. Предметом их было все: и наружность, и грубый голос, и телесная сила. Поздравительное приветствие по совершении брака О[рло]ва с К[уликов]ой заключалось таким каламбуром:

Посмотрим же *ребят* * О[рловск]ого завода[16].

В «Телескопе» и «Молве», издававшихся профессором Надеждиным с содействием Белинского, помещались отчеты о театральных представлениях. В этих отчетах часто доставалось Ленскому за его ординарную, бесцветную игру, а он, с своей стороны, вместо антикритик действовал орудием сатиры. Одно из таких стихотворений получило форму акростиха (*Надеждин*):

Нет, спорить я с тобою больше не хочу,
А просто с дядею ** тебя поколочу,
Дурацкая, свиная образина...
и т.д.

Но верхом пикантности и своеобразности считалось стихотворение, повествующее о том, чем себя прославил брандмаиор Тарновский. Кроме этого лица, в этих стихах являются тогдашний московский обер-полицеймейстер Цынский и тогдашняя московская танцовщица Санковская[17].

Знаменитый трагик Мочалов представлял собою образцовый экземпляр тех гениальных русских людей, которые не имели возможности, или не хотели, или не умели дать себе образование и вести образ жизни соразмерно своим способностям. В подобных субъектах дурные стороны

*Жеребят.
**О[рло]в, отличавшийся силою.

человеческой природы выказываются рельефнее, чем в ординарных личностях. Нравственной выдержки нечего и требовать от них: они выказывают крайнюю неровность в своих действиях, легко предаются пылкости темперамента, ведущей к разгулу и всякой неурядице. Какая-то дикость выказывалась даже во внешнем обращении нашего артиста. Мы уже видели, как он держал себя по утрам в кофейной. Но вечером, под влиянием Вакха, он давал себе полную волю, становился придирчивым и нестерпимым до того, что ближайшие к нему люди сторонились от него, даже боялись попасться ему на глаза во избежание крупного скандала. Дома у себя, в подобном состоянии, он бунтовал, так что сильно доставалось его жене и тестю, не могшим совладать с ним. Самолюбие его доходило при таких моментах до смешного. Рассказывают, что однажды, сильно хмельной, он остановился в толпе простого народа, смотревшего на памятник Минину и Пожарскому. «Знаете ли вы, кто это?» — спросил он, приняв театральную позу. Те ему сказали. «А знаете ли, кто я?» — «Нет, не знаем». — «Глупая, необразованная чернь!» Если это и выдумано, то очень правдоподобно: это очень могло быть. Впрочем, нет худа без добра. То же самолюбие, так детски проявлявшееся в артисте, дозволяло укрощать его, когда он, бывало, в кураже сильно расходится. Бантышев действительно остановил его однажды этим способом. Он обратился к нему с такою речью: «Павел Степанович, как вам не стыдно? Одумайтесь. Вы забыли, что вы гений, а те, что перед вами, — толпа, чернь: зачем же вы унижаете себя в ее глазах?»

Эти слова внезапно усмирили Мочалова: он помолчал несколько времени; потом, схватив руку Бантышева, воскликнул: «Друг, ты понял меня», — и, взяв шляпу, ушел, к общему удовольствию посетителей. На беду, у Мочалова было много поклонников, из которых двое особенно угождали ему: один — Дьяков, учитель каллиграфии, добрый, но беспутный малый; другой — младший Максин, здоровенный детина[18]. Они не отходили от своего кумира, постоянно готовые служить ему. Бывало, Мочалов закричит: «Дьяков, сигарку!», и этот немедленно исполняет требование. «Болван! Разве так надобно подносить мне? Максин, научи его». Максин немедленно схватывает Дьякова, кладет его себе на руки, как малого ребенка, животом вверх, а на живот возлагает сигарку, и в таком образе (или безобразии) преподносит гению. Нельзя с безусловною строгостью относиться к подобным пассажам: крупные таланты, особенно в кругу артистов, всегда более или менее самолюбивы. Правильное воспи-

тание могло бы сгладить природные угловатости, но, при отсутствии такового и при безалаберной семейной жизни, они доходили до смешного и чудовищного. Семья Мочаловых вообще была даровита. Отец трагика, о котором я говорю, тоже исполнял трагические роли и детей своих готовил для той же карьеры. Для первого дебюта они выступили в «Эдипе в Афинах» (Озерова). Отец играл Эдипа, сын — Полиника, дочь — Антигону[19]. Успех был чрезвычайный. Рассказывают, что, по возвращении домой, отец заставил жену свою снять сапоги с сына.

— Чему ты удивляешься? — сказал он жене своей, остолбеневшей от такого приказа. — Сын твой гений, а гению служить почетно.

К такому уродливому обхождению в семье присоединились другие обстоятельства. Гения женили на девушке, решительно к нему не подходящей; в ней все было прозаично; она не имела понятия о сильных ощущениях, которых искал ее муж, не могла ни в чем ему сочувствовать; все у них шло без согласия, врозь. Это заставило Мочалова искать сердечных связей на стороне, и он сошелся с одной из театральных певиц, более ему симпатичной[20]. На беду, тесть (Бажанов) вступился в это дело, всего менее требующее третейского суда. Он хотел образумить зятя, но, по неразумию, взялся за это глупо и неуклюже, прибегнул даже к полицейскому вмешательству, чтобы заставить неверного мужа сохранять супружескую верность. Разумеется, ни один мало-мальски порядочный человек не мог бы помириться с таким посторонним вторжением в свой задушевный мир. Кончилось тем, что Мочалов возненавидел и жену и тестя и что общее их сожительство стало для каждого из них истой каторгой.

Но оставим человека и поговорим об артисте. В этом последнем отношении мне трудно говорить о нем равнодушно[21]. Много времени прошло с тех пор, как я его видел в последний раз, но и теперь, несмотря на преклонность моих лет, при малейшем воспоминании об игре его в тех или других пиесах, душа моя снова испытывает те мощные и вместе сладостные впечатления, которые он возбуждал в зрителях. К этому наслаждению прошлым примешивается и сожаление о молодых людях настоящего времени, лишенных возможности запасаться сильными и благодатными ощущениями высокого трагизма. Увы, нет более русских трагиков, нет более трагедий на русской сцене! Это — великий пробел в эстетическом образовании нашем, не наполняемый никакими оперетками и шансонетками. Правда, к нам наезжают из чужих.краев очень даровитые, даже перворазрядные трагики, но всестороннему, полному дей-

ствию игры их более или менее все-таки мешает чужая речь и, кроме того, самое исполнение характеров, свойство которого в известной мере зависит и от национальной особенности исполнителя. Я сравнивал Гамлета—Мочалова с Гамлетом—Росси и нахожу, что у последнего тускнели, а нередко и совсем пропадали те места, где выступали ирония и юмор, эти отличительные принадлежности Шекспировых драм, тогда как у первого они выражались сочувственно и сильно западали в сердца зрителей[22]. Современная Мочалову критика (особенно в статьях С.Т. Аксакова)[23] верно поняла значение его таланта. Она отнесла его к разряду тех артистов, в сценической игре которых главным двигателем служило *вдохновение, увлечение* представляемым, а не *искусство* и *расчет*. Первая игра может быть неровною, но зато она впечатлительнее, эффектнее в хорошем смысле этого слова: ее трудно забыть, так как она заставляет сильно биться сердце зрителя; вторая — расчетливей и выдержанней, но зато холоднее. Действительно, Мочалов редко был одинаков в течение всей пиесы: он подчас как бы ослаблялся, чтобы эту временную слабость вознаградить неожиданным подъемом духа, такой вспышкой, при которой никто не мог оставаться равнодушным. Торжество его таланта обнаруживалось преимущественно в патетических местах пиесы. Исключением служили немногие трагедии и драмы, в которых он как бы отступал от обычной ему неровности представлений, таковы были драма Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», французская мелодрама «Тридцать лет из жизни игрока»[24], некоторые трагедии Шиллера, особенно «Коварство и любовь», «Гамлет» Шекспира и др. В них он везде и постоянно был хорош. Природа наделила его богатыми способностями как артиста (за исключением роста — среднего): лицом, свободно выражавшим разнообразные движения души, прекрасным гибким голосом, способным переходить от одних тонов к другим, совершенно противоположным: от тихого, сладостного шепота любви к гремящей угрозе ревности, к злобно-радостному хохоту удовлетворенного мщения. Указанное мною свойство таланта Мочалова было причиною, что он менее удачно исполнял те пиесы, в которых *старался* играть лучше, как бы сдерживая себя, налагая на себя узду. Почитатели его знали это хорошо и потому никогда не просили его *постараться*, показать себя перед какими-нибудь приезжими из Петербурга любителями и знатоками театра. Наоборот, нередко случалось, что при неудовлетворительном исполнении целого он неожиданно вырывал у зрителей восторженные аплодисменты произнесением нескольких слов или моно-

лога, по видимому не содержащих в себе ничего особенного. Так, между прочим, было при представлении «Марии Стюарт» (Шиллера) в приезд Каратыгиных — мужа и жены — в Москву[25]. Роли Лейстера и Марии исполняли приезжие, роль Мортимера — пылкого, увлеченного юноши — Мочалов. Казалось, чего бы лучше? Характер Мортимера подходил как раз к таланту московского трагика. Мы, москвичи, вполне были уверены, что он затмит своего соперника. Не тут-то было. Павел Степанович как бы забыл возраст представляемого им лица, не сбрил бакенбард и явился с виду человеком лет сорока, а не двадцатилетним юношей. Играл он очень вяло, как бы нехотя; даже в одном месте, именно — в сцене между Марией и Мортимером, отступил от подлинника: не заключил королеву в свои объятия, хотя находился под сильным влиянием страсти*. Но в другой сцене (шестой 1-го действия) он поразил зрителей произнесением следующих слов Мортимера, выражавшего Марии преданность ей английского юношества и готовность поголовно восстать на ее защиту:

...Если бы монархиню свою
Британец видел, английская юность
Грозой восстала б, ни один бы меч
В своих ножнах не оставался празден,
И, исполинскую подъяв главу,
Мятеж протек бы остров в край из края.

Мне трудно сказать теперь, чем в особенности подвигнута была публика, заявившая свое ощущение громом рукоплесканий и криками «браво!». В голосе трагика действительно слышалось восстание, грозный мятеж.

Первое представление «Гамлета» (перевод Н.А. Полевого) можно назвать достопамятным событием в летописи московского театра. Выдающимся пунктом была та сцена, когда Гамлет, после смущения и ухода короля, произведенных в нем игрою странствующих актеров, убедился в том, что отец его погублен Клавдием, занявшим престол. Сознательно или бессознательно, по расчету ли, заранее придуманному, или по невольному душевному порыву, Мочалов, сидевший на полу у ног Офелии, вскочил и в припадке истерической радости начал прыгать по сцене, хохоча и требуя музыки, флейтщиков. Незаметной чертой разграничивалось здесь смешное от ужасного: трагик мог произвести первое ощущение, и тогда бы все погибло, но он произвел второе и выказал в себе великого

*Действие III, выход 6-й.

артиста. Искренность взрыва поразила публику, которая долго не могла успокоиться от волнения; представление на несколько минут остановилось. Кто хочет больше познакомиться с этим спектаклем, пусть прочтет подробный отчет о нем Белинского*, передавшего впечатление верно, по живым следам[26]. Блистательный успех Мочалова сблизил его с Полевым как переводчиком пиесы — сближение, не бесполезное для обоих. Полевой мог помогать малообразованному артисту в уяснении драматических лиц, взятых из истории; артист, с своей стороны, мог дать ему некоторые советы при сочинении драмы «Уголино» по внешней ее технике, то есть по отношению ее к сценическим условиям. Автор читал ему различные сцены, чтобы видеть, какое они произведут на него впечатление, и отсюда заключить об их действии на всю публику. В одно из таких чтений произошел забавный казус, рассказанный мною в «Отечественных записках». Мочалов явился в веселом расположении духа, после завтрака. Он с первых же слов начал хвалить искусство автора; чем дальше, тем больше и больше им восторгался; наконец пришел в такой пафос или азарт, что вскочил со стула:

— Николай Алексеевич, побойтесь Бога! Что ж это вы делаете?

— А что такое? — спросил несколько изумленный творец «Уголино».

— За что же вы Шекспира-то режете?

Что именно при этом подумал Полевой — неизвестно. Нет сомнения, что он вспомнил стихи Чацкого: «Не поздоровится от этаких похвал!»

Выше сказано, что Мочалов был всегда ровен и хорош в мещанской драме Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Действительно, это была одна из любимых его пиес, к русскому переводу которой приложен его портрет[27]. Он исполнял роль обманутого мужа, удалившегося в уединение и впавшего в мизантропию. Лучшая сцена — встреча его с другом и рассказ о постигшем его несчастии. Начал он этот рассказ спокойно и как бы равнодушно, но потом мало-помалу поддавался охватывающему его чувству, которое тут же сообщалось зрителям, с каждым словом сильнее и сильнее двигал он их сердца изображением накопившейся душевной горечи, наконец, не мог удержать слез — этих «нежданных, давно небывалых своих знакомцев». К концу рассказа не было ни одного как среди публики, так и между актерами, кто бы не прослезился; многие дамы не могли удержать своих рыданий.

*Сочинения, т. 2.

«Тридцать лет из жизни игрока», французская мелодрама, имела чрезвычайный успех, особенно в Москве, благодаря прекрасной игре всех действующих лиц (ensemble[28]), особенно главной роли (игрока) и роли жены его: первую исполнял Мочалов, вторую — Львова-Синецкая. В течение целого месяца пиеса давалась почти ежедневно, по переводу самого директора театра, Ф.Ф. Кокошкина, взявшего на себя этот труд для бенефиса своей фаворитки (Львовой-Синецкой). Каждый из трех ее актов, сообразно французскому вкусу, оканчивался разительным эффектом. Игра Мочалова держала всех и каждого в постоянно напряженном состоянии духа. Некоторые нервные дамы выходили из лож в коридор при потрясающих сценах. Особенно замечателен третий акт. Здесь игрок, окончательно разорившись, живет среди гор, в каких-то развалинах. Нищета сделала его преступником: он убил путника, ограбил его и воротился домой к жене и малолетней дочери. Он попросил пить. Дочь, подавая стакан воды, заметила, что у него рукава в крови. Надобно было видеть лицо Мочалова, чтобы судить о его душевном состоянии при этих словах. Он был ужасен. Бормоча: «Кровь! Кровь!», он судорожно обтирал рукава, а сам, бледный, с искаженным лицом, улыбался какой-то страшною улыбкой...[29] Какое сравнение с игрою другого артиста в той же роли — Каратыгина! Этот при словах дочери, для вящего эффекта, падал на колени, забыв, что человеку, укравшему ожерелье, заслужившему отцовское проклятие, проигравшему все имущество своей жены и убившему из ревности друга дома, преступление не в диковинку. Впрочем, Каратыгин был падок на эффекты, в которых душа была ни при чем, а действовала одна внешность. Говорят, он жалел, что «Фенелла» («Немая в Портичи») — опера, а не трагедия[30]. «Для чего ж это вам хочется?» — спросили его. «Вы посмотрели бы тогда, как бы я в роли Мазаниелло *выбежал на сцену с топором в руках!*»

Из трагедий Шиллера Мочалову особенно приходилось по душе «Коварство и любовь»; а он своей страстной игрой заставил и москвичей полюбить ее. Я помню, как он исполнял роль Фердинанда в поре своей молодости, искренний пыл которой обнаруживался и в сценах нежной любви, и в сцене отчаянной ревности. Мы, студенты, знали почти наизусть всю эту роль, особенно в последнем акте, хотя пиеса давалась по вольному переводу Смирнова (родственника профессора Мерзлякова) и хотя переводчик, ради нравственного пуризма, выбросил много мещанских, неблагородных выражений и придал языку трáгедии какой-то ри-

торический тон, близкий к языку трагедий французских. Как выразительно произнес трагик тираду, когда Луиза развернула брошенное им письмо, возбудившее его ревность, и лишилась чувств: «Бледна, как смерть! как она хороша в этом состоянии! как она теперь мне нравится! Исчез тот румянец, который мог бы обмануть самих ангелов. Вот настоящий ее образ... *обниму ее!*» — и с этими словами бросается к ней. Потом с каким чувством боязни и надежды он допрашивал ее, она ли писала письмо, зная, что от ответа зависит спасение или погибель обоих. И когда она, как правдивая девушка, отвечала: «Я!» — он не хотел верить: «Не может быть! Ты сказала это из боязни, оттого, что я допрашивал тебя резко... это неправда... Если ж это правда... то солги мне». Эти *обойму ее, солги мне* до сих пор мне памятны, до сих пор возбуждают они в моем сердце прежние, юношеские впечатления.

Нередко случалось и так, что пиесу ординарного качества артист выносил на плечах своих и тем обманывал зрителя, не ожидавшего успеха. Некоторое время были в ходу драматические произведения Н. Кукольника: «Рука Всевышнего отечество спасла!» и «Скопин Шуйский»[31]. В последней я видел и Каратыгина, и Мочалова. Оба они исполняли роль Ляпунова. Каратыгин играл хорошо, то есть эффектно, но холодно, без увлечения; особенно вредил ему неприятный тембр голоса, как бы надорванного, словно выходившего из пустой бочки. Мы с Н.Х. К[етчер]-ом, сидевшим рядом в 3-м или 4-м ряду кресел, побаивались, что роль Ляпунова не по таланту Мочалова, но, сверх всякого вероятия, наша боязнь оказалась напрасной. Настроение артиста было отличное; мы убедились в том, прослушав мастерски произнесенный монолог, в котором выражалось колебание патриота, неизвестность, чем кончится задуманный им план — успехом или неудачей, торжеством или падением отечества. Этот монолог, исполненный лиризма, состоит из двух частей, выражающих противоположные представления и ожидания: одна часть оканчивается радостным возгласом: «Воскресла Русь!.. воистину воскресла», а другая, наоборот, печальным: «Погибла Русь!.. воистину погибла!» Но главный, потрясающий эффект произвела сцена с доктором, у постели отравленного князя. Весь ход душевных ощущений Ляпунова, начиная с подозрения в отраве и кончая уверенностью в справедливости подозрения, развивался с удивительною естественностью. Робкое появление врача, вопросы ему, на которые он отвечал неудовлетворительно, его смущение, гнев, закипевший в груди Ляпунова... все это ведено было

с удивительным искусством и энергией. Видно было, как доктор более и более робел, готовый признаться в преступлении, и как Ляпунов более и более приходил в ярость: он задыхался от душивших его ощущений, он не давал времени сознаться преступнику; как тигр, не выпускал он своей добычи, а тащил ее, трепещущую, к окну, из которого и выбросил на расправу яростной толпе, закричавшей: «Любо! Любо!» Этому страшному крику вторил радостный, но столь же страшный хохот мстителя — тот хохот, которым мог потрясать зрителей только Мочалов. Все были поражены силою трагического представления. О себе не говорю: я не из крепких, но К[етче]р может похвалиться нервами, однако ж и с ним сделалась сильная дрожь.

В исполнении ролей своих Мочалов отличался образцовою добросовестностью. Он всегда знал их твердо. Ему, равно как и Щепкину, нашему гениальному комику, суфлер решительно был не нужен, не так, как другим, тоже первоклассным талантам, например, Живокини и Садовскому (за последнее время): эти так и жались к суфлерской будке. Пренебрежение своею обязанностью в этом отношении Щепкин называл двойным невежеством — перед публикой и перед искусством. Поэтому он всегда репетировал самые маловажные пиесы. С тетрадкой в руках ходил он по комнате или, в весенние и летние месяцы, по балкону своей квартиры, подобно школьнику, твердя свой урок.

Кстати о Максине, о котором упомянуто выше. В газетном фельетоне за последнее время стало появляться его имя, как будто чем-нибудь замечательное. Писемский даже вывел его в одном из своих романов. Это для меня новость. Во-первых, о каком Максине идет речь? Их было двое. Старший недолго состоял на московской сцене, занимая второстепенные роли в трагедиях и мелодрамах, а также правдивых и честных стариков, развязывающих узел комедии (вроде Прямиковых, Правдолюбов, Честонов и т.п.). Что касается, во-вторых, до младшего брата, то, может статься, он и фигурировал на вечерних сходках в кофейной, но в утренние визиты он являлся туда самым незаметным гостем, молчащим и слушающим[32]. В разговор с ним вступали редко, но посмеяться над ним были не прочь. Амплуа его были тени, привидения, мертвецы, выходцы с того света. И надо отдать ему справедливость, как старательному лицедею, игравшему всегда одинаково, неизменно: разговор или рассказ вел он протяжным, глухим, гробовым голосом, как и следует персонам указанного рода. Выдающеюся его ролью была тень Гамлетова отца. Надобно

знать читателю, что теперь эта тень исчезает, а в то время, когда я вспоминаю, она проваливалась, и при этом процессе Максин возглашал:

Прощай!.. прощай!.. прощай!.. и помни обо мне!

Но однажды, на беду ему, машина, неизвестно, по какой причине, начала после первого «прощай!» спускаться быстрее обыкновенного. Максин не сконфузился: он все последние слова произнес сполна, но только скороговоркой, не останавливаясь на знаках препинания:

...прощай прощай и помни обо мне, —

за что и награжден был общим хохотом.

2

Перехожу к М.С. Щепкину — второму гениальному артисту, в течение сорока лет доставлявшему московской публике эстетическое наслаждение*. В 1855 году праздновался пятидесятилетний юбилей его[33], почти совпавший с столетним юбилеем учреждения русского театра (30 августа 1856 г.), почему слова С.П. Шевырева в приветственной речи юбиляру: «из этого столетия вы отхватили на свою долю целую половину, да еще с годом», — вызвали сильное сочувствие присутствующих. Это был представитель истого артиста-художника. Он превышал Мочалова тем, что в его игре постоянно соединялись оба условия сценического искусства: высокий непосредственный талант, которым преимущественно пользовался трагик, и постоянное изучение своей профессии, остававшееся у трагика в пренебрежении. Сознавая силу своего природного дара, которого хватило бы с избытком больше, чем на целый десяток крупных комических актеров, Щепкин не успокоивался на этом сознании, но хотел учиться и учиться, возвышаться, совершенствоваться в своем деле. Хотя и богатый житейским опытом, он положил обетом помочь своему малообразованию не школой, о чем уже поздно было думать, а содействием московских литераторов и ученых, которые и приняли его в свой круг охотно и дружески. Этот круг имел самое благотворное влияние на артиста. Вот собственные слова Михаила Семеновича**: «Я не сидел на скамьях студентов, но с гордостью скажу, что много обязан московскому университету в лице его преподавателей: одни научили меня мыслить, другие — глубо-

*Он поступил на московскую сцену в 1823 г., умер в 1863 г.

**Сказанные на прощальном обеде, данном ему в 1853 году, перед отъездом его за границу.

ко понимать искусство». Особенную благодарность питал он к Грановскому, «поднимавшему его нравственно, укреплявшему в нем постоянно упорную и неутомимую любовь к труду и искусству»*. Другим, столь же важным для него, советником был С.Т. Аксаков, горячий любитель и авторитетный знаток драматического искусства. Благодаря таким выгодным условиям и обстоятельствам, в сценической игре Щепкина равноправно сочетались оба ее фактора — вдохновение, всегда присущее высокому природному таланту, и обдуманность, как плод зоркого наблюдения за самим собою и за своею обязанностью перед публикой. Он отличался неимоверною добросовестностью. Мы уже говорили о его неизменном повторении ролей накануне спектаклей, хотя бы он и знал их твердо. Для чего он это делал? Для того, чтобы видеть, не ускользнуло ли от него что-нибудь прежде, на первых представлениях, или не умничал ли он прежде, вместо того чтобы сыграть роль проще**. Можно ли было не любить и не уважать такого артиста?

Значение Щепкина в истории нашего театра — несомненное и капитальное. В сценическом искусстве он совершил такую же реформу, какой наша поэзия одолжена Пушкину: он сообщил ему *естественность* и *простоту*, уничтожив господствовавшую до того, в большей или меньшей степени, ходульность, которая проявлялась во всем — в голосе (дикции), мимике, жестикуляции, походке. Он пошел дальше знаменитого французского трагика Тальмы, обратившего главное внимание на костюмировку, требовавшего от нее соответствия месту и времени действия, равно как и национальности действующих лиц. Благодаря примеру Щепкина, как следует артисту держать себя на сцене во всех отношениях, театр производил сильное впечатление на публику. Публика любовалась зрелищем как бы истинной жизни, присутствовала как бы среди действительных, а не представляемых лиц; забывала, что она все-таки состоит под обаянием вымысла, машин, декораций. Искусственность исчезала, уступив место природе; актеры и говорили, и ходили, и выражали ощущения по-человечески, не прибегая к утрировке и котурнам. Кроме естественности репертуар Щепкина отличался разносторонностью. Не одни чисто комические сюжеты входили в него: он заключал в себе и драмы, исполненные чувства; своей игрой в последних — живой и трогательной — Щепкин возбуждал чрезвычайную симпатию к представляемому лицу, извлекая слезы сострадания. Да и в сфере исключительно комической —

*Ответная речь Щепкина на приветствия в 50-летний его юбилей.
**Письмо Щепкина к Шумскому, 1848 г.[34].

какое многообразие! Комедии Мольера, «шумный рой комедий» кн. Шаховского, пьесы Кокошкина («Воспитание, или Вот приданое») и Загоскина («Богатонов, или Провинциал в столице», «Благородный театр»); наконец, «Горе от ума» и «Ревизор». Не говорю о пиесах на малорусском языке (например, «Москаль-чаривник»)[35], в которых невозможно было подражать ему; о множестве водевилей — оригинальных и переводных — Ленского, Писарева, Хмельницкого и других, особенно если в них занимал какую-нибудь роль Живокини: тогда от начала до конца пиесы слышался веселый смех, но не пустой или глупый, а умный, возбуждаемый остроумием и талантом водевилистов. При воспоминании же о «Ревизоре» и «Горе от ума» овладевают мною два противоположные чувства. В этих трагедиях, — по оригинальному слову кн. В.Ф. Одоевского, который причисляет к ним также «Недоросля» и «Свои люди — сочтемся», так как все они по своему содержанию из области комического переходят в область трагизма, — искусство Щепкина достигло своего апогея. Можно сказать, что артист как бы отождествился с Фамусовым и Сквозником-Дмухановским. По крайней мере, я не в силах представить себе их иначе, как в образе Щепкина. Вот они как живые и никогда не умрут в моем воспоминании: вот управляющий казенным местом Павел Афанасьевич; вот и городничий Антон Антонович, он же Онуфрий. Я их знаю лично, я коротко с ними познакомился! Таково первое приятное ощущение, мною испытываемое. Но мысль, как же будут узнавать их теперь, без Щепкина, современные посетители театра, печалит меня. Со смертью его, они также сошли в могилу. Они могли еще воскресать по временам на московской сцене, благодаря уму и таланту Самарина, с большим успехом замещавшего и Мочалова и Щепкина. А теперь, когда уже нет и этого последнего, остального из «славной стаи» московских артистов, воспитанного на образцовых примерах, на благородных преданиях нашего театра; теперь, при наличном составе русской театральной труппы, смотреть «Горе от ума» и «Ревизора» значит любоваться падением искусства, профанировать его, кощунствовать над ним. ...Итак, сходите со сцены наши образцовые комедии, они же и трагедии — опускайте занавес, расходитесь зрители: спектакль отменяется по случаю смерти Фамусова и Сквозника-Дмухановского.

Щепкин до того дорожил естественностью и простотою сценической игры, что он и в других родах искусства, например в литературе, чутко замечал противоположные тому качества и отвращался от них с негодова-

нием или скорбью. Как ни был он близок к Гоголю, как ни благоговел перед его талантом, но «Развязка Ревизора» — это преднамеренное, хитроумное и ни с чем не сообразное толкование смысла комедии («Ревизор») сильно возмутило его, и он в письме к автору (1847) выразил свое недовольство:

«Прочтя ваше окончание «Ревизора»*, я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей; я так много видел знакомого, родного, я так свыкся с Городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще — это было бы дело бессовестное. Чем их вы мне замените? Оставьте мне их, как они есть. Я их люблю, люблю со всеми слабостями, как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие живые люди, между которыми я взрос и почти состарелся. Видите ли какое давнее знакомство! Вы из целого мира собрали несколько человек в одно сборное место, в одну группу; с этими в десять лет я совершенно сроднился, — и вы хотите их отнять у меня. Нет, я их вам не дам! — не дам, пока существую. После меня переделывайте их хоть в козлов; а до тех пор я не уступлю вам и Держиморды, потому что и он мне дорог»**.

Но как бы ни был силен талант, не может он, однако ж, господствовать во всех видах своей специальности. Так случилось и с Михаилом Семеновичем. Явились новые пиесы, которые не совсем приходились ему по сердцу и от которых он должен был отойти в сторону, уступив первенство другому артисту. То были произведения нашего знаменитого драматурга А.Н. Островского. Трудно определить истинную причину такого нерасположения со стороны неизменного служителя искусству. Может статься, он мало знал тот общественный слой, к которому принадлежат действующие лица означенных пиес; может статься, не находил в этих лицах истинного комизма или изображение этого комизма казалось ему слишком реальным. Трудно указать истинную тому причину, хотя мне известно, что в комедиях, следовавших за первой, «Свои люди — сочтемся», которая сразу отвела автору почетное место в истории нашей драматической литературы, Щепкин, согласно, впрочем, с другими москвичами партии западников, видели отражение славянофильства и как бы

*Т.е. «Развязку Ревизора».

**Записки и письма М.С. Щепкина. Изд. 1864[36].

служение ему. Так, по крайней мере, им казалось. Этот взгляд отчасти высказан в моем письменном приветствии юбиляру. Исчислив пиесы, в которых талант комика выказывался в наибольшем свете, я заметил: «...но там, где не было правдивого изображения действительности или где верно поэтическое ее изображение служило орудием невежественных целей; там, где представление пошлой и темной жизни возводилось в нравственный идеал, тогда как оно должно противополагаться нравственности, — там не было и достойных ролей для вас. Вы отворачивались от таких пиес с презрением, вы не хотели в них играть. Игра ваша не была лестью упадшему вкусу публики, не была органом предосудительных ей внушений»*.

Уважая талант А.Н. Островского, Щепкин осуждал, однако ж, «Грозу». Когда он прочел отчет мой об этой драме, написанный по поручению Академии наук, то пришел в огорчение и недоумение, что и выразил в следующем письме ко мне (15 ноября 1860 г.).

«На старости лет, в настоящее время я в самом страдательном положении. Всю свою жизнь я изучал драматическое искусство, руководствовался всеми великими творцами по этой части и выслушивал мнения современных мне мыслящих людей, и даже начинал думать, что я кое-что смыслю, и это было для меня наградой за 50-летний труд, потому что я теперь еще учусь. И что же? представьте мое положение! на днях я убедился, что я совершенный невежда в этом деле или, скорее, человек отсталый. Я прочел в журнале «Искусство» отчет академии о премии за «Грозу», определенной г. Островскому по вашему разбору, который меня удивил. Вы очень тонко и осторожно выставили ее достоинства. Не менее других уважая г-на автора, мне было обидно читать указанные достоинства этой пиесы, тогда как на лучшие места вы не обратили внимания. Например, как не удивляться этой сцене, где русская женщина выросла так высоко, что публично признает, что она ...? Как вы не указали на эту юродивую барыню с двумя лакеями, которая произносит свой суд над черным народом? все это напоминает древний хор, а здесь это именно принадлежит уже автору, потому что в действительности этого нет. Наконец, как вы упустили из виду два действия, которые происходят за кустами? Уже самою новостию они заслуживали быть замеченными. А что, если бы это было на сцене? вот бы эффект был небывалый! Видите ли, какой я отсталый человек, что придираюсь к таким мелочам! Со всем тем

*Юбилей М.С. Щепкина (Москвитянин, 1855 г., № 21 и 22). Другие два письменные приветствия посланы М.Н. Катковым и П.Н. Кудрявцевым.

пожалейте об моем тупоумии; а может быть, тут примешивается и самолюбие. Позвольте мне остаться при моем невежестве и смотреть на искусство своими старыми глазами. Простите меня за излишнюю болтливость — это болезнь старости, а притом мне нужно было высказаться: кому ж я мог передать все, что у меня было на душе, как не вам? Ведь вы своим разбором толкнули меня на такую болтовню. Знаю, что вы не поставите мне в большой проступок то, что я не совсем согласен с вами в отношении моего искусства, и может быть, при встрече укажете мне на мои ошибки; а вы знаете, что я никогда не ленился учиться. Прощайте, будьте здоровы и не сердитесь на старика, который все так же вас любит. Весь ваш *Михаил Щепкин*».

В кофейную Михаил Семенович являлся почти ежедневно, и его приход был для всех настоящим праздником. Он немедленно вторгался в беседу или, лучше, заводил ее и вел интереснейшим образом. По свойственной всем москвичам слабости, он любил спорить — и спорил горячо, но не раздражительно, с единственною целью уяснить предмет, допускавший различные на себя взгляды. Самолюбия, тщеславия, желания поставить на своем потому только, что это — *свое*, а не чужое, у него не было и в помышлении. Такое искреннее отношение к предмету спора нравилось всем нам и сильно привлекало к артисту. Мы видели, что он верен данному им самим себе обету — учиться и весь век учиться, доискиваться истины, не впадать в обман и заблуждение. Другой, сильнейшей приманкой для нас служили рассказы Щепкина из его богатой опытностью жизни. Они и по своему содержанию, и по мастерству рассказчика были в своем роде интереснейшими повестями. Положенные на бумагу, они наполовину теряли свое значение. Даже беллетристическая обработка некоторых из них Герценом далеко уступала оригиналу, то есть живой, устной речи. Она не производила на читателей такого душевного впечатления, какое испытывали мы, слушатели, в небольшой комнате, вокруг стола, не спускавшие глаз с нашего рапсода. Причина обаяния заключалась в том, что каждый рассказ Щепкина был собственно не рассказом, не повествованием, а живым представлением, воскресением былого[37]. Он как бы играл пиесу — один за всех действующих в ней лиц. Что трудно, даже невозможно, передать на бумаге словами, он легко и живо давал о том знать интонацией голоса, мимикой, жестами, слезами — если сцена выходила трогательной, смехом — если сцена становилась забавной. И у нас, слушавших, вслед за ним то выступали слезы, то раздавался смех.

От серьезного до забавного один только шаг. Мне вспоминается при этом комический финал одного из рассказов Щепкина. Между посетителями кофейной находился какой-то чиновник, которого мы прозвали тупорылым. Он, конечно из любопытства, постоянно торчал у дверей той комнаты, которую как бы присвоили себе артисты и близкие их знакомые. Нам, особенно Ленскому, не нравилось такое непрошеное участие постороннего лица в нашей компании. Когда Щепкин кончил рассказ, Ленский крикнул слугу:

— Человек, трубку!*

Чиновник, не расслышав и думая, что обращаются к нему, подходит и спрашивает:

— Что вам надобно?

— Ничего.

— А я думал, что вы меня зовете!

— Помилуйте, разве вы человек? Как я смею называть вас таким именем?**

Постановка на сцену пиес нового вида не могла обойтись без нового лицедея, который должен был познакомить публику с бытом, в них изображенным, с лицами, в них выведенными. То и другое — лица и быт их — коротко известны многим, с другой стороны, оставались в полной неизвестности также для многих, удаленных от той среды, где преимущественно зарождались и развивались типы самодурства. Благодаря даровитости русской породы, таким исполнителем явился с провинциального театра в Москву Пров Михайлович Садовский — малообразованный, но своеобразный, гениальный талант. Редкие из актеров так быстро подвигаются на избранной ими карьере, сразу обнаруживая свое высокое искусство, так досконально изучают свычаи и обычаи тех лиц, в представлении которых заключается их главное амплуа, и так верно, мастерски воплощают их существенные черты в своей собственной персоне. И тем более казалось это удивительным, что незаметно было особенного труда в артисте для достижения таких успехов в своем деле. Сценический талант тем по преимуществу заявляет свою силу, что нередко, вопреки всякого чаяния, создает роли, то есть выдвигает на первый план то, что при чтении пиесы казалось или неважным, или, по крайней мере, второстепенным.

*«Человек» — в смысле слуги, лакея.

**В смысле высшего творения, разумного существа.

Так Садовский создал Любима Торцова (в комедии «Бедность — не порок») и Расплюева (в «Свадьбе Кречинского»). Правда, таких субъектов, как первый, в прежнее время в Москве (не знаю, как теперь) было немало. Спившись с кругу, они — не чуждые ни способностей, ни доброго сердца — теряли всякое чувство приличия, не думали скрываться от публики в своем зазорном виде; напротив, в этот-то именно момент они и любили являться в людном месте, наиболее в Гостином дворе, где проказили и юродствовали на потеху сидельцев и проходящих. Некоторые из них были грамотны и потому, встречаясь с проходящими, декламировали перед ними какие-нибудь стихи, например:

> Мужайся, стой и дай ответ
> (*Подражание Иову*),

или:

> Постой, дочь нежная преступного отца,
> Опора слабая несчастного слепца.
> (*Эдип в Афинах*)[38].

Первый стих обращался к кавалеру, два вторых к даме, причем чудодей закрывал глаза, как слепой. Но несмотря на то, что не было недостатка в подобных лицах для образца, требовалось большое искусство, чтобы обратить их в типы: Садовский не скопировал их, а возвел в перл создания. Любим Торцов стал нарицательным именем, благодаря столько же автору, сколько и артисту, если еще не больше. Что же касается до Расплюева, то игра Садовского изумила всех, кто имел случай познакомиться с пиесой до постановки ее на сцену. «Свадьба Кречинского», талантливое сочинение г. Сухово-Кобылина, не раз читалась в одном из знакомых мне домов, и никто из присутствовавших не воображал, чтобы сказанная роль могла обратить особенное на себя внимание. Вышло напротив: артист поставил Расплюева на такое видное место, что он разделил успех с успехом главного лица — Кречинского. Садовский раскрыл перед зрителями и мир купечества, и мир подьячих, сыграв Подхалюзина, Русакова, Краснова, Беневоленского, Юсова...[39] Кто их до того не знал, тот уже после представления на сцене никогда не забывал, а кто знал — тот восхищался мастерством воспроизведения. Надобно сказать, что пиесы А.Н. Островского разыгрывались на московской сцене в совер-

шенстве*, вполне удовлетворявшем публику. Мне памятен спектакль, когда давали «Не в свои сани не садись». Каждое лицо было до того естественно, безукоризненно в исполнении своей роли, что, право, вымысел переставал быть вымыслом, становясь действительностью. Не говоря уже о Русакове (Садовском), как хорош был Васильев 1-й, представлявший молодого купца Бородкина. Едва ли кто мог потом заместить его в этой роли**. Потом дочь Русакова — истая купеческая дочка, даже ходившая как бы на гусиных лапках — носками вместе, пятками врозь. Далее сестра Русакова (Акимова), помешанная на молодых полированных кавалерах, потому что они — «образованность», и с презрением относящаяся к кавалерам своего собственного рода и звания, так как они — «необразованность». А содержатель трактира Маломальский (Степанов) — лицо невидное, но мастерски представленное! А супруга его Анна Антоновна (Сабурова-старшая)[41], устраивающая у себя свидание дочери Русакова с кавалеристом Вихоревым! С какой неподражаемой экспрессией произносила она, обращаясь к нему, слово «Амур!». Это слово, по всей справедливости, должно занять место рядом с знаменитыми изречениями французских классических трагедий: «Moi!» (в «Медее»), «Qu'il mourut» (в «Горации»)[42] и другими подобными, потому что оно производило такой же эффект.

Репертуар Садовского не ограничивался пиесами, о которых мы говорили. Талант его и в других видах комедии проявлялся с таким же искусством. В «Ревизоре» он был наилучший Осип из всех Осипов, хотя и до него Орлов исполнял эту роль с большим успехом. Равным образом трудно представить себе более пригодного и соответствующего пиесе Подколесина (в «Женитьбе» Гоголя): по крайней мере, моего воображения не хватает на это. А кто видел его в Жеронте («Скапиновы проказы»), тот убедился, что и театр Мольера нашел в нем превосходного себе истолкователя. Но как по пословице «На всякого мудреца довольно простоты», так и на нашего артиста нашло однажды затмение. Увлекаемый, как ходил слух, внушениями молодой редакции «Москвитянина»[43], он вздумал попробо-

*Не так, как в Петербурге, где и артисты и публика знают негоциантов, но не имеют надлежащего понятия о том роде купеческого и мещанского быта, который изображен г. Островским. То же и в других сферах: в «Ревизоре», например, даже такой артист, как Сосницкий, представлял не городничего, а скорее столичного ловкого частного пристава.

**Вот еще крупный, незаменимый для многих ролей артист. Я видел в Петербурге его брата, артиста тоже с дарованием, но гораздо менее сильным[40].

вать свои силы в трагедии и для своего бенефиса (если не ошибаюсь) выбрал «Лира». Конечно, все места в театре были расхватаны, сбор вышел полный, но короля Лира не видали, а видели не то Подхалюзина, не то Русакова. Короче, наш гениальный артист сел не в свои сани[44].

Здесь я должен снова вызвать на сцену Ленского. Незадолго до Лира или вскоре после него один из двух братьев Щепиных[45] давал концерт на скрипке, почти ничего ему не принесший. Ленский, встретив Садовского в кофейне, на другой день бенефиса, поздравляет его с успехом:

— Ты, любезный друг, гораздо больше выиграл на Лире (лире), чем Щепин на скрипке.

В кофейне Садовский бывал часто. Здесь-то я познакомился с ним и находил большое удовольствие в его беседе. Италианская опера, два сезона дававшая в Москве свои представления (1842—1843), сильно нас интересовала. Он до того пристрастился к ней, что знал все арии двух пиес: «Лючия» и «Лукреция Боржиа»[46]. Говорю «знал» в том смысле, что он мог верно пропеть их, что и делал не однажды в той комнате, которая была резиденцией нашего кофейного кружка. В той же комнате он забавлял нас рассказами не о том, что с ним самим было, а о том, чего вовсе не было. Вымыслы эти походили на сцены Горбунова[47], с тою разницей, по моему мнению, что они рассказывались Садовским артистичнее, представительнее. Слушавшие воспринимали их впечатлительно и живо, помня не одно содержание рассказанного, но и самый образ рассказчика: его голос, выражение лица, жесты... Один из рассказов Садовского был исполнен в Москве, у И.С. Тургенева, после обеда, данного им своим приятелям и близким знакомым: тут находились и профессоры (Грановский, Кудрявцев), и артисты (Щепкин, Шумский, Садовский), и некоторые литераторы. Действующим в рассказе лицом был пьяный, к которому летом, в сильную жару, привязалась муха и не давала ему покоя. Напрасно старался он поймать ее и призывал на помощь своего товарища Николая. Наконец показалось ему, что он схватил ее и держит в кулаке. С радостью раздвигает он пальцы один за другим и видит — пустую ладонь. Радость мгновенно сменяется кислодосадной миной, и он грустным тоном, уморительно произносит: «Улетела». В другом рассказе татарин изломанным русским языком, с жаром и сердито, изливает свой гнев на какого-то барина, который обидел или, как он выражается, огорчил двенадцатилетнего его сынка. Он грозит притянуть обидчика к суду, пойти с своей жалобой далеко — даже «на сената». Пикантность рассказа за-

ключалась в сущности обиды: надобно было и придумывать слова, и менять их ударения, чтобы не вдруг и не прямо смутить слушателей скандалом. Купцы часто фигурировали в этих вымышленных рассказах. Один, например, важно повествовал об отречении Наполеона Первого от престола в Фонтенебло, причем последнее слово произносилось им на русский лад. Другие толковали об имени и отчестве их любимого актера, или, по их произношению, áктера (Прова Михайловича Садовского). «Михайлович, — рассуждали они, — это понятно: значит, отца его звали Михайлом; но что такое «Пров»? и почему Пров, а не Провий? Ведь в календаре напечатаны оба имени: которое же из них настоящее?» и т.д. Мастерски был рассказан случай из деревенского быта. Крестьянин угощал в своей избе кума. Тот и другой были навеселе. Хозяин находился в самом хорошем расположении духа и восхвалял свое житье-бытье: всего у него было вдоволь, все чисто и в порядке; жена молодая и красивая, которая в это время лежала на печи; муж указывал на нее гостю, лукаво ему подмигивая; под столом, где они пировали, возилась дочь — двухлетняя девочка, на которую отец смотрел чадолюбивыми глазами, потому что она была такая умная и вострая. Но вдруг среди такого елейного настроения духа самодовольный крестьянин начинает морщиться и заглядывать под стол, где его умница учинила некий пассаж. Взглянув искоса на кума и видя, что этот ничего не замечает и не ощущает, он ударил его по плечу: «Ничего, кум, кушай себе на здоровье; это не наше с тобою дело».

Живокини был редкий, образцовый буфф — один из тысяч буффов. При первых звуках его голоса, раздававшихся иногда за кулисами, публика уже приходила в приятное волнение, чувствовала себя хорошо настроенною. Когда же появлялся он, то вместе с ним врывались веселье и смех и наполняли всю сцену, не давая места ничему другому. Видеть его и оставаться равнодушным или в дурном расположении духа было невозможно. В нем все было комично: выражение лица, телодвижения, дикция. Он мог обходиться без речей, поводя только глазами или выделывая что-нибудь руками, — и вызывать громкие рукоплескания. Поэтому играющие с ним в одной пиесе, особенно актрисы, старались не глядеть на него, чтобы не расхохотаться. Только Щепкин, никогда не выходивший из своей роли, оставался равнодушным к его забавной комике. Публика чрезвычайно любила Живокини. Взыскательная иногда по отношению к другим актерам, она постоянно была к нему снисходительна: можно ли сердиться на того, кто веселит вас, возбуждая искренний смех, смех

до слез? Она прощала ему даже нетвердое знание своих ролей, потому что он уморительно умел маскировать небрежное отношение к своей обязанности. Вместо забытых им слов пиесы он придумывал свои, которые иногда были лучше подлинных и производили больший эффект. Иногда же обращался с какою-нибудь речью к суфлеру, как будто так следовало по его роли. Вообще он позволял себе многое, на что другие не решались. Уверенный в пристрастии к нему публики, он подчас заигрывал с нею во время самого спектакля: обращался к партеру с каким-нибудь вопросом, например: как ему нравится пиеса? или взывал к райку, прося заседающих там театральных репортеров похвалить его игру в газетном отзыве. Сколько комедий и водевилей одолжены ему своим успехом. Как он был хорош в пиесах «Стряпчий под столом», «Что имеем — не храним, потерявши — плачем», «Лев Гурыч Синичкин»![48]

Скажу несколько слов о Бантышеве. Он занял место Булахова, обладавшего очень приятным, симпатичным тенором. Мне редко удавалось его слышать, но Бантышева я очень хорошо знал и как певца, и как постоянного посетителя кофейни, где он любил играть на биллиарде. Известность свою и расположение публики приобрел он преимущественно успехом в опере «Аскольдова могила»[49], где исполнял роль Торопки и превосходно пел знакомую всем москвичам песню «Уж как веет ветерок». Пиеса эта давалась очень часто, ее любили, потому что от нее веяло родным, русским. Разыгрывалась она превосходно; особенно нравилась сцена похищения из терема. Даже италианские певцы, бывшие тогда в Москве, отнеслись с похвалой об игре и голосе Бантышева, хотя самую пиесу называли не оперой, а водевилем. Бантышев принадлежал к так называемым покладистым натурам. Он был спокойного, ровного темперамента: ни с кем не любил ссориться, никогда не горячился и не выходил из себя — совершенный антипод Ленскому. Он любил слушать толки о литературе и театре, хотя сам не принимал в них участия. После одной из таких бесед, в которой часто слышались слова «нормальный», «норма», он говорит: «Мне очень понравилось все, что вы говорили, только одного я не понял: зачем вы так часто вспоминали оперу "Норму"»[50]. Это — факт, а вот это — вероятно, выдумка. В опере Мегюля «Иосиф» Бантышев исполнял главную роль. Простудившись накануне ее представления, он уведомил о том театральную дирекцию такою запискою: «Завтра не могу играть «Прекрасного Иосифа», потому что я Осип (осип)».

Выше было упомянуто о Самарине. Прибавлю еще несколько о нем сведений. Он воспитывался в московской театральной школе, когда Ни-

колай Иванович Надеждин преподавал там русскую словесность. Профессор называл его своим любимым учеником за любознательность и прилежание. Самарин был юнейший из актеров, посещавших кофейню; начал же он посещать ее после своего первого, очень успешного дебюта в какой-то драме, где играл роль мальчика, обличившего злоумышленников в поджоге гостиницы. Другою, более плодотворною для него школою служили образцы сценического искусства — Мочалов, Щепкин, Сабуров, Живокини... то был цветущий период московского театра, уже имевшего свою почтенную историю. Самарин с любовью воспользовался всем, что вело к развитию его таланта, и выработал из себя такого артиста, который равно подвизался в двух драматических родах — комедии и трагедии, удовлетворяя публику даже в одних ролях с Щепкиным и Мочаловым: достаточно сказать, что он замещал первого в Фамусове и Сквознике-Дмухановском, а второго — в Гамлете и Чацком. Много лет после их смерти он с честью и блестящим успехом поддерживал славные предания об их гениальности.

Этим я оканчиваю мои воспоминания или, вернее, *поминанье*. Именно поминанье! Из всех служителей Мельпомены и Талии, которые выступают в моем рассказе, ни одного не осталось в живых. Все отошли к отцам. Мир их праху и глубокая им благодарность за те высокие наслаждения, которые они нам доставляли, которые услаждают и улучшают нашу жизнь и которые останутся неизменным достоянием человека до тех пор, пока он не лишится способности смеяться и плакать.

Но что же сталось с литературной кофейной? Какова ее дальнейшая история? Пусть на этот вопрос отвечают другие. Я знал ее в лучшую пору ее существования — в тридцатые и сороковые годы. Какова она была после — мне неизвестно. Думаю, что она упразднилась, как упраздняется многое, по разным причинам и обстоятельствам. Вероятно, обычные посетители появлялись в ней реже и реже: иной переселился в Петербург или в провинцию; другой обзавелся семейством и предпочел домашний очаг общественному заведению; третьему она просто присмотрелась и наскучила. Но как бы то ни было — так или иначе, а для меня она — преданье старины, хотя и глубокой (принимая в расчет меру человеческого века), но дорогой и милой, которую я и помянул «памятью сердца».

[ГЛАВА X]
СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

1

Выражения «сороковые годы», «люди сороковых годов» нередко употреблялись и теперь еще употребляются для обозначения того усиленного интеллектуального движения, которое началось и действовало в Москве, совпадая с тем периодом времени, когда попечителем Московского учебного округа был граф С.Г. Строгонов (1835—1847)[1]. Вторым выражением Писемский даже озаглавил один из своих романов, к сожалению, весьма неудачный[2].

Необходимо заметить, что означенное движение не ограничивается в точности десятилетним периодом. Странно думать, что оно началось именно 1 января 1840 и завершилось 1 января 1850 года. Можно, если угодно, назвать это пространство времени выдающимся пунктом культурного прогресса, но начало его восходит к предыдущим годам нашего столетия, а последствия его раскрываются в течение последующих, частию изменяясь, а частию и заменяясь другими движениями или веяниями.

Второе замечание относится к отрицанию особенного значения сороковых годов в нашем культурном прогрессе. По мнению некоторых журнальных статей сороковые годы стоят на одном уровне с предшествовавшими им и следовавшими за ними. В доказательство приводятся свидетельства представителей того времени (например, И.С. Аксакова), что общественное положение нисколько не изменялось к лучшему. Рассуждать таким образом — значит иметь ложное понятие о тех эпохах, которым присвоено название выдающихся, прогрессивных и которым принадлежат времена Перикла, Августа, Людовика XIV, наконец век просвещения — XVIII век. Последний, пожалуй, окажется наиболее худшим, так как народ был погружен в невежество, в высших сферах господствовали крайние злоупотребления, разврат и ханжество, да и самые светила философии не отличались достаточным нравственным цензом. Однако ж никто не сомневается в исторической важности указанных эпох. Дело не в том, как жили те или другие субъекты в эпоху прогресса, а в

самом прогрессе и его последствиях — в тех новых началах, которые он кладет для сериозного умственного развития и нравственного улучшения, для более точного, правдивого самосознания, как для отдельных лиц, так и целых масс. Чацкий — один среди людей минувшего века, но он уже усвоил иной образ мыслей, которому предстояло торжество. И. Киреевский, в статье по поводу постановки «Горя от ума» на московской сцене, высказал пустоту жизни москвичей, их равнодушие ко всему нравственному и умственному, но в то же время он представил и исключения, то есть людей, которые развивают в себе чувства возвышенные с правилами твердыми и благородными[3].

Усиленное стремление московского юношества к более сериозному образованию ведет свое начало, по моему мнению, с двадцатых годов, когда профессор М.Г. Павлов, по возвращении из-за границы, открыл свои лекции сельского хозяйства и минералогии. Он первый дал студентам понятие о господствовавшей в то время философии Шеллинга, или, точнее, о применении этой философии к естествоведению одним из его последователей — Океном. Новизна взглядов, мастерство их изложения в логическом и стилистическом отношениях сильно действовали на слушателей и, кроме того, привлекали в университет постороннюю любознательную молодежь из наиболее просвещенных семейств высшего московского общества. Между этими юношами, поступавшими на службу преимущественно в московский архив иностранных дел и потому прозванных «архивными», особенно выдавался князь В.Ф. Одоевский своею любовью к высшему знанию, к так называемой трансцендентальной философии. Он устроил у себя в доме философское общество, которое посещалось его товарищами по службе[4] и по образу мыслей, а в 1824 году издавал сборник «Мнемозину» для ознакомления читателей с философией Шеллинга. В нем помещено несколько статей Павлова и самого издателя: последнему принадлежат отрывки из истории философии и по эстетике, основанной на идеях Шеллинга и долженствовавшей положить конец французским лжеклассическим эстетическим понятиям, представителем которых в то время был профессор Мерзляков[5].

Новые органы журналистики содействовали с своей стороны университетскому влиянию. Кроме сборника «Мнемозина» в двадцатых годах явились «Телеграф» (Н. Полевого), «Московский вестник» (Погодина), «Европеец» (И. Киреевского). Даже дряхлеющий «Вестник Европы»[6] значительно оживился, благодаря сотрудничеству Н.И. Надеждина. По своим

направлениям и содержанию эти новые периодические издания в Москве взяли перевес над таковыми же петербургскими[7].

Потребность сериозного учения возрастала более и более. В тридцатых годах философия Шеллинга уступила свое место философии Гегеля, которая заинтересовала кружок любознательных студентов, преимущественно историко-филологического факультета, собиравшихся у их товарища Н. Станкевича. Главными лицами этого кружка были К. Аксаков, Катков, Ключников, Белинский[8]. Последний, по незнанию иностранных языков, своим знакомством с немецкой эстетикой и с немецкой поэзией, преимущественно с Шиллером, много обязан Станкевичу, в своих беседах разъяснявшему сущность той и другой. В университете лекции Н.И. Надеждина, профессора теории изящных искусств, сильно влияли на молодежь, равно как и основанный им журнал «Телескоп» вместе с листком «Молва», в котором Белинский выступил как критик, уже подготовленный к своему делу беседами с Станкевичем и лекциями Надеждина. Наконец, в тридцатых же годах развилось так называемое славянофильство, занимающее весьма почетное место в истории нашего самопознания. Основателями и разъяснителями этого учения были А. Хомяков, К. Аксаков, И. Киреевский и (позднее) Ю. Самарин.

Сороковые годы относятся преимущественно к двенадцатилетнему управлению графа С.Г. Строгонова Московским учебным округом. До официального назначения его на этот пост, будучи полковником и флигель-адъютантом, он обстоятельно знакомился с университетским преподаванием, то есть посещал лекции тех или других профессоров. Надобно отдать ему справедливость и за то, что при всем уважении истинной учености он обращал большое внимание на нравственную пробу преподавателя: невнимательное отношение к своей обязанности или уклонение от нее к другому делу, тщеславие, непотизм[9], отсутствие справедливости и благородства, неправильный образ жизни были им нетерпимы и презираемы. Все, например, знали, что он не жаловал четырех профессоров, хотя по своим лекциям они стояли на видном месте. Один (И.И. Давыдов) отталкивал его чрезмерным самолюбием и непрямыми путями в своих действиях*, другой (Д.М. Перевощиков) — непотизмом и хитростью, прикрыва-

*Ключников охарактеризовал его в чрезвычайно злой эпиграмме[10]. См. также и другие свидетельства, например, в «Русском архиве» 1888 г., VIII, стр. 482, «Письма Каткова к А.Н. Попову». Здесь Давыдов обличается в плагиате, т.е. в присвоении себе критических заметок Ф.И. Буслаева о книге Павского («Филологические наблюдения над составом русского языка»)[11]. Впоследствии, давая отчет в «Москвитянине» о каком-то

емою простотой себе на уме*; третий (С.П. Шевырев) — раздражительностью и педантизмом; четвертый (М.П. Погодин) — многостороннею, разбросанною деятельностью, мешавшею ему всецело посвятить себя избранному предмету — истории[13]. Утверждали, будто графу не нравились эти лица потому, что к ним в особенности благосклонно относился министр С.С. Уваров, бывший с ним не в ладах[14]. Может статься, это и справедливо, но только отчасти, а не вполне. Обращение этих личностей с их меценатом, при поездке в его подмосковное поместье Поречье, заставляло многих пожимать плечами, особенно после статьи Давыдова в «Москвитянине», повествующей о провождении времени в означенном имении[15]. Прочитав ее, граф Строгонов при свидании с автором обратился к нему с таким вопросом: «Не знаете ли, кто написал эту лакейскую статью? Не думаю, чтобы она могла понравиться Сергию Семеновичу»**.

Другое важное достоинство графа Строгонова состояло в том, что он радел о замещении вакантных кафедр свежими, капитально образованными силами. Из среды студентов, оканчивающих курс, он покровительствовал тем, которые желали посвятить себя ученому званию, и содействовал отправлению их за границу для усовершенствования в той науке, на кафедру которой они желали поступить. При нем явились в Московском университете такие личности, как Грановский, Соловьев, Катков, Леонтьев, Кудрявцев, Буслаев...

грамматическом труде Давыдова, Буслаев привел, между прочим, следующий пример: «Нельзя уважать человека, который вредит другим своими проделками»[12].

*Ibid., стр. 493.

**Замечу, что гр. Строгонов был иногда очень резок в своих выражениях. Резкость эта порою переходила в комизм. Однажды явился к нему какой-то провинциал, отец двух гимназистов, жаловаться на то, что дети после экзамена не переведены в следующий класс, и при этом часто повторял одну и ту же фразу: «Ведь они у меня, ваше сиятельство, преумные». — «Верю, верю, — отвечал граф, — должно быть, в матушку». На одном магистерском диспуте сидел он рядом с Грановским, а против них поместился О.М. Бодянский, положив одну ногу на другую и тем выказав особенность своих сапогов, подбитых крупными гвоздями, словно подковами. Граф обратился к своему соседу: «Посмотрите, Тимофей Николаевич, как во всем оригинален Осип Максимович. Мы с вами, если нам нужны сапоги, отправляемся к сапожнику, а он заказывает их в кузнице». Но, дозволяя себе резкие выходки, граф спокойно выслушивал удачные, остроумные реплики. Вот один из нескольких примеров. В разговоре с Е.Ф. Коршем, известным многими серьезными литературными трудами, выражая ему, как редактору «Московских ведомостей», свое неудовольствие за помещение какой-то статьи, граф, между прочим, сказал: «Поставьте себя на мое место». — «Никак не могу, ваше сиятельство». — «Почему?» — «Воображения не хватает: у вас шестьдесят тысяч душ»[16].

Корпорация студентов за время попечительства графа была примерная по своему стремлению к высшему знанию и по отношению к лекциям. Некоторые профессоры пользовались их особенною любовью за то, что дозволяли им в праздничные дни приходить к себе для бесед, сообщали им научные новости, дозволяли пользоваться книгами из своих библиотек и давали советы для их собственных работ. В pendant[17] ко всему этому инспектор студентов был образцовый — Нахимов, родной брат знаменитого защитника Севастополя[18]. Не отличаясь ни дарованием, ни образованностью, даже плативший дань Вакху, он по какому-то благодатному инстинкту умел обращаться с молодежью. Студенты любили его, как родного, хотя и посмеивались над его наивностью. Много ходило о нем анекдотов, не выдуманных, а действительно бывших. Вот один из них, весьма характеристичный. Студентам запрещалось отпускать длинные волосы, за чем, разумеется, должны были наблюдать инспектор и его помощники. Одному из таких длинноволосых Нахимов несколько раз говорил сходить к цирульнику, но все напрасно: студент обещал, но не исполнял своих обещаний. «Слушай, — сказал ему Нахимов, выведенный из терпения, — если я еще раз встречу тебя* в таком виде, то непременно исключу из университета. Даю тебе *честное слово*. Понимаешь?» — «Понимаю, Павел Степанович». На другой или третий день Нахимов отправляется в университет. Повернув с Тверской улицы в университет по Долгоруковскому переулку, он, к ужасу своему, видит, что с другого конца этого переулка, то есть от Большой Никитской улицы, идет ему навстречу означенный студент, и неостриженный. Бедный инспектор очутился между Сциллой и Харибдой. Сдержать свое слово — жалко студента; не сдержать — значит признать себя бесчестным. Положение бедовое, но добряк удачно из него вышел. «Оборачивай назад, выезжай на Тверскую! — кричит он кучеру. — Скорее, разиня!» Кучер исполнил приказание и тем спас студента от беды, а своего барина от бесчестья.

Наконец, граф Строгонов неизменно выказывал в своем обращении и мнениях самостоятельность и прямизну. Не страдая тщеславием и честолюбием, он не заискивал в высших сферах и не терпел угодничества. Доказательством служит его отношение к министру народного просвещения. Некоторые находили в нем неприветливость и сухость сердца, но как согласить с таким отзывом многие противоречащие ему факты? Граф все-

*Нахимов, как и некоторые из профессоров, обходился тогда без церемонии, но студенты нисколько не обижались, что он пустое *вы* заменял сердечным *ты*[19].

гда был готов помочь предприятию, если оно имело своим предметом что-нибудь полезное: так, он помог М.Н. Каткову и П.М. Леонтьеву при начале издания ими «Русского вестника»[20]. Равно не отказывал он в заступничестве ни цензорам, ни авторам, по поводу каких-либо их недосмотров или провинностей. Правда, он редко своих посетителей (если они состояли под его управлением) приглашал садиться: они обязаны были стоя вести с ним беседу*, но зато эти стоящие нисколько не были стесняемы в изложении своих просьб и мнений. Граф охотно и снисходительно выслушивал дельные возражения.

В сороковых годах Московский университет мог похвалиться приобретением новых профессоров, молодых и талантливых, умевших поднять уровень высшего научного образования и возбудить в студентах не только любознательность, но и нравственные чувства стремления к благородным идеалам. Таковы были Грановский, Крюков[21], Соловьев, Катков, Леонтьев, Кудрявцев, Буслаев. Петербургские журналы «Отечественные записки» и «Современник», органы европеизма, открыли новую эру периодической прессы[22], равно как главный сотрудник их Белинский своими статьями открыл новую эру высшей литературной критики. Противовесом этих журналов служили в Москве представители славянофильства — «Москвитянин» и отдельные сборники[23]. Тогда же выступили многие литературные таланты, относящиеся к школе Пушкина и Гоголя как их последователи: явление, подобное романтической школе у немцев с ее представителями — Тиком и двумя братьями Шлегелями — или романтической школе во Франции с ее представителем В. Гюго. Целая плеяда даровитых беллетристов, с Тургеневым во главе, быстро заполонила внимание и любовь публики. Имена их известны теперь всем и каждому: Гончаров, Майков, Некрасов, Григорович, Фет, Полонский, Достоевский, Писемский, Салтыков (Щедрин), Островский, граф Л. Толстой... Об них-то, равно как и о других лицах, известных в нашей литературе и науке и с которыми выпало мне счастие познакомиться в течение трех десятилетий (30—50-х годов), хочу я поговорить в моих записках. Большинство их сошло в могилу и лично не было известно современному поколению. Посмотрите: в «Воспоминаниях» А.Я. Головачевой-Панаевой[24], из ***тридцати трех*** писателей осталось только двое (Е.Ф. Корш и граф Л.Н. Тол-

*С.М. Соловьев получил приглашение садиться лишь после того, как занял место адъюнкта по кафедре русской истории.

стой), а из артистов (актеров), если не ошибаюсь, не осталось ни единого. Какая богатая жатва смерти! Какой бедный процент долгоденствия!

2

Воспоминания мои начну с Боткина (Василия Петровича), так как с ним я познакомился раньше, чем с другими, в Москве, вскоре по окончании университетского курса. При имени этого лица некоторые, его знавшие, может быть, улыбнутся, вспомнив кое-какие причуды и слабости покойного и, между прочим, следующие стихи из литературного акафиста Щербины:

Радуйся, Испании описание!
Радуйся, в Испании небывание!
Плешивый чаепродавче, Дон-Базилио, радуйся![25]

Но я не пойду за ними по этой дороге, потому что сущность дела не в сатире, а совершенно в противоположном предмете. Сын известного торговца чаем[26], от первого брака, Василий Петрович обучался в пансионе Кистера, преподававшего немецкий язык и литературу в Московском университете[27]. Здесь он приобрел познания в языках немецком и французском. Впоследствии он читал свободно книги английские, итальянские и испанские. Этим чтением заместил он высшее, университетское образование. Родным языком владел он наряду с лучшими его знатоками, в чем удостоверяют его переводы и сочинения. Одно из последних, «Поездка в Испанию», сразу доставило ему известность[28]. Его переводы из Карлеля занимали видное место в статьях «Современника»[29]. От природы получил он верный и тонкий вкус изящного, в чем бы оно ни выражалось: он прежде многих оценил таланты Фета и Некрасова[30]. Комнаты его постоянно украшались немногими, но лучшими произведениями живописи и скульптуры (это как бы природная принадлежность талантливого семейства Боткиных, из среды которого вышел такой ученый деятель, как Сергей Петрович). В его обедах, которыми он угощал своих приятелей, выказывался образованный эпикуреизм: они сопровождались интересными беседами, так как знакомые его принадлежали к передовым талантам в литературе и науке. Образованность Василия Петровича имела доброе влияние и на его отца, человека очень умного от природы, но по той среде, в которой он жил и действовал, не могшего относиться с

большим уважением к науке и учености. Однако ж впоследствии он стал смотреть иначе на то общество, которое собиралось в его доме, и выражать свое к нему почтение замечательным образом: никогда не ломавший шапки перед ученостью, он, в праздник светлого Христова Воскресения, со шляпой в руках, отправлялся для поздравления к профессору Грановскому, нанимавшему у него квартиру в особом флигеле, хотя этот жилец был много моложе домовладельца. О такой метаморфозе рассказывал мне сын его Павел Петрович.

Литературное знакомство Боткина было обширно как в Москве, так и в Петербурге. Со многими личностями он был в дружеских отношениях. Белинский, Тургенев, Некрасов, Дружинин, Панаев были с ним на *ты*; приезжая в Москву, они большею частию останавливались у него. Письма его к некоторым из них выказывают человека мыслящего и многообразованного. Не принадлежа к тороватым[31], он, однако ж, в случае нужды помогал своим приятелям по литературному ремеслу, в том числе и Белинскому. Здесь я должен остановиться и сказать несколько слов об интересных «Воспоминаниях» г-жи А.Я. Головачевой-Панаевой, известной своим талантом и образованием. Нет сомнения, что они искренни и справедливы, то есть сообщают именно то, что автор видел или слышал, ничего к тому не прибавляя и не искажая; но мне сдается, что она слышанное и виденное в известный момент, при известных обстоятельствах, обобщает, почему и является постоянно невыгодное мнение об одних личностях и неизменно выгодное о других (вроде предубеждения и предилекции[32]). В числе первых преимущественно фигурируют Боткин, Анненков и Тургенев. Почти каждый раз достается им при выходе их на сцену. Когда Белинскому, в критическую минуту его денежного затруднения, было предложено занять денег у Анненкова или у Боткина, то он первого обозвал «русским кулаком», а о другом выразился так: «Покорно благодарю — душу всю вымотает своими разговорами, что он нуждается в деньгах»*. И это сказано без всяких оговорок и разъяснений, так что читатель может составить об этих личностях мнение неверное, противоположное документальным свидетельствам, приведенным в биографии Белинского**, из которых видно, что Боткин и Анненков были первыми, главными друзьями Белинского.

*Воспоминания, стр. 121[33].
**А.Н. Пыпина (т. II, стр. 271, 275–276, 285, 325)[34].

Что же касается до стихов Щербины: «Испании описание — в Испании небывание», то трудно понять, откуда возникло такое странное подозрение, такая нелепая сплетня. Может быть, поводом к тому послужили современные описания путешествий в Испанию — французские или английские. Я сам видел два или три таковых в библиотеке Василия Петровича, но заключать отсюда о плагиате есть сущая нелепость. Какой путешественник при рассказе о том, что он видел в чужих краях, не пользовался предшествовавшими ему описаниями тех же стран. Так, например, поступал Карамзин в своих «Письмах»[35], сообщая своим друзьям о посещении французской академии (в Париже), он присоединил к тому и краткий исторический очерк этого учреждения, без сомнения, переведенный или извлеченный им из какой-нибудь французской монографии. То же делал Фонвизин в своих «Письмах» к гр. Панину из Франции[36], то же самое имел право делать и Боткин: рассказывая о бое быков, он знакомит с историей этого зрелища; описывая Севильский собор, он также вводит историю его постройки. Не самому же ему сочинять эти истории. Отсюда заключение: Боткин несомненно был в Испании, но вместе с этим, само собою разумеется, пользовался описаниями других путешественников, то есть поступал так, как поступают все авторы путешествий[37].

Некрасов, как известно, охарактеризовал П.В. Анненкова в следующем стихотворении*:

За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке**,
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.

Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал[38].

Как всякая эпиграмма, в которой, по пословице, на брань слово покупается, характеристика неверна, потому что исключительна, одностороння. Талантливый, образованный и с несомненным эстетическим тактом, Павел Васильевич Анненков написал много умных статей, которые

*«Русск[ий] архив», 1884, кн. 3, стр. 23, стр. 235: «Некрасов про ***».
**Анненков действительно имел эту привычку.

ценились образованными читателями, но не нравились читателям полуобразованным.

Литературную известность дали ему впервые «Парижские письма»; они помещались в «Отечественных записках»[39] и умно, интересно изображали тогдашнее состояние Франции. Затем следовало издание «Писем Н. Станкевича», с приложением его «биографии»[40]. Здесь охарактеризовано движение молодых людей (так называемый «кружок Станкевича») к современной философии Гегеля. Статья, под заглавием «Литературный тип слабовольного человека», полемизирует со статьей Н.Г. Чернышевского: «Русский человек на rendez-vous», напечатанной в «Атенее» (московском журнале, издававшемся Е.Ф. Коршем) и преследовавшей нерешительность, вялость русского человека, отсутствие инициативы в героях Тургенева[41]. Новые произведения тогдашних беллетристов встречали в Анненкове осторожного, но всегда умного оценщика, как видно из собрания его сочинений (три тома)[42]. Никто из занимавшихся сериозно отечественной литературой не сомневался в дельности, рассудительности его критики; осуждали только иногда особенность его стиля, как бы умышленно избегавшего простоты и стремившегося к фигуральным выражениям. Это был личный, субъективный слог, отражение свойств писателя, по выражению Бюффона (le style — c'est l'homme)[43]. Тургенев, всегда ценивший талант и образованность Анненкова, сравнивал его манеру писать с замашкой такого человека, который, желая почесать у себя в голове, исполняет свое желание не просто, а, подобно акробату, через колено.

Наконец, издание сочинений Пушкина (1855—1857) с «Материалами для его биографии», равно как и самая биография, к сожалению, доведенная только до 1826 года, составляют капитальную заслугу Анненкова[44]. Оно впервые дало возможность приступить к всестороннему изучению гениального поэта. Труды издателя были по справедливости оценены Московским университетом, избравшим его в свои почетные члены по истечении пятидесяти лет от смерти Пушкина.

3

Перехожу к моему знакомству с Белинским. Впервые мы встретились в 1834 или 1835 году[45] у моего университетского товарища Селивановского, сына некогда известного типографщика. В доме его занимал квартиру Надеждин, издатель «Молвы», в которой явились «Литературные мечта-

ния»[46], заинтересовавшие весь московский читающий люд. В один из приемных дней, вечером, у Селивановского сошлись: я, В.П. Боткин и Н.А. Полевой. Последний, по запрещении «Телеграфа», занимался тогда редакцией «Живописного обозрения», издателем которого был типографщик Семен[47]. После чая, перед ужином, вошел Белинский, помещавшийся, если не ошибаюсь, в квартире Надеждина, у которого состоял главным сотрудником. Хозяин и Полевой встретили его, как уже знакомое лицо. Это доказывалось их свободным и шутливым с ним обращением. Селивановский даже трунил над его отпущенными усами, называя их знаком литературного удальства. Белинский видимо конфузился, но был разговорчив и весел[48]. Затем мы сходились в так называвшейся «Литературной кофейне»[49], которую почти ежедневно посещали артисты московских театров и любители чтения газет и журналов, особенно принимавшие участие в их издании. Впрочем, Белинский редко приходил туда, занятый срочною работою у Надеждина. В 1837 году он напечатал первую часть (этимологию) своей «Русской грамматики для первоначального обучения». Я послал отчет о ней к Краевскому, в «Литературные прибавления к Русскому инвалиду»*: в этом отчете отдано должное его труду, особенность и новость которого (по тогдашнему времени) заключалась в том, что значение частей речи выводилось из разложения предложения, иначе: исходным пунктом этимологии полагался синтаксис. Белинский был очень доволен этим указанием: он благодарил меня, что я выставил напоказ именно то отличие его учебника, которое он сам ценил преимущественно и которым его труд отличался от других трудов по тому же предмету**. Вскоре после этого мы сошлись еще ближе, благодаря общему сотрудничеству по критике и библиографии в двух повременных изданиях: в «Прибавлениях к Инвалиду» и в «Отечественных записках» первого года (третьим товарищем в том же деле был М.Н. Катков). Сбираясь на переселение в Петербург, Белинский рекомендовал мне вместо себя П.Н. Кудрявцева, еще студента, но уже заявившего себя в литературе повестями, которые, под псевдонимом Нестроева, помещались в «Наблюдателе», когда этот журнал издавался типографщиком Степановым, а редактировался Белинским[51]. За эту рекомендацию я душевно благодарил его: трудно было найти лицо, более талантливое, более знакомое с отечественной литературой и более добросовестное для того дела, за которое он взялся.

*1837, № 36 и 37.

**Другой разбор той же книги (К.С. Аксакова) основан на противоположном начале[50].

Супруга Белинского, Марья Васильевна Орлова, была классной дамой в Московском Александровском институте, где я преподавал русский язык и словесность и, сверх того, занимал должность помощника инспектора классов. Она и некоторые из ее сослуживиц отличались любознательностью, интересовались современной литературой. Я снабжал их «Отечественными записками», «Современником» и другими книжными новостями. Наезжая в Петербург, я большею частию имел притон у Краевского, но, разумеется, посещал и Белинского, который удивлялся моей привязанности к Москве и чаепийству: ни того, ни другого он очень не жаловал. Переписки между нами не было, но в письмах к Кудрявцеву он посылал мне поклоны, как «общему другу» (его и Кудрявцева).

Считаю уместным сказать несколько слов об инциденте или пассаже по поводу разрыва Белинского с «Отечественными записками» и перехода его к «Современнику». Это было крупным событием и сильно взволновало литературную братию, принимавшую участие в означенных журналах. Главным поводом к волнению служило письмо Белинского к В.П. Боткину*[52]. В этом письме он заявил желание, если не требование, чтобы московские сотрудники Краевского огулом отреклись от него и перенесли свою деятельность исключительно в «Современник». Само собою разумеется, что такое желание могло удивить, но не понравиться, так как оно равнялось покушению на свободу лиц, давно вышедших из-под опеки и привыкших распоряжаться своим добром по собственному усмотрению. Какое было дело Грановскому, Соловьеву, Кудрявцеву... до взаимно неприязненных отношений обеих редакций? Они посылали свои статьи в тот или другой журнал по собственному усмотрению. В письме, о котором идет речь, я выставлен как неизменный пособник Краевского, хотя по временам я снабжал и «Современник» своими трудами, которые охотно принимались его издателями, Некрасовым и Панаевым. Впрочем, тревога разрешилась благополучно. Белинский был так добр, правдив и честен, так дорожил истиной, что не мог оставаться долго в тумане самозабвения: он сознал свою ошибку, как следствие болезненной раздражительности, и жалел искренно, что огорчил своим письмом московских друзей.

Дозволяю вменить себе в заслугу два дела, относящиеся к Белинскому: а) собрание его сочинений издано по моему списку, так как список, представленный покойным М.Н. Лонгиновым и переданный мне Н.Х. Кет-

*От 4 ноября 1847 года (напечатано в «СПб. ведомостях», 1869 г., № 187—188).

чером, заботившимся об издании, был исполнен пропусками и неверностями[53]; б) по моему представлению комитет общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым присудил выдавать его вдове с дочерью пенсион в 600 рублей[54].

4

В плеяде беллетристов, следовавших за Пушкиным и начавших действовать в сороковых годах, пальма первенства, несомненно, принадлежала И.С. Тургеневу[55]. Каждое произведение его ожидалось с нетерпением, читалось с жадностью и оставляло сильное впечатление в уме и сердце читателя. Независимо от крупного таланта, он сам по себе, своею личностью, с первого раза привлекал к себе искренно и крепко. Тайна влечения объясняется его мягкостью и добротою, а потом капитальным образованием. В нем не было покушений на нетерпимость. Случалось нередко, что в литературных спорах он становился скорее на сторону защиты, чем на сторону нападения. Даже в карточной игре, когда плохой партнер делал промахи, у него всегда находились в запасе «обстоятельства, смягчающие вину». Он не тяготился, когда юные претенденты на поэзию осаждали его просьбами прочесть их первые опыты и сказать о них мнение. Щадя молодое самолюбие, он давал им повод продолжать занятия, от которых, конечно, было бы полезнее отвлекать их; но Тургеневу совестно было решиться на такой совет, частию по деликатности, а частию и по надежде: авось со временем и выйдет что-либо путное из первых шагов юношей на Парнас. Надежды большею частию не сбывались, за что и доставалось ментору от В.П. Боткина, не терпевшего разочарования в искусстве, какое бы оно ни было — эстетическое или кулинарное. Примеров тому немало. Тургенев увлекся рассказами одного из московских студентов медицинского факультета, Л[еонтье]ва, и начал чрез меру восхвалять их. «Посмотрим, мой милый, — сказал с недоверчивостью Боткин, — познакомь меня с лучшими местами рассказов твоего protégé». Тургенев начал читать, но чем больше читал, тем больше Василий Петрович хмурился и, наконец, напустился на своего приятеля: «Так это-то, по твоему мнению, многообещающий талант? Это-то ты называешь перлами поэзии? Это, мой милый, не перлы, а ерунда, дичь» и т.д.[56] Однажды я и П.В. Анненков застали у Ивана Сергеевича благообразного офицера с тетрадью в руках. По уходе его И[ван] С[ергеевич] обратился

к нам с такими словами: «Знаете ли, кто это был у меня? Это такой талант, которому Лермонтов не достоин будет развязать ремень обуви». Заметив наше сомнение, он промолвил: «Ну, вот увидите сами». К сожалению, мы этого не увидели: хотя молодой офицер и оказался действительно талантливым, но все же не заткнул Лермонтова за пояс[57].

Образованием Тургенев несомненно превышал всех своих сверстников-литераторов. Окончив курс в Петербургском университете, он за границей слушал лекции немецких профессоров из школы Шеллинга и Гегеля[58]. Литературы французская и немецкая были капитально ему знакомы. С даром творчества соединялся у него и талант критический, что доказывается суждениями о важнейших поэтических творениях. Мнения его были очень оригинальны, соединяя серьезность немецкой эстетики с ясностью изложения французских критиков.

По доброте своей Тургенев оказывал помощь своим товарищам по ремеслу, то есть ссужал их деньгами во дни безденежья. Однажды я застал его за письменным столом с реестром в руках. На вопрос мой: «Чем вы занимаетесь?» — он отвечал: «Да вот свожу итог деньгам, взятым у меня взаймы такими-то и такими лицами». — «Сумма немалая», — заметил я. «Конечно, так; но знаете ли что? Я нисколько не раскаиваюсь в ссудах: я уверен, что каждому лицу, означенному в реестре, ссуда принесет пользу, поправит его временную нужду. За одного только должника не ручаюсь; боюсь, что помощь не пойдет ему впрок...» И он указал мне на означенном реестре: А.А. Г[ригорье]ву (столько-то).

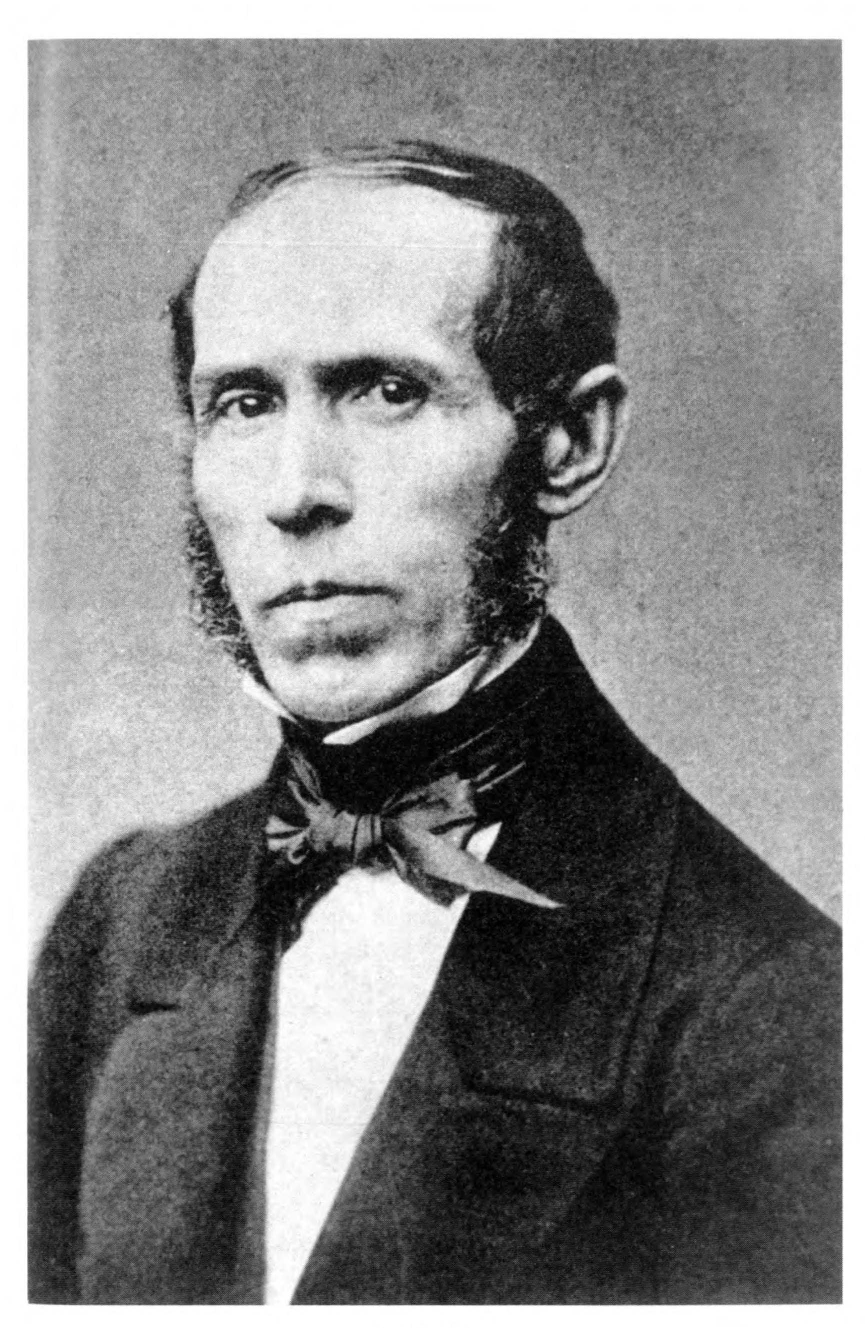
Симпатична и трогательна была привязанность Тургенева к детям. Случалось нередко, что он, приехав на вечер и приняв участие в общей беседе, оставлял ее и подсаживался в другой комнате к какому-нибудь мальчугану или девочке на разговор. Ему интересно было подмечать в них проявление смысла, зародыш какого-нибудь дарования. В таком случае он сообщал родителям свои замечания и советовал им обратить на них внимание. Известно, что для детей он и переводил, и сочинял сказки[59].

Прислуга также любила своего барина. Рассказывали (за верность слуха не ручаюсь), что он и брат его были одолжены ей получением материнского наследства. Мать, почему-то не любившая сыновей своих, хотела передать все имущество своей воспитаннице (Л[утовинов]ой), побочной дочери одного из московских неважных докторов. Заболев сериозно, она посылала за нотариусом, но посылаемые не исполняли приказаний барыни и дали знать Ивану Сергеевичу, не бывшему тогда в Москве, о сериоз-

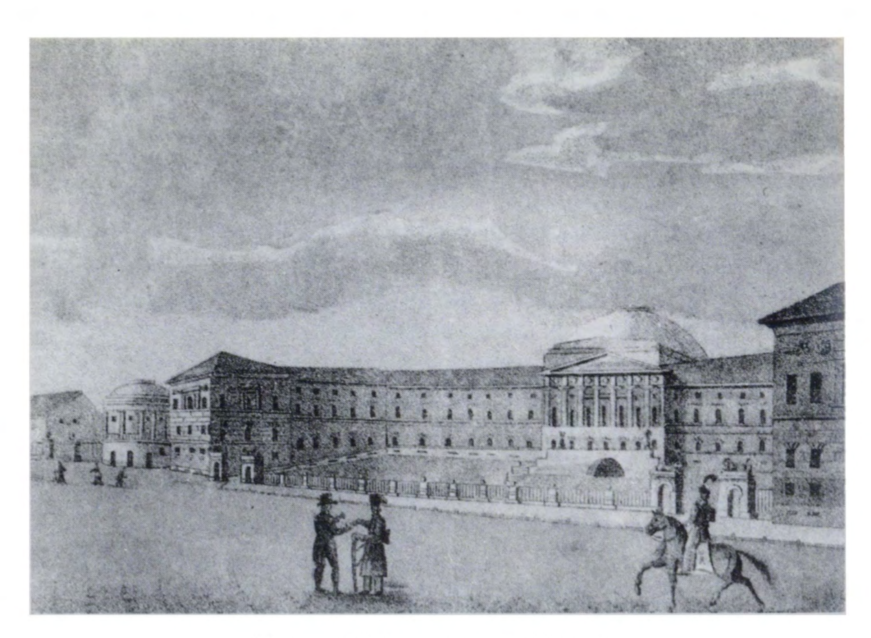
ной болезни своей госпожи и приглашали его поспешить приездом. Тургенев явился, когда духовной, по агонии больной, уже невозможно было совершить[60]. Так или иначе, но Тургенев из нуждавшегося литератора стал богатым. Это дало ему средство вести жизнь привольную, собирать знакомых москвичей и угощать их обедами. Так как прежний повар не делал чести своему искусству, то он просил одного из своих петербургских *купить* ему другого, хорошего повара. Слово «купить» вызвало бы теперь смех или раздражение, но тогда оно, как обычное выражение, не удивляло даже самых ревностных противников крепостного права. Дело не в слове, а в чувстве, с которым оно произносится, и в мысли, которая с ним сопрягается. Заключать отсюда о барстве или аристократизме не следует. Тот же самый Тургенев, довольный «купленным» поваром за отлично приготовленный обед, в конце стола позвал его, выпил за его искусство и поднес ему самому бокал шампанского[61]. Может статься, это было уже слишком, через край, но было именно так. Обвинявшие автора «Записок охотника» в барстве должны были помнить, что этим сочинением он оказал немалую услугу образу мыслей относительно крепостного права.

На обеды к Тургеневу приглашались московские профессоры и литераторы, принадлежавшие к так называемой европейской партии (Грановский, Кудрявцев, Забелин, Боткин, Кетчер, Феоктистов и др.), хотя он был в дружеских сношениях с некоторыми членами славянофильского кружка, особенно с С.Т. Аксаковым. Из артистов почти постоянно являлись Щепкин, Садовский и Шумский и какой-то немец, может быть, подлинник Лемма (в «Дворянском гнезде»), мастерски игравший на фортепьяно. Иногда после обеда устраивался небольшой хор под управлением Шумского, и гости, обладавшие голосом, исполняли тот или другой хор из какой-нибудь оперы, преимущественно из «Аскольдовой могилы». А иногда Садовский морил со смеха вымышленными рассказами, которые мне нравились больше рассказов Горбунова: в них ярче, интереснее выступал комизм, потому что соединялся с некоторым лицедейством[62]... Одним словом, все было светло, радостно, дружелюбно, хотя по временам и не обходилось без споров, на которые москвичи были очень падки (не знаю, как теперь). При одном воспоминании об этом, уже давно минувшем времени я чувствую себя лучше, веселее, самодовольнее.

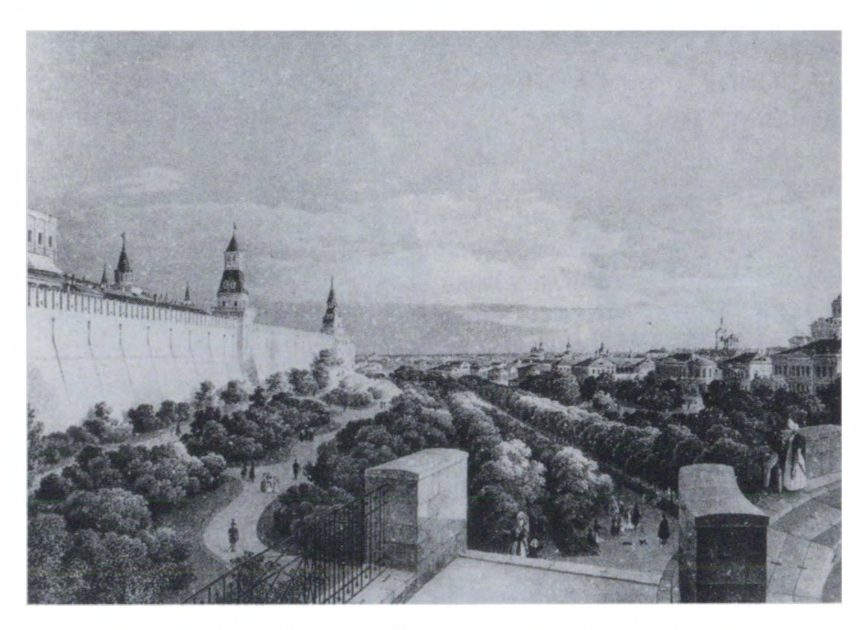
По выходе в свет «Записок охотника» известность Тургенева возрастала все больше и больше. Ряд таких произведений, как «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым», возвели их производителя на пер-



А.Д. Галахов



Московский университет. 20-е годы



Вид на Александровский сад. Конец 1830-х годов



И.А. Двигубский



И.И. Давыдов



М.Г. Павлов



Г.И. Фишер фон Вальдгейм

НОВЫЙ МАГАЗИНЪ

ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРІИ, ФИЗИКИ, ХИМІИ И СВѢДѢНІЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ.

I.

О различіи человѣческаго рода.

(Рисунокъ 6.)

Познай самаго себя! Такова была надпись на храмѣ Діаны въ Дельфахъ. Ученые Греки и воинственные Римляне почитали изреченіе сіе — изреченіемъ самаго Аполлона, вѣнцемъ мудрости, совершенствомъ всѣхъ познаній.

Человѣкъ, по врежденному любопытству, стремившійся къ познанію всего подлежащаго чувствамъ, обратилъ сперва вниманіе свое на тѣла, его окружающія, какъ на такіе предметы, съ которыми неизбѣжно сопряжены его нужды Онъ постепенно открывалъ ихъ свойства и дѣйствія; наблюдалъ взаимное соединеніе ихъ между собою; ста-

Статья А.Д. Галахова в журнале «Новый магазин естественной истории...»



М.П. Погодин



С.П. Шевырев



А.А. Краевский



Н.И. Греч



М.Н. Катков



Д.Т. Ленский



П.С. Мочалов



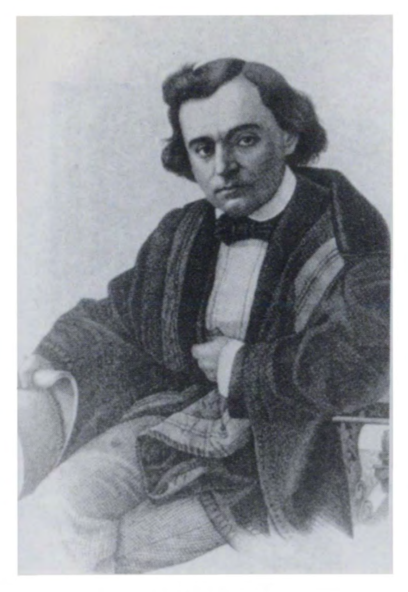
М.С. Щепкин



П.М. Садовский (сидит) и В.И. Живокини



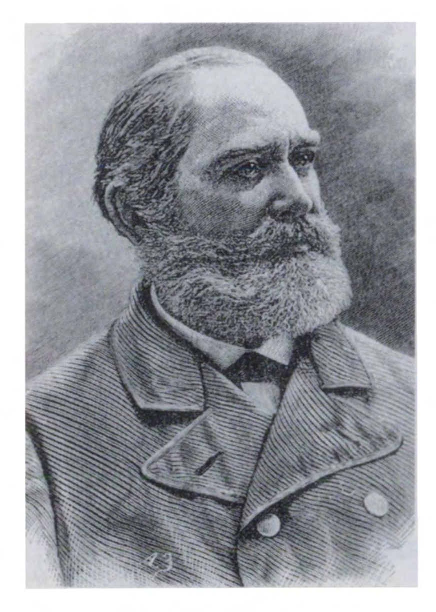
Карикатура Н.А. Степанова на В.Г. Белинского



Н.Ф. Щербина



Н.Х. Кетчер



С.М. Соловьев



А.А. Григорьев



Карикатура Н.А. Степанова на Н.Ф. Щербину с подписью:

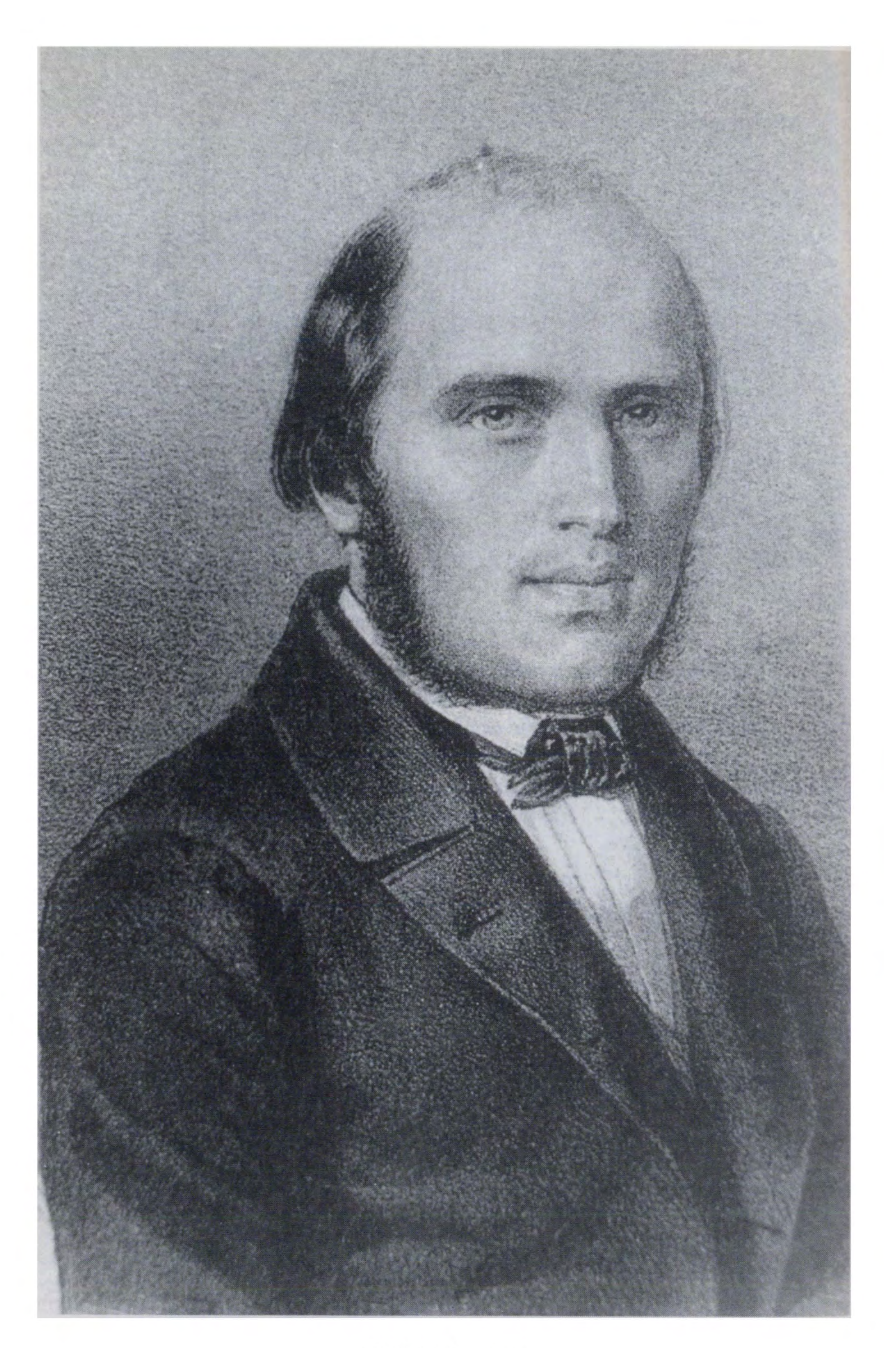
День-деньской на солнце я лежу
Трусь елеем вокруг поясницы
На ворон и на будку гляжу
Да на чухон античные лица –
И твердят на морозе уста:
Красота! Красота! Красота!



Карикатура Н.А. Степанова
на М.П. Погодина и Н.И. Костомарова



Чтение драмы в пяти актах, с интермедией, прологом и эпилогом, под названием «Неистовый Якута и влюбленная маркиза, или Катакомба на Чукотском носу» (Чтоб драма была до конца всеми прослушана, приняты надлежащие меры).
Карикатура Н.А. Степанова



П.Н. Кудрявцев

ПОЛНАЯ

РУССКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ,

ОБРАЗЦЫ КРАСНОРѢЧІЯ И ПОЭЗІИ,

ЗАИМСТВОВАННЫЕ

ИЗЪ ЛУЧШИХЪ ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

Составилъ

А. Галаховъ.

ЧАСТЬ I.

КРАСНОРѢЧІЕ.

МОСКВА.
ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,
при Императорской Медико-Хирургической Академіи
1843.

Титульный лист первого издания книги А.Д. Галахова «Полная русская хрестоматия»

№345

Книга сія, по опред. Комитета рассмотр. учеб. руководствъ может быть одобрена къ новому изданию, съ условием исправлений некоторых неточных мест и исключений [illegible], указанных на стр. 28. 72. 116. 119. 161. 176. 179. 188. [illegible] 196. 198 и 227. — Марта 16 дня 1853 г.

Председатель Ив. Давыдов

Книга сія, с настоящими исправлениями [illegible] к новому изданию, за исключением [illegible]. Июня 24 дня 1853 года.

Председатель Ив. Давыдов

Задаток пятьдесят руб. серебр. [illegible] 15 Сентября 1853. Коллеж. Советник А. Галахов

Пятьдесят рублей получил [illegible] 15 Сент[illegible]

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ у[illegible]коненное число экземпляровъ. Москва, 1851 года, Іюня 16-го дня.

Ценсоръ, *Статскій Совѣтникъ и Кавалеръ* И. Снегиревъ.

Отзыв председателя Комитета рассмотрения учебных руководств И.И. Давыдова о «Полной русской хрестоматии» А.Д. Галахова, представленной к переизданию



Я.И. Ростовцев



А.Д. Галахов в старости

вое место и возбудили глубокую к нему симпатию. Иначе и не могло быть, потому что Тургенев принадлежал к разряду талантов субъективных, то есть состоял в родстве с созданными им героями, представителями тогдашнего образа мыслей, страдал их недугами, был в числе людей слабовольных, не действующих, а размышляющих, заеденных, по его собственному выражению, рефлексией и анализом. С каким интересом читалось и перечитывалось «Дворянское гнездо»! Сколько чувств было возбуждено им, сколько слез оно стоило читателям и преимущественно читательницам[63]! Некоторые места его так сильно действовали на чувства, что приходилось иногда на некоторое время прерывать чтение*. Справедливость высказанного обнаружилась блистательно на публичных чтениях, устроенных в пользу общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым[65]. Первое чтение состоялось 10 января 1860 года в зале Пассажа. Тургенев выбрал из своих сочинений этюд, или, пожалуй, характеристику: «Дон-Кихот и Гамлет». Надобно было присутствовать, чтобы понять впечатление, произведенное его выходом. Он долго не мог начать чтение, встреченный шумными, громкими рукоплесканиями, и даже несколько смутился от такого приема, доказавшего, что он был в то время наш излюбленный беллетрист. Особенное чувство выказывали те посетители, которые, будучи очень хорошо знакомы с его сочинениями, впервые лицом к лицу увидели сочинителя. Короче, львиная часть оваций досталась на долю Тургеневу, и вполне справедливо[66].

Независимо от главного направления своего поэтического таланта, Тургенев обладал и значительною способностью к сатире. Этот в сущности кроткий голубь мог в случае надобности и язвить, как змея. Отрицательное отношение к текущей действительности выразилось всего явственнее в романе «Дым», речами Потугина. Здесь, как говорится, досталось и нашим, и вашим — и западникам, и славянофилам, почему он и не был в авантаже ни у тех, ни у других. Потугин осмеял наших борзых прогрессистов, из которых двое даже поименованы (Шелгунов и Щапов), а третий выведен под вымышленной фамилией Воротилова — того самого (как ходили слухи), в котором автор предсказывал поэта свыше Лермонтова[67]. В Губареве, представителе наших прогрессистов, думали видеть Огарева, но едва ли справедливо: между ними нет никакого сходства, кроме разве того, что их фамилии образуют богатую рифму. Со стороны чита-

*Подобное действие, хотя и не в такой мере, производила повесть г. Григоровича «Антон-горемыка»[64].

телей, видевших в Потугине отсутствие патриотизма, явилась даже следующая эпиграмма на роман:

И дым отечества нам сладок и приятен! —
Нам век минувший говорит.
Век нынешний и в солнце ищет пятен,
И смрадным «*Дымом*» он отечество коптит.

Сочинение этой эпиграммы приписывали князю П.А. Вяземскому[68].

Прибавлю, что еще до появления романа в печати автор читал из него некоторые места в пользу литературного фонда. Чтение происходило в Петербурге, в доме бывшем Бенардаки (на Невском проспекте), и привлекло многочисленную публику. Посетители, даже из числа самых серьезных, не могли удержаться от смеха при характеристике русских людей, живших за границей[69].

Другой образчик сатиры, доведенный до сарказма или пасквиля, Тургенев адресовал к одному из лиц, известных и в службе, и в литературе. Вот первые строки этого злостного послания:

Друг мыслей возвышённых,
Чуть-чуть не коммунист,
Удав для подчиненных,
Перед П[еровски]м* — глист.

Само собою разумеется, такими ядовитыми посланиями наживаются непримиримые враги. Действительно, автор и охарактеризованная им личность сошлись только через многие лета: один — с извинением, другой — с прощением обиды[70].

Отзывы Тургенева о лицах и литературных произведениях выказывают его остроумие меткое и в то же время изящное. Приведу один пример. Узнав, что один из наших талантливых поэтов вместо прежней своей фамилии, с которой уже соединена была его известность, принял другую, он заметил: «Какая жалость! у этого человека было *имя*, а он променял его на *фамилию*»[71]. Кстати, приведу появившееся на этот случай четверостишие:

Как снег вершин,
Как фунт конфект,
Исчезнул...
И стал.....н[72]

*Начальник ведомства, в котором служил А[рапето]в.

Что Тургенев искони и неизменно принадлежал к западникам, что идеалом нашего интеллектуального и политического развития долженствовала, по его убеждению, неизбежно служить Западная Европа, нет ни малейшего сомнения. Это доказывается его спорами с московскими славянофилами, которые, несмотря на несогласие с ним во взглядах, уважали его высокий талант, но еще более его сочинениями, особенно романом «Дым». Беру из него для примера одно место. Прощаясь с Литвиновым, возвращающимся во Россию, Потугин дает ему следующий напутственный совет: «Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации, *в точном и строгом смысле слова*, проводите ли одну из ее идей, имеет ли ваш труд тот педагогический, *европейский* характер, *который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас? Если так — идите смело вперед: вы на хорошем пути, и дело ваше благое*». Ясно, что, по мнению Потугина (или Тургенева), следование по стопам Западной Европы есть sine qua non русского преуспеяния во всех отношениях.

Не помню, кто, где и когда (кажется, г. Марков в газете «Голос» пятидесятых годов) видел причину элегического настроения Тургенева в страхе его при мысли о неизбежной смерти[73]. Настоящее время выразилось бы таким образом, что Тургенев был «пессимист». Действительно, некоторые места его произведений оправдывают такое мнение. Вот, например, какие мысли, говоря его словами, приходили ему на ум в небольшом рассказе «Поездка в Полесье» (1857): «Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается один и тот же голос: «Мне нет до тебя дела, — говорит природа человеку, — я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть». При виде неизменного, мрачного бора глубже и неотразимее, чем при виде моря, проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет — вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братий может исчезнуть с лица земли, и ни одна игла не дрогнет в этих ветвях». Одно из «Стихотворений в прозе», под названием «Природа», подтверждает высказанный взгляд.

Некоторые читатели и критики осуждали Тургенева за отсутствие нравственных принципов, идеала. Это несправедливо и обличает малое вни-

мание читающих. Напротив, у него явственно выражалась высочайшая цель человеческой жизни — альтруизм, любовь к ближним. Почетнейшим титулом каждому из нас служит слово «добрый». «Да, — говорит он в заключении своего прекрасного этюда («Гамлет и Дон-Кихот»), — одно это слово имеет еще значение перед лицом смерти. Все пройдет, все исчезнет; высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений, — все рассыплется прахом. Но добрые дела не разлетятся дымом: они долговечнее самой сияющей красоты; все минется, сказал Апостол, одна любовь останется». Прибавлю к этому еще заключительные слова к рассказу о долгом споре университетских товарищей — Лаврецкого и Михалевича. «А ведь он, пожалуй, прав», — думал Лаврецкий, возвращаясь в дом. Затем говорит автор, то есть Тургенев: многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. *Будь только человек добр — его никто отразить не может*[74]. Этим взглядом объясняется предпочтение, оказанное Тургеневым Дон-Кихоту, в сопоставлении последнего с Гамлетом: «Он живет не для себя, а вне себя, для других; идеал его — истребление зла, водворение истины и справедливости на земле; чтобы достигнуть этой цели, он готов на всевозможные жертвы».

Но недаром говорится: «И в солнце, и в луне есть темные пятна». Были такие пятна и в прекрасной личности Ивана Сергеевича. Наиболее заметные из них обнаруживались в слабоволии, легкомыслии, неустойчивости. Близкие к нему москвичи откровенно замечали ему этот недостаток. Н.Х. Кетчер нередко говаривал ему: «Ты ростом с слона, а душа у тебя с горошину»; В.П. Боткин величал его «Митрофаном». Может быть, отсутствие твердой воли объясняется его дряблым темпераментом, рыхлым телосложением. Этот великорослый человек говорил голосом отрока, часто жаловался на нездоровье и завидовал людям крепким, которые обладали неизменным аппетитом и надлежащим пищеварением. Холеры боялся он паче всего и немедленно бежал из тех мест, куда она направлялась. Вот один из примеров, подтверждающих вышесказанное. Тургенев был коротко знаком с известной писательницей Евгенией Тур, относился с большой похвалой о ее романе «Племянница» и даже вызвался написать разбор его. Так было в Москве, но не так вышло в Петербурге, среди издателей «Современника», которые не жаловали автора «Племянницы»: под их внушением критическая статья вовсе не отвечала тому, что критик говорил в Москве[75]. Иногда, Бог знает почему, Тургенев высказывал мнение, прямо противоположное тому, что он действительно думал. К чис-

лу таких выходок принадлежит его отзыв о предприятии П.В. Анненкова издать сочинения Пушкина, приведенный г-жою Головачевой-Панаевой в ее «Воспоминаниях»: Анненков ни с того, ни с сего обзывается кулаком, круглым невеждой, а изданию его предсказывается позор; Некрасову же делается выговор, что он упустил случай взять на себя издание[76]. Все это не согласно с настоящею мыслью Тургенева: он отлично знал, что Некрасов, хотя и крупный поэтический талант, не мог по своему недостаточному образованию удовлетворительно исполнить предприятие, тогда как Анненков, хотя и не поэт, но обладавший метким поэтическим чувством и надлежащими знаниями, сумеет удовлетворить ожидания публики, что он действительно и сделал, приложив к изданию «Материалы» для биографии Пушкина. Зачем же он говорил против своего убеждения? Да так — ни с того, ни с сего. Иногда — что греха таить? — он и о себе, и о других рассказывал небывальщину, почему Белинский и называл его импровизатором. Далее, Тургенев не жаловал Добролюбова за «Свисток» (в «Современнике»)[77], направляемый безразлично одесную и ошую, на хорошее и дурное. Я помню, что на обеде у одного из офицеров генерального штаба он укорял его за отсутствие идеалов в суждениях о литературе, что дурно действовало на молодежь, а в одном из заседаний комитета литературного фонда он напал на Кавелина за его сочувствие к «Свистку»: «Нашего брата в грязь топчут (выговаривал он ему), а вы хохочете и своим хохотом одобряете безобразие». Но в других подобных тому явлениях Тургенев оставался молчалив и равнодушен, как бы потакая им или даже поощряя их своим равнодушием. Наконец, более и более редкое появление его на Руси, более и более сильное стремление за границу, преимущественно во Францию, а здесь преимущественно в семейство Виардо, вместе с неясностью его отношений к лицам разных политических и социальных учений, смущало его почитателей и отчуждало его от единоземцев. Конечно, он любил Россию, но уже любил ее издалека, не быв свидетелем, что с ней делается за последнее время его жизни. Неуспех его романа «Новь» обнаружил невозможность изображать новые движения народной жизни заочно, по слухам или газетам*. Наряду с его знаменитостью стали имена Достоевского и графа Л.Н. Толстого, а в

*По выходе этого романа явилась следующая эпиграмма:

Твердят, что новь родит сторицей;
Но, видно, плохи семена
Иль пересохли за границей:
В романе «*Новь*» — полынь одна[78].

настоящее время и превысили ее, судя по журнальным отзывам. Заметим, однако ж, что Тургенев и за границей оказал несомненную услугу нашей поэзии, познакомив с нею французов и раскрыв им существенное ее свойство, состоящее в том, что она имеет своим предметом и целью — правду жизни.

5

С Николаем Федоровичем Щербиной познакомился я в конце пятидесятых годов в Петербурге. Он часто посещал мое семейство по четвергам, в день, назначенный для приятелей и знакомых. Каждый приход его был праздником для наших гостей, так как он угощал их произведениями своей сатирической музы, имевшей в виду преимущественно пишущую братию. К.Д. Кавелин помирал со смеху, слушая сочиненное им на славянском диалекте «Сказание о старце Михаиле»*[79]. Впечатлению не мешал даже природный недостаток автора — заикание: напротив, оно сообщало особую оригинальность рассказчику, который сохранял полнейшую серьезность. Случалось, что у него экспромтом являлись эпиграммы на некоторые знакомые лица, и плодом такого внезапного вдохновения он тотчас делился с присутствующими. Таково, например, четверостишие на Л[авро]ва, преподавателя математики в военно-учебных заведениях, занимавшегося, кроме того, философией и даже покушавшегося занять кафедру этого предмета в С.-Петербургском университете:

Он Пилат студентской дружбы**.
Он философ наших лет,
Он полковник русской службы,
Русской мысли он — *кадет*[80].

Кто знал Л[авро]ва, тот вполне признает меткость и верность последнего стиха.

Вот характеристика одного из поэтов, или, вернее, поэтиков: «Это — благонамеренная, прогрессивная в гуманном и социалистическом направлении посредственность; это — канарейка, поющая с органчика социализма, пауперизма[81], гуманизма, прогресса, — канарейка, постоянно верная вначале принятому ею камертону». Нередко приходилось ему в гостях схватывать что-либо забавное и тут же выражать его оригинальным

*М.П. Погодин.
**Относится к тогдашним сходкам и волнениям студентов.

образом. Однажды, сидя на диване, он облокотился на шитую подушку, очень туго набитую, жесткую: «Это не подушка, — сказал он, — а “Путь ко спасению”»*. Заметив понижение деятельности одного из самых почтенных профессоров, он охарактеризовал его именем новиковского журнала «Покоящийся трудолюбец»[83]. О сотрудниках «Москвитянина» сороковых годов (иначе «молодой редакции» этого журнала) он говорил: «Это не славянофилы, а спиртофилы». Редакция не осталась в долгу: она отвечала удачной эпиграммой. Зашла как-то речь о привычке редактора одного из лучших журналов ежедневно гулять по Невскому проспекту в 8 или 9 часов утра. «Неправда, — возразил Щербина, — он гуляет лишь в те дни, когда камердинер ему докладывает, что в воздухе пахнет пятиалтынным»[84]. Всем известно его стихотворение к тени Булгарина, с просьбой решить, кто из двух тогдашних литераторов продажней и подлей[85]. Особенно забавен был рассказ Щербины о том состоянии, в каком он обретался на вечерах у одной писательницы-поэтессы, любившей читать произведения пера своего[86]. Скука одолевала присутствующих, но не дождаться конца чтению было невежливо. Щербина решился прибегнуть к хитрости: он начал садиться у двери, ближайшей к выходу, чтобы, улучив добрый момент, скрыться незаметно. Раза три стратагема[87] удавалась, но потом хозяйка заметила ее и приняла свои меры: она клала бульдогов у обеих половин выходной двери. Как только Щербина привставал, намереваясь дать тягу, так бульдоги начинали глухо рычать и усаживали его снова в кресло...[88]

Дорожа талантом привлекать внимание слушателей своими рассказами, Николай Федорович имел слабость завидовать тем, которые могли состязаться с ним, а иногда и превосходить его в том же искусстве. Однажды среди разгара его сатирического красноречия посетил нас И.А. Гончаров, воротившийся из своего путешествия[89]. Разумеется, он заполонил внимание гостей любопытным рассказом о виденных им странах, так что Щербина, как говорят теперь, стушевался. Я взглянул на него: он был печален и вскоре ушел.

При выдающейся наклонности к сатире Щербина обладал верным чувством изящного, что и доказал как оценкой появившихся произведений наших поэтов, так и собственными стихотворениями, которые не были заурядными, но выдавались и внешней формой, и чувством или мыслью. Автор их действительно принадлежал к числу мыслящих и по взглядам

*Сочинение Федора Эмина[82].

своим склонялся всего более к славянофилам. Он преследовал каждого прогрессиста, который восхищается всем новым потому только, что оно ново, и который выставлен на посмешище словами поэта:

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет[90].

Щербина уважал предание и ценил лишь тот прогресс, который совершается на основании историческом, без разрыва с прошлым. На этом пункте он разделял взгляды Хомякова, Аксакова и Киреевского. Свидетельством этого, между прочим, служит изданная им книга «Пчела», то есть сборник для народного чтения и для употребления при народном обучении[91]. Самое название напоминает древнерусскую литературу. Содержание книги расположено по важнейшим предметам любознательности и душевной пользы русского человека, коренные стихии которого сохранились среди простого народа. Книга состоит из четырех отделов, и один из них «общеславянский», заключающий в себе сведения о славянах вообще, о Кирилле и Мефодии, некоторые песни болгар, сербов, словаков, чехов.

6

Кудрявцев (Петр Николаевич) по характеру и образованию не походил ни на своих друзей и одномысленников, ни на лиц другого направления. Он чтил в особенности Грановского, который, с своей стороны, относился к нему с любовью и уважением; он состоял также в неизменно дружеских отношениях к Каткову и Леонтьеву, но вместе с тем отличался от них, в свою пользу, существенными качествами. Это была личность исключительная, человек-особняк.

Одаренный врожденным изяществом, он еще с детства выступал из среды своих сверстников, привлекая к себе мягкостью нрава, пристойностью обращения, какою-то степенностью или серьезностью. В нем не было ничего резкого, порывистого, безрассудного, свойственного почти всем его сверстникам, или, по крайней мере, большинству их. Рано лишась матери, он в отце своем, священнике Даниловского монастыря (в Москве)[92], нашел умное и попечительное о себе радение, в котором долг отца совмещался с нежною любовью матери. Сын платил ему тою же монетою.

В школе (духовной семинарии) он держал себя исключительно, вовсе не похоже на поведение своих товарищей. Учился он, разумеется, очень хорошо, но не в этом главное его отличие: важно то, что он не старался выказывать ни учителям, ни товарищам своих знаний. Он не был тем, что называется «выскочка»: спрашивал его преподаватель — он отвечал; не спрашивал — он не поднимал руки, по тогдашнему школьному обычаю, давая тем знать, что я, дескать, знаю урок, а товарищи мои не знают. Таким обычаем, может быть, и поощряется школьный успех, но в то же время развивается тщеславие, корыстное соревнование, из малых ребят готовящее взрослых членов общества, любящих подставлять ногу своим сослуживцам.

Чувство долга глубоко лежало в его душе. Как в собственном образовании на всех его ступенях он был исполнителен, так впоследствии и в своей педагогической практике он относился к своему делу сериозно, не дозволяя себе манкировать принятою на себя обязанностью или относиться к ней кое-как. В этом отношении он был истый «классик», тогда как его сослуживцы отличались «романтизмом», то есть нередким отлыниваньем от уроков под разными предлогами.

Петр Николаевич принадлежал к натурам сосредоточенным. Он не любил распахиваться не только перед незнакомыми, но даже и перед людьми, ему близкими, чем капитально отличался от москвичей, падких на сближение с новыми лицами, легко переходящих от вежливого *вы* к бесцеремонному *ты* и лезущих с первого же визита на дружбу или даже в родство. Он знал, чем большею частию оканчивалось такое быстрое, закадышное знакомство. Происходило это у него не от застенчивости или нелюдимства, а оттого, что он дорожил своими задушевными связями и сходился лишь с такими личностями, которые были ему по плечу в отношении двоякого ценза — образовательного и нравственного.

Вследствие такой прирожденной замкнутости внутренний мир Петра Николаевича туго поддавался точной характеристике. Один из повествователей среднего разряда вывел его в каком-то рассказе, который и отправил к Белинскому, прося его выразить свое мнение. «Вы напрасно, мой милый, — отвечал ему критик, — воображаете, что личность Кудрявцева может быть легким сюжетом для психического анализа: ее надобно узнать да узнать, а это не скоро дается»[93]. Жалко, что такой умный человек, как П.В. Анненков, не познакомившись с Кудрявцевым обстоятельней и увидев его впервые у Белинского, назвал выражение лица его «камен-

ным»*. Он сильно ошибся: трудно было найти человека, который бы принимал более живое участие в горе, постигавшем не только его друзей, но и простых знакомых. Все, сходившиеся с Петром Николаевичем, никогда не расходились с ним.

С первых шагов самопознания (а это началось очень рано, чуть ли не в отрочестве) Кудрявцев стал запасаться негодованием на косность ума и нравственного совершенствования, на стеснение разумной воли, стремящейся к лучшему устройству жизни. Иначе и быть не могло, принимая в соображение даровитость субъекта и коренные отличия того сословия, к которому субъект принадлежал по рождению. Сословие это обреталось под строгой дисциплиной высших своих членов. Примеры такой безусловной подчиненности Кудрявцев легко мог видеть на своем отце, переносившем те или другие стеснения, а также и в школе, где первоначально обучался. Вот почему, снисходительный и гуманный, он был неуступчив, когда дело шло о покушениях на образ мыслей, на идеи и принципы. В семействах того сословия, о котором здесь говорится, он встречал также примеры тяжелого ярма. Родные и двоюродные сестры Петра Николаевича горячо любили его, находя в его обхождении с ними прямую противоположность с обхождением других членов семьи: отцов, братьев, мужей. Со стороны его — неизменная снисходительность и любовь, со стороны других — вкоренившийся обычай брутального отношения силы к слабости. Незавидная участь одной из его родственниц изображена им в повести «Без рассвета»[95].

Из того же источника, то есть из сочувствия к притесняемым, происходила в его ученых занятиях особенная наклонность к судьбам национальностей, находившихся под чужеземным гнетом. Такова была судьба тогдашней Италии, истории которой он посвятил первый свой труд**. Так называвшийся тогда «италианский вопрос» стал его любимою темою, а всецелое возрождение Италии — твердым убеждением. На это возрождение смотрел он как на торжество исторической правды. Но, будучи врагом всяких насильственных распоряжений и непрошеного чуждого вмешательства, он хотел бы предоставить самому народу устройство его судьбы. По его мысли, Италия могла быть способною на это при более благопри-

*Воспоминания и критические очерки, отдел III, стр. 134[94].

**«Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим»[96].

ятных обстоятельствах, и потому он стоял на стороне того мнения, которое выражалось поговоркой: «Италия управится сама собой» (fara da se).

По возвращении его из-за границы (1846 г.), замечали в нем какое-то меланхолическое настроение и объясняли это частию его нездоровьем, частию чувством скрываемой любви. Допуская в известной мере действие этих причин, следовало бы не забывать третьей, более разумной причины: то была благородная туга сердца при сознании разлада между текущею жизнию и разумными началами иной, лучшей жизни. Его тяготили в особенности те из современных событий, которые и у нас, и за границей обращали вспять успехи цивилизации. При таком положении дел немудрено было терять веру в разумный прогресс. Но в столетний юбилей Московского университета (1855 г.) Петр Николаевич заметно повеселел. Это было не без причины. Почет, оказанный в лице старейшего из наших университетов науке и служителям ее, прояснил его душу и лицо, ободрил его. Он мирил его с тяжелою памятью прошлого во имя надежды и доверенности к будущему. Вслед за Грановским выдвигался и он на ученое поприще. Оба они привлекали к себе любовь учащейся молодежи и внимание развивавшегося общественного мнения. Имена их становились рядом по благородству направлений. И когда Грановский преждевременно сошел в могилу, Петр Николаевич, по всем правилам, заступил его место в университете и в сердцах слушателей: он достойно держал кафедру на высоте, поставленной покойным профессором, его наставником, товарищем и другом. Учащаяся молодежь никого так не любила, как этих двух преподавателей истории, потому что видела в их обращении благосклонность к себе и искреннее желание пользы[97]. И Кудрявцев и Грановский допускали к себе студентов по воскресеньям, беседовали с ними о новых сочинениях по предмету истории и даже снабжали их книгами из своих библиотек. Другие профессоры, тоже достойные во всех отношениях, осуждали такой обычай, находя, что он отнимает у них время, нужное для их собственных трудов или отдыха, и притом слишком сближает учащих и учащихся, дает последним поблажку в обращении. Может статься, и есть в этих словах известная доля правды, но когда вспомнишь, что вслед за Грановским занимали кафедру истории такие лица, как Кудрявцев, Ешевский, Герье, то отнесешься к принятому обычаю с великим уважением и благодарностью.

Стойкость убеждений соединялась в нем с удивительным благодушием. В нем не было ни малейшего упрямства или грубости, которым час-

то подвержены личности прямые и честные, но в то же время неприятно отталкивающие от себя манерами своего обхождения, как бы из желания выказать себя Катонами. Петр Николаевич от природы чуждался такого катонства: он был образцом снисходительности в кругу личных отношений, отчего и пользовался не только горячей привязанностью своих единомышленников, но и уважением тех, которые думали иначе. До какой степени доходила его гуманность по отношению к личности, на какой бы ступени общества таковая ни стояла, можно судить по следующему факту. В первый год своего супружества он проводил лето в Останкине, подмосковном имении графа Шереметева. Однажды, после вечернего чая, бывшие у него в гостях короткие знакомые отправились гулять. Отошедши недалеко от дачи, супруга его вспомнила, что она забыла взять с собою ключи от комода, в котором хранились деньги и некоторые ценные вещи. Не надеясь на честность своей прислуги, она просит Петра Николаевича вернуться и принести ключи. «Как же, мой друг, теперь это сделать? — возразил он. — Ведь это неловко, совестно». К этим словам нечего прибавлять. Петр Николаевич скорее согласился бы лишиться денег, чем оскорбить прислугу подозрением, может быть, незаслуженным.

Во взгляде Петра Николаевича на мироустройство проглядывал пессимизм. Он часто видел в жизни действие слепого случая, бессмысленных сил, губящих человека без надежды на исцеление. Ужасная болезнь жены и неожиданная смерть ее во цвете лет поразила его[98]. Он спрашивает себя в недоумении: «Что это такое — слепой случай или наказание, имеющее какой-либо смысл? Если это неразумная сила, то откуда в ней столько рассчитанной жестокости? А если она разумна, то как может быть столько жестокою?» И затем прибавляет: «Нам ли хотеть обманывать себя? Дети ли мы, чтоб закрывать себе глаза на наши прирожденные немощи и на законы, над нами господствующие? Испытавши на деле их неумолимость, опять ли тешить себя розовыми теориями и на воздухе построенными мечтами?»[99] Но еще прежде того, до своего несчастия, он думал так же, что доказывается следующим местом в письме к одной из бывших его учениц. Выразив желание себе быстрой смерти, не предшествуемой никакой злостной болезнью, он останавливается и говорит: «Куда зашел я! как будто все это в нашей власти? как будто нет над нами судьбы, которая хотя и вовсе не дальновиднее нас, видит вперед менее нашего, однако по самой слепоте своей часто смешивает нас с деревьями и кремнями и вовсе неожиданно дает нам щелчки, от которых не устояло бы и креп-

кое дерево. Здесь упала она грозою и сожгла целое селение; там, на море, разыгралась она бурею и потопила целый корабль со всем его живым грузом, без разбора праведника от неправедника; там промчалась язвою, там пронеслась голодом, а вот, недавно еще, зашевелившись под землею, почти опрокинула вверх дном целый город — людей наравне с домами. Неужели она пошутила над ним с *мыслью*? Неужели с мыслью истребила она Лиссабон, сгладила с лица земли Помпею, залила Нидерланды и проч., и проч... Но, право, в такой мысли я ровно ничего не смыслю... и молчу».

7

Из всего персонала московских профессоров и литераторов ни с кем нельзя было так легко познакомиться, как с Михаилом Петровичем Погодиным[100]. Это зависело от его общительности и простоты обращения, чуждого каких-либо церемоний. Могло статься, что в этом свойстве отражалась и сущность сословия, к которому он принадлежал по рождению и которому неведомы осторожность и раздумье при завязывании знакомств[101]. Другое похвальное свойство Погодина выказывалось в отношениях к лицам, высшим его по какому-либо значению: он обращался с ними без боязни, говорил свободно, не понижая голоса, даже часто разноречиво с ними в обсуждении каких-либо вопросов. И.И. Давыдов изумлялся такой отваге, особенно в то время, когда он вместе с другими лицами (в числе которых находился и Михаил Петрович) гостил у графа Уварова в его Тускулуме[102], то есть селе Поречье: «Я не позволю себе, — говорил он, — обращаться так развязно с лицом, выше меня стоящим: как я могу забыть, что это лицо — министр и мой начальник?» Так рассуждал выдающийся профессор, имевший уже генеральский чин и звезду. У него и на медной доске, прибитой ко входной двери, было вырезано: *действительный статский советник* Иван Иванович Давыдов.

С таким-то общедоступным человеком, как Погодин, я познакомился в первый год издававшегося им «Московского вестника» (1827)[103]. Я объявился к нему с небольшой статейкой (под названием «Четыре возраста естественной истории»), чуждой содержания, то есть научного интереса, но написанной недурным стилем, под влиянием так называвшейся «павловщины», то есть лекций М.Г. Павлова, любимого профессора в физико-математическом факультете. В это же время я увидел и С.П. Шевырева, вместе с Погодиным жившего и работавшего для журнала.

Второй визит Погодину был сделан лет через пять после первого, в 1831 или 1832 году. В это время он жил на Мясницкой улице в собственном доме, купленном у князя Тюфякина[104]. Дом перестроивался или обновлялся по указанию нового владельца, к которому ввели меня по накладным доскам в верхний этаж: здесь он сидел в небольшой комнате, за маленьким столом, оглушаемый стуком плотничьих топоров и криком рабочих. Разговор наш по поводу издания альманаха «Сиротка» (1831) в пользу малолетних, оставшихся без приюта по смерти их родителей от холеры и помещенных на время в доме князя Павла Павловича Гагарина[105], беспрестанно прерывался появлением рыжего мужика, может быть, подрядчика. «Что тебе надобно?» — спрашивал Погодин. «Пожалуйте гвоздей: все вышли». — «Каких тебе нужно: больших или средних?» — «И тех и других». — «По скольку?» — «По стольку-то». И Михаил Петрович, нисколько не смущаясь, в самом веселом и добром расположении духа, выдвигал ящик своего рабочего стола и отсчитывал требуемое число гвоздей. Тут я заметил, что на его месте я бы не стал доверяться подрядчику, помня пословицу: «Красный — человек опасный». «Нет, не беспокойтесь: я хорошо знаком с простым народом и по физиономии тотчас отличу плута от надежного, совестливого малого. Мой подрядчик в числе второго разряда».

Такою способностью совмещать две совершенно разнородные вещи: выдачу гвоздей плотникам и изложение на бумаге своих мыслей — некоторые, шутки ради, объясняли происхождение излюбленных Погодиным афоризмов. В самом деле, часто отрываемый от письма приходом подрядчика, он был вынужден ставить точки там, где фраза еще не оканчивалась: отсюда крайне несвязная речь, совершенно противоположная периодическому строю. Но это не афоризмы, которые выражают известные мысли, хотя и в немногих словах, но ясно, определенно и связно. У Михаила Петровича не то: у него, сплошь и рядом, предложения обходятся без подлежащих и сказуемых, и, однако ж, каждое замыкается точкой. Это, скорее, — лаконизмы, оригинальные по своему строю, выходящие за пределы надлежащей краткости. Вот несколько образчиков: «Известие о болезни батюшки. Туда. Умер» (то есть: получил известие о болезни отца. Надобно ехать к нему, но уже поздно: батюшка уже скончался). «В университет. С Кубаревым мимо Снегирева. Все гусем к Уварову». «Скучная лекция. Хандра. Для рассеяния к Аксаковым. Анекдо-

ты Пущина о Павле и Суворове. В бостон»*. Читателей поражала такая форма и давала повод к пародиям. Наиболее удачная вышла под псевдонимом Ведрина (Герцена)[107]. Граф Строгонов, прочитав ее, заметил: «Будьте уверены, господа, что Михаил Петрович сочтет ее своим собственным произведением». В похвалу Погодину необходимо прибавить, что он не сердился на подобные выходки и даже смеялся, если пародия выходила забавною. Но отзывы о книге «Год в чужих краях» (1844) огорчили его. Один из них, написанный Н.А. Полевым, помещен в петербургском журнале, в каком именно не припомню[108]; другой, явившийся в «Отечественных записках»**, принадлежит мне. Каюсь искренно и сильно в этом проступке. Что делать? Тогда он считался делом похвальным, обязательным, услугой известному направлению. Всему виною литературная партия. Погодин, видите ли, принадлежал к славянофилам, а сотрудники «Отечественных записок», где я постоянно участвовал, к западникам: отсюда гнев и немилость[109]. Погодин принес на лекцию обе статьи. Он начал ее изложением своих трудов по истории, литературе, изданию журналов и затем прочел наиболее выдающиеся места рецензий, где он подвергался глумлению. Чтение закончилось таким выводом: «Вот, милостивые государи, что я выслужил за мои многолетние труды! Вот как у нас награждается честная, добросовестная деятельность!»[110]

Приведу остроумную заметку Хомякова об одном рассказе Погодина из его заграничной поездки. Приехав на какую-то станцию с своей супругой, путешественник заказал выпускную яичницу[111] и жареную курицу. Он думал, что остановка будет такая же продолжительная, как на наших железных дорогах. Вдруг раздается звонок. Яичница была уже скушана, а курица осталась до следующей остановки. Обо всем этом Михаил Петрович счел нужным довести до сведения читателей. При свидании с ним Хомяков начал пенять ему: «Как тебе не совестно, любезный друг, потчевать публику такими пустяками! Какой интерес в том, что вы скушали выпускную яичницу, а жареную курицу взяли с собой? Вот если бы вы курицу скушали, а выпускную яичницу взяли с собой, это другое дело, этим следовало бы поделиться с публикой»[112].

Погодин принадлежал к разряду людей неробких. Отважность свою он, между прочим, доказал вызовом Костомарова на ратоборство по вопросу о происхождении Руси, для чего и приехал в Петербург. Известно, что в

*Жизнь и труды М.П. Погодина[106].
**1844 года, № 9.

своей магистерской диссертации (1825)[113] Погодин ведет Русь от племени норманнского, обитавшего в нынешней Швеции. Костомаров через 35 лет, именно 1860 года, в брошюре «Начало Руси» доказывает, напротив, что славяне призвали князей из руси литовской (иначе жмуди, жившей на берегу реки Руси). Решаясь на состязание, Погодин, разумеется, не мог льстить себя надеждой на успех: он знал, что Костомаров пользуется особенною любовью своих слушателей, которые не дадут его в обиду, а поддержат его своим сочувствием и аплодисментами. Зрелище вышло интересное и знаменательное, усложненное особыми обстоятельствами того времени (т.е. польскими волнениями).

Ареною для состязания отведена была огромная зала в университете. Поставили в ней две кафедры, одну против другой, чтобы ратоборцы могли ясно слышать обоюдные возражения и опровержения. Зрителей ожидалось немало, почему П.В. Анненков и я поторопились приходом и заняли очень удобные места на первой скамье, у самой кафедры, назначенной для Погодина. Третьим присоединился к нам И.И. Срезневский. «Вот как отлично устроились! — подумали мы. — Будем лицезреть Погодина, хотя не en face[114], а в профиль, ни одного словечка его не пророним и, кроме того, в случае какого-либо казуса найдем покровительство в нашем соседе, профессоре». Но надежда наша оказалась преждевременной. Едва мы уселись, как человек двенадцать студентов, рослых и бравых юношей, по два в ряд промаршировали к кафедре и расположились у ней с трех сторон, так что мы могли только слышать Погодина, но не видеть его. Другая дюжина студентов точно так же расположилась у кафедры Костомарова.

Во время диспута обнаружилось, что обе дюжины имели своим назначением подавать сигналы товарищам, поместившимся на хорах, когда и кому именно надлежало рукоплескать или шикать. Случалось, что вестовые, не расслышав или не поняв, о чем идет дело, давали сигналы невпопад и затем били отбой. Это смешило зрителей, невольно вспоминавших поговорку: «Ordre, contre-ordre, désordre»[115].

В числе лиц, пришедших на диспут, было немало поляков, которым, конечно, было лестно удостовериться, что наши первые правители были литовцы.

На третьей или четвертой скамье сидели два офицера генерального штаба, польского происхождения. Один из них (С[ераковский]) с бумагой в руке тщательно записывал ход диспута, чтобы потом в газетном фельетоне пробить в набат победу, одержанную Костомаровым[116]. Впро-

чем, последнему доброжелательствовали не одни поляки и малороссы, но и великороссы. Профессору Казанского университета г. Буличу, находившемуся в это время в Петербурге, пришлось сидеть рядом с одним почтенных лет помещиком, который до того увлекся симпатией к Костомарову, что, не стесняясь, вслух выражал ему одобрение, а противнику его порицание. Когда Погодин прервал объяснения Костомарова каким-то замечанием, помещик не вытерпел и, обращаясь к кафедре Погодина, заговорил: «Ты погоди отвечать; ты прежде выслушай возражения».

Чем же кончился диспут?.. К нам подошел князь П.А. Вяземский с следующим остроумным замечанием: «Говорят, что мы прогрессируем в науке, но едва ли это справедливо; сегодняшний диспут доказывает противное: прежде мы хоть не знали, *куда* идем, но зато знали, *откуда* идем; а теперь не знаем *ни того, ни другого*».

Кроме того, в одном из сатирических изданий явилась забавная карикатура, как бы выражающая результат прения: под портретами трех князей — Рюрика, Синеуса и Трувора — красуется подпись: «Не помнящие родства»[117]. Наконец, в газете «Голос», помнится, г. Бергольц[118] доказал всю несостоятельность лингвистических доводов Костомарова в пользу мнения о призвании славянами князей из руси литовской[119].

8

Несколько лет сряду вакационное время (три месяца) проводил я в одной из прекрасных окрестностей Москвы — в селе Покровском, принадлежавшем Глебову-Стрешневу, который и сам переезжал сюда из города на четыре-пять месяцев. Рядом с нашей дачей помещалось почтенное, всеми уважаемое семейство Сергея Михайловича Соловьева, профессора русской истории в Московском университете. Воспоминание о знакомстве и беседах с ним доставляет мне и теперь душевную радость, омрачаемую печальною мыслию о том, что это *было*, а теперь этого *нет*.

Я был знаком с отцом Сергея Михайловича, священником в московском коммерческом училище, где он преподавал Закон Божий[120]. Из разговоров с этим образованным и добрейшим служителем церкви я узнал много интересных фактов об отношениях белого духовенства к своему начальству, трудно совместимых с истинным гуманизмом и естественно возбуждавших неудовольствие и тайный ропот. Впоследствии сын его подтвердил справедливость рассказов и сетований своего отца.

По трудолюбию, неизменности в распределении времени для своих работ и точности их исполнения Сергей Михайлович мог служить образцом. Все удивлялись ему, но никто не мог сравняться с ним в этом отношении. Отсутствие аккуратности, постоянства в делах было в большинстве случаев ахиллесовой пяткой москвича; у него же, сказать без преувеличения, ни минуты не пропадало напрасно. Вот как он проводил шесть рабочих дней в неделю. В восемь часов утра, еще до чаю, он отправлялся иногда один, но большею частию с супругой, через помещичий сад в рощу, по так называемой Елизаветинской дорожке, в конце которой стояла скамейка. Он садился на эту скамейку, вынимал из кармана нумер «Московских ведомостей», доставленный ему накануне, но не прочитанный тотчас по доставке, так как это чтение оторвало бы его от более серьезного занятия: чтение газеты, как легкое дело, соединял он с прогулкой, делом приятным. Обратный путь совершался по той же дорожке. Ровно в 9 часов он пил чай, а затем отправлялся в мезонин, где и запирался в своем кабинете: именно запирался, погружаясь в работу до завтрака, а после завтрака до обеда. Никто в эти часы не беспокоил его, вход воспрещался всем без исключения. Близкие его знакомые нередко удивлялись такому ригоризму, даже подсмеивались над ним. Иногда они спрашивали дочку его (в то время шестилетнюю): «Верочка, сколько раз ты была у папаши в кабинете?» — «Ни разу», — отвечала она. Конечно, очень немного таких отцов, которые запретили бы детям входить в свою рабочую комнату, но, с другой стороны, еще меньше таких, которые оставили бы после себя *двадцать девять* томов отечественной истории и томов *десять*, если не более, других ученых трудов.

Воскресный день был для нашего историка истинной субботой, то есть «покоем». Утром он ходил к обедне с своим семейством, а затем освобождал себя от всяких занятий и проводил время в кругу близких людей, преимущественно товарищей по университету, приезжавших к нему на обед и остававшихся до позднего вечера. Почти каждое воскресенье бывали у него Ешевский (живший тоже некоторое время в Покровском), Попов (Н.А.), Кетчер, Корш (В.Ф.), Дмитриев, Забелин, Афанасьев и многие другие. Иногда навещали его приезжие из Петербурга, например К.Д. Кавелин. Все и всегда находились в самом приятном, веселом расположении духа. Говор и хохот почти не умолкали. Сам хозяин подавал пример своим искренним, задушевным, почти что детским смехом, который был свойствен москвичам того времени, но которого теперь — увы! — не услышишь не только среди людей пожилых и степенных, но даже

в кругу безбородых юношей. А если завязывался спор, то уж это был спор на славу — громкий, жаркий и продолжительный.

Кроме занятий по капитальной своей работе (истории) Соловьев сотрудничал в двух петербургских журналах: «Отечественных записках» и «Современнике»[121]. Гонорар за статьи служил ему добавочным, или, как он говорил, прибавкой *на кашу*. Писал он эти статьи по вторникам (для «Отечественных записок») и пятницам (для «Современника»), от такого-то часа до такого-то. Но, как только наступит положенный предел работе, он, несмотря ни на что, бросал ее, хотя бы не дописал начатой фразы, не перенес половины слова из одной строки в другую. Может быть, это и выдумано или преувеличено шутки ради, но ведь только такою точностью и доводят дело до желаемого, благополучного конца.

В университете Соловьев держал себя самостоятельно и неизменно, основываясь в своих действиях на известном принципе. Он, конечно, принадлежал к партии Грановского, но вполне сохранил свою независимость и в некоторых пунктах расходился с ним, например, в понятии об отношениях профессора к его слушателям: он не допускал сближения с студентами, а держал их в известном от себя расстоянии. Профессор, говаривал он, обязан приносить пользу единственно своими лекциями в аудитории, а не беседами на дому — последние отнимают только время, нужное ему для лучшего приготовления первых и для необходимого отдыха в семействе. Замечено притом, что этот обычай посещения влечет за собою нежелаемые последствия с обеих сторон: многие студенты являются не с целью приобрести какие-либо новые сведения, а ради приятного провождения времени — поболтать о чем-нибудь, покурить, посмотреть на житье-бытье своего наставника; а со стороны наставника возникает покушение привлечь к себе молодежь, быть ее любимцем, сделаться популярным. Если студенту нужно спросить у меня что-нибудь, я к его услугам в университете по окончании лекции. Поэтому Соловьев осуждал Грановского и еще больше Кавелина, не державшихся такого мнения, хотя был с обоими* в очень хороших отношениях. На Кавелина смотрел он как на «предвечного младенца» (прозвище, данное ему Грановским), признавал в нем большие таланты, но в то же время осуждал неустойчивость его мнений и поступков, объясняя ее врожденным легкомыслием, а внешним знаком этого легкомыслия считал вьющиеся волосы. «Курчавые, — говорил он смеясь, — все без исключения легкомысленны».

*С последним до студенческих историй в начале шестидесятых годов[122].

9

Припомню несколько моих свиданий с Гоголем. Первое относится к тому времени, когда вслед за «Вечерами на хуторе близ Диканьки» явились «Арабески» и «Миргород»[123]. Автор их приехал в Москву, где у него уже было немало почитателей. В числе их, кроме Погодина и семейства Аксаковых, состоял и короткий их знакомый, А.О. Армфельд, профессор судебной медицины и в то же время инспектор классов в Николаевском сиротском институте, где я преподавал историю русской словесности. Он пригласил на обед близких знакомых, в том числе и меня, жаждавших лицезреть новое светило нашей литературы. Обедом не торопились, зная обычай Гоголя запаздывать, но потом, потеряв надежду на его прибытие, сели за стол. При втором блюде явился Гоголь, видимо смущенный, что заставил себя долго ждать. Он сидел серьезный и сдержанный, как будто дичился, встретив две-три незнакомые личности. Но когда зашла речь о повести Основьяненки (Квитки) «Пан Халявский», напечатанной в «Отечественных записках»[124], тогда и он скромно вставил свое суждение. Соглашаясь с замечанием, что в главном лице (Халявском) есть преувеличения, доходящие до карикатуры, он старался, однако ж, умалить этот недостаток. Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что он в невыгодном отзыве о Квитке видел как бы косвенную похвалу себе, намерение возвеличить его собственный талант. Вообще он говорил очень умно и держал себя отлично, не в пример другим случаям.

Вторая встреча устроилась в том же доме. Хозяин (Армфельд) играл в карты с С.Т. Аксаковым, а Гоголь, обедавший с ними, спал на кровати. Проснувшись, он вышел из-под полога, и я был представлен ему как искренний поклонник его таланта, знакомивший институток с его сочинениями, которые читались мною по вечерам в квартире начальницы, разумеется, с исключением некоторых мест, не подлежащих ведению девиц. Гоголь, бывший в хорошем расположении духа, протянул мне руку и сказал, смеясь: «Не слушайтесь вашего инспектора, читайте все сплошь и рядом, не пропускайте ничего». — «Как это можно? — возразил Армфельд. — Всему есть вес и мера». — «Да не все ли равно? Ведь дивчата прочтут же тайком, втихомолку».

Третий раз сошелся я с ним в Москве же, в книжной лавке Базунова, бывшей Ширяева. Он просил показать ему вышедшие в его отсут-

ствие* литературные новинки. Базунов выложил на прилавок несколько книг, в том числе и новое издание моей «Русской хрестоматии», в трех книгах, из которых последняя, под названием «примечаний», заключала в себе биографические сведения о важнейших писателях и оценку их деятельности. Гоголь, разумеется, был превознесен выше облака ходячего, но и он польстил мне, когда в число отобранных им книг включил и мой учебник[125].

Четвертое и последнее свидание было во время летней вакации, не помню, какого года. Краевский приехал на побывку в Москву и остановился у В.П. Боткина. Каждое утро я отправлялся к ним на чаепитие и веселую беседу. В один из таких визитов неожиданно является Гоголь, по возврате из чужих краев — каких именно, тоже не помню[126]. Я несколько сконфузился, вспомнив мое письмо к нему, написанное по поводу предисловия его ко второму изданию первого тома «Мертвых душ» и напечатанное в «Отечественных записках» 1847 года**[127]. Гоголь, на мой взгляд, изменился: похудел, стал серьезнее, сдержанней, не выказывая никаких причуд или капризов, как это им делалось нередко в других более знакомых домах. Боткин предложил где бы нибудь сообща пообедать. Гоголь охотно согласился. «Чего же лучше, — прибавил он, — как не в гостинице Яра, близ Петровского парка?» Таким образом мы провели время вчетвером очень приятно, благодаря прекрасной погоде и повеселевшему дорогому гостю. За обедом он разговорился и даже шутил. Когда на закуску была подана вместо редиски старая редька, он позвал слугу и спросил его: «Что это такое?» — «Редиска», — отвечал слуга. «Нет, мой друг, это не редиска, а редище, точно так же, как ты не осленок, а ослище».

С этих пор и до самой его кончины мне не удалось с ним встречаться. В последний приезд его в Москву он жил в доме графа Толстого, его приятеля и одномысленника, где и заболел[128]. Болезнь сначала казалась неважною, по крайней мере, никто не ожидал, что она кончится смертью. Многие навещались о его положении и узнавали, что он держит строгий пост, кушает только просфоры с красным вином, не принимает никаких лекарств. К этим причинам телесного расстройства присоединились внутренние, моральные влияния: отречение от прежней своей деятельности, дошедшее до намерения сжечь рукопись второго тома «Мертвых душ», пренебрежение жизнию, ничем не объяснимое самоистязание... короче,

*Где он был перед этим временем, не помню.
**Февраль, отдел критики, т. 50.

мрак и тайна облекали его судьбу. Неожиданная скоротечность гибели поразила его почитателей. На панихидах по нем возбуждались не одни горестные, но и мрачные чувства. Ходил слух, что незадолго до смерти Гоголя Шевырев на коленях умолял его принять лекарство. Гоголь, не отвечая, повернулся к нему спиной, а к стенке лицом. Тогда Шевырев не выдержал и громко сказал ему: «Упрямым хохлом ты жил, упрямым хохлом и умрешь».

Заключу двумя анекдотическими рассказами, слышанными от достоверных личностей.

Самые образованные семейства, жившие в Москве, интересовались нашим великим юмористом, ценили его талант и входили с ним в близкие отношения. Таковы были семейства С.Т. Аксакова и А.П. Елагиной, матери Киреевских, великой поклонницы немецкой поэзии. В один из своих визитов Гоголь застал ее за книгой. «Что вы читаете?» — спросил он. «Балладу Шиллера “Кассандра”». — «Ах, прочтите мне что-нибудь, я так люблю этого автора». — «С удовольствием». И Гоголь внимательно выслушал «Жалобу Цереры» и «Торжество победителей». Вскоре после того он уехал за границу, где и пробыл немалое время. Возвратясь, он явился к Елагиной и застал ее опять за Шиллером. Выслушав рассказ о его путешествии и заграничной жизни, она обращается к нему с предложением прочесть что-нибудь из Шиллера: «Ведь вы так любите его». — «Кто? Я? Господь с вами, Авдотья Петровна: да я ни бельмеса не знаю по-немецки: ваше чтение будет не в коня корм». Любопытно бы знать, для чего притворялся или просто лгал человек.

А вот второй пассаж, рассказанный мне Щепкиным, нашим гениальным комиком, боготворившим автора «Ревизора». Гоголь жил у Погодина, занимаясь, как он говорил, вторым томом «Мертвых душ». Щепкин почти ежедневно отправлялся на беседу с ними (ведь они оба были хохлы)[129]. «Раз, — говорит он, — прихожу к нему и вижу, что он сидит за письменным столом такой веселый. «Как ваше здравие? Заметно, что вы в хорошем расположении духа». — «Ты угадал; поздравь меня: кончил работу». Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс и на все лады начал поздравлять автора. Прощаясь, Гоголь спрашивает Щепкина: «Ты где сегодня обедаешь?» — «У Аксаковых». — «Прекрасно: и я там же». Когда они сошлись в доме Аксакова, Щепкин перед обедом, обращаясь к присутствовавшим, говорит: «Поздравьте Николая Васильевича». — «С чем?» — «Он кончил вторую часть “Мертвых душ”». Гоголь вдруг вскакивает: «Что

за вздор! От кого ты это слышал?» Щепкин пришел в изумление: «Да от вас самих; сегодня утром вы мне сказали». — «Что ты, любезный, перекрестись: ты, верно, белены объелся или видел во сне».

Снова спрашивается: чего ради солгал человек? зачем отперся от своих собственных слов?

10

Если справедливы слова Фамусова, что «на всех московских есть особый отпечаток», то об Кетчере (Николае Христофоровиче) следует сказать, что из всех жителей древней столицы он выдавался по преимуществу, был архимосквичом, разумеется, не в том смысле, какой придавал этому слову Фамусов. Только в Москве жилось Кетчеру привольно, только здесь он чувствовал себя как дома. К Петербургу не лежало у него сердце, да и не могло лежать по его темпераменту и душевному складу, капитальная особенность которого состояла в пренебрежении внешнего, формального и в уважении внутреннего, существенного. Этикет, условные приличия, благовидные предлоги (то есть благие только по виду, а не по существу) возмущали Кетчера, потому что напрасно стесняли естественное, свободное проявление жизни в действиях, чувствах и образе мыслей. «Чему не учит нас природа, — говаривал он, — тому не следует приносить ее в жертву». Кетчеру и на мысль не приходило покушение «казаться» не тем, чем он «был» на самом деле. Он всегда и неизменно являлся самим собою, и в этом смысле был вполне наивным субъектом. Притворство, скрытность, желание маскироваться, виляние хвостом и нашим и вашим находили в нем непримиримого обличителя и преследователя. Правдолюбие, откровенность, доброта — вот те капитальные особенности, которыми он привлекал к себе честных и благомыслящих людей. Ими объясняется его оригинальность, иногда пугавшая тех, кто его не знал или знал мало.

И по внешности Николай Христофорович отличался от других. Он плохо заботился о своем туалете и костюме, как бы желая, чтобы его встречали и провожали не по платью[130].

Я познакомился с ним вскоре по окончании им курса в медико-хирургической академии[131]. Его плащ, или по-тогдашнему альмавива, не походил на плащ Гарольда (упоминаемый в первой книге «Евгения Онегина»)[132]: верх его был зеленый, а подкладка алая, подобно тому, в каком

являлся горный дух волшебному стрелку (в опере Вебера)[133], почему мы и прозвали его асмодеем. Смех его походил на грохот, изумлявший присутствующих, хотя и напрасно: смеяться негрешно над тем, что есть смешно[134]; во всяком случае, он искреннее, следовательно, лучше сдержанного хихиканья или кислой, вялой улыбки. Он говорил своим близким знакомым *ты*, а не *вы*, потому что первое слово естественней и сердечней: в спорах часто останавливал противника восклицаниями *вздор, врешь*, минуя околичности и смягчения, вроде: *извините, это, кажется, неправда*. К чему оговорка *кажется*, когда дело ясно, как день, и для чего *извиняться* в том, в чем нет ни малейшей вины? Мнения свои Кетчер выражал без утайки, громко и точно, не прибегая к ограничениям и уклончивости. Он мог ошибаться, но умышленно искажать то, что ему думалось и что он признавал истиной, он считал великою подлостью, тяжким грехом.

В числе посетителей так называвшейся Литературной кофейной Бажанова* нередко встречался молодой преподаватель истории, сын цирульника *Жданова*. Из ложного стыда, возбуждаемого в нем профессией отца, он прибавил к прозвищу частицу *не*, то есть отрекся от своего родителя и стал *Нежданов*. Такой пассаж глубоко возмутил Кетчера, и он не давал прохода отщепенцу; при каждой с ним встрече, в доме или на улице, он во всеуслышание говорил ему: «Здравствуй, *Жданов*! Здоров ли твой отец?» С другой стороны, он не давал в обиду никого — будь то знакомый или не знакомый, если находил, что противник его неправ. В той же кофейной он спас театрального музыканта Щепина от неприятного столкновения с офицером, вызвавшим его на дуэль: Кетчер вытолкал вон назойливого бретера, не думая о том, что сам мог попасть в неприятность. Много ли найдется ему подражателей?

Круг друзей и близко знакомых Кетчера состоял из личностей, выдающихся благородною самостоятельностью и доброкачественным образом мыслей. Это были западники, сторонники прогресса, либералы в тогдашнем смысле слова. Чего они желали? Уничтожения крепостного права, распространения образования, судебной реформы, облегчения цензуры, а не того, к чему потом стремились нигилисты. Крайности были им не по сердцу. Грановский и Кетчер, бывшие друзья Герцена, повернулись к нему спиной, когда он стал издавать «Колокол». На обеде в Благородном собрании (1858) Кетчер после спича о реформах, с бокалом в руке, на коленях

*В Москве, позади Охотного ряда, рядом с бывшим трактиром Печкина.

перед портретом Царя-Освободителя, пил за его здоровье и благоденствие*. Центром дружеского круга, в котором вращался Кетчер, был Т.Н. Грановский. На нем и на артисте М.С. Щепкине преимущественно выказывалась его сердечность: он радовался их успехам и печалился их невзгодами. В его беззаветной привязанности к ним было истинно трогательное. Пережив их, он завещал похоронить его между их могилами, как бы надеясь не разлучаться с ними и по смерти[136]. Впрочем, не они одни, но и другие той же категории пользовались его неизменною привязанностью: он радел о них искренно, был постоянным их защитником. Горе тому, кто покушался на их честь какими-либо действиями или словами.

К молодому поколению (особенно учащимся) Кетчер относился с сочувствием, но с неизменным условием, чтобы оно было исполнено чувствами, свойственными неиспорченному возрасту: правдивостью, честностью, стремлением к добру, любознанием. Напротив, юноша с наклонностью к фальши, учащийся не из любви к образованию, а ради внешней цели, например, из желания быстрой карьеры, признавался им погибшим и отвращал его сильнее, чем вполне испорченный взрослый субъект.

Как собеседник на дружеских обедах и других приятельских сборищах Кетчер был незаменим. Он не принадлежал к числу гастрономов, напротив, был умерен в пище, но когда дело доходило до угощения шампанским, его единственным любимым напитком, тогда он становился героем пира, единственным распорядителем и исполнял свою роль неизменно и неумолимо. Он сам откупоривал бутылки, сам наливал бокалы, не дозволяя им оставаться пустыми. Никто не имел права уклоняться от нектара: волей-неволей каждый должен был пить. Напрасны были отнекивания, извинения, просьбы, всевозможные резоны: пей — и только. Враг всяких стеснений и запретов, Кетчер в это время — только в это — становился деспотом, подчас докучливым. И сколько бы ни было бутылок, все они долженствовали быть опорожненными; до того же времени никому не дозволялось выходить из-за стола**. Подивитесь при этом одному

*Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год, стр. 142[135].

**Роль Кетчера в подобных случаях верно передана в рассказе об обеде на подмосковной даче, где летом жил Грановский, к которому наезжали из Москвы знакомые: «Один из приятелей, доктор, ходит и подливает всем, хохочет раскатистым смехом, страшным для непривычного слуха, на всех кричит, всеми командует, и все его слушаются, и всем весело от выходок чудака» (Сборник Общ[ества] люб[ителей] российской словесности на 1891 г. Рассказ: Последняя депеша, стр. 286)[137].

обстоятельству: все более или менее испытывали действие вина; на одного Николая Христофоровича оно нисколько не действовало: он оставался трезвым. А вот другое, еще более удивительное обстоятельство: этот любитель шампанского, по случаю каких-либо празднеств, у себя дома не знал, что такое вино и водка: конечно, и то и другое у него имелось, но только для гостей.

Хотя и доктор, Кетчер больше интересовался литературой, чем медициной, да и знакомился он преимущественно с учеными, литераторами, артистами, а не с медиками. Он известен переводом (в прозе) драматических произведений Шекспира с подлинника. Кроме того, переведены им некоторые сочинения романтика Гофмана (с немецкого), например «Кот Мур»[138], и письмо Чадаева (с французского), помещенное в «Телескопе», где он участвовал по знакомству с издателем Надеждиным. Помогал он также Белинскому, когда последний нуждался для своих критических статей в каких-нибудь материалах немецкой литературы. Достоинство переводов Кетчера — верность, недостаток — отсутствие легкости. «Злобно-печальная» муза Некрасова игнорировала первое (хотя оно главное) и зацепила второй (хотя он дело второстепенное):

Вот и он, любитель пира
И знаток шампанских вин:
Перепёр он нам Шекспира
На язык родных осин[139].

11

В одной из своих эпиграмм Щербина назвал Григорьева (Аполлона Александровича) «бесталанным горемыкой»[140]. Это справедливо только наполовину. Григорьев был очень талантлив, что доказывается его трудами по литературной критике и книжкой стихотворений*[141]. Он недаром носил имя Аполлона, знал несколько иностранных языков, искусно владел игрою на фортепьяно и очень походил лицом на Шиллера, если только верен портрет, приложенный Гербелем к собранию сочинений немецкого трагика, переведенных на русский язык[142]. Что же касается до второго эпитета (горемыка), то действительно Григорьеву как бы не сиделось на одном и том же месте. Родился и обучался он в Москве. По окончании университетского курса переселился в Петербург, где вел рассеянную

*Например, стихотворение «Город» (то есть Петербург), стр. 51—53.

жизнь, сильно огорчавшую его добрейших родителей. Через четыре года он, словно блудный сын, воротился на родину. В это-то время П.Н. Кудрявцев и я познакомились с ним и предложили ему сотрудничество в журнале Краевского «Отечественные записки». Невозможно выразить радость и благодарность нам его отца и матери за наше содействие к остепенению их единственного сына. Другим содействием служила женитьба его на образованной и добрейшей девице Лидии Федоровне Корш, принадлежавшей ко всем известному благороднейшему семейству[143]. Кроме журнальной работы Григорьев занимался преподаванием законоведения в Александринском сиротском институте (что теперь Московское военное училище) и в первой московской гимназии. Свободное от педагогических занятий время он прилежно посвящал журнальной работе в «Москвитянине» под редакцией Погодина. Казалось, что нельзя было желать лучшего. Но Григорьеву почему-то невзлюбилась Москва: он вышел в отставку и уехал за границу с одним княжеским семейством в качестве учителя[144]. Через два года вернулся в Петербург, где ретиво предался журналистике, выработывая особый взгляд на сущность и требования литературной критики. В 1861 году поступил на службу в Оренбургский кадетский корпус учителем словесности, но через год воротился в Петербург, посвятив последнее время своей жизни (ум. в 1864 г.) на излюбленную им деятельность в журналах («Время», «Якорь», «Эпоха»)*[146].

Выдающимся пунктом этой деятельности следует считать пятилетнее сотрудничество его в «Москвитянине» (1851—1855) вместе с Эдельсоном, Алмазовым и другими даровитыми лицами, во главе которых стоял А.Н. Островский, автор знаменитой комедии «Свои люди — сочтемся». Они получили название молодой редакции «Москвитянина» по своей молодости, а может быть, и в отличие от редакции прежних лет этого журнала. Новая критика выработывалась преимущественно на разборе произведений Островского. В одной из статей Алмазова он не только приравнивается к Шекспиру, но даже ставится выше его. Григорьев, с своей точки зрения, назвал сочинения нашего драматурга «новым словом» в нашей литературе[147]. Какое именно это слово? что оно означает? в чем его сущность? — читатели долго не могли от него добиться, а журнальная критика беспощадно глумилась над ним. Наконец-то в статье «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» заявил он неожиданно, что «новое слово Островского есть самое старое слово — *народность*;

*Сочинения А. Григорьева, т. I (предисловие)[145].

что новое отношение его к русской жизни есть прямое, чистое, *непосредственное*»*. Так как критические взгляды молодой редакции излагались широковещательно и не совсем определительно, то они давали повод к смеху и осуждению. Западники относились к ним неодобрительно. На одном из вечеров у В.П. Боткина Грановский занялся чтением только что вышедшей книжки «Москвитянина». «Полно вам наслаждаться болтовней молодой редакции, — заметил ему кто-то, — присядьте-ка лучше к нам для беседы». — «Нет, господа, — отвечал он, — дайте дочитать: это до того глупо, что даже становится интересным». Другого мнения о той же критике был Тургенев. На вопрос, как он думает о такой-то статье Григорьева, он отвечал: «Мне она нравится». Все собеседники захохотали, и знаменитый беллетрист волей-неволей смутился. Такое несогласие равномерно образованных передовых личностей на один и тот же предмет объясняется господствовавшим тогда направлением критики среди западников. Эта критика была по преимуществу тенденциозная, направленная на раскрытие ненормальных явлений в современном обществе и на разъяснение разумных начал жизни. Художественное значение поэтических созданий при этом удалялось на задний план или и совсем убегало из виду. Дело доходило до смешного, до nec plus ultra[148]. Один из ценителей поэзии и сам поэт (кажется, Огарев) разделил эту тенденциозную критику на виды, приняв в основание сословия или звания: обличение дворян, обличение купцов, обличение чиновников и т.д. Комедии и драмы Островского дали повод молодой редакции «Москвитянина», в особенности Григорьеву и ближайшему к нему сотруднику Эрасту Благонравову (псевдоним Алмазов), положить новую основу критике изящных произведений литературы. Раскрыв миросозерцание, или, как он выразился, «новое слово», Островского, Григорьев ретиво принялся за дело. Так как это «слово» состояло «в непосредственном отношении к действительности» (а не в предвзятом взгляде на нее, что, как известно, затмевает истину), то, разумеется, прямая обязанность критики состоит в том, чтобы указать правильность или неправильность отношений автора к русской народности. Взгляд Григорьева, долго не признаваемый литераторами, с течением времени мало-помалу усваивался ценителями поэзии, так что в настоящее время Тургенев мог бы сказать: «Rira bien qui rira le dernier»[149].

Григорьев принадлежал к натурам впечатлительным и легко увлекался веяниями, иногда прямо противоположными. При первом знакомстве со

*Соч[инения А.] Григорьева, т. I, стр. 19.

мною, посылая свои статьи в «Отечественные записки», он стоял за европеизм, но потом круто повернул в другую сторону, то есть усвоил славянофильство и начал подражать Хомякову в соблюдении постов. Как-то раз в одно из воскресений великого поста столкнулся я с ним в трактире Печкина. Мы оба спросили по чашке кофе. Я, грешный, начал пить его со сливками, а он отказался от них и потребовал себе чего-то другого. Гляжу, несут ему графинчик коньяку значительного размера. «Он прав, — подумал я, — молочное грешно вкушать, а коньяк — не грешно, *зане** в святцах на этот день значилось «разрешение вина» и елея».

12

С конца сороковых годов наступило в Москве пасмурное, тяжелое время для тех, которые почему-либо состояли на дурном счету у градоначальника. Градоначальником же был граф Закревский, не благоволивший преимущественно к профессорам и вообще к служителям науки[150], так что он с равным подозрением относился к Хомякову и К. Аксакову, с одной стороны, и к Грановскому с Кудрявцевым — с другой. Петрашевская история и волнения в Западной Европе усилили бдительность полицейского надзора, так что малейшая неосторожность в словах грозила большою бедою[151]. Ходили слухи, — верные или неверные, не знаю, — что подкупленная прислуга доносила кому следует о разговорах и суждениях своих господ. Что делать? — необходимо было сдерживать язык или прибегать к иностранному языку при выражении мнений. Собираясь в назначенные дни преимущественно у графини Салиас (Евгении Тур), вместо разговора «о важных материях» стали предаваться картежной игре[152]. Но это было сносно умевшим играть (самой графине, Грановскому, Тургеневу, Кетчеру, Е.М. Феоктистову); другие же, не любившие карточной игры или вовсе не знавшие ее, как, например, Соловьев, Кудрявцев, Ешевский, Бестужев-Рюмин, должны были пробавляться рассказами каких-нибудь анекдотов, возбуждавших общий смех.

В числе постоянных посетителей графини были Катков и Леонтьев. Первый воротился из-за границы с расстроенным здоровьем, сумрачный и молчаливый, как бы чем-то недовольный. В первое свидание с ним я напомнил ему о нашем общем сотрудничестве в «Отечественных записках», но тотчас же заметил, что ему неприятен такой возврат к прошлому: он

*Любимое словцо Григорьева.

смотрел на него как на что-то ребяческое, недостойное совершеннолетнего человека. Университетские лекции его по философии были очень интересны. Студенты слушали их с великим удовольствием в течение четырех или пяти лет, когда кафедра философии была упразднена, а место ее заступило преподавание логики. Преподаватель Терновский-Платонов, вероятно, для оживления такого сухого научного предмета прибегал нередко к метафорической речи. Вот как однажды начал он свое чтение: «Милостивые государи, прошлую лекцию мы, сев в *лодку любознания*, переплыли море *исследования* и достигли *брега истины*. Пойдем теперь дальше». Товарищ и друг Каткова, Павел Михайлович Леонтьев, всегда веселый и бодрый, интересовал нас разъяснением положительной философии Шеллинга и ознакомлением с своей докторской диссертацией «О поклонении Зевсу»[153]. Он тоже любил играть в карты, но играл из рук вон плохо.

Наступила Крымская война. Повсюду и глубоко возбудила она национальное чувство: все, конечно, желали блага отечеству, но взгляды на средства к достижению этого блага были различны, иногда прямо противоположны. Одни молились об успехе наших войск, не допуская ни малейшего изъяна нашим владениям; другие находили полезным временный гнев Божий, то есть политическое принижение, которое раскрыло бы глаза на недостатки правительственной системы[154]. Рано утром являлись любопытные в книжную лавку Базунова (в Москве) читать газеты и узнавать севастопольские новости. По физиономии читавших легко было угадать, к какой категории патриотов принадлежат они — к первой или второй. Некоторые из последней доходили в своих мнениях и чувствах до абсурда. Один (С—в)[155] почему-то восхищался зуавами[156], когда наши войска постоянно выказывали образцовый героизм; другой (Н.Ф. П[авло]в) на выраженное кем-то сожаление о том, что враги наши, пожалуй, завладеют Крымом (русской Италией), начал утешать его такими словами: «Поверьте, мы останемся не внакладе, а в выигрыше: мы будем есть еще лучшие яблоки и по более дешевой цене». Вспоминая теперь подобные речи, изумляешься и невольно краснеешь, несмотря на свои преклонные годы.

Светлым событием, порадовавшим наши сердца в эту тяжкую годину, был столетний юбилей Московского университета[157]. Рескрипт императора[158], превосходно прочтенный министром народного просвещения Норовым, возбудил громкие, долгие, радостные до слез рукоплескания. Все веселились как бы рассвету после долгих сумерек. Пошли праздничные обеды для профессоров и студентов, вместе со многими другими

лицами, сочувствовавшими делу высшего образования. К императору была отправлена депутация из трех лиц: ректора Альфонского и двух профессоров, принести ему глубокую благодарность за благоволение к старейшему из наших университетов. Государь принял депутатов милостиво, удостоил ректора своей руки, причем сказал следующее: «Я никогда не был врагом просвещения; я враг просвещения западного, потому что на Западе сами не знают, чего хотят».

Восшествие на престол Александра II рассеяло тягостное настроение духа и оживило все сердца радостной, успокоительной надеждой. Надобно было присутствовать при его въезде в Москву и короновании, чтобы почувствовать сладость успокоения после разных опасений и непредвиденных бед. На вечернем катанье по московским улицам вполне выразилось чувство благоговения и любви к государю и государыне[159], проезжавшим среди двух рядов экипажей по московским улицам: не только толпа народа, стоявшая на тротуарах, но и сидевшие в каретах и колясках приветствовали восторженными, неумолкаемыми восклицаниями царя-освободителя и его супругу, доброта которых не имела границ.

Вместе с государем прибыл в Москву и Ростовцев, начальник штаба военно-учебных заведений. Он остановился в Кремле в Николаевском дворце. Я и Федор Иванович Буслаев явились к нему с отчетом о наших работах для кадет: мне было поручено составить историю русской словесности и историческую к ней хрестоматию (от Петра I до нашего времени), а Федору Ивановичу — грамматику и историческую хрестоматию к древнерусской литературе (от начала до Петра I)[160].

Только что мы хотели приступить к делу, является с визитом граф Закревский. Яков Иванович рекомендует нас как профессоров*. Мы отвесили ему по поклону. Граф, обратясь к нам, полушутливо заметил:

— О! Профессоры — народ бедовый, непокорливый: трудно с ними ладить.

— Нет, граф, — перебил его Ростовцев, — это не такие, это смирные**.

*Я не был в то время профессором: Яков Иванович хотел возвысить меня в мнении градоначальника.

**Закревский получил отставку в 1858 году, в апреле месяце, раньше 23-го числа, по поводу дозволения своей дочери от живого мужа (Нессельроде) выйти замуж за князя Друцкого, для чего и дал им паспорт за границу («Русск[ая] старина», 1891 г., август, дневник Валуева, стр. 275). Вскоре после отставки, не помню, в какой именно газете, явилось следующее курьезное известие: «Нам пишут из Москвы, что в нынешнем году наступила весна очень рано, так что прежде Юрьева дня выгнали скотину в поле»[161].

В 1856 году, в октябре, по предложению начальства военно-учебных заведений заняв в академии генерального штаба преподавательское место по кафедре русской словесности, я переселился в Петербург. Тяжело и горько было мне расставаться с Москвой после тридцатичетырехлетнего в ней жительства (1822—1856). Москве я обязан университетским образованием; в ней началась моя педагогическая и литературная деятельность; в ней я нажил себе хотя не обширный, но дорогой круг друзей и знакомых, в ней, наконец, устроилось мое семейное счастие. Легко молодому человеку выносить разлуку с излюбленным местом, а ведь мне уже стукнуло без малого 50 лет: как не тосковать и не вздыхать по матушке Москве? И действительно, жизнь в Петербурге долгое время была подобием сумрачной неприветливой осени после благодатного лета. Единственную отраду представляла мне возможность проводить летние вакационные месяцы в прекрасных окрестностях Москвы, что я и делал в течение пяти лет, нанимая дачу в селе Покровском, Глебова-Стрешнева, в восьми или девяти верстах от столицы. Тут же переселялся и С.М. Соловьев. Но с увеличением семейства подобные переезды оказались неудобными. Волею-неволею пришлось мне проводить вакацию в Павловске или Царском Селе. С 1869 года я уезжаю на лето к родным в Рязанскую губернию, останавливаясь в Москве на целые сутки. Надобно же, хоть раз в году, взглянуть на место моего бывшего рая.

[ГЛАВА XI] ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ КУДРЯВЦЕВЕ

Студентам Московского университета

Лучшие люди отходят от нас. Лучших людей хороним мы преждевременно, когда общество так сильно в них нуждалось и нуждается. Не совершив полного круга своей жизни, они лишены драгоценнейшей награды, на какую только может рассчитывать благородная деятельность: видеть успехи времени, в пользу которых они трудились так честно и мужественно, этими успехами оправдывать свою веру в историю, веру, не раз колебавшуюся в груди преданнейших служителей мысли.

Давно высказанное убеждение, что какая-то роковая сила тяготеет над талантами нашей отчизны, подтвердилась снова самым печальным событием. Многие вершины русского поэтического мира поражены ею прежде, чем они успели развернуться во всей красоте своего дарования. Потом обратила она свои удары на вершины умственные и нравственные. Жертвами ее сделались люди, в которых просвещение достигло самого изящного вида, образцы и наставники его общественной важности, его нравственной силы. Не прошло трех лет, как умер Грановский. Теперь последовал за ним Кудрявцев, преемник его в университете по праву и факту, так искренно скорбевший над могилой своего предшественника.

Смерть П.Н. Кудрявцева — двойное горе, общественное и частное. Общество утратило в нем полезнейшего члена; родные, друзья, знакомые потеряли с ним все, что только может быть привлекательного в отношениях лица к лицу. Дуновение смерти, погасив пламень благороднейшего сердца, унесло с собою обильную дань счастия, которую принимали от него другие сердца. «Человек он был!» — вот первый вопль нашей скорби. И те, кому уже поздно завязывать новые дружеские связи, горестно должны сознаться, что им не нажить более такого человека... Да простят мне читатели, что я к воспоминанию о покойном, близком каждому, кто

умел ценить нравственное изящество, так поспешно примешиваю мою собственную скорбь; им нет, конечно, нужды до того, как я любил покойного: это мое личное дело, бремя моих собственных ощущений; но если кто-нибудь из них испытал на самом себе силу внутренней красоты человека, тот поймет невольное выражение сердечной боли, прямо от меня идущее, прямо ко мне относящееся, выражение очень естественное при мысли о недавней утрате, в виду свежей еще могилы.

Роковая игра судьбы самым чувствительным образом разыгралась в жизни П.Н. Кудрявцева, который наиболее достоин был ее пощады. Не в смертном только ударе, но и во многих обстоятельствах его жизни она заявила свою слепую жестокость. Слова, сказанные им некогда об одном, близком ему человеке, разрешились над его собственною головою, как печальное предсказание: «Выпадают иногда несчастия, которые заставляют вспомнить о воплях Эдипа, как есть нравы, между которыми как будто живет еще судьба древних». Этот эпиграф к повести «Без рассвета», написанной в Берлине 1846 года и напечатанной в «Современнике»[1], мог бы служить эпиграфом и к повести его жизни. Потеря близких родных, к числу которых принадлежала и героиня повести, возмутительное разногласие между действительностью и строгостью нравственных начал ложились на его душу кровавыми заметками. А потом, когда так желанно, хотя и неожиданно, устроилось его семейное счастие, ему наносится новый и последний удар, он лишается беспредельно любимой супруги. Потрясенный вконец, он небольшим сроком переживает свое несчастие, это «беспросветное» течение времени.

Я пишу не биографию, а воспоминания. От двадцатилетней, ничем не потемненной дружбы моей с покойным осталось у меня в памяти много драгоценных материалов, которые берегу как одно из лучших достояний сердца. Не могу и думать, чтобы когда-нибудь исчезло во мне живое, яркое представление и наружного его образа, и внутренней его физиономии. Все цело и невредимо, от простого разговора до задушевных бесед. Я познакомился с ним на двадцать третьем году его возраста. Все, что было с ним после этого времени, знаю, можно сказать, как очевидец: предшествовавший период его жизни известен мне из рассказов его родных и знакомых.

П.Н. Кудрявцев родился 1816 года, 4 августа в Москве. Если не ошибаюсь, он рано лишился матери[2]. Отсутствие материнской заботливости, ничем не заменяемой для первого возраста, часто оказывает вредные по-

следствия. В настоящем случае их не было. Благодатная природа Петра Николаевича сделала из него и здесь редкое исключение. Он нисколько не утратил душевной нежности, которая развертывается особенно под надзором женщины. В отрочестве отличался он тихим нравом, скромностью, мягкою, женственною, если позволено так выразиться, пристойностью, которые никогда не покидали его. Было в этом отроке что-то степенное и сериозное, не призрак равнодушия, еще менее угрюмости, а та грация приличия, которая и в детстве, и в другие возрасты жизни свидетельствует о человеке избранном, не подходящем под мерку людей обыкновенного разряда. В родителе своем сирота нашел ту любовь, которая совмещает в себе и долг отца, и чувство матери. Любовь эта послужила основою трогательных отношений между отцом и сыном, о чем будем говорить впоследствии.

Первоначальное образование Петра Николаевича было неважно. От товарищей его по учению в Московской духовной семинарии, Сперанского (уже умершего) и Я.С. Ф[илевско]го, я знаю, как он держал себя в школе. Этот способ держать себя вовсе не похож на тот, который мы видим обыкновенно в сотнях, тысячах школьников, иногда очень даровитых. Важно не то, что Петр Николаевич не мог учиться дурно; важно то, что он не любил показывать ни учителям, ни товарищам, что он учится отлично. Дурные привычки, грубые шутки, непростительные шалости, короче, все замашки, которыми так неприятно обнаруживается резкая, деспотическая натура мальчика, для него как бы не существовали. Он не гонялся за похвалами и отличиями, которыми поощряется успех, но которые в то же время развивают тщеславие, зависть, корыстное соревнование и из десятилетних ребят готовят взрослых членов общества, всегда готовых враждовать друг с другом. Он не был тем, что весьма определительно выражается словом «выскочка». Он отвечал, когда учитель спрашивал его, и не вызывался на ответы, с намерением выказать себя с хорошей стороны, а товарищей с дурной; но в то же время и не сходился с товарищами на такую дружбу, которая могла быть обидною его собственной личности или от которой должен был терпеть преподаватель. Я имел в руках его детские сочинения, первые опыты его пера, написанные еще нетвердым почерком: по ним уже можно было судить, что в мальчике-авторе зарождался сериозный ум наряду с потребностью грациозной отделки и что оба эти качества сделаются со временем существенными условиями его взгляда на вещи и его изложения.

Юношество Петра Николаевича, когда он, для дальнейшего образования поступил в Московский университет, представляет явление весьма замечательное. С первых, так сказать, шагов в этом возрасте он на всю жизнь запасается негодованием против умственной косности и нравственной тесноты. Важный акт духовного самоосвобождения совершился в нем рано и навсегда. Он истек из крепкой любви к правде: ибо между всеми неправдами, существующими на свете, самая возмутительная состоит в посягательстве на независимость мысли и нравственных начал. Такое посягательство всегда опасно, что бы ни служило ему орудием, произвол ли чей-нибудь, или (что еще хуже) целое воззрение, облеченное в плотную, неподвижную, замкнутую в самой себе систему. Петр Николаевич отрешился от подчинения тому и другому; но тяжело отозвалась на нем эта ранняя, хотя и благодетельная, борьба, кончившаяся завоеванием внутренней самобытности: она положила на него печать тайной грусти, которая никогда не затихала в нем совершенно, раскрываясь болезненно каждый раз, когда в большом или малом объеме повторялись явления, испытанные им на самом себе или знакомые ему по другим примерам. Та стихия, в которой он вращался немалое время и следы которой никогда не стираются с иных личностей, не оставила на нем ни малейшего знака. Ни внутренно, ни наружно не напоминал он ничем своих родовых и сословных обязанностей, характера своей изначальной жизни или начального образования. Не только зная его, но даже просто смотря на него, нельзя было и подозревать какой-либо связи между тем кругом, в который он вошел своею волею, и тем, к которому до того принадлежал. Представьте же себе, как сильны были в таком юноше чувство истины, сознание человеческого достоинства, самодеятельность мысли и настойчивость воли, не резкой, не блистательной в своих действиях, но разумной и постоянной. Удивительная стойкость убеждений соединялась в нем с не менее удивительным благодушием. Более полувека живу я на свете и ни в ком не видал такой примерной снисходительности, терпимости, гуманности. В Петре Николаевиче, всегда умевшем охранять свою неприкосновенность, не было ни малейшего упрямства или грубости, которым часто бывают подвержены люди, в сущности прямые и честные, но в то же время неприятные манерами своего поведения. Они хотят выказать себя суровыми Катонами[3] и отталкивают ближних моральным педантизмом. Изящно-нравственная природа Петра Николаевича чуждалась подобного катонства. Не допуская никаких уступок там, где дело каса-

лось направления, принципов, идей, он был образцом деликатности в сфере личных отношений. Вследствие этого он пользовался горячею любовию тех, кто разделял его воззрения, равно как и непритворным уважением тех, кто думал иначе. Ни те, ни другие не находили ничего, что бы можно было сказать против его обращения с ними.

Знакомство мое с П.Н. Кудрявцевым началось с 1839 года, когда он был еще студентом. До того времени я знал его только как автора повестей «Катенька Пылаева» и «Флейта», из которых первая напечатана в «Телескопе», а вторая в «Московском наблюдателе»[4]. Под ними выставлены начальные буквы псевдонима, выбранного автором (Нестроев): А.Н. Собственной фамилии он не решался подписывать по отношениям к университету и еще более к своему отцу, который мог бы думать, что сын его отвлекается от лекций посторонними работами. Этим драгоценным знакомством, обратившимся потом в неизменную дружбу, одолжен я моему сотрудничеству в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» (с 1836 г.) и «Отечественных записках» с первого года их издания (1839). Я доставлял в оба журнала критические и библиографические отчеты о некоторых книгах, выходивших в Москве. Так как одному невозможно было следить с успехом за текущею литературой, то ко мне присоединился М.Н. Катков, кончивший тогда курс в Московском университете кандидатом, и В.Г. Белинский, занимавшийся, кроме того, редакциею «Московского наблюдателя». С особенным удовольствием вспоминаю это время общих наших журнальных работ, время молодого, но добросовестного рвения и горячей любви к литературе. Двадцать лет прошло с тех пор и принесло много успехов, но в итоге их находится, конечно, процент, собранный и с наших посильных работ.

В 1839 году Белинский переехал на жительство в Петербург. В замену себя рекомендовал он П.Н. Кудрявцева. Лучшей рекомендации он и не мог бы сделать: этот выбор свидетельствует об его умении оценивать людей. Мне было любопытно встретиться с Нестроевым, знакомым мне дотоле, как я заметил выше, по своим повестям. Впечатление первой с ним встречи сохраняется во мне живо и теперь. Я увидел перед собою красивого студента; но особенность его красоты заключалась в сериозной мысли, обогнавшей возраст, и в целомудрии чувств, отставшем от возраста. То был видимый облик внутреннего изящества, чистое выражение благородного духа, мыслящего и целомудренного. И целою жизнию своею Кудрявцев оправдывал давно известное, хотя и заподозренное изречение,

что лицо есть зеркало души. Знание дела, разнообразие талантов, удивительная добросовестность, которая могла равняться только удивительной скромности, поселили во мне с первого же раза и любовь, и уважение к моему товарищу. Взяв на себя обязанность по видимому маловажную, по крайней мере, не официальную и не ответственную, он смотрел на нее как на долг. Чувство долга коренилось в нем глубоко. Можно было сказать, что оно родилось вместе с ним или сделалось второю его натурою. Он успокоивался при исполнении дела только внутренним самодовольствием, только верностию отчета своей собственной совести. Какая бы книжка или книжонка ни подлежала его суждению, он непременно читал ее или вовсе не брался за суждение. Ему принадлежат многие критические статьи и рецензии в поименованных журналах. Для многих автор оставался неизвестным: они хвалили напечатанное, адресуя свою похвалу не тому, кому бы следовало. Отсюда выходили забавные недоумения, заставлявшие меня и Кудрявцева нередко смеяться. Источник недоумений заключался в условии, наложенном редакциею «Отечественных записок» на сотрудников, не подписывать своих имен под статьями в отделе критики и библиографии.

В 1841 году М. Н. Катков отправился для довершения своего образования за границу. Мы остались с Петром Николаевичем вдвоем. Не место здесь исчислять все критические и библиографические отчеты, написанные Петром Николаевичем, хотя они все известны мне, как крупные, так и мелкие. Для примера укажу только следующие: [об] «Учебной книге русской словесности» Греча (первая статья), о споре между Голохвастовым и его противником по поводу сочинения Голохвастова «Об осаде Троицкой лавры», о сочинениях Языкова, Полонского, Фета («Отечеств[енные] зап[иски]»), характеристика Мерзлякова (в «Литер[атурной] газете»)[5]. Отличительные признаки их — верность приговора и художественная обработка, не допускавшая ничего грубого, резкого, неровного, всегда сохранявшая разумную меру и просвещенное приличие. В этих качествах обнаруживался тоже редкий талант, талант благоразумия и грации, запрещающий прибегать к насмешке и едкости, обыкновенным орудиям многих критиков. Но тот ошибся бы значительно, кто приписал бы наружную безобидность отзывов Кудрявцева неспособности его обличить невежество и пошлость. Равным образом смешно было бы сердиться на их внутреннюю обидность: подсудимый выказал бы тем, что он сердится на правду, и следовательно, признается в том, что он не прав.

Кроме того, в «Отечественных записках» и «Современнике» напечатано несколько повестей Кудрявцева: «Цветок», «Недоумение», «Живая картина», «Последний визит», «Ошибка», «Сбоев», «Без рассвета»[6]. Каково бы ни было их достоинство теперь, в свое время они обратили на себя внимание наблюдательностию, умением подметить тонкие психические черты и тем особым колоритом, который, как отражение субъективности автора, оцвечивал их приятно-таинственным цветом[7]. Едва ли нравятся они большинству публики, но люди с поэтическим чувством и тактом действительности отдавали им предпочтение перед многими тогдашними повестями, которые поддерживали любопытство одним интересом сказки, нисколько не умея интересовать читателей развитием внутреннего мира, жизнию духа, естественным ходом страстей. Впечатление, ими производимое, справедливо уподобить впечатлению той женской красоты, которая не поражает с первого взгляда, но которая тем более нравится, чем больше в нее всматриваешься. Так, в повести «Флейта» искусно раскрыты зарождение и постепенный рост начальной отроческой любви, первые движения этого чувства, неопределенное, смутное состояние сердца, не сознаваемое тем, кто его испытывает. Кроме таинственного полусвета в рассказах Кудрявцева легко различить еще другой, меланхолический оттенок. Чувство меланхолии всегда в нем крылось. С летами развилось оно значительно, положив свой отпечаток и на его лицо.

Не одно журнальное сотрудничество сблизило меня с Петром Николаевичем: к нему вскоре присоединилось сотрудничество учебное. Определенный в 1840 году помощником инспектора классов в московских институтах: Екатерининском и Александровском, я принужден был отказаться от некоторых уроков русской словесности в институте обер-офицерских сирот московского Воспитательного дома. А.О. Армфельд, инспектор классов этого института, передал их, по моей рекомендации, Петру Николаевичу. Нужно ли говорить, что и новая обязанность выполнялась им с таким же достоинством, как обязанность журнального критика? Ему не повредила даже неопытность, сбивающая иногда с толку людей знающих: она восполнилась у него ясным пониманием дела, способностию быстро осмотреться в кругу новых занятий и быстро к ним привыкнуть. Фраза, что служба Петра Николаевича принесла большую пользу, была бы слишком общим местом, а я хочу сказать вовсе не общее. Я хочу отметить в его преподавании, во-первых, нравственное влияние его личности на воспитанниц. При всей их неопытности, они умеют полагать раз-

личие между молодыми людьми, из которых один возбуждает простую игру чувств и служит для них как бы пробою их сердца, тогда как другой ни себе не допускает мысли о таком пустом успехе, ни им не старается внушить такого же покушения. Во-вторых, не могу умолчать о значительной пользе, принесенной им преподаванию русской словесности. Преподавание это, до поступления А.О. Армфельда в инспекторы классов, было схоластическое, страдало отсутствием всякой живой связи между теориею и образцами. Да и самая теория ограничивалась так называемыми правилами реторики, рецептами для разных родов сочинений. При содействии инспектора, которому учебная часть института одолжена полным своим преобразованием и который умел выбирать хороших учителей, уроки русской словесности приняли также нормальное направление. Мы с Петром Николаевичем устроили особый класс чтения, которое воспитанницы считали лучшею для себя наградою, лучшим своим уроком. Таким образом познакомили мы их с образцовыми произведениями нашей литературы, известными им до того времени по одним названиям да по именам авторов. Они узнали наконец Жуковского, Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Это развило их вкус, научило судить о достоинствах поэтических творений. Кудрявцев в этом отношении был вдвойне им полезен: он имел ясные эстетические понятия и сверх того сам обладал художественным даром. Как теоретик и как практик он обладал двойным правом высказывать суждения и внушать доверенность к своим суждениям.

Я преподавал в высших классах; Петр Николаевич в низших, так что воспитанницы, начавшие с ним уроки русской словесности, доканчивали их со мною. Чтоб избежать разлада, сопряженного всегда с переходом учениц от одного преподавателя к другому, мы условились с Петром Николаевичем поочередно меняться местами и вести каждому свой курс от первого класса до последнего. Распоряжение это устроилось не официальным путем, а домашним образом. Не было никакой надобности прибегать к формальностям в том случае, где слово — закон. Если бы каждый человек мог положиться на себя так же верно, как все, знавшие Кудрявцева, полагались на него, исчезли бы все принудительные и поощрительные меры, упразднились бы все письменные ограждения и формальные основы действий, заменившись одною нравственною основой, безусловно прочною и в высшем смысле законною. Повинуясь такому закону, Петр Николаевич отличался неукоризненною добросовестностию преподавателя: он манкировал только по крайней необходимости, тогда как другие

только по необходимости были аккуратны. Мы называли его юным классиком за строгое соблюдение положенных правил; напротив того, некоторые из старых учителей отличались романтическою небрежностию. Я не без причины останавливаюсь так долго на службе Петра Николаевича в Институте обер-офицерских сирот: одной из воспитанниц этого института (Варваре Арсеньевне Нелидовой) суждено было соединить свою судьбу с судьбою нашего друга и своею преждевременною смертию ускорить и его смерть.

Коснувшись того, как Петр Николаевич держал себя с воспитанницами, мы кстати скажем и об его отношениях к женщинам вообще. Умалчивать об этих отношениях не следует, потому что они по своей характеристичности выходят из ряда обыкновенных связей, к которым нас приучали с детства и которые узаконились в обществе, несмотря на малую свою законность. Я бы назвал эти чистые, целомудренные отношения «образовательными»: от них всегда выигрывала женщина в настроении своих мыслей и чувств. По моему убеждению, они могли не только возвысить женщину хорошо поставленную, но и воздвигнуть женщину дурную, если только она своею испорченностию не заградила себе дороги к улучшениям. Петр Николаевич приносил с собою редкий дар — умственное и нравственное облагорожение. Разумеется, за это награждали его благодарностию и сердечною привязанностию. Но та и другая были до того законны, что за них не смел сердиться ни муж, ни любовник. Ревности не имели права возбуждать они по самой чистоте своей: ревность в этом случае была бы смешна, несправедлива. Как подтверждение нашему мнению весьма любопытна переписка Петра Николаевича с некоторыми женщинами: она раскрывает изящную девственность молодого человека, всегда благородного и степенного. Многие называли такое обращение «романтизмом», «идеальностью»; мы согласны допустить первое слово как прямую противоположность чувственности и вполне допускаем второе, потому что Петр Николаевич действительно имел значение примера, образца между мужчинами.

Как и следовало ожидать, Петр Николаевич всегда стоял на стороне существ, плохо огражденных от произвола и силы. Кто хочет узнать его понятие об этом предмете, пусть тот прочтет повести «Без рассвета» и «Последний визит»: последняя посвящена одной даме, с которою автор находился в постоянной дружбе. Прибавим к тому, что один из мужских характеров, изображенных в «Последнем визите», послужил как бы про-

тотипом для такого же характера в стихотворном рассказе А.Н. Майкова «Две судьбы»[8].

Характер отношений, о которых мы говорим, еще виднее обнаружился в семейной жизни Петра Николаевича. Многие мужья смотрят на себя не иначе, как на воспитателей своих жен; многие вовсе отказываются от такого воспитания, считая бесполезным или невозможным уравнение супружеских прав. Они живут с своими женами в разных сферах, на разных, так сказать, нравственных половинах, и нередко живут счастливо. Но если важно чувство счастия, то еще важнее достоинство счастливого чувства. Как бы ни думал об этом предмете Петр Николаевич, но в его семейной жизни водворилось именно достоинство счастия. Она осуществила собою так называемую эмансипацию женщины самым разумным и трогательным образом. Как сделалась такая постановка супружеских связей, неизвестно: знаю только, что Петр Николаевич не старался о ней, что здесь не было ни полезной иногда хитрости, ни расчетливого лицемерия. Он не устранял жены от своих занятий, но и не навязывал ей своего образа мыслей; он не обнаруживал перед ней превосходства мужчины ни равнодушием к сфере женской жизни, ни даже шуткой над значением женщины. Простирая далеко свое уважение к свободе человека, он негодовал на всякое деспотическое посягательство, от кого бы оно ни направлялось. Я очень помню, как однажды у гр. Е.В. С[алиа]с зашла речь о романе Жорж Санда «Жак»; Петр Николаевич горячо поддерживал свое мнение о несправедливости, даже беззаконности всякого надзора, явного или тайного, над любимейшим, самым близким к нам существом — женою. Положим, что такое мнение (разумея под надзором воспитание) слишком исключительно, но зато из какого прекрасного источника происходит эта исключительность!

В любви к отцу своему Петр Николаевич совмещал два чувства: любовь сына, дело самое обыкновенное, и сыновнюю дружбу, что не совсем обыкновенно. Под этою дружбой я разумею деликатность отношений, совестливость в своих правах. Петр Николаевич не видел никакой разумной причины лишать отца того, что считал своею обязанностию к другим, не родным. Кровный союз существовал для него не как привилегия на бесцеремонные требования и обращение и вместе не как долг на тупое подчинение патриархальной власти. Конечно, много значила здесь естественная гуманность отца, но гораздо более значила просвещенная гуманность сына, надзирающая за качеством своих проявлений. Отец

Петра Николаевича показывал мне некоторые письма к нему П. Николаевича из-за границы: какая трогательная прелесть любви деликатной, думающей о том, чтобы порадовать отца, чтобы ничем не возмутить его как человека известных лет, известного характера, известных привычек, известного сословия! И все это без малейшей лести, без малейшего желания зарекомендовать себя с хорошей стороны.

Родные сестры[9] и кузина Петра Николаевича, говоря без преувеличения, обожали его. Причина тому, как нам уже известно, гуманность родственного обращения, которым женщины еще менее избалованы у нас, чем мужчины. По своему общественному положению они (я разумею сестер Петра Николаевича) не только в семейном кругу, но и во всех прочих кругах своих встречали скорее примеры стеснительного вмешательства и обидного ярма. Как женщины, они могли только тайно протестовать против неуважения личности и в то же время видели в своем брате гласный протест и направлением мыслей, и образом жизни. Между ними и им завязалось новое сочувствие, которое выше родства. Им, безответным во многом, отвечающим за многое, утешительно было встретить в брате покровительство их естественной и общественной слабости. Кроме того, кузина Петра Николаевича одолжена была ему своим умственным развитием, любовью к чтению и музыке. Смерть ее глубоко огорчила его. Ее-то незавидную судьбу и свою скорбь представил он в повести «Без рассвета». Впоследствии лишился он младшей сестры своей, похожей на него лицом и нравом. Старшая сестра, с мужем которой он был дружен[10], не только горячо любила его, но и засвидетельствовала свою любовь всею заботливостию, на которую только способны самоотвержение христианки, нежность женщины и любовь к брату, когда он, возвратившись из второй поездки за границу, приютился у ней в своем одиночестве, на печальное и недолгое новоселье.

Преподавание русской словесности и журнальная работа не отвлекали Петра Николаевича от главного предмета его занятий, от приготовления к магистерскому экзамену, который он и выдержал с совершенным успехом. До отъезда за границу он написал и диссертацию на степень магистра, кажется, «об отношениях папства к императорской власти». По некоторым причинам, не зависевшим от автора, она не могла быть напечатана, но многие части ее вошли потом в обширное историческое его сочинение «Судьбы Италии» (1851), блистательно защищенное на публичном диспуте[11].

В 1845 году* П.Н. Кудрявцев отправился для усовершенствования в науках за границу, где и пробыл до половины 1847 года. Поездка эта устроилась особенно содействием Т.Н. Грановского, как бы предвидевшего в нем будущего себе преемника: он рекомендовал Петра Николаевича графу С.Г. Строгонову, которому Московский университет одолжен так много достойным замещением своих кафедр и который всегда оказывал просвещенный почет благороднейшим служителям науки как при жизни их, так и по смерти. Я живо помню эти родственные и дружественные проводы Петра Николаевича, первую нашу с ним разлуку. Немало было пролито слез на прощанье, но то были не тяжелые слезы, без всяких темных предчувствий, с надеждой на радостное свидание. Гораздо больше толпилось людей при отправлении его во второе путешествие, шумнее был говор и многочисленнее объятия, но зато каким неблагополучным и печальным оказался возврат!.. Во все время, прожитое П. Н. Кудрявцевым за границей, мы вели с ним постоянную переписку: он — описывая мне все, что находил любопытного в Европе; я — извещая его о родных, друзьях и других предметах, покинутых им на родине[12]. Четыре города обратили на себя особое внимание нашего путешественника: Берлин, Гейдельберг, Дрезден и Париж, первые два по своим университетам, в которых он несколько семестров слушал лекции, третий по художественной галерее, четвертый по важности общественного, равно как и учено-литературного движения. Из профессоров Берлинского университета наибольшее произвел на него впечатление Шеллинг своими лекциями положительной философии. Желая поделиться со мною своим умственным наслаждением, он высылал мне перечень Шеллинговых лекций, нечто вроде конспекта. В Гейдельберге кроме университета Петр Николаевич нашел другой источник восхищения, живописное местоположение, удивительную роскошь зелени. Неизменный поклонник природы, он любовался ею везде, где она дает человеку приволье и тепло. Зиму выносил он с усилиями, и потому в нашей северной суровой стороне развеселялся он только коротким летом: в это время года он отдыхал и телом, и душой от семимесячного затворничества, которое спасает нас от метелей и морозов. Дрезденскую галерею посещал он почти ежедневно, изучая произведения скульптуры и живописи и любя заступать место чичероне[13] для своих земляков, с которыми делился и знаниями, и впечатлениями эстетически-

*В «Биографическом словаре профессоров Московского университета» ошибкою поставлен 1843 год.

ми. Долгим обращением в кругу искусств он приобрел отличный навык распознавать красоты художественных творений. Плодом такого навыка было несколько этюдов о первоклассных статуях (напеч[атанных] в «Отечественных записках»)[14]. В Париже Петр Николаевич, между прочим, следил за прениями в английском парламенте о свободной торговле. «Читали ль вы, любезный друг (писал он мне), речь Роберта Пиля, развившего предложенную им реформу? Она производит величавое впечатление. Как ничтожны перед нею *дискурсы*[15] французских ораторов, которые дерутся на словах, точно задорные петухи!»

Замечательно, что последние ко мне письма Петра Николаевича, незадолго до возвращения его из-за границы, приняли какой-то печальный тон; они сделались, если смею так выразиться, апатичнее. Настоящей причины этому и теперь определить не могу. Сам он не любил раскрывать себя даже перед близкими друзьями, и своею сосредоточенностию, как бы таинственностию ускользал от анализа посторонних. Уловить его задушевные чувства было нелегко: он не поддавался наблюдениям, еще менее дозволял производить над собою опыты. Боялся ли он, после двухлетнего отсутствия, отвычки от мест и лиц, думал ли в других найти значительную перемену или просто ему казался диким быстрый переход из одних стран в другую, Бог весть. Это неопределенно-равнодушное состояние духа оживилось в Берлине, на возвратном пути в Россию, благодаря встрече с одной женщиной, о которой Петр Николаевич писал мне с жаром и увлечением. Признаюсь, меня удивило несколько это необычно горячее выражение чувства, всегда в нем глубокого, но никогда почти не видного. Объяснения, данные им по этому поводу при свидании, не могли назваться удовлетворительными. Но как бы ни было, а эта встреча послужила поводом к новой повести, отправленной в 1848 или 1849 году в редакцию «Отечественных записок». Она не явилась в печати по разным причинам. Может быть, рукопись ее отыщется между бумагами покойного. Равным образом осталась неконченною и повесть «Сбоев», первая часть которой, написанная в Париже и посвященная А.А. Я—ой, напечатана в «Отечественных записках». Вскоре потом Петр Николаевич отказался от беллетристики. Ему было не до повестей: он имел занятия более сериозные, назначенный по возвращении из-за границы в 1847 году преподавателем всеобщей истории в Московском университете.

До поездки за границу Петр Николаевич знал, хотя не в равной степени, языки греческий, латинский, французский и немецкий. За грани-

цей выучился он италианскому, который был ему нужен для чтения в подлиннике поэтов и сочинений исторических, написанных самими итальянцами. Судьбы Италии постоянно занимали его внимание. Он питал к ней какую-то особую любовь, своего рода благородное пристрастие. Ее истории, от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим, посвящает он первое свое сочинение. В «Письмах из Флоренции» («Русский вестник», 1857) знакомит он читателей с настоящим и прошедшим этого города. В «Русском вестнике» же напечатаны многие другие статьи, рассуждающие о состоянии страны, некогда процветавшей: «О мюратизме в Италии», «Что думает и гадает Италия о своем будущем?», «Юность Катерины Медичи». Кроме того, написал он несколько статей, к сожалению, не конченных, о Данте и его веке («Отечеств[енные] зап[иски]»)[16]. Он даже намеревался, несмотря на свою печаль и болезненное положение, открыть для желающих особый курс истории Италии. Короче, италианский вопрос сделался его любимою темою и «всецелое возрождение Италии» — твердым убеждением. Ошибался ли он или нет в своем убеждении — это до нас не касается; но самая любовь к италианской независимости свидетельствует ясно в пользу благородства духа и просвещенного взгляда на исторические судьбы. Она проистекала из того же источника, из какого выходило вообще заступничество слабых, покровительство обиженным. В жизни народа, равно как и в жизни человека, сердце его билось сочувствием к притесненным, негодованием на притеснителей. Если возмущало его самоуправство с личностию человека, то как могло не возмутить его самоуправство с личностию народа — национальностью? Успех не был для него оправданием потому только, что он успех, равно как неудача не была для него преступлением потому только, что она неудача. Он считал долгом человечества воздвигать и падших людей, и падшие народы. На это воздвижение смотрел он как на реставрацию исторической правды. Но, враг всяких насильственных распоряжений и непрошеного вмешательства, он хотел бы предоставить самому народу совершение собственного устройства. Италия, по его мысли, могла быть способною на это при более благоприятных обстоятельствах, и потому он стоял на стороне того мнения, по которому Италия fara da se (управится сама собою).

Чтобы покончить с первым путешествием Петра Николаевича, мы обязаны упомянуть об одном обстоятельстве, относящемся к этому же периоду его жизни. В начале статьи нашей сказано, что семейное счастие Петра

Николаевича устроилось «желанно», хотя и «неожиданно». Последнее выражение может показаться загадочным: надобно объяснить его.

Дело было действительно так. Для Петра Николаевича действия человеческие тогда только имели значение хороших, когда они вытекали из побуждений внутренних — из основ разума, долга, чувства. Он требовал расчета, не того, конечно, которым руководствуются люди сметливые, умеющие мастерски обделывать свои дела и сводить их к благополучному концу, а расчета мыслящего, оправдываемого началом и согласного с целым настроением нравственно-определенного существования. Как профессор, он развитие исторических судеб объяснял разумными причинами: то же воззрение перенес он и на историю личную — на жизнь человека, взятого отдельно. К неразумному и внешнему чувствовал он как бы инстинктивное отвращение. Случай представлялся ему всегда чем-то глупым и бессмысленным — падением кирпича, убивающим прохожего. Если он и признавал возможность случайного счастия, то не доверял прочности, еще менее достоинству счастия, устроенного случаем. Счастие, по его взгляду, долженствовало быть заслугой, а не находкой, нравственным приобретением, а не жребием, брошенным Бог весть откуда и Бог весть кем. Понятно после этого, что всего менее мог быть уважаем им случай в той связи, которая завязывается на всю жизнь и не развязывается без гибельных потрясений, — я разумею связь супружескую.

Первый, слабый узел этой связи завязался до поездки его за границу, и не столько его собственной волею, сколько желанием других... Говорю об этом факте не только как друг, но и как участник. То была простая игра чувств, затеянная не Петром Николаевичем. С своей стороны он не давал ни существенной обязанности, ни формального обязательства, которые, разумеется, имели бы для него силу закона. Ему не было надобности строить моста для отступления, потому что он и не заходил далеко, то есть неблагоразумно (нельзя же назвать неблагоразумием портрет его, врученный ученице по ее желанию, на помин об учителе, и стихотворения Рюккерта, отданные ей в подарок уже по его желанию). Меня, впрочем, радовали подобные, по видимому непрочные отношения. Мне сильно хотелось укрепить их и построить на них будущее счастие друга (последствия показали, что я не ошибся). Своими письмами поддерживал я так называемую романтическую завязку, хотя из писем Петра Николаевича и не видно было особенного его стремления в ту сторону, куда я вел его. Наконец, из Парижа, перед возвращением его в Россию, получаю от него

письмо, смутившее меня следующими строками: «Что касается до меня собственно, любезный друг, то скажу вам откровенно, что я, долго возясь с книгами в разных видах и переплетах, и сам сделался сух и черств, как старинный переплет; нельзя ли вам довести об этом до сведения известной вам особы?» Другое затем письмо из Берлина рассказало историю знакомства, о котором я уже упоминал. План мой пошатнулся, но совершенно уничтожиться было ему не суждено. Впрочем, и в развязке повторилось то же явление, как и в начальном узле. Она совершилась как бы без желания и воли Петра Николаевича. Не он подвигал к благополучному исходу отношения, сначала так слабо завязанные, потом как бы совсем оставленные. Этому исходу много помогла постоянная, более семи лет тянувшаяся привязанность девушки: не мог не ценить ее Петр Николаевич. Характером таких-то обстоятельств объясняются слова его в нижеприведенном письме ко мне: «Я не искал его (*счастия*) усердно, не гонялся за ним — само пришло, будто подосланное кем». Поэтому-то имел он право назвать свое семейное счастие «посланным». Но это посланное счастие составило драгоценность его жизни; лишение его ускорило смерть нашего друга. Понятно, почему так осторожно или, лучше, так разумно поступал он в этом случае: чувствуя, как придется ему любить человека, с которым он соединит судьбу свою нераздельно, он хотел оградить себя всеми разумными и нравственными соображениями, чтобы не пенять на себя при несчастии, чтоб услаждаться самодовольством при счастии, чтоб иметь право сказать то, что он сказал в том же письме: «Да, это было счастье».

По возвращении Петра Николаевича из-за границы оказались в нем значительные перемены: самою неважною из них была возмужалость (ему минуло 30 лет), самою важною — какая-то печаль и задумчивость. Причину этого объясняли различно: одни приписывали ее телесному недугу, другие чувству тайной, от всех скрываемой любви. Но я, хорошо понимавший друга, не мог допустить ни того, ни другого толкования. Причина, конечно, существовала, но иная, высшая, разумная. То была благородная тягота сердца, налагаемая на человека видимым разладом между текущею жизнию и началами жизни, то был сознательный недуг европейски просвещенного человека, который не ошибается в ценности предметов и сравнением определяет внутреннее достоинство каждого из них, и малого, и большого. «Подивитесь простоте здешнего обращения (писал он из Берлина): сущность дела здесь главное, формальностей почти никаких. Взглянут мельком на ваши бумаги, затем ректор пожмет вам

руку — и вы допущены к слушанию лекций». В другом письме, говоря о Светлом празднике, проведенном в одном городе, он прибавляет: «Не было мне надобности ни в мундире, ни в визитных карточках; ничем вы не обязаны наружно, и никто не насилует вашего внутреннего чувства». Поэтому Петр Николаевич любил рассказывать о своем путешествии, когда заходила о том речь. В это время задумчивое лицо его оживлялось, и глаза, впалые и болезненные, светили таким приятным голубым светом, что не знаешь, бывало, что лучше: слушать ли его рассказы или любоваться рассказчиком.

Этот образ благородной личности, болезненный и меланхолический, остававшийся незабвенным во внешнем и внутреннем чувстве того, кто сближался с нею, — этот прекрасно-грустный образ сохранился при ней навсегда. Чем дальше Петр Николаевич шел по жизненному пути, тем крепче мужала его грусть. Тем сильнее возвышалась ее красота. Не было возможности затихнуть душевной боли, потому что душа строже и строже стояла за нравственные начала. Она требовала их от жизни текущей: она искала их в жизни прошедшей. Если в настоящем она замечала много неправедного, то и в истории также видела частное господство неправды и медленное, тяжелое, шаг за шагом совершаемое торжество правды. Представление этой борьбы омрачало правдивую душу преподавателя. Скорбная повесть о тех, которые жили прежде нас и своими слезами и кровию удобряли для нас историческое поприще, отзывалась скорбию в его уме, лице, взгляде, голосе. Особенно тяготили его события истории текущей, на его глазах и памяти совершающейся, которые как бы обращали вспять успехи времени и повторяли отжившее, являя собою известный исторический круговорот. Тогда он страдал вдвойне: и как очевидец своего времени, и как мысленный современник эпох минувших. Мудрено ли было при таком состоянии бояться за свою веру в прогресс человечества? Или, и не имея такой боязни, возможно ли было успокоиваться на той мысли, что впереди еще много времени, что время отчаянно терпеливее?

Петр Николаевич мог бы, конечно, повеселеть, когда бы в душе его было поменьше нравственной стойкости. Тогда бы, может быть, он нашел средство примирить каким-нибудь способом свои убеждения с тем, что делается вокруг него. Разве мы не видим, в самом деле, что целые легионы людей живут спокойно и счастливо, запасшись похвальным образом мыслей и не зная, куда девать их или явно противореча им своими

собственными поступками? Они горячо рассуждают о чувстве человеческого достоинства и между тем непрерывно оскорбляют это чувство, начиная с самих себя до своего привратника. Идеальные стремления и противоидеальные действия идут в их жизни рядом. Петр Николаевич не походил на таких людей нисколько. И если для тех не было ничего священного, то у него священного было много. Однажды усвоив убеждение, он не профанировал его ничем. Этим он давал пример глубокого уважения к началам твердо закаленного направления. Иные, при всем своем достоинстве, как бы играют с тем, что внутренно признают важным и чему служат добросовестно. Нельзя, конечно, не ценить такого обращения с предметами, если только оно происходит из иронического настроения, а не от легкомыслия. Ирония, как свободное парение духа над тем, чему он поклоняется, свидетельствует также о могуществе нашей природы: ею не сокрушается величие кумира, не заподозривается искренность приносимых ему жертв. Однако ж тому, кто проникнут идеею долга и чувством деликатности, едва ли может она нравиться. Сын, готовый на все из любви к отцу и между тем не щадящий его для острого словца, конечно, не преступник, но каждый отдаст предпочтение тому сыну, который, при равной силе любви, не дозволяет себе и невинной шутки над ее предметом. В нравственном существе, каким должен быть человек, уважаешь всего более твердую преданность убеждениям, проникновение души чувством долга, которое поведению нашему сообщает прочность и ровность, — своего рода героизм. Так, например, уважение к личности — если только это не пустые слова — выражается признанием человеческого достоинства и гуманным обращением с людьми, на каких бы ступенях общественной лестницы они ни стояли. В какой мере Петр Николаевич был способен к такому гуманизму, можно видеть из следующего факта, которого я был свидетелем. Он в первый год своей супружеской жизни проводил лето в Останкине, подмосковном имении гр. Шереметева. Мы с женой, оставшиеся в Москве, часто навещали его. Однажды, напившись у них чаю на даче, мы вчетвером отправились гулять. Отошед на небольшое расстояние от дачи, Варвара Арсеньевна (супруга Петра Николаевича) вспомнила, что она забыла ключи от чайного ларчика и от комода, в котором хранились разные вещи и деньги. Испугавшись, потому что ей известна уже была на опыте нечестность прислуги, она просит Петра Николаевича вернуться назад и принести ключи. «Как же, мой друг, это сделать, — отвечал он ей, — ведь это совестно». К этим словам прибав-

лять больше нечего. Петр Николаевич согласился бы скорее лишиться денег, чем оскорбить прислугу подозрением, может быть, еще не заслуженным, и тем нанесть обиду человеческому достоинству.

По природе своей с самого юношества Петр Николаевич был сосредоточен и замкнут в себе самом. Все занимавшее и интересовавшее его лично оставалось в глубине его души, не обнаруживалось видным проявлением. Такое свойство, конечно, ничем не походит на скрытность: оно означает только, что Петр Николаевич не видел надобности делиться своим достоянием с теми, кому нет до того дела. Он не любил навязчивости ни в себе, ни в других; нелегко сходился с людьми на короткую ногу, но, сойдясь однажды, никогда уже не расходился. Дружба, приязнь, знакомство его были так же прочны, как его нравственные убеждения. Как Гете, на вопрос о его религиозных понятиях, отвечал, что о Боге он беседует только с Богом, так и Петр Николаевич мог бы сказать, что о предметах сердца он беседует только с собственным сердцем. Многие, любопытство которых не находило себе удовлетворения, называли Петра Николаевича холодным, необщительным. Но кто же виноват, что они не понимали различия между истинным чувством, скупым на слова, и легкою чувствительностию, щедрою на всякого рода выражения? Разве глубина может быть мелкою или сосредоточенность рассеянностью? Кто смотрит на движение чувств не как на детскую игру, для кого биение сердца не простое качание маятника, всем видное и слышное, тот, конечно, не дозволит каждому встречному и поперечному самовольно глядеть в душевные тайники, не дозволит себе щеголять их красотою или богатством перед целыми сонмищами. Многие ни с того, ни с сего любят заглядывать в чужие углы, им нужно получить известие, узнать какую-нибудь новость, чтобы первым потом рассказать ее или даже сделать из нее сплетню. Они требуют гласности ради гласности — не больше. Поэтому и нравятся им так называемые экспансивные субъекты, для которых хорошо только то знакомство, которое обширно, и которые каждую случайную встречу готовы окрестить именем дружбы. Мы вовсе не против экспансивных субъектов, но каждому свое: пусть один разливается по поверхности, если может, и пусть другой нисходит в глубину, если такова его доля. Я знаю, что для определения характеристики Кудрявцева нередко сравнивали его с Грановским. Мне кажется, сравнение было неуместно: это две равно прекрасные, но противоположные натуры. Разумеется, противоположность обнаруживалась в чертах их характеров, а не в образе мыслей.

А эта изумительная скромность в таком европейски образованном, талантливом, нравственном человеке, как П.Н. Кудрявцев, разве не редкое, не трогательное явление? Она могла бы обезоружить самую дерзкую злонамеренность, притупить жало самой черной зависти. Петр Николаевич не только не любил выказывать себя, но не любил, когда другие выказывали его достоинства. Даже шутливо-дружеский тон похвалы не совсем ему нравился. Короче, в его присутствии нельзя было говорить о нем. Будем же говорить о нем без него: теперь никто нам не помешает. Никто не помешает нам сказать, что этот человек ничего не взял себе случайно и всем обязан самому себе. Он сам поставил себя почтенно и в дружеском кругу, и в семействе, и в обществе. Его прекрасная жизнь как литератора, как профессора, как человека была его личною заслугой. Жизнь и заслуга были для него одно и то же.

Несмотря на то что к нравственной грусти присоединяется еще недуг телесный, Петр Николаевич заметно повеселел в 1855 году, когда праздновался столетний юбилей существования Московского университета. В это время не без причины прояснилось, вместе с душою, и его лицо. Почет, оказанный в лице старейшего из русских университетов науке и ученой корпорации, ободрил его: он готов был примириться с тяжелою памятью прошлого во имя доверенности к будущему. Вслед за Грановским выдвигался и он явственно на сцену: оба они привлекали к себе внимание благомыслящих людей, оба становились предметом возникавшего или пробудившегося общественного мнения. Имена их ставились одно подле другого, как нераздельные по направлению. И когда Грановский преждевременно сошел в могилу, Петр Николаевич самым законным образом заступил его место в университете и в сердцах слушателей. Он достойно держал кафедру на высоте, поставленной покойным профессором — его наставником, товарищем и другом. Как долг общественной и личной благодарности, Петр Николаевич взял на себя издание его сочинений, написав к ним предисловие и еще прежде того напечатав в «Отечественных записках» воспоминание о Грановском. Не беру на себя оценки профессорской деятельности Кудрявцева: я мало знаком с нею. Это — дело его товарищей по университету и слушателей. Один из достойнейших учеников его, заступивший его место (С.В. Ешевский), представил уже краткую, но яркую и верную характеристику его чтений, сравнительно с чтениями Грановского, в литературном отделе «Московских ведомостей» (1858, № 9)[17].

Петр Николаевич работал энергически и усердно, находя время и для приготовления лекций, и для деятельного участия в «Русском вестнике». Между тем плохое состояние его здоровья начинало тревожить всех друзей его. Он и сам чувствовал, что ему нужен отдых, без которого не восстановить упадших сил. Осенью 1856 года он отправился за границу... Мне пришлось прощаться с ним вдвойне — и как с отъезжающим в чужие края, и как с москвичом, потому что через месяц по его отъезде переехал я на службу в Петербург. Мысленно сопоставлял я прежние, слишком за десять лет бывшие проводы с настоящею разлукою. Сравнение оказалось не в пользу последней. Я не называю испытанного мною чувства предчувствием, но знаю, что оно было печально, без твердой уверенности в свидании, которая тогда и самой горести давала приятную отраду. Предавшись занятиям по новой для меня должности, я следил, однако ж, за путешествием друга по тем письмам, которые печатались в «Русском вестнике» и в которых он сообщал о своих впечатлениях, сравнивал прежнее состояние виденных им предметов с нынешним и отмечал важнейшие перемены, принесенные временем. Вдруг эти путевые письма внезапно оборвались. Я не знал, как объяснить это. Но объяснение не замедлило: в марте 1857 года во Флоренции Петр Николаевич похоронил свою супругу.

Не берусь описывать душевного его состояния после такой потери. Пусть судят о нем по двум прилагаемым здесь письмам. Первое из них служит ответом на мое письмо, посланное из Петербурга в Геную.

«Нерви, 1857, августа 13/25.

Сегодня вечером, когда я возвращался из Генуи, наши*, гуляя, встретили меня еще на дороге и подали мне письмо, адресованное на мое имя. Увидев незнакомую руку на пакете, я спешил сорвать печать. Поспешность моя не обманула меня: письмо было от вас, любезный друг. Тогда я вспомнил, что, прощаясь со мною в Москве, вы сказали, что непременно будете писать ко мне за границу.

Итак, вы сдержали слово. Но, Боже мой, сколько же времени прошло после того, как оно было сказано! По крайней мере, как не похожи эти две поры между собою! Целая пропасть легла у меня между тем временем, когда я прощался с вами в надежде хоть не скорого, но доброго свидания, и настоящим днем, когда я пишу ответ на ваше письмо. Не помню, как я перескочил с того берега на этот, но знаю, что возврата мне

*Семейство гр. С[алиа]с (Евгении Тур).

больше нет туда. Как ни оборачиваю я голову назад, мне уж больше не найти перехода на ту сторону.

Ваш голос послышался мне будто *с того берега!* С вашими письмами ко мне, даже с самым почерком вашей руки у меня соединено столько счастливых, счастливых воспоминаний. И вдруг опять эта рука и этот голос — в такую пору, когда на душе нет ничего, кроме горести и хоть бы капля света в голове. *С того берега!* Отчего не могу и я пойти туда же и по-прежнему беззаботно обнять тех, которые помнят и любят меня по-прежнему!

Как страшно может иногда расколоться жизнь: все по одну сторону и ничего по другую! Я все не знаю до сих пор, что это такое — слепой случай или в самом деле какое «наказание»? И знаете ли, что мне бы, кажется, было лучше увериться в последнем. Наказание имеет хоть какой-нибудь смысл, но слепой, бессмысленный случай, разрушающий одним разом все ваше счастие, губящий его в ваших глазах с какою-то злою иронией и насильственно поворачивающий всю вашу жизнь к прошедшему — это невыносимо тяжело. Если это неразумная сила, то откуда же в ней столько рассчитанной жестокости? А если она разумна, то как может быть столько жестокою?

Так спуталось все у меня в голове, что самое сильное впечатление, которое останется у меня от жизни, — это впечатление жестокого обмана. На свою личную жизнь пожаловаться не могу: она и довольно долга теперь уже, и не скажу, чтоб она была пуста. Вы знаете, любезный друг, те интересы, которые проходили через нее, потому что большую и, может быть, лучшую часть их мы пережили вместе! Но мне было послано *счастие*. Говорю послано, потому что я не искал его усердно, не гонялся за ним — само пришло, будто подосланное кем. Уж подавая ему руку на будущий союз, я далеко, далеко не предчувствовал всей цены его. Мне почти без искательства было послано то, что не всегда дается после многих и усильных поисков. У меня дома было столько счастия, что меня, кажется, не испугало бы никакое лишение. Я был, наконец, может быть, даже слишком самодоволен. Мне нечего было искать, потому что около меня было все, все... Прежде чем я определил себе, в чем может состоять мое счастие, оно уж было со мною. Да, это было счастие — могу я сказать теперь, ловя все дальше и дальше убегающую от меня тень его. Еще в тот день, как я прощался с вами в Москве, оно было со мною все сполна, и я легко подавал руку друзьям, потому что видел впереди толь-

ко светлые и радостные дни. Давно ли, кажется, это было, а теперь у меня уж ничего нет! Как неожиданно создалось мое счастие, так быстро, внезапно и насильственно было оно разрушено. И когда же? в то самое время, как я надеялся наложить на него последний венец. Не злобный ли это обман, не насмешка ли над моим бессилием какой-то невидимой мне, но уж конечно не дружелюбной мне силы? Там, где я думал похоронить много старых забот, мне пришлось похоронить лучшее, что я имел в жизни и что имевшему один раз не дается больше в другой. Кто бы подумал? Вся эта поездка из Москвы до Флоренции, во время которой было положено столько веселого смеху, была не что иное, как погребальный поезд, направленный к одной отдаленной могиле, о которой никто из нас и не подозревал во время дороги!

Пять месяцев (уж пять месяцев тому, тогда как прежде мы и одного дня не проводили врозь), которые прошли с фатального для меня дня, притупили мое горе; но жало его, я чувствую, останется во мне навсегда и отравит мне все дни до последнего. Жизнь еще осталась мне, но трудно сказать, на какое употребление. Мне все указывают на продолжение прежней деятельности. Конечно, я не откажусь от труда по мере сил моих, — но что в труде есть сладкого, то я буду знать лишь по воспоминанию. Осталась тяжелая сторона работы, но лучшая награда труда для меня больше не существует. Да не вижу впереди и цели. Глухо и пусто впереди. Точно выселился куда-то целый мир и меня оставил одного среди опустелого города. В душе ношу еще остаток чувства, но он только давит меня, как лишнее бремя. Куда девать его, не знаю; разве выветрится со временем.

А эта бедная жизнь, которая оборвалась так рано, так безвременно, когда, я думал, для нее только наступало счастливое время! Если б даже она была мне чужая, было бы над чем пролить самые искренние слезы. Но она давно уж стала мне больше чем родная, и на ней-то досталось мне видеть, до чего беспощадны властвующие над нами роковые силы. Еще прежде, чем пришла смерть, я уж видел перед собою жертву, неизменно обреченную року, и не один день терзался моим бессилием отвратить или хоть только на время отклонить занесенный над нею удар. Если бы в душе и была какая энергия, в подобные минуты она истлевает вся без остатка, и переживший их человек походит на плод, из которого выжата последняя капля сока. Нет, это уж хватает через край. Да отвратит от всех нас судьба подобные испытания, хоть и не убивающие до конца, но изнашивающие человека до состояния никуда не годной тряпки.

Вам тяжело слушать меня, любезный друг, но наша старая добрая дружба, хоть и без обычного «ты», дает мне право сказать вам то, что лежит у меня на душе, и не стараться скрыть терпкость чувств под мягкими словами. Дружеские письма составляют для меня теперь лучшую отраду, но нельзя, разумеется, чтоб они не затрагивали вновь мою едва подживающую рану. Но я рад бываю тому. Чем более затрагивают ее, тем живее переносят меня в мое прошедшее, а ведь у меня только и осталось радости, что там. Самое больное для меня есть самое здоровое. Ваше письмо особенно привело меня туда, в те времена, когда мы были так беззаботно счастливы и когда незачем было нам обращаться назад, потому что так много было впереди. Теперь иное, и контраст так силен, что у меня холод пробегает по коже, когда я поставлю то и другое рядом. Простите же моей слабости: она и вольная, и невольная. Авось придет время, когда и мне послан будет хоть некоторый душевный покой, тогда поговорим и о мирском, но теперь я в состоянии говорить, и именно с моими лучшими друзьями, лишь об одном и об одном.

Письмо мое, конечно, найдет еще вас в Москве*, но сам я мало надеюсь встретиться с вами. Сбираюсь в дорогу, но путь мой пойдет не прямо на север, а сначала поведет меня на юг. Перед возвращением на родину еду совершить последнюю тризну. Впрочем, я бы не хотел, чтоб она была последняя в строгом смысле слова. Я бы хотел и еще раз навестить тот маленький уголок земли, в котором сложил лучшее, единственное мое богатство. Не забуду сказать поклон и от всех знакомых и потом потянусь назад восвояси, но не стаей, как летят грачи на зимние квартиры, а лишь сам с собою. Что делать? Растерял дорогою всех спутников: выехали мы вчетвером, а возвращусь один, да и то едва ли весь. Таким побытом[18] в начале октября я надеюсь добраться до дому, которого у меня нет.

Затем, любезный друг, крепко жму вам руку и прошу вас, как доброго друга, не забывать меня в моем безысходном и бесконечном горе».

Второе письмо, в ответ на мое, адресованное в Дрезден, я получил уже из Москвы, куда Петр Николаевич воротился 2 октября, накануне смерти Грановского. Исключаю из него несколько строк, касающихся до меня лично.

«Москва, 1857, октября 27.

Пишу к вам из *нашей* Москвы, но мог бы начать еще почти с Дрездена, потому что с Дрездена я у вас в долгу, любезный и всегда дорогой мой

*Я жил в Москве, на даче, с июня по сентябрь.

друг. Там получил я ваше второе письмо. Оно мне дорого особенно потому, что не содержит в себе никаких утешений, а смотрит на дело прямо, как оно есть. Что черно, того нельзя сделать белым. Нам ли еще хотеть обманывать себя? Дети ли мы, чтобы закрывать себе глаза на наши прирожденные немощи и на законы, над нами господствующие? Испытавши на деле их неумолимость, опять ли тешить себя розовыми теориями и на воздухе построенными мечтами? Да если бы и хотел я, так не хватило бы у меня сил для размаха. Чувствую, испытываю каждый день, что крылья подкошены у меня навсегда. Поденщиком быть могу, на это пока хватает меня, но еще не нашел работы, которую бы мог делать без апатии. Какие страшные следы оставляет по себе пережитое! Из Дрездена кое-как добрался сначала до Петербурга, больной, разбитый физически и нравственно, хотелось обнять вас, но я не решился явиться к вам лично, особенно сюрпризом, зная ваши домашние обстоятельства* и имея причины думать, что мое появление, особенно на первый раз после долгого отсутствия, не может доставить много удовольствия моим добрым друзьям и знакомым. Между тем непреодолимою силою тянуло меня *домой*; может быть, в первый раз в жизни испытал я то, что немцы так хорошо называют Heimweh[19]... Домой, домой — это было мое самое сильное и единственное желание. Наконец добрался я и до Москвы, и поверите ли? был счастлив несколько дней, и оттого, что в самом деле сверх чаяния очутился дома, то есть нашел свой теплый угол, совсем приготовленный для меня, даже с самоваром на столе, и оттого, что куда ни обращался, везде встречал столько доброго, искреннего, душевного, хотя вовсе не заслуженного мною сочувствия. Эта пустота, которая недавно образовалась около меня, как будто наполнилась, заместилась на время. Сверх ожидания, я очутился в каком-то идиллическом расположении духа; я как будто нашел какой-то призрак счастия, на которое было потерял всякую веру.

Глупости! Ребячество! Мне было хорошо, потому что я нашел то, что одно остается после утраченного счастия: тихий домашний покой, который временем разнообразится только дружескою беседою. Теперь уж я больше не обманывал себя и знаю цену своего мнимого счастия. Чувство, что моего доброго гения нет со мною, скоро опять возвратилось ко мне, и мне никогда больше не отогнать его от себя. Недостает мне, кажется, немногого, но чувство этого недостатка преследует меня везде и во всем. По счастию, не обманулся я в одном: у меня нашлась или, лучше ска-

*Болезнь моей жены.

зать, ко мне возвратилась знакомая деятельность и наполнила, по крайней мере, половину моих часов в неделю. Хоть и по звонку, то есть по внешнему побуждению, а все же в это время бываешь занят другою мыслию. Впрочем, грех сказать, чтобы не было и других, лучших побуждений. Я располагался вести дело почти по-казенному, но встретил в студентах столько живого и зрелого интереса, что и сам не устоял против него. Да, наши студенты созрели и возмужали, подогревают и нас. С некоторого времени в них живет прекрасный дух».

Я обрадовался тону этого письма, более спокойного, чем первое, хотя и знал, что время, этот великий целитель горестей, как обыкновенно называют его, не исцелит душевной боли Петра Николаевича. Не такой он был человек, не такова была и потеря его. Он, говоря его же словами, «похоронил то, что имевшему один раз не дается уже в другой». Время здесь бессильно, и никто не придумает, что в этом случае может быть достаточно сильно. Трагическая судьба существует только для тех, которые, по самому избранию души своей, способны чувствовать «безысходное и бесконечное» горе. Другие не поддадутся ей так удобно, они, по смерти жены своей, могут жениться и еще раз жениться. Несмотря на это, я надеялся на какое-нибудь восстановление сил Петра Николаевича. Надежда моя укрепилась отрадными известиями, которые москвичи привозили с собою в Петербург. Они говорили, что Петр Николаевич бодрее, чем они ожидали, и в доказательство его бодрости рассказывали, как добрый признак, что он даже не смутясь выдержал наивный вопрос маленькой дочери Е.Ф. К[орш]а: «А что ты забыл тетю Варю?» Но вскоре утешительные слухи заменились другими, зловещими. Письмо ко мне сестры Петра Николаевича (от 14 января) не оставило более никакого сомнения насчет качества этих слухов. Наконец, телеграфическою депешею — самою траурною, какая когда-либо существовала, дано мне было знать, что Кудрявцев скончался 18 января.

Мир праху твоему, глубоко нравственный, вполне чистый человек — человек без пятна и упрека! Драгоценный дар выпал на твою долю: при жизни быть живым примером прекрасного, по смерти остаться неумирающим преданием о прекрасном. Все, отдавшие тебе последнее целование, целовали в тебе завет и память всего, что только есть праведного в нашем мире.

[ГЛАВА XII]
ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

Habent suum fatum libella[1]

У книг *есть своя судьба*... Имела ее и моя «Русская хрестоматия», вышедшая первым изданием в 1843 году. Но прежде чем приступить к рассказу о том, что выражает эпиграф, я дозволю себе маленькое отступление.

В «Старой записной книжке» князя П.А. Вяземского помещен следующий забавный анекдот: «Когда Карамзин был назначен *историографом*, он отправился к кому-то с визитом и сказал слуге: если меня не примут, то запиши меня — Карамзин, историограф. Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина нет дома, Карамзин спросил его:

— А записал ли ты меня?

— Записал.

— Что же ты записал?

— Карамзин, *граф истории*»*.

Нечто подобное случилось и со мною во время работы моей по изданию хрестоматии, которая печаталась в университетской типографии в Москве, где я был тогда преподавателем русского языка. Корректурные листы, доставляемые мне наборщиком, я отсылал, по выправке их, с моим кучером. Частая посылка в одно и то же место с какими-то бумагами возбудила любопытство прислуги. Что это такое наш барин все пишет и пишет да посылает в *питиграфию* (так они переиначили слово «типография»)?

— Не знаю, — отвечал кучер, — говорят, какую-то *христоматию*...

— Христоматию? — повторила горничная и, подумав немного, сказала: — А, должно быть, житие Богородицы, *Матери Христа* Бога нашего. Вот это хорошо! Это — дело доброе! Дай Бог ему за то здоровья.

Хрестоматия! учебное пособие для чтения и других занятий по отечественному языку! что это за важная вещь? Можно ли было предполагать, что она обратит на себя внимание сериозных особ и возбудит полемику,

*Сочинения кн. Вяземского, т. VIII, стр. 244[2].

которой некоторое время интересовалась московская публика, преимущественно из учебного и литературного круга? Однако ж именно так и случилось, благодаря ниже излагаемым обстоятельствам.

Мысль о составлении хрестоматии была внушена мне недостатком такого сборника, по которому учащиеся могли бы знакомиться с образцовыми творениями родной словесности не только периодов ломоносовского и карамзинского, но и следовавшей за ними эпохи Пушкина, который еще не допускался в школу, хотя уже прошло несколько лет после его смерти. В хрестоматии Пенинского[3], в то время единственной и исключительно принятой в учебные заведения министерства народного просвещения, стихотворений Пушкина еще не имелось: он был под запретом. В заведениях других учебных ведомств (например, императрицы Марии) преподаватели словесности находились в лучшем положении: они могли свободно выбирать образцы для ознакомления учащихся с родами прозы и поэзии, равно как и с характеристикой известнейших писателей. Таким образом, я вместе с П.Н. Кудрявцевым (впоследствии профессором истории в Московском университете, а до того преподавателем в Николаевском сиротском институте в Москве) положили своим долгом знакомить воспитанниц не только с Пушкиным и поэтами его школы, но и с следовавшими за ним Гоголем и Лермонтовым. Это знакомство не ограничивалось единственно отрывками, которые предлагались на классных уроках, но обнимало целые произведения, благодаря вечерним литературным чтениям у начальницы означенного института, в присутствии ее и нередко инспектора классов, профессора Армфельда. Таковые же чтения были заведены мною и в Александровском институте (тоже в Москве). Те и другие не остались бесплодными: воспитанницы получили хотя и не полное, но, по крайней мере, достаточное понятие о значении корифеев нашей словесности; вместе с тем развивался у них вкус к изящному и явилась охота к чтению образцов литературных произведений.

Необходимость сборника, отвечавшего современным потребностям на уроках русского языка в средних учебных заведениях, становилась более и более ощутительной. В течение моей педагогической практики образовался у меня избранный литературный материал, расположенный по родам прозы и поэзии и явившийся в 1843 году в двух томах под названием «Русская хрестоматия». Читатель, смею надеяться, признает за мною право похвалиться тем, что я *первый*, хотя и не в большой мере, а в той,

какая разрешалась уставом о пользовании чужою литературною собственностью, *познакомил русское юношество с Пушкиным*[4].

Кроме полноты и новизны материала, сравнительно с прежде существовавшими учебными пособиями по русскому языку и словесности, книга моя представляла еще некоторые особенности, из которых важнейшая — большое предисловие, в котором я указывал основания, руководившие меня при выборе образцов.

Хрестоматия должна была представлять образцы прозы и поэзии, написанные литературным языком *нового* времени, то есть обнимающим эпохи Карамзина и Пушкина, не исключая и только что выступавшие таланты (Кольцов, Майков, Фет и другие), если их произведения выказывали изящество языка*. Таким положением предшествовавшие именитые писатели (Ломоносов, Державин, Сумароков, Княжнин, Херасков) как бы отодвигались на задний план, что и побудило критику заподозрить составителя в неуважении к преданию, в покушении разорвать связь между прошлым и современным нашей литературы, тогда как в основу ее изучения следовало положить «историческое» начало. Предисловие заключалось такими словами: «Рядом с именами «известными» читатель найдет некоторые пиесы писателей еще «малоизвестных», но талантливых. Увлекаясь достоинством языка и мыслей, а не авторитетом, я часто припоминал слова графа С.С. Уварова: «В большей части Европы, кажется, в словесности власть единого таланта или немногих слабеет: наступает эпоха, которую один умный писатель верно изобразил названием эпохи «безыменной»»**. Эта цитата набросила на меня подозрение в демократизме, в неуважении к авторитетам, в намерении поколебать табель литературных рангов.

Изложенный взгляд на сборник литературных образцов, как своего рода новшество, не мог быть одобрен ни попечителем Московского учебного округа, графом С.Г. Строгоновым, ни профессором Московского университета С.П. Шевыревым. Оба они стояли за историческое начало в преподавании научных предметов, что ясно было выражено графом на обеде, данном в Петербурге, 1858 года, в день основания Московского университета, которым он управлял двенадцать лет (1835—1847). Шевырев, как ученый, серьезно изучавший памятники древнерусской литера-

*Эта часть предисловия удостоилась перевода на французский язык в книге «Histoire intellectuel de l'Empire de Russie», par Tardif de Mello. 1854. Paris.

**Граф С.С. Уваров в его «Академической речи о Гете»[5].

туры и открывший публичные лекции по этому предмету, неблагосклонно относился к некоторым новым талантам, как это видно из отчета его о первом сборнике стихотворений Лермонтова (1840 г.), в которых критик видел только подражание форме произведений наших именитых поэтов*[6].

Были и другие причины, обратившие внимание Шевырева на мою книгу. Первой из них служила рознь между журналами «Отечественные записки», в котором я участвовал как сотрудник, что было известно Шевыреву, и «Москвитянин». Первый из них, сторонник европеизма, не сходился в мнениях с «Москвитянином», представителем славянофильского учения. К этому взаимному недружелюбию двух начал присоединялись и личные раздражения. Нельзя сомневаться, что Шевырев обладал многими хорошими душевными качествами, несомненной ученостью и чрезвычайным трудолюбием, но вместе с этим он представлял и слабые, легко уязвимые стороны характера. Он был тщеславен, раздражителен, задорен и нередко педантичен в своих критических статьях, на что жаловался даже неизменный друг его М.П. Погодин. Последняя черта, как особенно выступавшая, была изображена Белинским в особой характеристике, под названием: «Педант, литературный тип»**[7].

Сказанное мною подтверждается свидетельством Ю.Ф. Самарина в его письмах к К.С. Аксакову. Он с радостью уведомляет своего друга, как «Шевырев был разбит в спорах с Крюковым и Редкиным (профессорами Московского университета) и прикрыл постыдное отступление криками и общими местами». «В Шевыреве, — по его отзыву, — нет той простоты и того смирения, без которых не может быть доступна тайна художественного произведения. Я считаю его неспособным забыть себя в присутствии высокого создания, забыть, что он изучил искусство, что он был в Италии и потому должен понимать и видеть больше, лучше и прежде других, которые не были в Италии и не изучали искусства. Ему будет совестно перед собою, если он увидит в художественном произведении только то, что может видеть всякий. Нет, он придумает что-нибудь помудренее, позамысловатее и поставит свою выдумку между читателем и поэмою» (то есть поэтическим созданием)***.

Чем же московская публика заинтересовалась в споре о таком заурядном явлении учебной литературы, как хрестоматия?.. Неожиданным хо-

*«Москвитянин», 1841 г.

**«Отеч[ественные] записки», 1842 г.

***«Рус[ский] архив», 1880 г., кн. 2, письма 20 и 52[8].

дом полемики. Шевырев приобрел себе большую известность; он занимал кафедру русской словесности; и в Москве, и в Петербурге его знали как ученого, литератора и критика. Я же был преподаватель русского языка в низших классах одного из московских институтов, посылавший статьи и статейки в «Отечественные записки» без подписи имени, как это требовалось редакциею журнала. И что же? Оказалось, что малоизвестный журнальный сотрудник, не подчиняясь авторитету нападающего, поднимает брошенную им перчатку и немедленно вступает с ним в бой*. Сознаюсь откровенно, что я, как слабейший, желая насколько возможно уравнять шансы успеха, дозволял себе в защите прибегать к различным средствам, между прочим к иронии и насмешке, которые нравятся читателям. Если недоставало у меня пороха, я бросал в противника песком и пылью, чтобы хоть несколько отуманить его. Другим поводом к интересу таким в сущности неинтересным предметом могло служить и литературное затишье в Москве того времени. Так, по крайней мере, объяснила дело А.П. Елагина (мать Киреевских) в письме к А.Н. Попову: «Литература наша отличается перебранкою Шевырева с Галаховым за хрестоматию, и чуть ли это не единственное явление»**. Наконец, немалое влияние и от розни воззрений, господствовавшей в среде профессоров. Мне хорошо известно, что некоторые из них, да и немалое число студентов, становились на мою сторону. По крайней мере, я выдержал атаку, не был разбит, не просил пардона, остался цел. В таком положении дела, слыша различные отзывы о критике и антикритике, издатель «Москвитянина» (М.П. Погодин) задумал прибегнуть к третейскому суду. Выбор его пал на Д.Л. Крюкова, профессора римской словесности и древностей, молодого, чрезвычайно даровитого и многоученого. Он предложил ему взглянуть на полемику нашу беспристрастно, как подобает человеку, лично незаинтересованному в деле и чуждому наклонности к той или другой журнальной партии. Предложение было принято, но не исполнено. Я узнал это от самого Крюкова, встретив его у Армфельда, тоже профессора Московского университета. Вот слова его: «Погодин просил меня взглянуть на вашу полемику с чисто научной точки зрения и дать о ней отзыв. Я было и обещал ему, но чем больше вникал в сущность спора, тем больше и больше переходил на вашу сторону, почему

*Критика Шевырева в 5 и 6-м №№ «Москвитянина», 1843; мои ответы в двух книжках «Отеч[ественных] зап[исок]» того же года, тт. 29 и 30[9].

**«Русский архив», кн. I, стр. 343[10].

и отказался». Слышал я потом, что кроме этой причины отказа была и другая: Грановский, не жаловавший Шевырева, отклонил своего товарища от намерения вступаться за «Москвитянин», его редактора (Погодина) и главного критика (Шевырева).

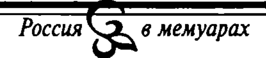
Чем же это все кончилось? Кто прав? Кто виноват? Оба мы виноваты — и критик мой, и я: он излишней строгостью, я — излишней неподатливостью.

Хрестоматией моей не был доволен и Н.А. Полевой, живший в то время в Петербурге и помещавший критические отзывы в «[Северной] пчеле», с подписью Z. Z. Но по давнему знакомству со мною в Москве он ограничился письмом (1843), в котором высказал свое мнение. Отзывы этого письма о Лермонтове, Кольцове, Майкове, Фете, Белинском... показывают, как одряхлел издатель «Телеграфа» в своих суждениях о критике и поэзии.

При втором, значительно исправленном, издании моей книги[11] начальство Московского учебного округа примирилось с нею, благодаря дружескому посредничеству Ф.И. Буслаева. Попечитель (гр. С.Г. Строгонов) вовсе не был предубежден против меня; он желал только, чтобы, как выше сказано, преподавание отечественного языка и литературы держалось на исторических устоях, которых, как ему думалось, не хотел видеть составитель хрестоматии.

Через десять лет после вышерассказанного, уже при шестом издании моей книги (1853), грянул на нее гром с той стороны, откуда всего менее ожидалось. Я жил в Москве, и экземпляр моей книги, поданный в цензуру, был отправлен в Петербург на рассмотрение директору Педагогического института И.И. Давыдову, бывшему прежде инспектором Александровского сиротского института (в Москве), где и я состоял преподавателем. В то время я пользовался его благосклонностью. Но это чувство заменилось противоположным с тех пор, как я, по поручению Я.И. Ростовцева, начальника штаба военно-учебных заведений, составил для них конспект и программы русского языка и словесности. Указывая пособия, нужные для ознакомления с этими предметами, я не включил в их число «Чтений о словесности», то есть лекций, читанных Давыдовым в Московском университете[12]. Отсюда — гнев и немилость. Цензор задумал если не совсем забраковать мою книгу, то, по малой мере, задержать ее, поприжать. Я был поставлен в неприятное положение: экземпляров предыдущего издания оставалось немного, а приступать к новому, не дождав-

шись цензурного разрешения, было делом рискованным. Подумав, я решился прибегнуть к посредничеству Я.И. Ростовцева, в то время бывшего в большой силе. И вот Давыдов, волей-неволей, хотя-нехотя, должен был исполнить мое желание. Просматривая возвращенный мне экземпляр, чтобы знать, нет ли каких замечаний или перемен, я с изумлением остановился на отрывке из «Похвального слова Карамзина Екатерине Великой»[13]. Известно, что в этом слове автор обращается к читателям с воззванием: «Сограждане!» И что же? Это воззвание везде было зачеркнуто, как нечто запретное. Нельзя было удержаться от смеха при мысли, до чего довела свою боязливость цензура: даже Карамзина чуть-чуть не причислила к поклонникам революции. При свидании с Давыдовым я признался в своем изумлении. «Чему ж тут изумляться? — отвечал он спокойно и равнодушно. — В настоящее время (1853) и французы не смеют говорить: concitoyen»[14]. Делать было нечего, реставрировать опальное слово не позволялось, и вот из двадцати с лишком изданий моей «Русской хрестоматии» в *шестом* (том I) похвальная речь Карамзина Екатерине так и осталась без *сограждан*, благодаря перевороту, учиненному во Франции Наполеоном Третьим.



[ГЛАВА XIII]
МОИ СНОШЕНИЯ С Я.И. РОСТОВЦЕВЫМ
(1850–1858)

В 1850 году, при упразднении Александринского сиротского института (в Москве), где я состоял на службе преподавателем русского языка и словесности, я вышел в отставку с половинною пенсией, около семисот рублей. Освободясь от официальных занятий, я давал уроки в пансионах и частных домах, а также по найму в Воспитательном доме, куда из сказанного института переведены были воспитанники высших его классов для окончания специального их образования. Дополнением к получаемому гонорару за уроки служили доход с хрестоматии, вышедшей первым изданием в 1842 году, и сотрудничество в «Отечественных записках». Я почитал себя достаточно обеспеченным и счастливым. Жить в то время было дешево, а занятия мои — уроки, новые издания хрестоматии и работа для журнала — приходились мне по душе, как не навязанные необходимостью, против желания, а свободно мною выбранные. Среди такого добровольного труда — наилучшего из всех трудов — в октябре 1850 года получил я из Петербурга, от К.Д. Кавелина, начальника учебного отделения в штабе военно-учебных заведений, следующее письмо:

«На основании «Наставления для преподавания в военно-учебных заведениях, одобренного государем 24-го декабря 1848 года», программы и конспекты почти всех предметов, которым обучают в корпусах, были изменены или совершенно переделаны и уже введены в преподавание, но программа русского языка и словесности осталась старая, ибо все составленные вновь оказались неудовлетворительными.

Так продолжается около двух лет. Начальник штаба* до сих пор не может найти человека, который бы умел усвоить, оценить и привести в исполнение его мысль, в сущности чрезвычайно простую и верную. Ему хочется освободить преподавание русского языка и словесности от напыщенных фраз, схоластики и школьного педантизма, приспособить как

*Яков Иванович Ростовцев.

можно ближе к возрасту и понятиям детей, чего наши рутинисты никак понять не могут, как ясно им ни толкуют. Вот главная причина, почему предмет такой важности, как русский язык, в русских учебных заведениях все еще преподается по программе 1845 года, недостаточность которой давно доказана опытом.

Дело это сильно озабочивает начальника штаба и, как мне хорошо известно, самого Наследника*[1]. Зная, какой вы опытный педагог, я не мог не подумать о вас, слушая частые сетования на неуспешность работ по составлению программ русского языка. Вы не охотник до схоластических подмосток, до всего натянутого, неестественного. Уже одно это убеждает меня, что вы совершенно поймете задачу и распутаете, наконец, гордиев узел. Как было бы хорошо, если бы вы взялись за это дело! Восемь тысяч мальчиков избавились бы от египетской работы при изучении своего природного языка и сотни учителей получили бы руководство к здравому смыслу в деле преподавания».

Чтобы дать мне полную возможность судить, что и как нужно сделать, вместе с письмом были присланы экземпляр «Наставления 1848 года», программа 1845 года и программа, составленная особою комиссией, но не утвержденная начальством военно-учебных заведений.

Просмотрев эти материалы, подумав и посоветовавшись с теми, кто мог дать умный совет, я принял предложение. Оно мне льстило во многих отношениях. На первом месте ставлю личность человека, от которого шло предложение, — личность крайне симпатичную, всеми, кто ее знает, многоуважаемую и многолюбимую. Кому из образованных русских неизвестна общественная деятельность К.Д. Кавелина, вполне чистая и благонамеренная, всегда вытекавшая из добрых начал и патриотических побуждений? Его имя, наряду с передовыми, лучшими людьми сороковых годов, останется в истории нашего просвещения. Я имел счастие — да, именно счастие, в прямом, благороднейшем смысле этого слова — познакомиться с ним, когда он, в звании адъюнкта по юридическому факультету, преподавал студентам Московского университета сначала историю русского законодательства, а потом русские государственные и губернские учреждения. Знакомство наше скоро перешло во взаимно дружеское расположение, искреннюю приязнь. Да позволено же будет мне гордиться связью, основанною на чувстве уважения и любви, и потому навсегда

*Ныне благополучно царствующего Государя, бывшего в то время Главным начальником военно-учебных заведений.

застрахованною от разрыва. Другим побуждением к согласию принять предлагаемую работу служила личность начальника штаба военно-учебных заведений. Я не был знаком с ним, но я знал его любовь к словесности, его связи с литераторами двадцатых годов, его уменье владеть пером*. Сверх того, он несомненно принадлежал к числу даровитых и умных людей, а с человеком такого сорта — вдобавок любившим литературу, хотя бы и по старой памяти, — во всяком случае интересно иметь дело. Самое дело подходило к роду моих занятий. К.Д. Кавелин не думал сказать комплимента, назвав меня опытным педагогом. В течение многолетней преподавательской практики я пригляделся к учащимся разных возрастов и мог по достоинству оценивать значение разных методов, способов и приемов при обучении русскому языку и словесности. В силу каких же резонов отвечал бы я отказом на предложение — помочь моим знанием и опытом более успешному преподаванию дорогих для меня предметов?

Не скрою, однако ж, обстоятельств, которые при изъявленном согласии могли затруднить мою работу. Главная трудность лежала в «Наставлении для образования военно-учебных заведений» как руководстве составителям программ. Написанное самим начальником штаба в 1848 году, оно заметно отразило на себе влияние политических событий на понятия и взгляды правительственных лиц, особенно тех, что заведовали образованием юношества. Эти понятия, будучи перенесены в область педагогики, не имевшей с ними ничего общего, могли потребовать такого изложения науки, которое очутилось бы в явном противоречии с действительными ее фактами, с истинною ее сущностью. В таком случае никто из порядочных людей не решился бы служить проводником ложных идей, извращать науку ради призрачных опасностей. Постановка «истории» в «Наставлении» преимущественно страдала приисканными воззрениями как на содержание этого учебного предмета, так и на цель и направление его преподавания. Т.Н. Грановский открыто говорил, что по такой инструкции нет возможности ни проходить истории, ни писать для нее руководства[3]. Учение отрицало бы современное значение и достоинство исторического знания. К счастию, русский язык и словесность поставлены были иначе. Частная инструкция касательно их преподавания предписывала программе и конспекту иметь в виду три цели: 1) чтобы воспитанники говорили и писали на родном языке грамматически правильно; 2) чтобы

*В журналах двадцатых годов появлялись стихотворения Я.И. Ростовцева. Кроме того, напечатана целая его трагедия «Персей» (1823)[2].

они знали основательно литературу не только русскую, но и славянскую и сознательно заимствовали образцы от двигателей нашей словесности; 3) чтобы и с характером знаменитых писателей литературы европейской они знакомились в классах русского языка. Так как сущность этих положений не допускала возражений, то каждый на моем месте мог принять на себя составление программы, не боясь ни оскорбить достоинства науки, ни покривить своею совестью.

Еще одна мысль удерживала меня от решительного ответа. Мне предлагали написать программу и конспект для военно-учебных заведений, о которых я не имел вовсе понятия. Но это затруднение легко устранялось взглядом на преподавание такого общеучебного предмета, как русская грамматика и русская словесность. Наука всегда и везде должна оставаться одною и тою же наукой. Различие в ее преподавании, по различию учебных заведений, может относиться только к ее объему, а не к существенному ее содержанию. Иначе мы имели бы столько грамматик и арифметик, сколько в государстве сословий и званий, что было бы нелепо. Сохранить же надлежащую меру в изложении науки, определить требования соответственно количеству времени, на нее употребляемому в течение курса, — дело не слишком хитрое. Конечно, я мог ошибиться, но это не беда: ошибки в этом отношении легко исправимы. Успокоив себя вышеизложенными соображениями, я изъявил готовность заняться предложенным мне делом. Начальник штаба, понимая важность и трудность работы, не хотел назначить ей срока: он только выразил надежду, что и конспект и программы будут приведены к концу так скоро, как только будет мне возможно.

После такого отзыва, не стесняющего меня сроком, я немедленно приступил к работе. Я выбрал следующий, по моему мнению, лучший план. Программа, рассуждал я, есть не что иное, как суммарий конспекта, оглавление его. Главная сила в конспекте, который по тому самому необходимо обязан принять характер критический, ибо только критика может указать, как должно быть изменено существующее преподавание. Притом мне сдавалось, что критические заметки будут убедительнее для лиц, которые станут рассматривать и судить мою работу. Критика моя относилась не к одному содержанию преподаваемого, но и к способу, методу преподавания — и преимущественно к сему последнему. Одним словом, я думал сделать лучше, а вышло, как увидим, хуже — не для самого дела, а для меня лично.

Работа моя, конченная через год (в 1851 г.), очень понравилась Я.И. Ростовцеву. Он отзывался о ней в самых лестных выражениях. Для того чтобы придать ей гласность в ведомстве военно-учебных заведений и ознакомить с нею поближе преподавателей русского языка и словесности, он признал нужным передать конспект и программы на рассмотрение особой комиссии, составленной, под председательством И.П. Шульгина, из наставников-наблюдателей и старших учителей русского языка и словесности в петербургских кадетских корпусах.

Из мнений, поданных лицами, рассматривавшими мой труд, только одно оказалось вполне одобрительным и сочувственным. Оно принадлежало И.И. Введенскому, очень даровитому и знающему преподавателю, известному в литературе по своим переводам Диккенсовых романов для «Отечественных записок»[4]. Все прочие взглянули неблагосклонно на предлагаемый мною метод. А в отзыве одного из этих недовольных ясно проглядывало сильное раздражение, которое нередко выражалось резкими речами. Причину раздражения я объяснял вышеуказанным характером моего конспекта. Критические заметки о недостатках, неправильностях преподавания русского языка и словесности были истолкованы как личности, отнесены на счет преподавателей в военно-учебных заведениях, чего у меня не было ни в уме, ни в разуме. Каким образом мог я говорить о предмете, совершенно мне неизвестном? Я никогда не учил в корпусах, не знал ни одного из корпусных преподавателей, никогда не присутствовал на их уроках. Я указывал недостатки, которые замечал во время моей практики и которым сам, при начале моей педагогической карьеры, платил бóльшую или меньшую дань.

Чтобы уладить дело, возмущенное противоречивыми о нем мнениями, необходимо было отдать его на просмотр третьего лица, которое могло бы с полным беспристрастием, единственно в интересах науки и педагогических требований, произнести окончательный приговор. Указание такого лица предоставлялось мне. Я выбрал профессора Московского университета, Ф.И. Буслаева — человека авторитетного[5]. Общими силами мы занялись отделкой моей работы. Федор Иванович трудился преимущественно над программой грамматики и, кроме того, в программе истории русской словесности составил отдел истории языка и слога. Мне же преимущественно принадлежали программы теории словесности (прозы и поэзии) и истории русской литературы. Исправленная таким образом, программа русского языка и словесности была утверждена 25 июня 1852 года глав-

ным начальником военно-учебных заведений в виде опыта, на пять лет. Труд мой удостоился двойной награды: мне было объявлено высочайшее благоволение и пожалована тысяча рублей. Сверх того, начальство военно-учебных заведений поручило обоим трудившимся составление учебных руководств на основании выработанной программы: мне — истории русской словесности и хрестоматии к новому ее периоду; Ф.И. Буслаеву — исторической грамматики русского языка и исторической хрестоматии церковно-славянского и древнерусского языка[6]. Составление же учебника по теории словесности, взятое на себя также г. Буслаевым, было потом передано с разрешения начальства И.И. Введенскому; но труд, начатый последним, был прерван его преждевременною смертью[7].

Лично благодарить Якова Ивановича за внимание к моему труду пришлось мне в приезд его в Москву летом 1852 года. Я был принят им очень благосклонно. В разговоре он выказал живой интерес к образованию вверенного ему юношества, к надлежащей постановке учебного дела в корпусах. В особенности останавливался он на мнениях преподавателей о программе, желая знать, как я смотрю на сделанные мне возражения и замечания. Должно быть, недобрый гений внушил мне такой ответ: «Большая часть спорных пунктов происходит, как мне кажется, от недоразумений; случись мне быть в Петербурге и лично переговорить с каждым из лиц, подавших мнение, мы — я в том уверен — легко разрешили бы несогласия и сошлись бы во всем существенном». При этих словах Яков Иванович задумался: видно было, что в голове его зародилась какая-то мысль. Действительно, в ноябре того же 1852 года получил я официальное письмо, извещающее меня, что «Его Императорскому Высочеству Наследнику Цесаревичу благоугодно, чтобы я прибыл в Петербург для словесного совещания с преподавателями русского языка и словесности с.-петербургских военно-учебных заведений». Это известие озадачило меня неожиданностью. Москвичу-домоседу, устроившему свою жизнь покойно и боявшемуся каких бы то ни было нарушений обычного, приходившегося по сердцу, течения времени, жутко было идти на генеральную баталию с незнакомыми лицами, петербуржцами, о которых сложилось мнение, что они или свысока или косо смотрят на москвичей. Мне хотелось бы отправиться с Ф.И. Буслаевым, разделявшим мой труд, так как ратовать вдвоем все же легче, чем одному, но он не мог оставить своих занятий. Желая заместить его другим лицом, я обратился за помощью к И.И. Введенскому, который с свойственными ему искренностью и честным увлечением

охотно согласился исполнить мою просьбу. Вот отрывок из его письма ко мне по этому поводу: «Вы слишком скромны, когда говорите, что новыми программами вводится только *более правильное направление и более правильный метод преподавания* словесности и языка. Нет, новые программы представляют совершенную реформу в нашей науке, совершеннейшее отрицание прежних схоластических приемов, и в этом заключается единственная причина, почему они встречены с таким дружным и единодушным ожесточением. Радуюсь и считаю себя счастливым, что значительная часть этого ожесточения начинает теперь падать и на меня со стороны моих собратов по ремеслу... С величайшим удовольствием готов разделить вашу участь на предстоящих диспутах и душевно благодарю вас за роль, какую вы назначаете мне в качестве вашего товарища. Федору Ивановичу, нет сомнения, эта роль была бы гораздо приличнее, но если уж нельзя ему быть в Петербурге, я готов, заменяя его, употребить все зависящие от меня средства, чтобы отстоять правое дело».

Письмо это несколько ободрило меня. Но все же естественно было мне чувствовать тревогу и смущение, когда, по приезде в Петербург, в назначенный для первого диспута день явился я вместе с К.Д. Кавелиным в огромную залу Первого кадетского корпуса (где теперь Первое Павловское военное училище) и вступил на кафедру. Половина этой залы была занята разнородною публикой. В первых рядах сидели кроме начальника штаба директоры и инспекторы петербургских корпусов — люди чиновные, увесистые; за ними поместились преподаватели военно-учебных заведений и сторонние посетители, из любопытства приехавшие на педагогический конгресс; далее стояли кадеты высших классов. И в этой многочисленной публике я различал очень немногих знакомых. Еще менее было таких, которые не желали бы побиения москвича, задумавшего какую-то реформу в преподавании русского языка и словесности. Не могли же, в самом деле, воспитанники военно-учебных заведений относиться равнодушно к неудаче их учителей и наставников. Неестественно было и самим наставникам, по солидарности, свойственной каждой корпорации, злорадствовать какому-либо из ее членов. Я мог рассчитывать на искреннее сочувствие К.Д. Кавелина, но только на сочувствие, потому что он (выражаясь его собственными словами из письма от 8 декабря 1850 года), «не будучи знатоком дела, не мог подавать мнений, которые сколько-нибудь весили бы в глазах специалистов». Затем я сильно надеялся — и не ошибся в надежде — на заступничество со стороны И.И. Введенского, а также на под-

держку Г.Е. Благосветлова и В.Ф. Кеневича, преподавателей, смотревших на мою программу одинаково с Введенским. А между тем в другом, противоположном лагере какое число готовых оппонировать! Из них мне приходилось ведаться с опытными и знающими педагогами, известными, кроме того, в литературе своими почтенными трудами[8].

Чем же кончились наши дебаты?

Слишком двадцать пять лет прошло с того времени, и было бы смешно в воспоминаниях о прошлом помрачать их искренность и портить правду из угоды ложному стыду или ложному самолюбию. Поэтому говорю открыто, что я с самого начала повел состязание не надлежащим образом. Мне следовало бы ограничиться разъяснением того, что составляло существенное отличие моей программы, именно — более правильного направления и более правильного метода в преподавании русского языка и словесности. Я должен бы был отстаивать преимущества рекомендуемого мною практического метода: его рациональность, удобство и полезность сравнительно с другим, в котором преобладали схоластический догматизм и схоластическая теория. Но, не довольствуясь этой задачей, я пустился в толки о самом содержании науки, так как в мнениях преподавателей военно-учебных заведений о конспекте и программе находились возражения не только против способа преподавания, но и против взгляда моего на преподаваемое. Эти толки без всякой пользы только затянули диспут и, конечно, не могли нравиться публике, собравшейся не с тем, чтобы слушать препирания о грамматике, теории словесности, истории литературы, а с тем, чтобы составить себе ясное понятие о предлагаемой реформе. Умалчиваю о замечаниях со стороны гг. директоров и инспекторов кадетских корпусов: почти все они касались единственно размера программы, трудности, даже невозможности исполнить ее при том количестве часов, которое отведено было в курсе на преподавание русского языка и словесности. Как выше сказано, это неудобство легко устранить сокращением программы, лишь бы и сокращенная неприкосновенно сохраняла за собою свой отличительный характер. Короче, прения, по моему крайнему убеждению и чистосердечному признанию, привели к такому результату: *в состязании с моими оппонентами я не одержал победы, но программа, мною составленная, взяла верх*. Это мне и нужно было единственно; с этою целью я и принялся за работу: никаких иных целей и побуждений не имелось. Правда, благорасположенные ко мне люди желали видеть меня на месте главного наставника-наблюдателя за препода-

ванием русского языка и словесности в военно-учебных заведениях; но я благодарю судьбу, что их — а не мое — желание не исполнилось. На эту должность, по всей справедливости, поставили И.И. Введенского, как человека, давно знакомого с порядками и ходом военного образования: поставление служило ему как бы наградой за героизм на диспутах.

Почин в постановке преподавания русского языка и словесности на новых началах, бесспорно, принадлежит Я.И. Ростовцеву. Его усиленные старания поднять уровень образованности военного сословия, его конкуренция на этом пункте с другими учебными ведомствами останутся навсегда памятною заслугой. Успех этих стараний ласкал и питал его честолюбие. Без него до сих пор, быть может, не вышли бы в свет такие капитальные ученые труды, как «Историческая грамматика русского языка» Буслаева и его же «Хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языка». Не смея судить о моей «Истории русской словесности» и «Исторической хрестоматии к новому ее периоду», я обязан, однако ж, сказать, что и они своим появлением обязаны его содействию. А пожизненная, нерушимая дружба с К.Д. Кавелиным и Ф.И. Буслаевым — разве это не дорогое, хотя личное мое приобретение? «Дружбу сотворил Бог, а литературу состряпали мы, смертные» — так отвечал Пушкин на упреки приятелей за преувеличенные похвалы стихотворениям друзей своих, Дельвига и Баратынского[9].

С утверждением программы и введением ее в действие мои отношения с Я.И. Ростовцевым не прекратились. С удовольствием вспоминаю, что они были неизменно приятные. Вся тайна в том, что Яков Иванович не формально, а по внутреннему побуждению интересовался успехом предложенных улучшений. Он умел ценить труды лиц, уверенных в правоте своего дела и потому искренно и добросовестно ему преданных. Он охотно следил за ходом работ по составлению учебников, порученных мне и Ф.И. Буслаеву, не стесняя нас ни сроком, ни другими условиями, которые могли бы стать вразрез с выработанным нами планом и тем повредить научным и учебным требованиям. Приезжая в Москву, он лично удостоверялся, насколько подвинулся наш труд, прочитывал готовые отделы, охотно беседовал о них. Равным образом, вызывая нас в Петербург, выслушивал мнения частной комиссии о том же предмете и наши объяснения по некоторым запросам. Главным членом комиссии был Востоков, давший одобрительные отзывы о наших трудах, сначала представленных в рукописи. По исполнении нами поручений, Яков Иванович не

желал раскланяться с нами; напротив, его намерением было сблизиться с нами, привязать нас, так или иначе, к военно-учебным заведениям. Вместе с ним, по его приглашению, присутствовали мы на экзаменах воспитанников корпусов, когда ему для этого случалось приезжать в Москву. Ему было очень приятно, когда я взял предложенные мне уроки русской словесности во втором специальном классе Первого московского кадетского корпуса. Вскоре моему участию в образовании молодежи, готовящейся к военной службе, представился более широкий простор: Яков Иванович просил меня следить за преподаванием русского языка и словесности во всех трех московских корпусах. Я сделался, так сказать, неофициальным наставником-наблюдателем, без всякого за то вознаграждения. Это еще более нас сблизило, и следствием такого сближения было то, что при открытии вакантного места преподавателя русской словесности в Николаевской академии генерального штаба оно было предложено мне. Я принял предложение и в ноябре 1856 года переселился из Москвы в Петербург.

Прибавлю еще одну, последнюю заметку о составленной мною программе. Выше сказал я, что она взяла «верх». Под этими словами я разумею не только то, что программа была введена в военно-учебные заведения, но и то, что она служила образцом программ по тому же предмету в учебных заведениях других ведомств. «Программа русского языка и словесности для желающих поступить в студенты Московского университета» (1864), составленная Ф.И. Буслаевым, одного направления с моею: она также требует отчетливого знания языка и непосредственного знакомства с литературными произведениями. Разница только в размере: уменьшено число образцов как русской, так и иностранной словесности. Другая программа, принадлежащая комиссии, образованной из преподавателей московских гимназий под председательством Н.С. Тихонравова (в 1866 г.), еще более сократила отдел по теории и истории словесности, устремив преимущественно внимание на грамматику и стилистику; но основания остались неизменными. Наконец, не те же ли самые основания легли и в программу русского языка и словесности 1872 года, при новом уставе гимназий и прогимназий?

Сношения с Я.И. Ростовцевым по составлению программы и учебников вовлекли меня в сношения с Н.И. Гречем. Если первые отличались взаимным благорасположением, то вторые, напротив, представляли вза-

имную неприязненность. Греч был приглашен на мой диспут и присутствовал на нем в двух качествах: в качестве авторитета, знатока русского языка и «хранителя его чистоты и правильности», как не шутя величал его Булгарин и как в насмешку называли его «Отечественные записки», и в качестве давнишнего знакомца и приятеля Якова Ивановича, который в молодости вращался в кругу литераторов — сотрудников «Сына Отечества». На диспуте Греч держал себя смирно, не вступая со мною в состязание, может быть, потому, что считал это низким для своей авторитетности, но, конечно, желая мне полного поражения. Нерасположение его ко мне началось еще с тридцатых годов, когда я в «Телескопе» делал кой-какие заметки на его грамматику[10], усилилось со времени моего сотрудничества в «Отечественных записках», не только потому, что мы с П.Н. Кудрявцевым в двух критических статьях разобрали составленную им «Учебную книгу российской словесности»», указав неверность и ничтожность его реторики и пиитики[11], но и вообще потому, что сотрудникам «Отечественных записок» было противно направление литературной деятельности и его, и наперсника его Булгарина. Он хорошо знал это и не мог питать ко мне добрых чувств. Программа моя ставила изучение русского языка не на тот путь, по которому вела его «Русская грамматика» Греча. Мнение мое об этой книге при каждом удобном случае выражалось или прибавкой эпитета: «так называемая» (так называемая русская грамматика), или более полною формулой: «Это — не грамматика русского языка, а грамматика языка Греча».

Играя роль пассивного слушателя на диспуте, Греч, чрез несколько лет после того, как наша программа была введена в действие, именно в 1856 году, напечатал в № 7 «Морского сборника» небольшую статью «Заметки о преподавании русского языка и словесности». Статья косвенным образом отрицала истинность и пользу преподавания русского языка по новой программе[12]. Нельзя было не отражать сделанной вылазки. Мы и отразили: Ф.И. Буслаев в статье «О преподавании русского языка и словесности» («Отечественные записки» 1856 года, № 12); я — в трех статьях, озаглавленных: «Мнение о статье Греча: Заметки о преподавании русского языка и словесности» («С.-Петербургские ведомости» 1856 года, №№ 266—268). Целью нашего ответа было показать, как узка, одностороння и потому ошибочна русская грамматика, игнорировавшая и язык церковнославянский, и язык народный и извлекавшая законы и правила только из двух источников: из прозаических сочинений весьма немногих образцовых писателей и из собственных, не основанных на знании фактов соображе-

ний автора, не знакомого ни с сравнительным, ни с историческим языковедением и не получившего надлежащего филологического образования. Доказательства мы почерпали из грамматики же Греча, выставляя противоречия одних ее правил другим правилам, или одних примеров другим примерам, или правил примерам образцовых сочинений. Почти одновременно с появлением наших ответов Греч имел на плечах другую полемику, с академиком И.И. Давыдовым, по поводу грамматики последнего[13]. Оттого ли, что ему не хотелось разделять свои силы на трех противников, или в силу обычая, свойственного так называемым авторитетам, — не выходить на битву с рядовыми, как не стоящими пороха, и отделываться от них известным стихом: «презренье — мой ответ на дерзкие слова»[14], только он выслал против нас К.А. Полевого, брата издателя «Московского телеграфа». В трех статьях, напечатанных в «Северной пчеле» за 1857 год (№№ 23, 39, 50 и 116) и потом изданных особою брошюрой «Споры о грамматике и языке» (1857), г. Полевой старался защитить Греча и выставить наше, то есть мое и Ф.И. Буслаева, незнание ни языка, ни словесности, даже наше неуменье писать по-русски, и проч. и проч.[15] Федор Иванович, занятый лекциями, пренебрег выходками Гречева сторонника, но я, признаюсь, не вытерпел и в апрельской книжке «Отечественных записок» 1857 года тиснул «Дополнительные объяснения г. Гречу». Почему ж не Полевому? Ведь он не скрывал своего имени? А потому, что в статьях г. Полевого я видел истого оруженосца Греча, вооруженного его доспехами и сражавшегося по образу и подобию своего рыцаря: те же узкие взгляды на грамматику, те же обветшалые понятия о языке и словесности. Ясными намеками хотелось мне дать знать, что спорил с нами собственно не К. Полевой, а сам Греч, что «Споры о языке и словесности» написаны по внушению, так сказать, под диктовку последнего. Поэтому я несколько раз называл К.А. Полевого литератором молодым, неопытным, только что выступающим на новое для него поприще. Это, разумеется, была шутка, которая заставила г. Полевого в приписке (postscriptum) к третьей статье сказать следующее: «...г. Галахов знает меня двадцать лет, бывал у меня множество раз, всегда видел от меня доброжелательство, пользовался моими советами при составлении своей хрестоматии, которая даже была издана моим иждивением*, и после всего этого неприлично ему не узнавать меня и называть неопытным юношею»[16]. Слова эти справедливы, но

*Первое ее издание, 1842 г., напечатанное в числе трех заводов, по тогдашнему — 3600 экз., из коих тысяча была отдана мне, а остальное пошло на долю издателя.

дело в том, что К.А. Полевой в Москве и К.А. Полевой в Петербурге — два разных лица. В Москве он был сотрудником, правою рукой своего брата, передового журналиста, знакомившего нас с явлениями умственной и литературной жизни Запада, вместе с братом постоянно воевал с Гречем и Булгариным, и в этой войне наносил им чувствительные удары. В то время все мы, молодые люди, кончившие университетский курс, любили и уважали обоих братьев, стояли неизменно на их стороне, сердились на их противников за эпиграммы на «Телеграф» и на его издателя с сотрудниками*. В Петербурге же К. Полевой преобразился: сошелся с Гречем, стал защитником его мнений, отщепенцем от самого себя, лже-Полевым. Толкуйте как угодно подобную метаморфозу, а мы могли объяснять ее только понижением или умственного или нравственного уровня. «Кто за Греча и Булгарина, тот против нас» — вот что было нашим девизом.

Личное состязание с Гречем произошло у меня в Петербурге, куда мы с Ф.И. Буслаевым вторично были вызваны для представления отчета о составляемых нами учебных руководствах. Я.И. Ростовцев у себя на дому собрал небольшую комиссию, в которую кроме нас двоих и начальника учебного отделения (И.А. Бирилева) приглашены были И.П. Шульгин, г. Греч и А.Х. Востоков. Перед ее открытием я решился сделать визит нашему антагонисту, то есть г. Гречу, так как ему также были сообщены наши труды на просмотр, после которого он дал о них очень неблагоприятное мнение.

После обычного приветствия, г. Греч шутливо сказал о комиссии:

— Ну, что ж? Будем воевать не на живот, на смерть, как герои Илиады — Ахиллес и Гектор.

— Гектор, — отвечал я ему шутя, — слишком высокий для меня образец; я желал бы лучше быть Парисом.

— То есть вы желаете убить меня.

— Не вас, а вашу грамматическую систему.

Впрочем, несмотря на готовность к битве, г. Греч в комиссии выказал скромность, может быть, благодаря присутствию вполне законного и потому властного авторитета, А.Х. Востокова, к которому мы с Буслае-

*Из многих эпиграмм на обоих Полевых следующая, написанная, если не ошибаюсь, А.И. Писаревым, отличается особенно забавною оригинальностью:

Нет противней до Алтая —
Полевого Николая;
И скучнее нет до Понта —
Полевого Ксенофонта[17].

вым единственно и обращались за разрешением спорных пунктов. К сожалению, первоклассный ученый, основатель славянской филологии, страдал сильным косноязычием. Этот природный недостаток конфузил его, мешая свободному изложению мыслей в разговоре*.

Открыть кампанию против г. Греча следовало бы, конечно, Ф.И. Буслаеву, как специалисту по языкознанию, но он предоставил это мне. Собравшись с духом, я решился доказать по возможности несостоятельность грамматических оснований «хранителя чистоты русского языка». Я начал с положения, высказанного им и в статье «Морского сборника» «Заметки о преподавании русского языка и словесности», и в рукописном отчете о наших трудах, который был нам передан с тою целью, чтобы мы могли с ним познакомиться до заседания комиссии. Положение гласило: «Грамматические правила должны быть извлекаемы из сочинений образцовых писателей и из логических соображений, или умозрений автора грамматики». Прочитав эти строки в комиссии, я обратился к г. Гречу с вопросом: «Если правила, извлеченные таким способом, в разных грамматиках окажутся различными, даже противоречивыми, кто будет решать, какие из них истинны, и какие ложны?»

— Конечно, Академия наук, — отвечал Греч.

— Академия?.. Но она не папа, признаваемый католическим миром за непогрешимого в своих приговорах. Академия при решении вопросов должна будет на чем-нибудь основываться: какие же это основания?

Мне хотелось сделанными вопросами привести противника к сознанию, что примеры, взятые у одних образцовых писателей, могут противоречить примерам, заимствованным у других писателей, столь же образцовых; что логические соображения, которые г. Греч почему-то назвал умозрениями, тогда только имеют силу, когда опираются на знакомство с фактами языка; что для автора русской грамматики необходимо изучение истории русского языка, а также изучение русского языка народного, которым пренебрегали наши литераторы одной школы с Гречем и называли его площадным. Так как Греч не отвечал на мой последний вопрос, то я приступил к подкреплению моей мысли примерами из его же собствен-

*Ода «К Гарпократу» (богу молчания) служит исповедью Востокова. Она начинается такими словами:

«Священный бог молчанья,
Которому, увы! невольно я служу», и проч.

В связи с этою одой состоит другая пиеса: «Откровение Музы». См.: Стихотворения А. Востокова, 1821[18].

ной грамматики. Выбор примеров не представлял трудности: в период моих учительских занятий я вдоль и поперек познакомился с этим общепринятым тогда учебником и видел все его прорехи, то есть противоречие одних правил и примеров другим правилам и примерам. Я.И. Ростовцеву очень понравились мои возражения. После каждого из них он говорил мне: «Еще что-нибудь, пожалуйста». Дело заключилось комическим образом. Словно желая утешить Греча, Я.И. Ростовцев обратился к нему с следующими словами: «Несмотря на все это, любезнейший Николай Иванович, я уверен, что грамматика ваша просуществует еще лет десять». Тут Греч разгорячился: «Да что вы, ваше превосходительство, все толкуете о моей книге? Я вовсе не дорожу ею: пусть она хоть сквозь землю провалится». Я.И. Ростовцев засмеялся: «Ну, полно, не сердитесь, я ошибся: ваша книга проживет еще не десять, а двадцать лет»[19].

Возражения мои Гречу служили самою легкою оплатой за последние строки его отчета о трудах моих и Ф.И. Буслаева. Он указывал, натравливал на меня, как на сотрудника «так называемых “Отечественных записок”» (его собственное выражение), будто бы возбуждавших в читателях пристрастие к иноземцам и нелюбовь к отечеству; он называл меня последователем Огюста Конта и Литре, проповедников гибельного учения, потому только, что в объявлении о подписке на «Отечественные записки» 1848 года, наряду с статьями, обещанными редакции, значилось и мое «Изложение позитивной философии (по Литре)», которое, впрочем, не явилось в печати; в заключение же давалось знать, что люди, подобные мне, могут быть не образователями, а развратителями юношества. Вот какие камни бросал он в огород мой! вот каким оружием умел он действовать купно с Булгариным!

Что я не помнил зла, а умел видеть и хорошее в грамматической и литературной деятельности Греча — доказательством служит его некролог, написанный мною для февральской книжки «Журнала министерства народного просвещения» на 1867 год[20].

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ЗАПИСОК ЧЕЛОВЕКА

[ПЕРВЫЙ ОТРЫВОК]

П.Н. Кудрявцеву

Человек он был.
«Гамлет»

В странной судьбе имен (как, например, в имени «человек»), в их неправом величии или незаслуженном презрении, я вижу закон неизменного движения истории. Это — в малом виде изображение великого шествия человечества, прообразование общей участи в судьбе частного предмета. Просвещение сделает с словами то же самое, что оно делает с людьми. История первых указывает на историю последних, на историю мира, которая есть суд миру и вместе его возвышение. Она поражает все несущественные, внешние признаки предметов, которые приковали к себе внимание легкомысленного, отуманенного человека, и мало-помалу открывает в полном достоинстве их признаки внутренние, существенные. Предмет, закутанный в покровы лжи, является тогда в неискаженном, естественном значении. Постепенное освобождение себя от внешнего, наносного, постороннего и торжество внутреннего, нашей родовой собственности — вот задача всех и каждого. «Я хочу от людей немногого, — сказал один из тех, которые живут, чтобы мыслить и страдать, — хочу, чтоб люди были *истинны*». Но в этом немногом — все. Людям часто всего труднее быть *людьми*. Однако ж желание великого страдальца мысли непременно исполнится. Рано или поздно мы выработаем себя: мы сделаемся *истинными*. Тогда, конечно, не будет лжи и в употреблении имен, как не будет ее в употреблении наших сил и способностей. И вот языческий поэт произнес уже великие

слова: «Я *человек*, и мне доступно все человеческое». Это изречение должно служить твердым лозунгом живущего, похвальным надгробием умершего. И вот другой поэт, поэт христианства — заставляет Гамлета совлечь с человека блестящий внешний признак и о родителе-царе сказать как о родителе-человеке: «Человек он был». В этих словах и упрек Горацию, и такой похвальный отзыв, дальше которого идти невозможно, потому что дальше существует только фантастическое возвышение.

Итак, я пишу записки — записки человека, произнося это имя с такою же гордостью, с какою древний римлянин произносил: «Romanus sum»[1]. Жалею очень, что не имею счастия принадлежать к тем великим личностям, в которых жизнь человека является на высоте красоты или могущества: тогда мои записки получили б несравненно более интереса. Где жизнь, там и поэзия. Где больше жизни, там больше и поэзии, больше пищи любознательности или наслаждению. Если мы любуемся устройством простого растения, то, конечно, ливанский кедр или суристанская роза привлекают сильнее внимательные взоры: такое ж отношение между человеком обыкновенным, который ничем не возбудил общественного движения, и человеком необыкновенным, который глубиною мысли или силою воли двигал людей. Но в этой скромной обыкновенности есть своего рода достоинство — тождество ее жизни с жизнью других, общность признаков, которыми наделено большинство рода. Быть может, многие в моих записках прочтут собственную свою исповедь, во мне узнают себя. Как в темных жилищах бедности, в тихом сердце доброго человека совершаются иногда великие жертвы, является героизм, тем более достойный похвалы, что нет ему свидетелей, кроме совести, что он живет без надежды на славу, так точно в жизни обыкновенного человека являются великие законы человечества, которые мы обязаны заботливо подмечать. Отсутствие деятельности общественной, многообъемлющей заменяется здесь невидимым, но все-таки любопытным развитием внутреннего мира, жизнью чувства и мысли. Много перечувствовать есть также подвиг. Кто пережил ряд мыслей, тот может сказать, что он не только жил, но и жил долго. Любопытно следить за постепенным ходом великого творческого таланта, который оставил в наследство миру высокие создания своего вымысла, но блажен и тот, кто «был поэтом молча»[2]. Не будем же рассеянны: останавливаясь с любопытством перед ярко освещенным домом, заглянем в те бедные жилища, где простой человек исполняет свою обязанность просто, без шума и блеска.

Но могут ли быть любопытны записки одного, и притом обыкновенного человека, рассказ о жизни единицы?.. Отчего же нет? В одном есть также откровение целого. Росистый луг при солнечном свете представляется серебряным; но и одна капля росы, озаренная солнцем, блестит как серебро. Ведь мы любуемся созданием поэта как воспроизведением жизни: отчего же не любоваться каждым произведением жизни, которое дает поэту материал? Скажу более: при современном направлении общества индивидуализм занял высокое место, так что каждый член его объявляет свое право на все блага жизни. Равным образом, в современной науке высоко ценится познание индивидуальных предметов: наблюдение заступило место выводов a priori, монографии выбили из моды системы и общие воззрения. Величайшее наслаждение мысли — если мы когда-нибудь его достигнем — будет состоять именно в совершенном знакомстве с натурой каждого существа в особенности, с индивидуальными свойствами предметов. В эту эпоху умственного владычества человек станет смотреть на мир познаний так же, как художник смотрит на мир эстетический: умственный образ каждого предмета подарит ему такие же минуты наслаждения, какие он испытывает, созерцая идеал: он увидит в мире то же, что видит в каждом произведении творчества — что жить значит наслаждаться самим собою и быть источником наслаждения для других.

Ясное сознание успехов народного просвещения не всегда возможно. Общий итог их, во всех классах общества, трудно подвести одному. Для этого необходимо наблюдать за движением каждого класса в течение нескольких десятков лет, узнать его состояние прежде нас и при нас, принадлежать к его членам, чтобы сравнением собственного значения с значением предшествовавших нам людей определить меру прогресса. Но если везде поступательное движение общества было то же самое, какое оно было в трех генерациях нашей родовой линии, то нельзя не подивиться величине расстояний, лежащих между дедом, его сыном и внуком. Справедливо сказал о России народный оратор[3]: «Она необъятна, как пространство»; но несправедлива другая половина его фразы: «и терпелива, как время». Нет, ускоренное биение пульса возвышает смелые порывы, нетерпеливое стремление вперед. Ее поколения — члены геометрической прогрессии, быстро возрастающей. В ней город отстоит от города на сотни, тысячи верст; в ней и родные люди, члены одного семейства, разделены еще большим промежутком. Только у нас понятно явление, что между дедом и внуком, отцом и сыном нет ничего общего по образо-

ванию. В других странах не встретишь столь изумительного факта: там одно поколение уходит не так далеко от предыдущего, не так далеко отстает от последующего; там отец понимает, чем он выше своего отца и чем он ниже своего сына; члены последовательных генераций подают один другому руки; между ними нет крайней разрозненности, доходящей до противоположности, нет такого резкого отчуждения, при котором родные по плоти становятся посторонними по духу. Конечно, такой быстрый ход просвещения исключает совершенно естественность его развития: не предки нам его передали, не от нас примет его потомство; оно не наследственное, а приобретенное; оно не развивалось, а прививалось; члены одного семейства принадлежат у нас к разнородным общественным слоям, так что под одною кровлею протекает и жизнь почти инстинктуальная, жизнь посредством предания, и жизнь вполне сознательная, уничтожающая предания. Это — крайности, которые не сходятся. От них проистекает совершенно разное понимание интересов жизни, отсутствие всякого другого действия. Дед физически заключен в своем поместье, нравственно — в сфере своих взглядов, а внук не только понимает все современные заботы науки и общества, но и принимает в них горячее участие — по крайней мере, мыслью, желанием: где ж тут последовательность? Впрочем, каким бы путем ни взошел человек на высшую степень образования — чем взошел он скорее, тем лучше. Нет никакой беды, если он выше отца и матери. Превосходство образования, родив отчуждение, дало ему и противоядие: он сознает свое превосходство, а плод сознания — терпимость, сила примиряющей любви, возможность снисходить к другим ступеням развития. Не все, конечно, отошли так далеко от своих родителей; но чем их меньше, тем больше между ними сочувствия. Они и в многолюдной толпе, их разлучающей, узнают себя взаимно, размениваются приветливыми взглядами и тайно жмут друг другу руки.

Дед мой[4] и бабка принадлежали к числу тех старосветских людей, которые количеством и качеством своего образования напоминают некоторые лица комедий Фонвизина. Бабушка писать не умела, а знала только славянскую грамоту и иногда сама читала молитвы во время молебнов, петых у ней на дому. Это чтение не мешало ей нисколько обращать внимание на предметы посторонние, совершенно чуждые богослужению. Внешняя набожность шла параллельно с хозяйственными заботами, и мы, внуки и внучки ее, исподтишка подсмеивались над нежданным вопросом или замечанием, которые странно перерывали псалом или молитву. «Отче

наш, иже еси на небесех, — читала бабушка и вдруг, взглянув в окно, кричала девке: — Никак приехал кто-то? Верно, Акулина Ивановна? Посмотри-ка», и пр., в том же роде. По окончании молебна священник получал десять копеек (медью), ни больше, ни меньше, но зато был непременно угощаем закуской. Незнание какого бы то ни было предмета бабушка считала незнанием арифметики, как такой науки, которую всегда труднее знать. «Так, по-вашему, Иоанна Богослова празднуют 27 сентября? Хорош же вы арифметчик!» Все, противное тем обычаям, посреди которых она выросла и состарѐлась, казалось ей смешным; на каждое нарушение преданий она смотрела как на преступление. Она неприветливо встретила мать мою, молодую жену своего сына, увидав ее в чепце: «Что это ты, малушка (уменьшительное собственной работы, от слова *малый*), нарядилась? Ты бы просто повязала платок, по-нашему». И я очень помню трех или четырех барынь одной категории с моей бабушкой, которые каждое воскресенье стояли в церкви рядом, в белых платках на голове, словно богаделенки[5]. Честолюбие мало занимало моего деда и его супругу. Конечно, он служил, потому что нельзя же было не служить дворянину; но главная цель вступления и продолжения службы состояла в том, чтоб ее поскорее кончить, что он и сделал с получением первого чина. Куда же стремился он? — к себе, в деревню, в наследственное имение, жить на свободе, где и прожил до 90 лет, не оставив после себя следов, в полном значении этого слова. В последние дни жизни он потешался двумя забавами: дракою гусей да узкими сапогами — до того узкими, что он с четверть часа натягивал их на ноги, а снимал, разумеется, вдвое дольше. По некоторым оставшимся у меня в памяти обстоятельствам догадываюсь, что между дедушкой и бабушкой вышло небольшое (а может быть, и большое) семейное дело. Иначе, зачем бы дедушке жить не в главном корпусе дома, а в особой комнате, похожей на чулан и отделенной от корпуса холодными, темными сенями? Ведь это почти фамильная ссылка! Зачем подавать ему особенный чай, то есть худшего сорта? Прислуга толковала что-то о размолвке между почтенными супругами, когда они еще не были стариками, — размолвке, в которой нежная половина одержала верх, благодаря своей настойчивости; но боязливо умалчивала о причине. Впрочем, наши предки не затруднялись в средствах утешать себя в небольших разочарованиях. Дедушка нашел другое очарование — в вине, которое иногда подносится горем, в гусиной драке и узких сапогах. Меня мало занимали тогда семейные трагедии. Я знаю только,

что мне нравилось приходить к бабушке, когда мы со всем семейством приезжали в нашу деревню из того города, где я воспитывался. Бывало, как только батюшка и матушка, исполняя завещание Владимира Мономаха, лягут соснуть после обеда, я с радостью убегал на *тот двор* (названный так для отличия от нашего дома), к бабушке, которая любила своих внучат простаковскою любовью[6]. Она обедала очень рано, и потому ее послеобеденный отдых оканчивался в то самое время, как начинался он у моих родителей, уже более цивилизованных. По приходе моем немедленно выдвигался столовый ящик и выгружались оттуда пышки, свежие огурцы, яблоки. Час или два праздной вольности после принужденного положения в целый день были для меня сладким временем, свободой тела и ума. Родители мои не отличались строгостью, но, как большая часть родителей, обращались с детьми на основании своих понятий о том, каковы должны быть люди взрослые. Зато с какой досадой и горем встречал я няню, которая приходила с нашего двора с своим обычным припевом: «Пожалуйте! Папенька и маменька встали».

Родители мои стояли несколькими ступенями выше и по врожденным дарам, и по известному образованию, полученному, впрочем, на медные же деньги. Батюшка отличался деловою способностью: он приобрел славу искусного стряпчего по целой губернии; матушка, напротив, плохо ладила с практической мудростью: характер ее развился по направлению мечтательному и был всегда готов на идеальные замашки. Жаль только, что эти естественные дары не имели другого начала действий, кроме инстинктуального стремления, при котором нет возможности ни оценить себя по достоинству, ни сознать достоинство противоположных стремлений. Идеализм жены нашел на реализм мужа, как находит коса на камень: отсюда ряд самых неприятных, пошлых и грустных семейных сцен, особенно в первые годы брачной жизни, когда еще два противоположные элемента не утратили своей жесткости. Время утишило потом громкий ропот взаимного недовольства, но случайное сделалось постоянным: семейные ссоры обратились в привычку, в какую-то домашнюю обязанность. И всегдашними свидетелями этих ссор были мы, дети... Как мы ни были малы, но, чуждые страстного раздражения, простым смыслом понимали неутешительную сторону супружества. Мы видели, что поводы к нестройной жизни большею частию заключались в ничтожных обстоятельствах. Впоследствии мы увидели другие, не пустые поводы и не ничтожные об-

стоятельства — неуменье человека отделяться от самого себя и входить в жизнь другого человека.

В этих внутренних раздорах за оскорбляемые личности самым худшим следствием было то, что жизнь супругов, терявшаяся для них самих, терялась и для детей. Дети жили без надзора любви, ухаживающей за развитием телесным и умственным. Они проводили время в кругу нянюшек и дядек, к которым привязывались особенною любовью, большею, чем к отцу и к матери. Уже после, в период самостоятельной деятельности, когда собственная мысль рассортировала предметы по степеням их важности, родители заняли свое истинное место в уме и сердце сына. Но это почтение и любовь, так сказать, приобретенные: они дошли к нему посредством размышления. Непосредственные же чувства были стеснены каким-то странным отчуждением, в то самое время, как человек живет преимущественно чувством: ничто не заменит букета первоначальных ощущений, тем более сладостных, чем они бессознательнее. Я очень помню, что и учение и образование нрава совершалось у меня само собою, затрагивая родителей только внешним образом. Их внимание возбуждалось только теми случаями, которые выказывали особенный успех или неуспех сыновних уроков, особенно дурную или хорошую сторону душевных движений дитяти. Особенности, как счастливые, а иногда несчастные исключения, тревожили дремоту родительского надзора, и он обнаруживал свое пробуждение там похвалою, здесь выговором. Конечно, любовь была, любовь искренняя и сильная, но она берегла себя для важных моментов детской жизни, а не являлась в постоянном, беспрерывном действии. Нужен был толчок, чтоб вызвать ее напоказ и полюбоваться ее энергией. Ее выход в свет покупался дорогою ценою — опасным нездоровьем дитяти, отличием на публичном экзамене, строгим выговором начальства. А так, в будничную, повседневную жизнь, смотрение за детьми, слияние их существования с своим собственным прекращалось. Подобные чадолюбивые родители не походят ли на тех сострадательных людей, которые не понимают чужой горести без собственных опытов горя, которые учатся добру в тяжких переворотах своей судьбы? Им надобно стать калеками или пойти по миру, чтоб уделить крупицу нищему, подать руку помощи хромому. Истинно добрый не имеет нужды в грозных уроках опытности, часто дорогих и поздних: он здоров, но знает, чем болен больной; он счастлив, но понимает, как несчастлив несчастный. Не похожи ли подобные родители и на ту верную жену,

которая всю жизнь провела в измене верности и дожидается только особенно важной оказии, чтоб доказать свою супружескую верность? Будет время, когда она, пожалуй, добровольно отправится за своим мужем в ссылку, разделит с ним опалу и смерть. Но как знать, когда выпадет, и выпадет ли еще такое приятное событие, такое дешевое средство испытать любовь супруги! Торжественные или опасные случаи встречаются редко; иногда их не дождешься целую жизнь, а жить надобно. Плодотворная любовь, как связь любящих, является в постоянных актах соучастия, в непрерывном взаимодействии. Такой любви нет во многих отцах и матерях; такой любви не помню и я. По крайней мере, я не помню, чтоб мне когда-нибудь сказали: «Дитя мое, поди к нам; расскажи нам, что ты думаешь и чувствуешь; выслушай рассказ и о нашей жизни; узнай, как мы радовались и горевали; вот как мы жили прежде, когда были детьми, вот как живем теперь...» Нет, подобные слова никогда не поражали моего слуха и сердца. Никогда не дано было мне утешительной возможности беседовать с родителями, как беседует друг с другом, равный с равным. Погибли для меня дела отца, печали матери — любопытные и, может быть, спасительные уроки: они сошли в могилу вместе с умершими. Я лишился многого в моей жизни: родители не оставили мне в наследство истории своей жизни. Эта история обогатила бы меня вдвойне: она была бы для меня предметом горячего сочувствия тогда, предметом интересного изучения теперь.

Врожденными свойствами я походил больше на мать, чем на отца. Я из числа тех натур, которые способнее созерцать жизнь, нежели действовать в жизни. Мысль о предмете занимает их очень много, уменье пользоваться предметом очень мало. Удовольствие и неудовольствие, смех и слезы, привязанность и отчуждение редко вытекают у них из непосредственного чувства, но всегда почти из чувства, проведенного через призму суждения, или, по крайней мере, через мечту фантазии. Поэтому период детства беззаботного, всезабывающего, период бытия непосредственного как бы не существует для них: они помнят себя детьми, они сознают свои начальные годы. Кружится ли перед ними мотылек? Вместо того чтобы опрометью броситься к нему, поймать его и, хоть из шалости, запачкать себе руки радужною пылью, они только взорами следят за полетом эфирного жителя, спрашивая мысленно: откуда он явился и куда исчезнет? кто посыпал его крылья серебром и золотом? Когда идет дождь,

они не выбегают во двор подставить обнаженную голову под освежительные потоки воды, но у растворенного окна или под крылечным навесом прислушиваются к шуму падающих капель. Ровесники находят в них плохих товарищей игр и резвостей: они бывают зрителями детских забав, редко участниками в забавах. Нет в них ни резвости, которая выказывает иногда будущую деятельность бодрого человека, ни стремлений прямого любопытства, которые обнаруживают способность входить в близкие сношения с людьми и природой... К сожалению, подобные натуры встречаются довольно часто. Им как бы запрещено входить в жизнь, но жизнь проходит перед ними под надзором их страдательных дум, их неопределенной мечтательности; они действуют созерцанием; не столько живут они, сколько смотрят на жизнь. Они держат себя в почтительном расстоянии от действительности, ставя между ею и собою идеальный за́мок или бесплодную мысль. Состояние их жизни можно уподобить приятной дремоте — потому только приятной, что она защищает их от ярких лучей света, от тревожных голосов общества. Они всегда почти правы, потому что умывают руки при каждом подвиге, который заставляет симпатичное существо выйти из самого себя, из круга своей личности, из сферы праздных фантазий. Признаюсь, нет ничего опаснее таких наклонностей природы, от которых многие родители и неродители в восторге. Чадолюбивый отец, мудрый воспитатель обязаны, из опасения ответственности перед публикой, во всякое время противодействовать им всевозможными средствами и преимущественно в те моменты общественной жизни, когда она требует бодрости, движения, союзных сил. Главное здесь дело — подавить эту робость прямых сближений с предметами природы и людского быта, эту негодную слабость характера, которая складывает человеку руки, это вялое, самодовольное созерцание, которое смотрит во все глаза, подобно испуганной птице, на сказочный мир и дремлет при шуме действительного мира, эту поэтическую леность организации, которая чуждается всякого беспокойного дела и привязывается всеми нервами к спокойному кабинету. Средства для достижения цели различны; только надобно смотреть на них не под углом романтической настроенности. Воспитание часто ошибается в их выборе, деля неделимое, раздвояя целое и единое. Оно забывает, что тело подвигается с успехом телесными же средствами и что бывают случаи, когда «argumentum ligneum»[7] выгоднее духовных побуждений. Слабым натурам, о которых здесь говорится, гимнастические

упражнения принесут несравненно больше пользы, чем полный курс моральной философии; ушат холодной воды подействует сильнее эластических помочей, нагретых пеленок и колыбельных песен. Но всего нужнее заблаговременный физиологический очерк субъекта, который показал бы ясно, в чем именно заключается недостаток энергии и какие следует употребить возбуждающие лекарства. К сожалению, в то время, о котором здесь идет речь, физиология не предвидела важного места, назначенного ей впоследствии.

В замену высоких, производительных талантов, которыми отличаются люди, выходящие из ряда обыкновенных, природа наградила меня, как и многих рядовых людей, благодатным инстинктом: я верно чувствовал умное и доброе, безошибочно угадывал изящное. Глупость, подлость, безобразие отталкивали меня прежде, чем я, целым рядом грустных опытов, узнавал всю пошлость глупых, всю низость подлых, всю нелепость безобразного. Они производили во мне такое же потрясение, какое производит в известных людях вид гадины: это — антипатия ко всему отвратительному в нравственной природе, какая-то спасительная брезгливость, вытекающая из противоположности между тем, что истинно хорошо, и тем, что несомненно дурно. Конечно, инстинкт не есть нравственное достоинство; где нет сознания, там не было борьбы и, следовательно, заслуги — но я и не хочу прирожденное свойство вменять себе в заслугу и достоинство. Я говорю только, что оно во мне есть.

Это нравственное чутье, это артистическое свойство имеют свои выгоды и невыгоды. Выгода в том, что они мешают человеку сделаться мерзавцем; невыгода в том, что они еще не делают его истинно полезным членом общества. Кто художник по врожденному чувству, тот смотрит на мир с эстетической точки, открывая изящное в природе и людях, любуясь там и здесь прекрасными явлениями зиждительной силы. При такой поэтической наклонности различные формы красоты и грации служат для него источником несомненных удовольствий. Он, как греческий живописец, желал бы создать новую Венеру из разрозненных прелестей женской природы[8], от той улыбки, которая заставила улыбнуться мрачного Плутона, до тех изящных слез, которые поэт запрещал осушать поцалуями счастливой любви. Но беда в том, что такое боготворение красоты, артистическое миросозерцание противоречит во многом назначению гражданина, вредит общественному человеку. И если новая Венера редко

бывает хорошей женой, то, вообще, чувство изящного встречает сильные помехи на каждом шагу общественной жизни и само ей мешает. Чтоб не встречать помех, надобно удалиться в тесный угол эгоистических наслаждений, а это противно нашим обязанностям. Рассказывают, что какой-то английский поэт обедал врозь с своей женой, боясь, что удовлетворение простой физической потребности исказит высокую прелесть женского лица. Не мог он, видно, согласить обычая жизни с требованием поэзии: артист неприязненно сталкивался с мужем. Но в отсутствии подобного согласия нет еще большого горя. Главное — согласить чувство изящного с неизящными предметами действительного общества, середи которого мы живем и должны жить. Главное — принимать участие и на пиру общей радости, и в трауре общей печали. Врожденная наклонность обращаться к идеальным сторонам жизни есть камень преткновения для истинно великодушных подвигов. Она вредит и отрицательно, и положительно. Люди, одаренные этим качеством, чрезвычайно односторонни, крайне осторожны в своих прикосновениях к обществу: они примут участие в судьбе простолюдина, если он живет в опрятной избе, и не будут иметь мужества вступить в дымную лачугу, наполненную тараканами. Сочувствие к несчастным тогда только для них обязательно, когда несчастие является в изящной форме, не оскорбляя их эстетического чувства: они охотнее протянут руку помощи смазливому лицу, цветущим годам, нежели прокаженному, безобразию, дряхлой старости. Зажимая нос от неприятных запахов, отворачивая глаза от грязных цветов, они забывают, что в грязи-то более всего несчастных. Ложная чувствительность, ложный стыд — вот принадлежности этих брезгливых, опрятных или, пожалуй, поэтических натур.

От первых лет детства предоставленный самому себе, с большим запасом созерцательной способности и малым запасом способности деятельной, похожий преимущественно на мать своим мечтательным направлением и несколько похожий на отца желанием давать отчет в своих стремлениях, я при самом вступлении в юность почувствовал нужду в какой-нибудь системе, которой покорялись бы все мои отдельные воззрения, которая служила бы мне и правилом для действий, и основою для суждений. Зная главные элементы моей природы, можно было предугадывать, на какую систему падет мой выбор. Свойство матери — мечтательность требовала фантастической основы, произвольных постановле-

ний, которые нравятся каждому, кто в произволе и ипотезах[9] видит поэзию; свойство отца — рассудочность хотела систематической постройки произвольного, хотела придать логическую внешность тому, в чем нет и быть не может истины внутренней. Чем неподвижнее был кодекс миросозерцания, тем он казался мне достойнее: неподвижность принимал я за непреложность истины. И я нашел этот кодекс, на темных листах которого начертано, что жизнь есть суровое наказание, что на белом свете не свет и радость, а смятение и слезы, что обязанность человека — воевать с самим собою и принимать победу как сверхъестественный дар. Случайно попалось мне творение мрачного противника жизни, который видел в ней са́мого опасного врага живущих[10]. По его теории, врожденные способности человека были ни больше, ни меньше, как пороки, ибо они вытекали из зараженного источника. А так как главных способностей у нас две: сознание и воля, то и главных условий для брани с жизнью — два. Первое — крайняя недоверчивость к силам разума, полное отсутствие самоуважения: чтоб значить что-нибудь на поле сражения, надобно было убедиться, что мы ничего не значим. И даже в том случае, когда спасительная недоверчивость овладевала умом и сердцем, мы всего менее обязаны считать ее своей заслугой и все больше незаслуженным даром, чем-то вроде поэтического вдохновения. Исправив порок разума, то есть уничтожив его сущность, надобно, по теории гонений на жизнь, исправить таким же образом порок воли. В этом — второе условие борьбы, и главное здесь средство — отречься от естественных влечений. Притом надобно заметить, что цель подобного отречения отнюдь не в том, чтоб победить волю, но в том единственно, чтоб приписать победу не своей воле. Побежденная природа утратит все свои лавры, если дерзнет искать удовлетворения в самом акте победы: нет, стремление к победе и награда за нее должны лежать вне нашей натуры. Свое собственное удовольствие, которое мы ощущаем, упражнив волю, — ничто. При каждом действии необходимо освобождать себя от всех побуждений, в которых есть хотя что-нибудь человеческое. Одним словом (говорило мне руководство), воля да будет мертва, чувство тупым и ум безумным!

Увлеченный мыслию о возможности приобресть сверхчеловеческое совершенство, я стал прилежно вникать в способы для достижения цели. И тогда-то началась брань, крайне любопытная своей беззаконностью, — брань между правилами системы, грозной своею нетерпимостью, и увлече-

нием жизни, сильной своею естественностью. Шестнадцатилетний аскетик, я осуждал все, что противоречило законам моей исключительной нравственности: биение сердца, свободное движение мысли, твердое желание воли — все надобно было умерить или подавить, как преступные замыслы человека, который хочет выйти из-под влияния спасительных постановлений. Я сетовал на радость, хотя она оправдывалась своею искренностью, боялся приятных образов воображения и всего более боялся горячих стремлений крови, находя в ней стихию самую мятежную, самую непокорную условным системам нравственности. Страсть была для меня страшилищем. Я из себя создал врага самому себе, врага опасного и безотвязного, потому что он домашний. На языке моей системы, счастие заключалось в отречении от того счастия, которым должен наслаждаться каждый, пришедший в мир; верховное благо — в отчуждении собственной природы; жизнь человека и всего мира — в непрерывном самоумерщвлении. Таинство жертвы, благодать страдания — вот идеал, к которому я стремился по указанию моего руководства.

Но что же вышло? Чем меньше я уклонялся от предписаний руководительной системы, тем больше чувствовал неловкость своего положения. Верность тому, что я называл прямою обязанностью, награждала меня отвлеченным удовольствием; но это же исполнение долга заставляло меня живо ощущать действительное недовольство — плод существенных потерь. Наряду с одобрением, которое приписывал я себе, как послушный ученик, из глубины моего чувства раздавался другой, оглушительный и ничем не заглушаемый голос естественной совести, крик природы, которая, подобно мстительным богиням, преследует без отдыха нарушителя ее законов. После напрасной жертвы — напрасное утешение, за утешением опять жертва — какая бесплодная наука! Это ли значит жить?.. Как ни был молод мой рассудок, но он замечал в избранной им нравственной системе два коренные недостатка: непоследовательность самой себе и противоречие естественному свойству вещей. Мне казалось странным, что при том разъединении элементов человеческой натуры, которое система проповедовала, при том превосходстве, которое она отдавала одному из этих элементов, употреблялись, по ее же наставлениям, чисто чувственные средства для приобретения сверхчувственного совершенства. Мне казалось странным, что эта система никогда не позволяла нашим способностям идти прямо, развиваться естественным ходом, но переставнавли-

вала мысли, чувства и дела, как бы забавляясь их противонатуральным перемещением. Стремилось ли сострадание помочь несчастному — система запрещала чувству испытывать сладость самоудовлетворения, находить красоту и награду в исполнении своего благородного стремления... Нет, она требовала, чтоб и предмет, возбудивший чувство, и чувство возбужденное исчезли, уступив место третьему предмету, о котором человек в то время и не думал. Смотрели ль глаза и ум на прекрасное создание природы — уму вменялось в обязанность помышлять не о создании, обратившем на себя его любопытство, а о предметах, которые не имели к нему в то время ни малейшего отношения. Жизнь долженствовала рождать понятие о смерти, смерть — понятие о жизни. Такое извращение нормальных способностей наших не могло нравиться здоровому человеку. Я бросил свою систему после целого года упражнений в искусстве воевать с самим собою.

Система правил, принятая мною в руководство, оказалась и потому бесполезною, что она не дала мне обещанного: я не приобрел небывалого совершенства. Силы природы беспрестанно увлекали меня из душного затвора на чистый воздух, под открытое небо, в объятия дружелюбных нам инстинктов. Кроме бесполезности система произвела положительный вред: она несколько ослабила деятельность данных мне стихий, тогда как нужно было возбуждать их энергию, сообщать естественное направление благородным страстям. Сторонняя, косвенная и неожиданная польза ее заключалась в том, что я, в последствии времени, всеми силами вознегодовал на то, чему прежде покорялся. Мне хотелось отмстить ей за пораженные движения юности, за униженное достоинство ума, за оскорбленное значение человеческой природы...

ВТОРОЙ ОТРЫВОК

В первом отрывке из «Записок человека» описал я характер моих родителей, мои врожденные наклонности и, наконец, тот замечательный момент моей жизни, когда, начитавшись мистических сочинений г-жи Гион (или Гюйон), Эккартсгаузена, Штиллинга[11] и других, я много повредил себе в отношении к правому пониманию своих обязанностей. Вместо истинных правил голова моя наполнилась странными, неясными, друг другу противоречащими руководствами. Мне трудно было бы исчис-

лить те книги по части мистической философии и мистического натурализма, над которыми нередко просиживал я ночи: так их много перебывало в руках моих! Но названия некоторых помню: «Ключ к таинствам натуры», «Важнейшие иероглифы для человеческого сердца», «Кодекс, или Законоположение человеческого разума», «Облако над святилищем» (Эккартсгаузена), «Угроз Световостоков», «Приключения после смерти» (Штиллинга), «Духовная молитва», «Толкования на Апокалипсис» (мадам Гион), и проч.[12] Первое из этих сочинений г-жи Гион, розданное прилежнейшим ученикам на экзамене по приказанию директора, было потом отобрано по приказанию другого начальства. Развитию мистических воззрений, приобретенных посредством чтения, способствовало еще особенное обстоятельство, именно: расположение ко мне И.М. Т[атаринов]а, директора гимназии, в которой я воспитывался. Он любил меня, как первого ученика, и в награду за мои успехи в науках зазывал к себе. Библиотека его преимущественно состояла из творений в одном и том же роде с вышеисчисленными. Я мог брать любые. Не могу изобразить достаточно моего удовольствия, когда он подарил мне «Приключения после смерти», сочинение Штиллинга — сочинение, в котором так чудовищно переплетаются мечты и фантазии с некоторыми догматами, произвольные положения с доказательствами. Я тотчас принялся читать мой драгоценный подарок: разумеется, я понимал только малую долю читаного, не общую мысль автора, а кой-какие частные, отдельные суждения. Уже после, в годы зрелости, узнал я значение того, чем восхищался в первое время юношеского периода. Я увидел, что автор так ослеплен своим мистицизмом, что часто произвольное не отличает от непреложного.

Главным руководителем и наставником моим в теософических и метафизических умозрениях был некто З.П. П[етро]в, оканчивавший в то время курс в одном из учебных заведений. Я, как теперь, гляжу на него: высокий, худой, желтый, мрачный, с нечесаными волосами. К мистическим книгам присоединил он книги некоторых иезуитов, отличавшихся аскетизмом, доходящим до крайности, и тем еще больше сбивал меня с истинного пути. По уговору с отцом моим он должен был повторять со мной уроки, заданные в гимназии. Но повторением занимались мы очень редко: почти все время проходило в чтении книг. Прежде всего принес он мне переведенную с французского так называемую «Божественную философию» г. Дету или де-Ту[13] — право, не припомню, — в которой много говорилось о каком-то «звездном духе». Что такое «звездный дух» — ни

я, ни учитель мой не могли понять при всех своих усилиях. За пятью томами «Божественной философии» следовало творение одного монаха театинского ордена[14], которого я в первом отрывке моем назвал «мрачным противником жизни». Творение было на французском языке, а я плохо разбирал иностранную грамоту. Учитель мой взялся сделать для меня извлечение. Отличался ли перевод верностью подлиннику — не знаю, тем более что я имел некоторые причины подозревать моего наставника в плохом знании иностранных языков; но извлечение было выучено наизусть так твердо, что несколько выражений, и теперь мне памятных, приведены мною в первом отрывке. Разделив способности человека на ум и волю, автор предложил способы уничтожать и то и другое, доводить их до полного бездействия. Точного заглавия книги не припомню; кажется, называется она: «Le combat»[15]. Наставник мой — заметить надобно — глубоко уважал нравственное и политическое влияние иезуитов и в обращении со мной употреблял, видимо, иезуитскую тактику — с какою целью, не могу определить. Знаю, однако ж, что я любил его до чрезвычайности. Я считал грехом любить родителей моих больше учителя, не хотел в его присутствии ласкаться ни к отцу, ни к матери, что ему доставляло столько же удовольствия, сколько моим родителям огорчения. Да ему вообще не нравилось каждое выражение чувства, если это выражение относилось не к общим мыслям, а к лицам и предметам. Однажды я выпросил у батюшки прощение провинившемуся слуге. Слуга благодарил меня. Мне было очень приятно, и я поделился с учителем моею радостью, как следствием удовлетворенного влечения помочь другому. Учитель мой нахмурился. «Не об этом должно думать», — сказал он отрывисто. «О чем же?» — спросил я с боязнью. «О добродетели вообще». В другой раз пришел я к нему на квартиру и увидал у него на столе человеческий череп с надписью: «Memento mori»[16]. На вопрос мой: «Что это значит?» — он отвечал: «Я завел череп по примеру славных картезианцев»[17]. Вот сочинение одного из них, в котором говорится, что человек живет для того только, чтоб думать о смерти. Здесь он прочел несколько строк по-латини и тотчас же перевел их по-русски. Наконец, доставил он мне творение Иакова Бема[18], прозванного тевтонским философом. Нисколько не понимая отличительных свойств этой философии, я заметил только те места, где фантазия автора принимает иперболические размеры. По переходе моего учителя в высшее учебное заведение я писал к нему очень нежные письма. Первое из них было адресовано так: «Любезнейшему другу *такому-то*». Прини-

мавший письма с улыбкой заметил, что почтамту нет дела до любви и дружбы переписывающихся особ, что ему нужны только имя, отчество и фамилия. Впоследствии я потерял из виду моего духовного наставника. Где он теперь, не знаю.

Читатель извинит меня, что я так долго останавливаюсь на предмете, для меня только интересном. Но этот предмет имел сильное влияние на мое духовное и телесное образование. Он повредил мне и нравственно и физически: нравственно, отчудив меня хотя временно от родителей, заставив меня мрачно глядеть на жизнь и подавив во мне правильное развитие юношеской души; физически — чуть было не развив во мне той болезни, от которой наставник мой был худым, желтым, истомленным.

К счастью, такое положение дел тянулось не больше года (с половины 1821-го до половины 1822-го). В 1822 году, окончив гимназический курс, я поступил в Московский университет; лекции догматического и нравственного богословия, логики, математики, истории возвратили мой ум, сердце и волю на настоящую дорогу. Я узнал, что ум не должен быть тупым, но должен учиться отличать истину от лжи; что воля не должна быть мертвою, но что ей дано выбирать свободно между добром и злом — выбор, оправдывающий или обвиняющий человека, который судится по делам его; что сердце должно видеть в жизни источник наслаждений, допущенных законом совести и законом гражданским; что дух бодр, а плоть немощна, и потому не материальными средствами, а духовными побуждениями совершенствуется человек; что, по словам высочайшего милосердия, могущий вместити, да вместит[19] — словам, противоречащим безусловному требованию фанатического аскетизма, который проповедовали некоторые иезуиты или по неумышленному заблуждению, или из видов посторонней корысти. Светлое понятие о жизни очень удачно выражено гимном одного неважного стихотворца, и этот гимн, даже помещенный в хрестоматиях, наставники заставляют детей выучивать наизусть:

Дар мгновенный, дар прекрасный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Ум молчит, а сердцу ясно:
Жизнь для жизни мне дана.

Все прекрасно в Божьем мире,
Сотворимый мир в нем скрыт:
Но Он в чувстве, но Он в мире,
Но Он в разуме открыт.

Познавать Его в творенье,
Видеть сердцем, духом чтить —
Вот в чем жизни назначенье,
Вот, что значит в Боге жить[20].

Теперь обращаюсь к тому образу жизни, который мы вели в губернском городе[21].

Сколько я помню и сколько теперь могу составить понятие о прошедшем, два побуждения управляли всеми действиями моих родителей, равно как и действиями всех тогдашних жителей губернского города: страсть к тщеславию и желание нажиться. Отсюда, из этих источников, вытекали многие неприятности домашней жизни, отсутствие призора за воспитанием детей, ссоры супругов и пустота сведенных знакомств.

Страсть к тщеславию требовала от каждого жизни, которая не уступала бы жизни других. Но так как средства разных лиц были неодинаковы, то, вследствие этого, расточительность многих семейств ввела их в долги, опутала необходимостью делать новые займы, накопляя таким образом сумму на сумму. Мы, подобно прочим, не могли или не хотели ограничиться тесным, но избранным кругом знакомых, близких к нам по сходству вкусов, по образованию, по положению в обществе. По крайней мере, я не помню, чтоб гости, созванные к нам на вечер, не отозвались бы на другой день очень значительными издержками. Не было и желания образовать семейно-приятельский круг около шипящего самовара, провести несколько часов в чистой беседе, без большого угощения. Нет, нам нужны были не три или четыре дома, а все дома, пользовавшиеся большею или меньшею известностью в городе. Куда езжал один, туда хотел непременно ездить и другой; кого принимал у себя третий, того считал обязанностью принимать к себе и четвертый. Каждый ужин и обед поглощал больше денег, чем поглотил бы их целый месяц дружеских посещений. В награду за крупные издержки хозяин несколько дней сряду утешался мыслию, что он не отстал от других, что он не ударил себя лицом в грязь. Мы, дети, не участвовали в общих пирушках: при каждом приеме гостей нас, как беспокойных и ненужных зрителей, изгоняли из парадных комнат в детскую, через которую то и дело шныряла прислуга с кушаньями, десертом, кофеем и чаем. И чем шумнее проводился день или вечер, тем уединеннее, тем скучнее становилось после того времени, когда разъезжались гости. Матушка, подверженная болезненным

припадкам, редко выходила из своей спальни, а батюшка, съездив утром в присутствие[22] и отдохнув после обеда, отправлялся куда-нибудь на бостон или вист (в преферанс тогда не играли). Когда он возвращался домой, мы уже спали и, таким образом, могли видеть его только на другой день за обедом. Случалось, впрочем, что не терпящие отлагательства дела удерживали его дома: тогда он садился писать свои бумаги, а нас усаживал около себя, заставляя выучивать заданные уроки или просто не сходить с места, чтоб беготней или резвостью не помешать его серьезным занятиям. Скрип пера, тускло горящие свечи и однообразный звук маятника, а там в спальне больная мать — наводили на нас уныние и дремоту. Нам было скучно, потому что взрослые смотрели на нас как на взрослых и требовали от детей образа жизни, свойственного солидному возрасту. Слова «ужинать готово» освобождали нас из временного затворничества. Не думайте, однако ж, чтоб родители мои принадлежали к числу тех, которые жестоко обращаются с детьми своими, строгими наказаниями смиряя детские шалости. Напротив, трудно найти родителей добрее и менее склонных к системе наказаний. Их внешняя, кажущаяся строгость наводила на нас один панический страх. Я говорю только, что сжатое положение наше в присутствии отца происходило от его ложного понимания разных периодов человеческой жизни. Он смешивал юный и зрелый возрасты и вел себя так, что дети при нем не смели шутить, весело и громко разговаривать, пробежать шумно по комнате, выразить открыто и без боязни свое желание.

Но чем отчужденнее проходила юность, тем сильнейшею любовью привлекался я к природе. От печалей семейной жизни, из скучных комнат убегал я на чистый воздух, под открытое небо, в царство растений, дружелюбное человеку. Целые дни проводил я в садовой беседке, в темной аллее, на скате большого холма, на котором был разбит наш сад. Невыразимо сладостное, хотя и временное упоение выгоняло из памяти дом и уроки моего мрачного наставника. Природа обнимала меня всеми своими объятиями, и я держал ее в объятиях всех моих чувств. Нельзя передать того впечатления, которое производили на меня городские окрестности, видные с одного пункта нашего сада, когда я взбирался на вершину высокой липы, откуда край города, две-три деревни, луг, рощи, поле видны были как на ладони и куда доносился вечерний звон. Приятная полудремота оковывала мои члены; мне казалось, что не я дышу, а

дышит за меня воздух легким веяньем; я не мог отделить моей воли от действий дерева: я двигался его движением, жил его жизнью.

Другое, коренное желание жизни наших родителей состояло в том, чтоб нажиться. Такое желание очень естественно, особенно если человек горьким опытом узнал все невыгоды, все неприятности безденежья. Надобно истощить лучшее время деятельности на мелкие заботы, необходимые для обеспечения насущного хлеба, не жить как следует в молодости и трепетать, ожидая старости, чтоб понять, как забавны идиллические похвалы бедному состоянию. Бедность, по пословице, не порок, но иногда, по другому присловью, хуже порока. Богач, проведя начальные годы своей жизни в праздности, может еще вознаградить потерянное время разными средствами, которые сообщает ему достаток: он может, так сказать, обновить жизнь, пойти по другому, лучшему пути. Бедный человек лишен этой возможности, потому что с бóльшим и бóльшим течением времени увеличивается сфера его обязанностей, расширяется круг его забот и требований. К заботам о настоящем, текущем положении семейства присоединяются заботы о будущем, его застраховании от житейских невзгод. Кроме того, расстройство жизни, учиненное в прошедшем, возлагает на наследника имения (если только осталось имение) поправлять ошибки, сделанные не им. Вот почему многие родители вовсе не живут для самих себя, затем что не имеют ни времени, ни средств, к тому нужных, но все время и все возможные средства употребляют на заботы о будущей судьбе детей; вот почему и многие дети находят себя обязанными поправлять расстроенное прошедшее, и эта обязанность, вместе с другими, относящимися к настоящему и будущему, увеличивает тягостное положение бедного человека.

Но дело в том, что как мои родители, так и многие другие жители города имели порядочное состояние, которое могли бы увеличивать, не выходя из круга своей деятельности и не пускаясь в другой круг, более обширный. Батюшка захотел прикупить к доставшемуся ему по наследству имению другое, потом третье. Так как покупка производилась не на чистые, а на заемные деньги, за которые надлежало платить проценты, то состояние отца моего увеличилось только в количестве, но отнюдь не в качестве. Сверх того, цены на хлеб понизились, и доходов с имения не хватало на покрытие жизненных издержек, уплату долгов и процентов. Воспитание детей заставило его переехать из деревни в губернский город,

где расходы увеличились, и в волнении тщеславной и суетной жизни забылась мудрая пословица: «По одежке протягивай ножки». Служба могла поправить обстоятельства, более и более приходившие в дурное состояние. Батюшка начал служить; но к великой похвале его надобно сказать, что он, исповедуя наравне с другими образ мыслей относительно средств, которыми можно было наживаться, не имел от природы качеств, нужных для приведения мыслей в действие. Врожденная доброта и честность спасли его от нарекания собственной совести и от неуважения детей. Дети знали, что служба не увеличила его имущества, что он вышел из нее беднее, нежели вступил, ибо, занятый делами по должности, лишен был возможности заниматься хозяйством, посещать деревню. Между тем другие, судившие по слухам и не знавшие семейных тайн, составили невыгодное понятие о моем отце. Они считали его совершенно не таким, каков он был в самом деле. Заключая о нем по его суждениям, произнесенным в обществе, или по себе самим, они видели в нем человека искательного во вред другим, устраивавшего свои дела очень хорошо. Обыкновенное заблуждение большей части людей! Они ошибаются и в дурных отзывах о ближнем, и столько же ошибаются в хорошем о нем мнении. Случилось несколько раз, что знакомые его относились к нему с просьбою ссудить их деньгами: по их мнению, у батюшки лежали в ломбарде значительные суммы. А на поверку вышло, что дети, поступив на службу, не получали с имений ни копейки: добрый отец наш, при всей своей любви к нам, при всем своем желании уделить от себя на содержание, не мог исполнить лучшего стремления сердца. А по смерти отца мы узнали, что у нас действительно есть имение, потому что нам пришлось платить за него и сотни и тысячи в частные руки и в казну.

Почему же батюшка не продал своего имения, от которого в итоге годовых приходов и расходов оказывался явный недочет (deficit)? По двум причинам: во-первых, он не имел твердого характера, который распутывает дела быстро и решительно; во-вторых, ему, по какому-то странному заблуждению, жаль было уменьшить объем своих владений. Ряд грустных забот и сильных беспокойств не в силах были искоренить в нем ложного понятия о том, кто истинно богат и кто истинно беден. Его охватила привычка считать у себя во владении столько-то душ и столько-то десятин земли. Например, дворня наша, в сравнении со всем имуществом, была несоразмерно велика, и между тем ни батюшка, ни матушка не думали

поубавить ее. Все члены этой дворни что-нибудь делали, но в сумме толкотни, хлопотливости, работ выходила мнимая выгода: лакеи и девки не могли своими работами даже одеть себя порядочно. На многих служителей возложены были такие нетрудные обязанности, что все они могли быть исполнены десятилетним мальчиком: один стоял у притолоки в зале, другой сидел на скамье в передней, третий употреблялся на посылки из кухни в дом и обратно. Неуменье распределить занятия и привычка делать чужими руками то, что чрезвычайно легко сделать собственными силами, как будто оправдывали необходимость многочисленной прислуги. Слуга или девка наливали квасу в стакан, когда и стакан и бутылка с квасом стояли у нас под носом; они подавали носовой платок, лежащий на соседнем кресле, и бежали через пять комнат снять нагар с той свечи, которая находилась от нас, вместе с щипцами, в расстоянии двух вершков. Мудрено ли после этого не облениться и не расстроить своего имения?

КОММЕНТАРИИ

В мае 1891 г., на склоне лет, А.Д. Галахов собрался выпустить свои воспоминания отдельным изданием и обратился с соответствующим предложением к А.С. Суворину, издателю «Исторического вестника», в котором ранее печатал свои мемуарные очерки. Суворин дал свое согласие и даже выплатил Галахову в качестве гонорара несколько сотен рублей. В письме к редактору «Исторического вестника» С.Н. Шубинскому от 23 апреля 1892 г. Галахов писал: «Воспоминаний будет, думаю, две книжки: 1) Московский период, уже конченный, и 2) Петербургский период»[1]. В первую книгу Галахов собирался включить уже опубликованные очерки (содержание данного издания соответствует составленному Галаховым для издания у Суворина перечню, только вместо печатавшейся в «Русской старине» (1885. № 1, 2) статьи «Петр Николаевич Кудрявцев в 1842—1845 годах» включен основывающийся на тех же фактах, но более живой, эмоциональный и содержащий больше мемуарного материала некрологический очерк «Воспоминания о Петре Николаевиче Кудрявцеве» из «Русского вестника» (1858. Февраль. Кн. 2). Галахов собирался приступить к работе над описанием петербургского периода своей жизни, однако в ноябре 1892 г. умер и реализовать свой замысел не успел. Не была издана даже первая, московская часть воспоминаний, по-видимому, потому, что они не нравились С.Н. Шубинскому, о чем он весьма резко и откровенно писал Суворину[2].

Шубинский был явно несправедлив к мемуарам Галахова. Так, в том же году автор некролога А.Д. Галахова, авторитетный литературовед Л.Н. Майков высказал пожелание, «чтобы его любопытные воспоминания были изданы отдельною книгою в полном объеме: они послужат драгоценным материалом для истории нашего общества и литературы»[3].

Вторую попытку издать воспоминания Галахова предпринял в 1930 г. известный пушкинист Николай Осипович Лернер (1877—1934). Для издательства «Academia» он откомментировал «Записки человека» и снабдил следующим предисловием:

А. Д. ГАЛАХОВ И ЕГО ЗАПИСКИ

I

За несколько лет до кончины Алексей Дмитриевич Галахов, которому было тогда восемьдесят один год, поместил в «Русской старине» (1888, январь) краткую ав-

[1]ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 148.

[2]См.: Там же. Л. 158.

[3]Журнал Министерства народного просвещения. 1892. № 12. С. 133.

тобиографическую заметку. Мы ее здесь приводим отчасти потому, что она поможет читателю ориентироваться в «Записках», отчасти потому, что она сообщает сведения о трех с половиною десятилетиях жизни автора после того времени (рубеж 1840—1850 годов), на которых останавливаются записки.

«Родился 1 января 1807 года Рязанской губернии в городе Сапожке, где отец мой служил по выборам уездным судьей. Чтению учил меня приходский священник, а письму — мать. По выходе в отставку, отец поселился в своем родовом имении, той же губернии и того же уезда. Небольшое состояние не дозволяло ему иметь при мне и брате моем гувернера, по обычаю зажиточных дворян, почему он и пригласил в учители отставного моряка (фамилии его не помню), охотника до рюмочки, но хорошо знавшего математику, который и занимался с нами арифметикой и грамматикой. Когда пришло время школьного образования, все наше семейство переехало в Рязань. Отец снова начал служить, сначала заседателем в гражданской палате, а потом губернским, уголовных дел, стряпчим. Нас (меня и младшего брата) отдали в уездное двуклассное училище, откуда, через два года, мы перешли в гимназию, состоявшую тогда из четырех классов, по одному году в каждом. Позволяю себе с удовольствием и некоторою гордостью сказать, что за все шесть лет ученья я был постоянно первым учеником. Брат же мой, не кончив гимназического курса, поступил в военную службу юнкером и в скором времени умер.

В 1822 году, когда мне было 16 лет без трех месяцев, начал высшее образование в Московском университете, сперва по юридическому (тогда этико-политическому) факультету, но, увлеченный лекциями геометрии (профессора Перевощикова), перешел через год на факультет физико-математических наук, где кончил тогдашний трехгодичный курс в 1825 году студентом, с наградою золотой медалью за лучшее сочинение по физике (о действии теплорода на тела). Через год (1826) получил степень кандидата. Начал служить с 1827 года в том же университете помощником инспектора своекоштных студентов. В 1832 году поступил в Александринский сиротский институт преподавателем русского языка (грамматики) и арифметики. С этого времени начинается моя официальная педагогическая карьера, хотя и до того за год или за два я безвозмездно обучал детей бедных родителей, умерших от холеры, в сиротском приюте князя Павла Павловича Гагарина и трех благотворительных дам. Кроме означенного института, я давал уроки русского языка и словесности в других (московских): Александровском и Николаевском сиротском. С 1840 года по 1843 год, не оставляя уроков, занимал должность помощника инспектора классов в двух институтах: Екатерининском и Александровском. В 1850 году, по случаю преобразования Александровского института в кадетский корпус, вышел в отставку с половинной пенсией, сохранив за собою другие учебные заведения ведомства императрицы Марии, где давал уроки, как говорится, по приглашению, частным образом. Немало было у меня уроков и в частных пансионах и домах, благодаря возникшей тогда надобности в знании отечественного языка, по требованию высшего начальства. Я имел такие уроки у кн. П.П. Гага-

рина, гр. Панина (брата министра), гр. Гудовича, кн. Трубецкого, Новосильцевой и других.

В том же 1850 году ведомством военно-учебных заведений, чрез посредство К.Д. Кавелина, служившего в главном управлении этих заведений, поручено было мне составление конспекта по русскому языку и словесности. За успешное исполнение этого дела я удостоился высочайшего благоволения и денежной награды.

В 1856 году, по предложению начальника военно-учебных заведений, Я.И. Ростовцева, занять кафедру русского языка и словесности в Николаевской академии генерального штаба, я с семейством оставил Москву, в которой жил 34 года, и переселился в Петербург. Кроме лекций, мне поручено было составить два руководства для военно-учебных заведений: историю русской словесности и хрестоматию к ней, что я и исполнил, хотя еще неокончательно. В 1863 году назначен членом ученого комитета министерства народного просвещения. В 1865 году определен ординарным профессором русской словесности в С.-Петербургский историко-филологический институт. В 1867 году московским Обществом любителей российской словесности выбран в действительные члены, а в 1868 году — Императорской Академией наук в члены-корреспонденты по 2-му отделению, «в уважение к ученым трудам».*

Того же 1868 года был приглашен св. Синодом в число членов временной комиссии по пересмотру существующего и начертанию нового устава духовных академий. В 1882 году, по прошению, уволен от должности профессора историко-филологического института, с пенсией (1500 рублей), но продолжаю по-прежнему занятия в ученом комитете министерства народного просвещения и в Академии генерального штаба.

Наряду с педагогическими занятиями шли неизменно работы литературные, как по составлению учебных книг, так и по журнальному сотрудничеству. Это сотрудничество началось очень рано, еще на университетской скамье. Первые опыты его явились в «Магазине натуральной истории, физики и химии», 1820-х годов, издававшемся профессором физики И.А. Двигубским. Исчислю все периодические сочинения — и московские, и петербургские, — в которых печатались мои статьи:

а) Московские: «Магазин натуральной истории» (проф. Двигубского); «Записки для сельских хозяев» (проф. Павлова); «Телеграф» (Н. Полевого); «Телескоп» (проф. Надеждина); «Московский вестник» (проф. Погодина); «Атеней» (Е.Ф. Корша); «Библиографические записки» (Афанасьева); «Русский вестник» (Каткова).

б) Петербургские: «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» и «Отечественные записки», ред. А.А. Краевского (это — самое главное и долговременное сотрудничество, начавшееся в «Прибавлениях» с 1836 года и продолжавшееся до конца их существования, а в «Отечественных записках» с 1839 года, т.е. с их основания, и до 1858 года). В течение с лишком двадцатилетнего моего сотрудни-

** Еще гораздо прежде я был почтен московским Обществом испытателей природы принятием меня в свою среду.*

чества в этих изданиях (с 1836 г. по 1858 г.) вместе со мною занимались тем же делом приглашаемые мною лица в Москве: М.Н. Катков (с 1838 г. по 1841 г. — до отъезда за границу); В.Г. Белинский (в 1838 и 1839 гг., до отъезда в октябре последнего года в Петербург); П.Н. Кудрявцев (с конца 1839 г. по 1845 г., до отъезда за границу, а потом и по возвращении в 1847 г.). По временам принимали участие: В.П. Боткин (автор «Писем об Испании»); К.Д. Кавелин (адъюнкт по юридическому факультету в Московском университете, с 1844 г. по 1847 г.); К.Ф. Рулье (профессор зоологии в том же университете) и Ф.И. Буслаев. «Современник» (ред. Некрасова и Панаева); «Вестник Европы» (ред. М.М. Стасюлевича); «С.-Петербургские ведомости»; «Новое время»; «Русская старина» (ред. М.И. Семевского); «Исторический вестник»; «Журнал министерства народного просвещения»; «Сын Отечества» (редакция Н.А. Полевого).

Всех лет моего официального служения (т.е. не во время отставки)—38. Но так как я служил и служу во все время двойной моей отставки по приглашению, то выйдет 60 лет (т.е. с 1827 г. по 1887 г.)».

К этому краткому обзору внешней жизни Галахова остается прибавить очень немного. Он уже почти ничего не писал, но продолжал преподавать. «Лекции Галахова за последнее время представляли живую анекдотическую летопись литературы: ему приходилось говорить не о деятелях русского слова, а о своих почивших друзьях и неприятелях, о том мире, в котором он жил, который составлял и его собственную прошлую жизнь. Слушателям в свою очередь было любопытно видеть свидетеля отдаленного прошлого, человека, видевшего своими глазами Пушкина, приятеля Белинского, Кудрявцева, Грановского, до конца жизни преданного всей душой их светлой памяти». Пять лет спустя после того, как были набросаны эти беглые автобиографические странички, автор умер (14 ноября 1892 г.), умер легко и безболезненно, прожив без малого восемьдесят шесть лет и «насытясь днями».*

II

Как многим в литературе, Галахову не сразу удалось «найти себя» и определить свое место в ней. В свое время, в юности, испытав первые любовные волнения, он писал и даже печатал чувствительные любовные стишки, о которых можно лишь сказать, что они грамотны и гладки. Гораздо ценнее его стихов были его статьи по естествознанию (его университетская специальность), отличавшиеся заметной философской окраской. В «Московском вестнике» 1827 года он поместил статью «Четыре возраста естественной истории», в которой развивал в популярной форме общие натурфилософские мысли своего учителя М.Г. Павлова, этого властителя дум тогдашнего университетского поколения. Впоследствии в Галахове пробудится беллетрист, но на этом поприще он подвизался недолго (1845—1847) и скоро понял, что здесь ему суждено быть одним из многих и не стяжать пышных

**Исторический вестник. 1893. № 1. С. 249.*

лавров. Повести Галахова принадлежали к тому роду, который быстро изжил себя. Метко характеризовал этот род несколько лет спустя Аполлон Григорьев, вспоминая «бесконечное множество повестей, кончавшихся припевом: «и вот что может сделаться из человека», — повестей, в которых по воле и прихоти их автора с героями и героинями, задохнувшимися, по их мнению, в грязной действительности, совершались самые удивительные превращения, в которых все окружавшее героя или героиню намеренно изображалось карикатурно. Была своя хорошая сторона, своя заслуга в этой манере, но односторонность ее скоро обнаружилась весьма явно...». В повести Галахова «Превращение» (на нее-то и намекает в приведенных строках Ап. Григорьев) изображено опошление хорошей в основе, но слабой русской женской натуры. Для умонастроения эпохи и самого автора характерны его бодрые призывы. В «Старом зеркале» он отвергает «честное» примирение с жизнью: «Покорность судьбе не есть счастие. Оно не есть также и ревностное исполнение долга, утешающее в несчастии. Прекрасные стремления, благородные заслуги, возвышенные мысли сами по себе, а счастье само по себе». И в другой своей повести, «Кукольной комедии», он учит презирать дешевое благоразумие и бороться за личное счастье — «не смотреть на небо, когда надобно смотреть на землю, жить тем, чего требует жизнь, не искать в голове чувств, не требовать от сердца мыслей». Повесть кончается старомодным обращением к «любезному читателю»:*

«Не бойся, если влечение сердца готовит тебе тревогу, скопляет в будущем грозу: лучше, в тысячу раз лучше испытать волнения, заключенные в уделе твоих сил, нежели истощить свои годы в бесплодном благоразумии, не свойственном твоей природе. Принеси в жертву все противное естественной цели. Главное, действуй решительно. Нерешительность — гибель человека. Когда мы начинаем раздумывать о подвиге, на который вызывает нас убедительный внутренний голос, как тень отца вызывает Гамлета на мщение, значит, в нас три четверти постыдной трусости и только четверть мудрости. И не мудрости, которую мы часто забываем, а глупого благоразумия — потому глупого, что оно противоречит нашему уделу. Сложив руки, понурив голову, не смея дать воли страстям, но и ничего не выигрывая от нашего бесстрастия, мы ждем, что счастие придет к нам. Бессмысленный! Оно ждет, чтобы ты пошел к нему: ступай же! Чем скорее, тем лучше. Наградою твоей будут законные блага, не многим известные: полное наслаждение дарами твоего удела, довольство самим собою, светлая жизнь без стыда за прошлое, без черной мысли о будущем».

III

Имя Галахова уже незнакомо нынешнему поколению, но ряд предшествующих поколений хорошо знал его по его школьным учебникам, бывшим в ходу лет семьдесят. Широкую известность дала ему его знаменитая «Полная русская хрестома-

**Григорьев А. Русская литература в 1851 г. // Москвитянин. 1852; перепечатано в Собр. соч. А. Григорьева под ред. В. Саводника. Вып. 9. М., 1916. С. 34—35.*

тия, или Образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей», вышедшая в двух частях в 1843 году. Она продержалась в обиходе русской школы дольше всех прочих работ Галахова: последнее ее издание, 39-е, вышло в 1917 году! Хрестоматия Галахова отвечала давно назревшей потребности и далеко опередила свое время. Она совсем отменила давно устаревшее 12-томное «Собрание образцовых русских сочинений», сборники Жуковского и Воейкова, «Хрестоматию» Пенинского и т.п. и произвела впечатление чрезвычайно смелого новаторства. Составитель ввел в нее ряд животрепещуще современных, не получивших в критике окончательно «учета», подчас совсем молодых авторов. Здесь явились Лермонтов, Огарев, Бенедиктов, Кольцов, Павлов, Ознобишин, Струговщиков, Гоголь, Погодин, Ап. Майков, Фет. «Здесь, — говорит позднейший историк литературы, — подвергнута строгому процеживанию вся литература до Карамзина, как устаревшая по языку. Число образцов даже из таких авторов, как Ломоносов и Державин, возможно сокращено. Зато обильно представлены произведения Крылова, Жуковского, Пушкина, что, впрочем, не было особым новшеством, т.к. эти писатели уже введены были в другие учебные руководства, а главное — и в этом заключалась смелость составителя, шедшего, впрочем, в своих оценках по стопам Белинского, — что он включил в хрестоматию Лермонтова, Кольцова, Гоголя и ряд других авторов, вплоть до самоновейших»**. Много было взято образцов из литературы последнего года. Есть отрывки из «Мертвых душ», вышедших в 1842 году. В том же году вышла первая книга стихотворений Ап. Майкова. Из этого поэта, появление которого только что приветствовалось Белинским, взято Галаховым немало. Критика «Москвитянина» указывала, что выбор авторов делался Галаховым пристрастно и тенденциозно. Составитель явно не благоволит к Языкову, Хомякову, Баратынскому, Дельвигу, графине Ростопчиной. «Во всем отдано предпочтение, — говорит рецензент, — Кольцову, Струговщикову, Майкову, Красову, Огареву, которых пьесы, даже с грамматическими ошибками и несмотря на ничтожность свою, принимаются с отверстыми объятиями». Все эти предпочтения явно указывают, что здесь мы имеем отражение оценок и вкусов Белинского. Галахов был его приятелем и находился под сильным его влиянием. Можно смело сказать, что если бы за составление хрестоматии взялся сам Белинский, расхождений с Галаховым у него почти не было бы.*

Следующей учебной книгой Галахова была составленная по поручению Я.И. Ростовцева «Историческая хрестоматия нового периода русской словесности» (т. I, эпоха от Петра I до Карамзина, вышел в 1861 г., т. II, от Карамзина до Пушки-

** Из-за помещения стихов Фета Галахову пришлось объясняться с попечителем московского учебного округа гр. С.Г. Строгановым, который поставил ему на вид, что Фет студент, а студенту не к лицу фигурировать в хрестоматии. Галахов ответил попечителю, что, выбирая материал, не обращал внимание на общественное положение авторов (См.: Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 221).*

*** Розанов Ив. Литературные репутации. М., 1928. С. 130—131 («Канонизация классиков»).*

на, в 1864 г.). И эта книга прожила более полувека: последнее ее издание, 20-е, вышло в 1916 г. Также по поручению Ростовцева написал Галахов «Историю русской словесности древней и новой» (т. I, обнимающий все время до Карамзина, появился в 1863 г., а т. II вышел двумя выпусками в 1868 и 1875 гг.). Эта книга, выдержавшая еще два издания (1880 и 1894 гг.), была, бесспорно, самым серьезным вкладом Галахова в науку и принесла ему вполне заслуженную академическую премию (им. Уварова). «При обширности предмета, — писал академик Я.К. Грот, — он не мог взять на себя по всем частям задачи исследователя, что особенно относится к древнему периоду словесности, но во многих отделах является у него труд самостоятельный, обнаруживающий непосредственное изучение рассматриваемых произведений или вопросов, и чем далее продвигается работа, тем независимее становится автор». Другой академический критик, Н.С. Тихонравов, посвятивший разбору труда Галахова целое исследование «Задачи истории литературы и методы ее изучения», признал, что «в сочинении Галахова существенные результаты историко-литературных исследований сведены довольно полно и обстоятельно... Рассмотренное сочинение является первым ученым трудом, излагающим исторические судьбы русской литературы от ее начала до ближайшего к нам времени. Особенную ценность придают сочинению Галахова те горячие симпатии автора успехам русской литературы и просвещения, которыми проникнута книга и которые сообщаются читателям». Соглашаясь, что одному исследователю недоступны в одинаковой степени все отрасли литературы, и сознавая свою относительно невысокую осведомленность в древней и народной словесности, Галахов для нового издания своей «Истории» поручил разработку некоторых разделов другим ученым (Александру Н. Веселовскому, О.Ф. Миллеру, А.И. Кирпичникову, П.О. Морозову). Последним учебным трудом Галахова была «История русской словесности» (1879) для средних учебных заведений; здесь он использовал, применительно к гимназической программе, материал своей большой «Истории» и прибавил главу «Время Пушкина и Гоголя». Учебник этот был очень распространен и выдержал (до 1915 г.) двадцать одно издание.*

Галахов долгие годы был воспитателем вкуса нескольких поколений, учившихся по его учебникам или, по крайней мере, по выработанным им программам, которые действовали с начала 1850-х годов не только в военно-учебных заведениях, но и в более многолюдной и широкой гражданской школе. Взгляды Галахова глубоко отразились и в гимназической программе 1872 года и, значит, продолжали, с неизбежными, разумеется, но не коренными изменениями, влиять на литературное воспитание бесчисленных тысяч учащихся и читателей вплоть до наших дней. Установленные им литературные традиции оказались чрезвычайно прочными, и это были для известного периода (а кое в чем, надо думать, и вообще) неплохие традиции. В лице Галахова руководителем школьной кафедры русского языка и словесности до известной степени стал Белинский. Когда еще имя Белинского было не-

* *Отчет о 19-м присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1878.*

терпимо в печати, и потом, когда оно не могло быть произносимо в школе, откуда иногда изгоняли учащихся за чтение Белинского, великий критик уже торжествовал в программах и учебниках своего верного последователя. Мятежная фигура критика-революционера пугала правительство, но перед степенным, спокойным, застегнутым на все пуговицы Галаховым настежь раскрывались двери казенного просветительного ведомства, и за его спиною в русскую школу вошел — такова, видно, сила вещей — Белинский и стал во главе русского литературного сознания. «Та литературная табель о рангах, которая дожила у нас вплоть до символистов, — говорит Ив. Розанов, — составлена была в общих чертах главным образом Белинским... Его многочисленные последователи, люди, не казавшиеся правительству такими опасными, как он, разнесли повсюду его оценки, много раз переповторив или передав своими словами его отзывы... Таков был в сущности и Галахов». На то же намекал и Тихонравов, хваля в своей рецензии вкус Галахова, «воспитанный благородными преданиями нашей литературной критики».*

IV

Хотя Галахов обычно слывет в литературе «другом Белинского», но личной дружбы между ними не было — зато было нечто, быть может, более ценное, а именно взаимное идейное согласие. Белинский часто находил в Галахове «своего». Их личные отношения были не близки, несложны и не постоянны. Когда Белинский выступил (1842) с знаменитой резкой статьей против Шевырева («Педант»), Галахов написал Краевскому, что боится за Белинского, и посоветовал Краевскому для предупреждения опасности принять свои меры. Когда Галахов издал свою первую «Хрестоматию» (1843 г.), и против нее выступил в «Москвитянине» Шевырев, и у него с Галаховым завязалась полемика, Белинский счел своим долгом вмешаться в спор и напечатал в «Отечественных записках» «Несколько слов "Москвитянину"», слов, весьма горячих и решительных, в которых, отстаивая Галахова, отстаивал вместе с тем и свои собственные мнения. В том же году Белинскому очень понравилась статья Галахова «Философия анатомии» («прелесть, чудо, объедение», — писал он о ней В.П. Боткину), и он в очередном годичном обзоре не забыл отметить эту «превосходно составленную статью, представляющую современный взгляд на одно из величайших человеческих знаний». Прочитав (в «Отечественных записках» 1847 г.) начало «Записок человека», Белинский писал о них Боткину: «Я с удовольствием прочел, например, повесть не повесть, даже рассказ не рассказ, и рассуждение не рассуждение — «Записки человека» Галахова... да еще с каким удовольствием! Разумеется, если повесть возбуждает вопросы и производит нравственное впечатление на общество, при высокой художественности, — тем она для меня лучше, но главное-то у меня все-таки в деле, а не в щегольстве. Будь повесть хоть расхудожественна, да если в ней нет дела-то, бра-

**Розанов Ив. Указ. соч. С. 131—132.*

тец, дела-то: je m'en fous». У Галахова Белинский нашел подлинное «дело», хотя и «без щегольства». Отзыв этот тем ценнее, что Белинский тогда был настроен лично против Галахова, видя в нем сторонника и даже агента ненавистного Краевского. В письмах Белинского к друзьям есть несколько весьма неблагоприятных отзывов о Галахове. Белинский тогда разошелся с Краевским и оставил «Отечественные записки», в которых Галахов продолжал участвовать и, естественно, даже получил больше простора. Белинский, которому хотелось изолировать Краевского и как можно лучше обеспечить «Современник», негодовал на Галахова, который и сам работал у Краевского, и других приглашал в «Отечественные записки».*

*«Ай да Галахов, молодец!.. Галахов кланялся, ползал, плакал, умолял, хлопоча о своем отце и командире, кормильце и милостивце. ...Там [в «Отечественных записках»] он теперь первый и главный, у нас всегда был бы одним из нескольких». И Белинский не находит слов, чтобы достойно заклеймить «холопское усердие Галахова» к «подлецу и вампиру» Краевскому. «Боясь, что «Современник» подрежет его при новой подписке, — выходил из себя Белинский, — Краевский велел Галахову валяться в ногах у москвичей, чтобы выпросить у них названия будто бы обещанных в «Отечественные записки» статей, и те дали. Что же тут удивительного: подлецы всегда выезжают на дураках!.. Это решительная гибель для «Современника»...» Тем не менее Белинский писал вскоре Галахову и через него приглашал в «Современник» П.Н. Кудрявцева, да был не прочь и от сотрудничества самого Галахова, что давно уже предлагал И.И. Панаев**. Что жалобы Белинского на Галахова не совсем справедливы, видно из писем Галахова к Краевскому. Когда Галахов узнал об уходе Белинского из «Отечественных записок», он советовал Краевскому удержать его, улучшить его положение в журнале, увеличить жалованье, уменьшить количество работы, не заставлять его разбирать что попало. Вскоре Галахов писал Краевскому, которого пугала предстоявшая борьба с только что возникшим «Современником», и успокаивал издателя: «У «Современника» будут свои читатели, у вас свои, или, лучше сказать, будут у вас и у «Современника» читатели; не уменьшится от этого число ваших подписчиков, увеличится только число читающих, ибо грамотность более и более возрастает, и, как вы сами сказали, подписчиков хватит не только на два, но и на пять журналов».*

Не прошло полугода, как, уезжая за границу, Белинский просил Галахова временно заменить его «Современнику». Галахов согласился, но был вынужден объясняться по этому поводу с Краевским: «Человек больной, может быть умирающий, короче — Белинский перед отъездом на лечение просил меня сердечно поработать за него в «Современнике»... Я не мог отказать ему, любезный друг, я дал ему слово... Мне было тягостно отказать Белинскому, которого расстроенные положения во всех пунктах, его болезнь, болезнь его жены (давно мне знакомой), его безденежье мне коротко известны...»

---

*Я плюю на нее (фр.).

**Белинский В.Г. Письма. Т. 3. СПб., 1914. С. 280—281, 293—294, 324, 334—335, 361.

Когда Белинского не стало, Галахов писал Краевскому (в январе 1849 г.), что «хотел писать о Белинском, но оставил до другого времени». Понятно, почему ему пришлось оставить эту мысль. В печати кончина Белинского была едва-едва отмечена. «Современник» и «Отечественные записки» могли сказать лишь несколько бесцветных слов о нем. «Отечественные записки» писали, что Белинский «отличался непреклонной честностью и благородством поступков в частной (!) жизни, нередко заблуждался...» «Сын Отечества» даже счел нужным заявить, что не разделял образа мыслей покойного. Но почтительное воспоминание о Белинском Галахов сохранил навсегда, участвовал в редакции первого собрания его сочинений, заботился об его семье. Один журналист в 1888 году сказал в газетной заметке, что статьи Галахова были сильным подспорьем Белинскому. Старик немедля послал в редакцию возражение: «Его статьи могли служить мне подспорьем, а не наоборот»**. Но дело не в личных отношениях обоих критиков, а в том, что Галахов был верным учеником Белинского. Негодующее письмо Галахова к Гоголю по поводу «Переписки с друзьями» — одного духа с знаменитым письмом Белинского, разбор «Писем о конечных причинах» — того же направления, что и вся «позитивная» работа Белинского, который так же высоко ценил статью Литтре о физиологии, сыгравшую у нас «боевую» роль.*

Гораздо теплее было личное чувство, которое питал Галахов к П.Н. Кудрявцеву и Т.Н. Грановскому. На отношениях его к первому мы останавливаться не будем, так как им в «Записках» отведено несколько страниц. О втором же Галахов не успел в них рассказать с тою подробностью, какой заслуживала их дружба. Отсылая читателя к [соответствующей] главе «Записок», мы приведем здесь лишь небольшую выдержку из статьи, которую Галахов посвятил (1856 г.) защите памяти своего друга.

Указав на редкую «гармонию способностей», которая делала из Грановского «полного человека», Галахов анализирует его изящный ум, высота которого обнаруживается «выбором предметов для своей деятельности и стремлением к интереснейшим сторонам предмета выбранного. Из разных отраслей знания особенно занимает его та, которая способнее окрылять мысль, возбуждать сердце к благородным порывам и действовать на общество в виде практического применения или в виде нравственного стимула. В сфере же выбранной науки такой ум преимущественно любит ее вершины, заботится об организации целого, об общих выгодах, законах, идее». Ученый такого типа не может и не должен быть в науке чернорабочим. «Когда спросили у Мерзлякова, зачем он не напечатает своих лекций, он, указывая на студентов, отвечал: «Вот мои лекции!» Грановский мог сказать о себе то же самое, только в высшей степени. Он мог бы указать еще на общество, для которого количество знаний иногда мало значит, а много, все значит качество

*Клеман М. Белинский в неизданных письмах А.Д. Галахова к А.А. Краевскому // Венок Белинскому. М., 1924. С. 141—151.

**Русская старина. 1888. № 2. С. 563—565.

знания, достоинство его употребления. Достоинство же измеряется, во-первых, ясным пониманием того, что наиболее необходимо обществу в известный период его существования; во-вторых, действием не только на умы современников, но и на их нравственность, указанием сродства между наукой и жизнью, обличением разрыва между ними, созданием связи, если ее нет... Не менее сильны были у Грановского дары эстетические — сочувствие красоте, свободная восприимчивость всего изящного, где бы оно ни являлось и каким бы видом искусства ни выражалось. Итальянская музыка, художественная игра Рашели и столько же художественный комизм Щепкина были равно ему доступны. Он оценял их непосредственным поэтическим чувством и образованным вкусом... Сочувствие искусству, разумное понимание художественных произведений тем благотворнее было для Грановского, что они вносили свое влияние и в его науку, и в его жизнь. В науке влияние их сказалось особой наклонностью к величественным событиям истории, к прекрасным личностям исторических героев, живописным изображениям фактов и деятелей, наконец, языком, которого сжатость, сила и красота вполне соответствовали значению мысли, красоте и силе содержания. В такой же мере печать артистической натуры лежала на самой жизни Грановского: уже одним этим, не говоря о других, достойнейших побуждениях, объясняется достаточно, почему Грановский не мог быть равнодушным зрителем нравственного безобразия: у нравственности есть своя красота, которой не вычитаешь ни в каких книгах, но которая легко является каждому, рожденному с чувством изящного. Но всего виднее достоинство Грановского в чувстве нравственности, всего почтеннее его заслуга в укреплении этого чувства мыслию, в возведении его на степень сознательного долга, жизненного принципа. Благородным инстинктом понимал он все благородное, возмущался всем неблагородным... Он никогда не смешивал личного с общим и уважал или презирал лицо только по отношению его к общему. Не было человека способнее его забыть личную обиду, искренно протянуть руку обидевшему и не помнить зла. Но дело принимало совершенно другой оборот, когда наносилась обида нравственному идеалу, когда совершалось посягательство на убеждения, когда затмевалась истина в науке или правда в обществе. Примирения тогда не было и не могло быть... Грановский, — такими словами кончает Галахов апологию друга, — не просто имя: оно имя знаменательное. Произнесите имя Грановского: оно представит вам целую систему; вы вспомните благородное начало, которому он служил и учил служить других. Грановский был не просто член общества, единица, образующая с другими единицами десятки или сотни; он был центр круга, по нравственному влиянию на общество занимая в этом обществе средоточное место. Слово его было не просто словом, а благородным лозунгом, в котором являлись истинная любовь к отечеству, призвание служить ему с гражданским мужеством и самоотвержением. Светоч науки, который держал он посреди своих слушателей, был вместе и знаменем».*

* *Отечественные записки. 1857. № 2. С. 136—144.*

V

Светя в области литературы и литературной критики заемным светом, отчасти дублер Белинского, отчасти продолжатель его дела (а это в сущности вовсе не так мало), Галахов давно уже вполне завершил свою задачу, и именно на том поприще, где он больше всего потрудился, для него уже наступило небытие. Его учебники, критические статьи и школьные программы отжили, со временем их будут знать лишь эрудиты... Но от окончательного забвения его имя будет спасено одной работой, которая стоила ему менее всего усилий, которой он посвящал только свои редкие досуги и о которой, по-видимому, меньше всего думал, — мемуары. И писались они, и печатались урывками, в течение сорока пяти лет, и не были собраны и объединены автором, который, по-видимому, до конца своих дней мечтал их закончить <...>[4].

Ни психологический «разнобой», ни отрывочность содержания, ни незаконченность не отнимают у «Записок человека» прав на внимание читателя, не мешают им, как выразился, познакомившись с их началом, Белинский, «возбуждать вопросы и производить нравственное впечатление». Это впечатление даже, быть может, еще сильнее теперь, когда серьезные, вдумчивые мемуарные страницы Галахова собраны в одну книгу. В ней проходит перед нами ряд картин из истории русской общественности и литературы от 20-х до 50-х годов минувшего столетия. Галахов хорошо и интимно знал почти всех более или менее выдающихся деятелей русской литературы, был внимательным свидетелем общественных событий и наблюдателем идейных течений своего времени, и его «Записки» живо знакомят читателя с кругами, в которых вращались Белинский, Кудрявцев, Грановский... Сфера сочувствий и наблюдений Галахова была широка и разнообразна, и в его воспоминаниях мы находим параллельно с историей общества историю литературы в событиях и портретах, характеристики умственных течений и историю русского образования и воспитания рядом с отражениями повседневного быта. На всем рассказе Галахова лежит печать его духовной цельности. Он пользовался счастьем, которое не всякому дано: выработал к своим зрелым годам, пережив пору неизбежных сомнений и борений, определенное миросозерцание, остался ему верен и служил ему, сколько было сил. Расставаясь с жизнью и с своими мемуарами, он имел право применить к себе те слова великого поэта, которыми сорок пять лет тому назад начал «Записки человека».

«Записки человека» сначала легли на стол неизвестного «внутреннего» рецензента (конец отзыва с подписью в архивном деле отсутствует). Обнаружив в них «довольно много любопытного историко-литературного и бытового материала», рецензент нашел, что «Н.О. Лернер счел нужным почему-то сделать из исполнительного чиновника и весьма скромного ученого литератора какого-то «героя»

[4]Опущен фрагмент статьи, посвященный составу предполагаемого издания.

с «определенным мировоззрением» и т.п. Никакой надобности в этом — да и оснований к этому решительно нет». От составителя он потребовал «дать подлежащую оценку — и в историческом плане, и с точки зрения современности — личности и деятельности Галахова, умерить "восторги" перед учеными книгами Галахова, изменить характер "примечаний"», ибо их «"несторовская" летописная "объективность" и сухость придает книге весьма архаический привкус, как будто она подготовлена к печати в и для 1910—1912 гг.». Некоторые из примечаний произвели на рецензента «странное, если не сказать более, впечатление каких-то архаически благонамеренных либеральных речей пыпинского склада», и он счел необходимым «дать ряд новых примечаний, устанавливающих правильную историческую точку зрения по тому или иному пункту благонамеренных галаховских рассуждений». Кроме того, автор рецензии требовал значительных сокращений галаховского текста, особенно первых глав[5].

В своем объяснении Н.О. Лернер писал: «Рецензент приписывает мне желание сделать из Галахова «героя». Это неверно: «героем» я его не считаю (даже слова такого не употребил), но остаюсь при убеждении, что у этого деятеля было определенное мировоззрение, научное и политическое, которое и развертывается в его трудах, особенно же в «Записках человека». Рецензенту угодно считать Галахова «исполнительным чиновником», но никаких доводов в подкрепление такой низкой оценки он не привел. Не нахожу в моем комментарии и «восторгов», которые усмотрел у меня рецензент. Достаточно ясно показано у меня, да и давно известно, что Галахов был благородным и высоко-полезным деятелем (а не «чиновником») и что книги его для своего времени были хороши и имели несомненное воспитательное значение. Воспоминания его я считаю отнюдь не окончательным приговором над его эпохою (да и нужен ли в данном случае подобный приговор), а ценным показанием честного и умного свидетеля; таковы, например, воспоминания другого либерала П.В. Анненкова, которые издала «Academia» (и хорошо сделала, что издала). Ни с одним из заключений, которые угодно было рецензенту вывести из своих голословных утверждений, я не могу согласиться. Сокращать «Записки» нельзя: это значит посягать на цельность серьезного историко-психологического памятника эпохи. <...> Нельзя забывать также, что «Записки человека» и по самому предмету их и по изложению доступны лишь подготовленным к подобному чтению, довольно искушенным и образованным читателям, которые сами сумеют установить необходимые исторические перспективы. О Галахове, как и о каждом историческом деятеле, читатели будут судить, принимая во внимание условия его времени и зная, что требования, выдвинутые нашей эпохой, неприменимы к деятелю середины XIX века. Это, впрочем, так элементарно, что и говорить об этом, признаться, совестно. <...> Упрек в несоблюдении фасона 1930 г., — писал далее Лернер, — был бы мне чувствителен, если бы я был порт-

[5]РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 531. Л. 383.

ным. Есть оценки, которые правильно установлены и Пыпиным, и до Пыпина, и события последних лет их нимало не поколебали»[6].

Вслед за этим последовало заключение, написанное В. Кирпотиным: «Вводная статья и некоторые примечания Н.О. Лернера к «Запискам человека» Галахова носят не только архаический характер. По существу — и предисловие, и ряд примечаний являются апологетикой либерализма, или, вернее, лжелиберализма типа Галахова, [С.Г.] Строганова [и др.]. В предисловии сказывается также тенденция к апологетике формального метода в литературоведении. Неправильно обрисовано отношение мировоззрения Галахова к мировоззрению Белинского и т.д. Все это, вместе взятое, отражается не только на «фасоне» комментария, как полагает Н.О. Лернер, но умаляет резко научное значение предисловия и части примечаний»[7].

Последовала резолюция Л.Б. Каменева: «Требует коренной переработки».

В тексте Н.О. Лернера заметны следы попыток подобной переработки, направленной главным образом на заострение даваемых характеристик. Так, в примечании о В.П. Боткине к ранее напечатанному тексту: «друг Герцена, Грановского, Белинского, оказавший особенно благотворное влияние на последнего, оригинальный человек, знаток философии и искусства, тонкий критик, доныне мало изученный» — было добавлено от руки: «в 50-х годах изменивший своим политическим взглядам и ставший на сторону реакции». О графе С.Г. Строганове вместо зачеркнутых слов: «оставил по себе добрую память в истории русского просвещения» — было поставлено: «Современники сохранили о нем добрую память, даже более добрую, чем заслуживал этот знатный барин», а ко всему примечанию появилась приписка: «Магнат-самодур, он защищал университет часто лишь потому, что считал его «своим» и не терпел ничьего вмешательства, но бесправное униженное русское просвещение не имело лучших заступников в те времена». Еще в одном месте вместо слов «павловский милитаризм» появилось «павловское фрунтобесие» и т.д. Коснулась правка и вступительной статьи. Например, к фразе: «Он пользовался счастьем, которое не всякому дано: выработал к своим зрелым годам, пережив пору неизбежных сомнений и борений, определенное миросозерцание» — было добавлено над строкой: «пусть уже чуждое нашему времени, но честное и прогрессивное» и т.п.

Очевидно, что таких поправок было недостаточно, и следующим документом, сохранившимся в деле, является новое предисловие, написанное М. Добрыниным. «Правильно понять и оценить «Записки человека» А.Д. Галахова, — писал этот автор, — можно только в свете ленинского учения о двух путях капиталистического развития России. Без этой методологической установки нельзя понять истинной роли таких людей, как Галахов, нельзя выработать и установить верного отношения к тем историческим фактам и явлениям, которые за-

[6]РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 531. Л. 384.
[7]Там же. Л. 385.

тронуты им <...> Годы сознательной жизни А.Д. Галахова захватывают первый и второй периоды освободительной борьбы в России. В свете этой борьбы должны быть поняты и оценены записки А. Галахова. Напрасно, однако, стали бы мы искать в них четкого и ясного отражения борьбы классов, воспоминания о жгучих и интереснейших боях в литературе и истории. В записках этого ничего нет. И не случайно. Касаясь отдельных исторических событий — положения народного образования, положения в университетах и т.д., касаясь отдельных деятелей науки, литературы и искусства (Грановский, Белинский, Гоголь, Тургенев, Щербина, Каченовский и т.д.), Галахов нигде не поднимается до общественной, классовой оценки их взглядов и отношений, но самое лучшее остается на уровне личной характеристики, на уровне обывательской оценки, симпатий и антипатий. И это не случайно. Все это есть закономерное выражение и отражение той классовой позиции, которую занимал А.Д. Галахов.

Некоторые критики и историки литературы думают, что А. Галахов являлся единомышленником В. Белинского, что в работах Галахова, в его учебниках мы имеем отражение вкусов и оценок В. Белинского. Им кажется, что, когда имя Белинского было нетерпимо в печати, когда оно не могло быть произносимо в школе, когда из школы изгоняли за одно только чтение Белинского, — великий критик уже торжествовал в программах и учебниках своего верного последователя — А. Галахова. Им кажется, что если мятежная фигура критика-революционера пугала правительство, то перед степенным, застегнутым на все пуговицы А. Галаховым настежь открывались двери казенного просветительного ведомства и за его спиной в школу вошел В. Белинский и стал во главе литературного сознания. Какая дикая и нелепая мысль. Думать так — значит ничего не понимать в русском историческом процессе, значит не видеть разницы между прусским и американским путем развития, значит не понимать разницы между реформой и революцией. Думать так, что революционер Белинский и либерал Галахов — одно и то же, что либерал ввел в программы министерства по просвещению революционные установки В. Белинского — значит сознательно искажать исторический процесс и умалять роль революционных вождей, каким был В. Белинский. <...>

Если В. Белинский является революционером, если от него идет прямая линия к революционным бойцам 60 [-х] годов — к Чернышевскому и Добролюбову, то Галахов является простым либералом. <...> Белинский не дожил до 60-х годов, но его позицию хорошо представляют Чернышевский и Добролюбов. На отношении к ним ясным становится позиция Галахова. Любопытно, что в своих записках он проходит мимо этих замечательных фигур революционного разночинства. Да и вообще представителей идеологии крестьянской революции он не трогает, зато много говорит о либералах. Это не случайно. <...> В записках человека совершенно отсутствует какое-либо упоминание о восстании декабристов, о том брожении, которое оно вызвало, о мрачной реакции Николая I, об отзвуке на революцию 1848 г., о крестьянских волне-

ниях, о реформе 1861 г., о борьбе вокруг нее, и т.д., и т.д. <...> Какого же типа перед нами либерал? Что это — идеолог либерального дворянства типа И.С. Тургенева? Очевидно, нет, ибо ни по своему положению, ни по своим убеждениям Галахов целиком не стоял на позициях этого дворянства. Скорее он был идеологом мелкобуржуазной интеллигенции, обслуживавшей интересы либерального дворянства и буржуазии, постоянно колеблющимся, но в решительные моменты идущим вместе с господствующим классом»[8] и т.д.

Примечателен отзыв на новую статью, сделанный П. Лебедевым-Полянским: «Поскольку М.К. Добрынин задумал написать статью о Галахове в свете Ленинского учения о двух путях капиталистического развития, то приходится констатировать, что с этой задачей он не справился. Учение Ленина осталось как-то в стороне, со всей статьей органически не связано. Поскольку статья маленькая и в ней нет детального анализа, она поддается исправлению и автор сможет это сделать. Но встает другой серьезный вопрос. Поскольку Добрынин только на днях обвинен литературоведческой общественностью в клевете на большевизм, в контрабанде меньшевизма, то можно ли его печатать. По-моему, до тех пор, пока Добрынин не реабилитирует себя, от печатания его работ надо воздержаться».

Завершила дело резолюция Л.Б. Каменева, относящаяся уже к маю 1932 г.: «Не пойдет». Она и решила судьбу книги.

В основу подготовленного нами издания положены журнальные публикации мемуаров Галахова. Рукописи их не сохранились, и сам автор, готовя отдельное издание для Суворина, собирался выслать издателю журнальные оттиски. В качестве названия использован не тот вариант («Мои воспоминания»), к которому автор склонялся в конце жизни, а тот, под которым они были известны современникам, более, с нашей точки зрения, яркий и выразительный. В качестве приложения в книгу включены опубликованные Галаховым еще в 1847—1848 гг. в «Отечественных записках» фрагменты ранней редакции «Записок человека». При комментировании частично использованы (а в некоторых случаях дословно сохранены) примечания Н.О. Лернера к несостоявшемуся изданию.

[ГЛАВА I] ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ДО ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ

Впервые: Русский вестник. 1876. № 5, с подзаголовком «Из записок человека» и подписью «Сто-один».

[1] Имеется в виду следующее место из псалма 89: «Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет» (Пс. 89:10). Автором этого псалма считается, однако, не царь Давид, а Моисей.

[8] РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 531. Л. 386—388.

[2] Возможно, это высказывание принадлежит Гете. В книге «Мир и жизнь. Афоризмы лучших всемирных мыслителей, избранные и переведенные О.Н. Штейнбергом» (Вильно, 1891. С. 193) приведено похожее его высказывание («Первое и последнее требуемое от гения — это истинность»), но, к сожалению, без указания источника.

[3] «Я человек и думаю, что мне не чуждо ничто человеческое» — слова из комедии Теренция «Наказывающий сам себя», цитируемые Цицероном и Сенекой.

[4] *Сто-один* [Галахов А.Д.]. Из записок человека // Отечественные записки. 1847. № 12. С. 300. См. настоящее издание, с. 305—306.

[5] Речь идет, скорее всего, о книге: Краткая география для детей, изданная по руководству И.А. Гейма. М., 1820 (16-е изд. М., 1857). Фамилия и имя составителя на книге не указаны.

[6] Отец А.Д. Галахова — Дмитрий Григорьевич, отставной поручик, в 1809 г. титулярный советник, заседатель рязанской палаты гражданского суда; мать — Олимпиада Ивановна, урожд. Сербина.

[7] См.: *Фонвизин Д.И.* Друг честных людей, или Стародум // Фонвизин Д.И. Собр. соч. Т. 2. М.; Л., 1959. С. 71 («Родители мои имели о сем слове неправильное понятие. Они внутренно были уверены, что давали мне хорошее воспитание, когда кормили меня белым хлебом, никогда не давая черного; словом, чрез воспитание разумели они одно питание»).

[8] «Северная почта, или Новая Санкт-Петербургская газета» выходила в Петербурге в 1809—1819 гг. два раза в неделю.

[9] *Слова под титлами* — сокращенные слова (титло — надстрочный знак, означающий сокращение).

[10] *Арапник* — ременная плеть.

[11] *Салоп* — верхняя женская одежда; род пальто с пелериной.

[12] «Спанье есть от Бога присужено полудне» («Поучение Владимира Мономаха» цит. по: Начало русской литературы. М., 1978. С. 400).

[13] *Вакация* — «гулящая, праздная пора» (определение В.И. Даля).

[14] С 1816 г., после утверждения Положения об эстляндских крестьянах, положившего начало освобождению крепостных крестьян в Прибалтике, Александр I начал исподволь готовить крестьянскую реформу в России (впоследствии неосуществленную). По его поручению было написано несколько проектов реформы (А.А. Аракчеева, Е.Ф. Канкрина и др.). Начиная с осени 1817 г. слух о грядущем освобождении крепостных начал распространяться по России, чему способствовало публичное (санкционированное императором) выступление малороссийского генерал-губернатора кн. Н.Г. Репнина на дворянских выборах в Полтавской губернии. Выступление, в котором Репнин призывал помещиков «обеспечить благосостояние» их крестьян «на грядущие времена», было напечатано в «Духе журналов» (1818. № 20), широко разошлось в рукописных списках,

породило оживленную рукописную же полемику (записки кн. Н.Г. Вяземского, А.Н. Муравьева и др.). Подробнее см.: *Семевский В.И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и 1-й половине XIX в. Т. 1. СПб., 1888. С. 437—448; *Предтеченский А.В.* Очерки общественно-политической истории России в 1-й четверти XIX в. М.; Л., 1957. С. 339—352; *Мироненко С.А.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1982. С. 61—147.

[15] Речь идет об известной басне И.А. Крылова «Тришкин кафтан».

[16] *«Московские ведомости»* — газета, издававшаяся при Московском университете с 1756 г. Печатала указы, придворные и иностранные известия и т.д.

[17] Ссудные казны были учреждены в 1772 г. в Петербурге и Москве с целью оказания помощи «всем нужду в деньгах имеющим». Функционировали при Воспитательных домах; выдавали ссуды от 3 до 5 тысяч рублей ассигнациями под залог движимого имущества. Извещали через газеты о ходе ломбардных операций.

[18] В поэме Овидия Назона «Метаморфозы» («Превращения») использованы сюжеты греческой мифологии о превращениях героев и героинь в зверей, птиц, растения и т.п.

[19] *Ерофеич* — водка, настоянная на травах.

[20] *«Мнения»* гр. Н.С. *Мордвинова* — докладные записки, которые он представлял в Государственный совет или непосредственно на высочайшее имя; они имели широкое хождение в рукописных списках (сохранились во многих архивах). Наибольшее распространение имели «мнения», в которых Мордвинов защищал законность и «священное право собственности» («О Эмбенских рыбных ловлях», «О правах Сената», «О силе и пространстве указа 12 декабря» и др.). См. издание «мнений» и других сочинений Мордвинова: *Мордвинов Н.С.* Избранные произведения. М., 1945.

[21] Стихотворная переписка Державина-поэта с Державиным-священником относится к 1808 г., часто встречается в рукописных сборниках первой половины XIX в. По соседству с Г.Р. Державиным жил его однофамилец, священник Иван Семенович Державин, корреспонденция которого иногда попадала к поэту. В ответ на сочиненное по этому поводу шутливое стихотворение Державина «Привратнику» («Един есть Бог, един Державин...») И.С. Державин написал «Приказ моему секретарю», завершавшийся так:

Но будь и в том еще уверен,
Коль будешь так же неумерен,
То знай, что еду, не свищу,
А как наеду, не спущу.

(*Державин Г.Р.* Сочинения. Т. 3. СПб., 1870. С. 426—429). Последние два стиха были использованы А.С. Пушкиным в «Руслане и Людмиле».

[22] В рукописных списках расходились главным образом стихотворения И.М. Долгорукова, относящиеся к 1790-м гг. («К швейцару», «За женщин», «Против женщин», «Спор о луне и солнце», «Камин в Пензе»; последнее вызвало массу подражаний — В.Л. Пушкина и др.), в том числе и знаменитая сатира «Авось», на которую намекает А.С. Пушкин в X главе «Евгения Онегина»:

Авось, о шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил.

[23] Речь идет о пародии С.Н. Марина на оду М.В. Ломоносова «Подражание Иову», относящейся к павловскому царствованию:

О ты, что в горести напрасно
На службу ропщешь, офицер,
Шумишь и сердишься ужасно,
Что ты давно не кавалер?
Внимай, что царь тебе вещает:
Он гласом сборы прерывает,
Рукою держит эспантон;
Смотри, каков в щиблетах он...
и т.д.

(*Марин С.Н.* Полн. собр. соч. М., 1948. С. 176). Широкое хождение в рукописи имели и другие шуточные и пародийные стихотворения Марина, редко публиковавшего свои произведения.

[24] *Кафизма* — каждый из двадцати отделов Псалтири.

[25] *Рукоприкладство* — подпись под прошением, свидетельством.

[26] *Акафист* — церковная хвалебная песнь Спасителю, Богородице и святым.

[27] *Именованные числа* сопровождаются названием единиц меры (5 м, 7 кг); в отличие от отвлеченных чисел (5, 7).

[28] Вы говорите по-французски, сударь? (*фр.*).

[29] *Экзерциции* — упражнения.

[30] *Омет* — скирда.

[31] Соловьев Сергей Михайлович, историк.

[32] Об отношении самого Галахова к Писемскому любопытную подробность сообщает Н.П. Колюпанов: в 1840-х гг. Писемский, тогда еще начинавший свою деятельность, поручил Колюпанову, тогда студенту, отвезти Галахову свою повесть «Виновата ли она?». «Галахов возвратил рукопись, не признавая ее достойной печати и не находя в авторе каких-либо признаков таланта» (*Колюпанов Н.П.* Из прошлого. Посмертные записки // Русское обозрение. 1894. Май. С. 27—28)» (Н.О. Лернер).

[33] *Талька* — моток ниток.

[34] *Салтычиха* — Салтыкова Дарья Николаевна, урожденная Иванова, имя которой стало нарицательным для обозначения жестокой помещицы. В своем имении (Подольский уезд Московской губернии) замучила до смерти несколько десятков дворовых, многих подвергала изощренным пыткам. После длительного следствия Салтыкова в 1768 г. была лишена дворянства и подвергнута заточению в тюрьме московского Ивановского монастыря, где вскоре впала в буйное помешательство. Рязанский помещик Лев Дмитриевич *Измайлов*, генерал-лейтенант, также был известен жестоким обращением с дворовыми и самодурством, от которого немало страдали и окрестные помещики. В 1831 г. его имения были взяты в опеку, а сам он отдан под надзор губернских властей. Его считают прототипом Троекурова в пушкинском «Дубровском». См. о нем: *Славутинский С.Т.* Генерал Измайлов и его дворня (Очерк помещичьего быта первой четверти нынешнего столетия) // Селиванов И.В., Славутинский С.Т. Из провинциальной жизни. М., 1985. С. 319—388; *Энгель С.* Рассказ о Троекурове // Прометей. Т. 10. М., 1977. С. 106—113.

[ГЛАВА II] ДЕД МОЙ ПОМЕЩИК СЕРБИН

Впервые: Русский вестник. 1875. № 11, с подзаголовком «Из записок человека» и подписью «Сто-один».

[1] См.: Заблуждение любви и ума, или Муж о двух женах. Пер. с фр. П......ц. М., 1802.

[2] *Цесарские куры* — цесарки, крупные домашние птицы семейства куриных.

[3] *Сажалка* — небольшой пруд; рыбный садок.

[4] *Куртина* — гряда для цветов, клумба.

[5] в пáру (*фр.*).

[6] Имеется в виду «Адрес-календарь», выходивший ежегодно с 1765 г. и содержавший как календарные сведения, так и данные о штатах чиновников различных ведомств в столицах и провинциальных городах (в 1805—1829 гг. он назывался «Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской империи»).

[7] *Сильван* (Силван) — персонаж сатиры А.Д. Кантемира «На хулящих учения. К уму своему». Силван

<...> одно знание слично хвалит:
Что учит множить доход и расходы малит;
Трудиться в том, с чего вдруг карман не толстеет,
Гражданству вредным весьма безумством звать смеет.

(*Кантемир А.Д. Собрание стихотворений. Л., 1956. С. 59*).

[8] Выражение из басни И.А. Крылова «Огородник и Философ»:

...А Философ пошел домой.
Читал, выписывал, справлялся <...>
Чуть на грядах лишь что взойдет,
В журналах новость он найдет —
Все перероет, пересадит
На новый лад и образец.
Какой же вылился конец?
У Огородника взошло все и поспело:
Он с прибылью и в шляпе дело;
А Философ —
Без огурцов.

(*Крылов И.А. Басни. М.; Л., 1956. С. 81*).

[9] Под именем Галахова в «Новом магазине...» были опубликованы следующие статьи Н.С. Сербина: О составных ульях (1827. Ч. 2. № 3); Средства истреблять животных, вредных пчелам (1827. Ч. 2. № 3); Замечание о роевне (1829. Ч. 2. № 3).

[10] Императорское Московское общество сельского хозяйства было основано в 1818 г. О начальном периоде его деятельности см.: *Маслов С.А.* Историческое обозрение действий и трудов Императорского Московского общества сельского хозяйства со времени его основания до 1848 года. М., 1850. В 1826—1840 гг. общество издавало «Земледельческий журнал».

[11] См.: Руководство к полезнейшему и приятнейшему пчеловодству, во всех странах испытанное и к всеобщей пользе и удовольствию изданное Кристом. С нем. М., 1805.

[12] М.Г. Павлов издавал журнал «Атеней» в 1828—1830 гг.

[13] Это произошло в 1828 г. См.: Земледельческий журнал. 1828. № 23. С. 310—314; 1829. № 27. С. 572.

[14] Имеется в виду басня И.А. Крылова «Музыканты»:

Они немножечко дерут;
Зато уж в рот хмельного не берут...

(*Крылов И.А. Басни. М.; Л., 1956. С. 9—10*).

[15] У Н.Г. Курганова было три сына. Все они окончили Морской корпус. Старший, Яков, умер в 1799 г.; младший, Павел, был уволен из флота в чине капитана второго ранга (VII класса); средний, Петр, участвовал в 1789 г. в Роченсальмском сражении, был произведен в капитан-лейтенанты (чин VIII класса), в 1790 г. взят в плен, а к 1800 г. вышел в отставку. Он был «человек образованный, но имевший <...> пагубную страсть к выпивке» (*Мельницкий В.*

Адмирал П.И. Рикорд и его современники // Морской сборник. 1856. № 2. Паг. 3. С. 238). По-видимому, он и был учителем у Галахова (о братьях Кургановых см.: Общий морской список. Ч. IV. СПб., 1890. С. 192—193).

[16] «Письмовник» Н.Г. Курганова, впервые вышедший в свет в 1769 г., был широко распространен; он «приохочивал к чтению малообразованных русских людей и сообщал в легкой форме много научных и общеполезных сведений. Отчасти «Письмовник» Курганова служил той самой цели, ради которой Галахов издал свою “Хрестоматию”» (Н.О. Лернер). Современное сокращенное издание: Краткие замысловатые повести из «Письмовника» профессора и кавалера Николая Курганова. М., 1976.

[17] *Гурон* — главный герой философской повести Вольтера «Простодушный» («L'ingénu»), «естественный человек», столкнувшийся с условностями и пороками европейской цивилизации.

[18] См.: Лексикон немецкий, российский (полный) из большого грамматико-критического словаря Аделунга, составленный обществом ученых людей. Ч. 1—2. СПб., 1798.

[19] *Бестужевские капли* — спирто-эфирный раствор полуторахлористого железа. Использовались как тонизирующее средство и при нервных болезнях. Были изобретены в 1725 г. гр. А.П. Бестужевым-Рюминым.

[ГЛАВА III] ВРЕМЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЯ. УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ И ГИМНАЗИЯ (1816—1822)

Впервые: Русский вестник. 1876. № 10, с подзаголовком «Из записок человека» и подписью «Сто-один».

[1] О рязанской гимназии см.: Историческая записка о Рязанской 1-й мужской гимназии, 1804—1904. Рязань, 1904. Через несколько лет после Галахова (в 1830 г.) в рязанскую гимназию поступил поэт Я.П. Полонский, заставший еще некоторых преподавателей, учивших Галахова (А. Тюрберта, К.И. Босса и др.), и оставивший их характеристики в воспоминаниях: Школьные годы (Начало грамотности и гимназия) // Полонский Я.П. Проза. М., 1988. С. 344, 347—350.

[2] *«Фризовая* (грубого, ворсистого сукна) шинель часто упоминается в старой нашей литературе как обычный атрибут нищеты. В сценах И.С. Тургенева «Безденежье» забулдыга, продающий дрянную собаку, одет во фризовую шинель. У Д.В. Григоровича (повесть «Зимний вечер») нищий кларнетист ходит во фризовой шинели. Носит ее жалкий шут в «Импровизаторе» В.Ф. Одоевского. У Гоголя («Невский проспект») жертва чиновничьего грабительства «пущена по миру во фризовой шинели». Было даже выражение «фризяк» (бродяга, босяк — см.: *Селиванов И.В.* Провинциальные воспоминания. М., 1857. С. 457). Белинский не раз пользовался этим символом для характеристики

произведений уличной литературы: «Аполлон <...> во фризовой шинели с небритой бородою» (рецензия на «Русскую азбуку» // Отечественные записки. 1844. [№ 6]); у него встречается даже выражение «фризовая фантазия» (рецензия на сборник «Сто русских литераторов». 1841)» (Н.О. Лернер).

[3] *Держание* — здесь: поведение.

[4] См.: *Янкович де Мириево И.Ф.* Правила для учащихся в народных училищах <...> СПб., 1782. До 1794 г. книга выдержала пять изданий и продолжала выходить в XIX в.

[5] См.: [*Фельбигер И.И.*]. О должностях человека и гражданина. Книга к чтению определенная в народных городских училищах Российской империи, изданная по высочайшему повелению <...> СПб., 1783. Книга выходила по 1817 г. и выдержала 11 изданий. Младший современник Галахова И.Е. Забелин, учившийся в 1830-х гг. в Сиротском училище в Москве, вспоминал: «Для выправки чтения по гражданской печати мне дали очень подержанную книжку «О должностях человека и гражданина». Эта книжка оставила большие следы в моем нравственном развитии. Чтение было скучно: многого я не понимал, но общий смысл книжки в отдельных ее указаниях, весьма понятных, я усвоил себе как основу учительской истины. <...> Кроме того, книжка дала направление в выборе предметов или сюжетов для чтения. У меня под влиянием скучной книжки сама собой появилась склонность к чтению преимущественно серьезных книг такого же характера...» (*Забелин И.Е.* Воспоминания о жизни // Река времен. Кн. 2. М., 1995. С. 59).

[6] Сын советника казенной палаты коллежского советника Н.М. Россинского.

[7] manger — есть (*фр.*); passé défini — одна из грамматических форм глагола прошедшего времени во французском языке.

[8] *И.М. Татаринов* — участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов, капитан Астраханского гренадерского полка; участник Бородинского сражения, где принял командование полком вместо убитого командира, своего шурина И.Ф. Буксгевдена. Под Лейпцигом был тяжело ранен. В отставку вышел с чином полковника. Как рязанский помещик, был назначен (с переименованием в статские советники) директором рязанской гимназии; занимал этот пост в 1819—1827 гг.

[9] Екатерина Филипповна Татаринова — основательница и руководительница секты, просуществовавшей около 20 лет. По мнению биографов, обратилась к мистике после того, как муж, которого она горячо любила и сопровождала в военных походах, оставил ее (вскоре после 1814 г.), а вслед за тем умер их единственный сын. На молитвенных собраниях секты, происходивших в Михайловском замке, в покоях матери Татариновой (бывшей гувернантки царских детей), читали Библию, распевали псалмы и предавались священным пляскам, завершавшимся мистическим трансом. В Петербурге членов секты называли русскими квакерами. Сама Татаринова, впадая в транс, была склонна

к пророчествам. В числе ее приверженцев были известный художник В.Л. Боровиковский, будущий декабрист А.Ф. Бригген, генерал Е.А. Головин (в его доме в Петербурге Татаринова умерла). «Духовный союз» Татариновой пользовался покровительством Александра I, иногда консультировавшегося у Татариновой о толковании того или иного места в Библии. Благоволил секте и министр народного просвещения и духовных дел кн. А.Н. Голицын. С падением Голицына в 1824 г. влияние и популярность Татариновой уменьшились. Собрания секты были перенесены за город на специально купленные дачи. В 1837 г. секта была запрещена вследствие доноса, в котором сообщалось, что на этих дачах происходят оргии, сопровождающиеся истязанием детей и политическими пророчествами. Татаринову заключили в монастырь; через 10 лет она покаялась, примирилась с официальной церковью и была освобождена. См.: *Толстой Ю.В.* О духовном союзе Е.Ф. Татариновой // Девятнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый П. Бартеневым. Кн. 1. М., 1872. С. 220–234; *Фукс В.Я.* Из истории мистицизма. Татаринова и Головин // Русский вестник. 1892. № 1. С. 3–31.

[10] См.: *Кукольник П.* Анти-Фотий. Ответ очевидца на статью, помещенную в «Русском архиве» 1873 года под заглавием «Из записок Юрьевского архимандрита Фотия» // Русский архив. 1874. Кн. 1. С. 591–592.

[11] Г.П. Ржевский, рязанский вице-губернатор, был владельцем замечательной балетной труппы, составленной из крепостных и в 1824 г. купленной в казну московской театральной дирекцией. Современники, и в их числе П.А. Вяземский, считали, что именно Ржевского имел в виду А.С. Грибоедов в «Горе от ума» под помещиком, который «для затей на крепостной балет собрал на многих фурах от матерей, отцов отторженных детей» (См.: *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. Т. 10. СПб., 1886. С. 47, 244).

[12] *Сюжеты* — здесь: актеры.

[13] А.Д. Балашов в 1819 г. был назначен генерал-губернатором округа, составленного из Орловской, Тульской, Тамбовской, Воронежской и Рязанской губерний (пробыл в этой должности до 1828 г.).

[14] Книга Г. Юнг-Штиллинга называлась «Сцены в царстве духов»; в России вышла в переводе А.Ф. Лабзина под названием «Приключения по смерти» (СПб., 1805).

[15] *Демидовский лицей* — высшее учебное заведение, основанное в 1803 г. в Ярославле на пожертвования П.Г. Демидова.

[16] фактически (*лат.*).

[17] О литературных занятиях воспитанников школ Александровского времени см.: *Сакулин П.Н.* Литературные течения в александровскую эпоху // История русской литературы в XIX в. Вып. 1. М., 1909. С. 64–66; *Сакулин П.Н.* Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. Т. I, ч. 1. М., 1913. С. 68–72; *Колюпанов Н.П.* Биография А.И. Кошелева. Т. I, кн. 1. М., 1892. С. 92–93. Об Университетском Благородном пан-

сионе М.А. Дмитриев вспоминал: «К исполнению этой цели, соединения литературного образования с чистою нравственностью, служило <...> пансионское общество словесности, составленное из лучших и образованнейших воспитанников. <...> Это общество собиралось один раз в неделю по средам. Там читались сочинения и переводы юношей и разбирались критически, со всею строгостию и вежливостию. Там очередной оратор читал речь, по большей части о предметах нравственности. Там в каждом заседании один из членов предлагал на разрешение других вопрос из нравственной философии, или из литературы, который обсуживался членами в скромных, но иногда жарких прениях» (*Дмитриев М.А.* Мелочи из запаса моей памяти // Дмитриев М.А. Московские элегии. М., 1985. С. 256—257). Это общество (Собрание воспитанников Университетского благородного пансиона) было учреждено А.А. Прокоповичем-Антонским в 1799 г.; труды воспитанников издавались в ряде сборников (в частности: Каллиопа. М., 1815, 1816, 1817, 1820).

[18] См.: *Гаретовский И.* Речь на открытии кабинета для чтения при Рязанской гимназии // Вестник Европы. 1820. № 21. С. 303—306. См. также другие публикации И.А. Гаретовского в «Вестнике Европы»: Рассуждение о влиянии денег на богатство народное (1815. № 3, 4); Ответ другу моему на жалобу его о процентах (1815. № 8), а также его книгу: Новый и легкий способ приготовить себя к выдержанию испытания в науках, в высочайшем указе 6-го августа 1809 означенных, или Полный курс словесности. Ч. 1. Грамматики: 1) общая, 2) российская, 3) латинская, 4) французская, и Логика. М., 1812.

[19] См.: *Делиль Ж.* Сады, или Искусство украшать сельские виды. Пер. А. Воейков. СПб., 1816.

[20] Княгиня *Волконская Екатерина* Алексеевна (у Галахова ошибочно: Александровна) — жена кн. Д.П. Волконского, дяди министра двора кн. П.М. Волконского. Опубликовала «Речь о влиянии женщин на изящные искусства» (Вестник Европы. 1810. № 4).

[21] В.Д. Казначеева и ее муж А.И. Казначеев входили в одесское окружение А.С. Пушкина (см.: *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 177).

[22] *Гавриил* (Городков) был архиепископом Рязанским в 1837—1858 гг. Принял постриг в 1815 г., затем был архимандритом рязанского Троицкого монастыря. В 1817 г. переведен в Орел и до 1837 г. в Рязань не возвращался. О нем см.: *Ростиславов Д.И.* Записки // Русская старина. 1892. № 12. С. 540.

[23] *Викарный* — от викарий (лат. — заместитель): епископ, назначаемый в помощь епархиальным архиереям.

[24] *Рекреация* — перемена.

[25] См.: *Шрекк И.М.* Учебная книга по всеобщей истории на немецком языке, тисненная 6-м изданием, исправленная, дополненная и доведенная до новейших времен Г.И. Пельцем, переведенная Е. Константиновым, с присовокуплением синхронистических таблиц к каждому периоду и особенной краткой Российской истории. Ч. 1—5. СПб., 1817—1820.

[26] См.: Руководство к физике, сочиненное Петром Гиларовским, учителем математики и физики в учительской гимназии, физики в обшестве благородных девиц, российского слова и латинского языка в благородном пажеском корпусе. СПб., 1793.

[27] См.: *Бланшар П.* Плутарх для юношества, или Жития славных мужей всех народов от древнейших времен доныне. Пер. с фр. Т. 1—5. М., 1809—1814; 2-е изд. Ч. 1—10. М., 1814.

[28] См.: Плутарх для молодых девиц, или Краткие жизнеописания славных жен, с объяснительными уроками о их деяниях и творениях. Пер. с фр. Ф. Глинка. Ч. 1—4. М., 1816.

[29] См.: *Галле Г.* Открытые тайны древних магиков и чародеев, или Волшебные силы натуры, в пользу и увеселение употребленные. Ч. 1—9. М., 1798.

[30] См.: Театр Августа фон Коцебу, содержащий полное собрание новейших трагедий, комедий, драм, опер и других театральных сочинений славного сего писателя. Ч. 1—20. М., 1802—1808; *Лапорт Ж. де.* Всемирный путешествователь. Т. 1—27. СПб., 1778—1794. Названные книги принадлежали в конце XVIII — начале XIX в. к числу наиболее популярных и широко читаемых в России. Так, Н.М. Карамзин писал в 1802 г., что «теперь в страшной моде Коцебу <...> наши книгопродавцы требуют от переводчиков и самых авторов Коцебу, одного Коцебу!! Роман, сказка, хорошее или дурное — все одно, если на титуле имя славного Коцебу!» (*Карамзин Н.М.* Избр. соч. Т. 2. М.; Л., 1964. С. 178—179; о популярности Коцебу см. также: Из воспоминаний А.Н. Афанасьева // Русский архив. 1872. № 3/4. С. 814; *Дмитриев М.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 52). Сам Галахов следующим образом характеризовал причины успеха Коцебу: «...сочинения Коцебу, «не дурные, хотя и ничтожные», по выражению Гете, говорили большинству публики понятно, поражали зрителей эффектами, <...> в них нет натянутых, искусственных форм, пугающих простой смысл <...> действие в них разыгрывается легко и оказывает быстрое влияние на массу, которая ищет в театре только минутного развлечения и выносит приятное впечатление от частностей, не замечая отсутствия художественности в целом» (*Галахов А.Д.* В.А. Жуковский // Отечественные записки. 1853. № 6. С. 59). К.И. Фишер вспоминал, как он в начале 1820-х гг., поступив на службу после гимназии, много читал, в том числе «Скотта, Коцебу и, наконец, съехал на Редклиф и Августа Лафонтена. Романы Лафонтена, оказавшиеся впоследствии глупыми, действовали сильно на мою нервическую натуру» (Записки сенатора К.И. Фишера // Исторический вестник. 1908. № 1. С. 69; о чтении А. Лафонтена см. также: *Панаев В.И.* Воспоминания // Вестник Европы. 1867. Т. 3. С. 222). Галахов писал, что «несколько позднее [Коцебу] любители романического чтения стали услаждаться произведениями немецкого же писателя, Августа Лафонтена <...>, которые ни плодовитостью, ни однообразием и мелкостью содержания не уступали произведениям Коце-

бу. Это — романы семейные, возникшие <...> непосредственно за развитием среднего сословия и служившие изображением его быта <...> Ни ум, ни фантазия не чувствуют напряжения от подобных романов: все усвоивается легко, а благополучный исход интриги, вертящейся на сентиментальной, чисто немецкой любви, успокаивает читателей, которым было бы жалко видеть в неминучей беде простодушных героинь и героев <...> трудно теперь представить, с какою жадностью и удовольствием читались романы Лафонтена <...> В сущности, действие было вредно, возбуждая в юной душе сладенькие чувства, приучая ее к праздной мечтательности и все завершая или несостоятельной, или пошлой моралью...» (*Галахов А.В.* История русской словесности, древней и новой. Т. 2. СПб., 1868. С. 172). А. Радклиф же, по его мнению, «обладала истинным талантом», она «создала новый род повести, который действовал на фантазию особенным образом <...> все <...> возбуждало и постепенно усиливало интерес к таинственному — главной цели ее романов. Этим и объясняется необычайный их успех, да еще живыми описаниями местностей, рельефным изображением некоторых характеров и театральными эффектами» (*Галахов А.Д.* Указ. соч. С. 172—173; о ранней стадии рецепции творчества Радклиф в России см.: *Вацуро В.Э.* А. Радклиф, ее первые русские читатели и переводчики // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 202—225). О популярности Ж. де Лапорта см., напр.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 83, 101, 334.

[31] *Интересан* — своекорыстный человек.

[32] *Гекатомба* — жертвоприношение; здесь: дар.

[33] *Манкировка* (от фр. manquer) — небрежное отношение.

[34] Правило перед причастием — предписание, какие молитвы (Канон покаянный, Канон Богородице, Канон Ангелу Хранителю и Последование ко Св. Причащению) следует читать накануне причастия.

[35] См.: *Юнг-Штиллинг Г.* Тоска по отчизне. Пер. Ф.П. Лубяновский. Ч. 1—2. М., 1806; 2-е изд. М., 1816.

[36] См.: *Гион М.-Ж.* Кратчайший и легчайший способ молиться, коим каждый легко может приобрести внутреннюю сердечную молитву и достигнуть чрез то высокого совершенства. СПб., 1821; 2-е изд. СПб., 1822. В своей книге «История русской словесности, древней и новой» (Т. 2, ч. 2. СПб., 1875. С. 408) Галахов так характеризовал ее взгляды: «Г-жа Гюйон в двух книгах «Краткий и легчайший способ молиться» (1821 и 1822) и «О последовании младенчеству Иисуса Христа» (1823) объясняет три вида молитвы: умственную, сердечную и созерцательную. Первая состоит в умственном беседовании, или богомыслии; вторая в воздыханиях и пламенных стремлениях к Богу; третья в безмолвии мыслей, чувств и невозмущаемом покое, причем душа, соединяясь с Богом, созерцает верховное благо».

[37] Известно, что «в 1827 г. <...> был прислан в Потсдам (под Берлином. — *В.Б.*), по воле Императора Николая, диакон Захарий Петров <...> Получивши

впоследствии сан священника, о. Петров, к сожалению, вскоре (10 окт. 1831 г.) скончался» (Братский ежегодник на 1906 г. Пг., 1906. С. 302).

[38] На книгу «Естетические рассуждения г. Ансильйона, члена королевской академии наук в Пруссии <...>» (СПб., 1813) последовал отклик «О книге «Естетические рассуждения г. Ансильйона»» (СПб., 1813), подписанный криптонимом Д.А.Р. и приписываемый архимандриту Филарету (Дроздову). Сочинение Ансильона, напечатанное с разрешения гражданской, а не духовной цензуры, подверглось обвинениям в пантеизме, натурализме, либерализме, и у редактировавшего перевод Феофилакта (Русанова) были серьезные неприятности. Подробнее см.: *Котович А.* Духовная цензура в России. СПб., 1909. С. 93—96.

[39] См.: *Дю-Туа.* Божественная философия в отношении к непреложным истинам, открытым в таинственном зерцале: вселенные человека и священного писания. Ч. 1—6. М., 1818—1819. Книга вышла в переводе Е. Корнеева, в середине 1820-х гг. была запрещена.

[40] В высказываниях о «Брани духовной» у Галахова наблюдается путаница, связанная с тем, что в литературе известно две книги под таким названием. Первая из них, «Брань духовная, или Наука о совершенной победе самого себя» (М., 1787), принадлежит перу Лоренцо Скуполи (ок. 1530—1610) и издавалась в другом переводе под заглавием «Подвиг христианина против искушений». Об этой книге Галахов пишет ниже, в очерке «Мое сотрудничество в журналах». В данной главе речь идет о другом издании, первой части «Путеводителя к совершенству», которая называлась «Брань духовная, или Наука побеждать свои страсти и торжествовать над пороками». Пер. У.М. [А.Ф. Лабзина] с французского перевода Бриньона. (М., 1816). Она была написана не Ломбезом, а св. Франциском Сальским. Ломбез написал вторую часть «Путеводителя к совершенству» — «О внутреннем мире». В опубликованном в 1847 г. раннем варианте «Записок человека» Галахов писал о той же самой книге, что прочел ее на французском языке.

[41] *Хрия* — упражнение в риторике; совокупность приемов для развития предложенной темы.

[42] Удержитесь ли вы от смеха, друзья? (*лат.*)

[43] *Экстемпоралия* (*лат.*) — классное письменное упражнение, состоящее в переводе с родного языка на иностранный (преимущественно на латинский или древнегреческий) без предварительной подготовки.

[44] При выпуске из гимназии А.Д. Галахов получил аттестат следующего содержания: «Объявитель сего ученик рязанской гимназии 4-го класса Алексей Дмитриев Галахов, кончивший в оной курс наук; из дворян, сын титулярного советника Галахова, поступил в гимназию из рязанского уездного училища прошлого 1818 сентября 5 и обучался в оной по 1 июля сего 1822 года следующим предметам: Закону Божию отлично хорошо; логике и российской словес-

ности очень хорошо; математике и физике очень хорошо; истории, географии и статистике весьма хорошо; естественной истории очень хорошо; языкам: латинскому очень хорошо; немецкому весьма успешно; французскому хорошо; рисованию хорошо; танцованию хорошо. Поведения был всегда отлично хорошего.

Во свидетельство сего на основании Устава учебных заведений 63 пункта, дан ему, ученику гимназии Алексею Дмитриеву Галахову сей аттестат за нижеследующим подписанием и приложением казенной рязанской гимназии печати. г. Рязань. 1 июля 1822 года» (ЦИА г. Москвы. Ф. 418. Оп. 119. Ед. хр. 240).

[ГЛАВА IV] ВРЕМЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. УНИВЕРСИТЕТ (1822–1826)

Впервые: Русский вестник. 1876. № 11, с подзаголовком «Из записок человека» и подписью «Сто-один».

[1] Однокурсниками Галахова были Александр и Андрей Евстафьевичи Берсы — дядя и отец С.А. Толстой, жены Л.Н. Толстого.

[2] парижских уличных мальчишек (*фр.*).

[3] *Бурса* — духовное училище.

[4] Неточная цитата из оды Г.Р. Державина «На переход Альпийских гор». В оригинале:

На галла стал ногой Суворов,
И горы треснули под ним.

(Державин Г.Р. Сочинения. Л., 1987. С. 170).

[5] Сходный эпизод, в котором вместо Матавкина фигурирует В.Г. Белинский, см.: *Прозоров П.И.* Белинский и Московский университет в его время // Московский университет в воспоминаниях современников (1755–1917). М., 1989. С. 106.

[6] См.: *Смирнов С.А.* Легчайший способ к познанию российских законов. М., 1813. «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета» (Ч. II. М., 1855. С. 419) отзывался о нем так: «Составленный и изданный им «Легчайший способ к познанию Российских законов», при тогдашнем состоянии российского законодательства, был истинным благодеянием для студентов».

[7] Ср. характеристику С.А. Смирнова, принадлежащую Д.Н. Свербееву: «Его и университетское начальство терпело по снисхождению; слушатели имели к нему отвращение. <...> Все читаемое им было сбивчиво и бестолково до нелепости» (*Свербеев Д.Н.* Из воспоминаний // Московский университет в воспоминаниях современников (1755–1917). М., 1989. С. 73).

[8] Имеется в виду Михаил Матвеевич Снегирев, профессор логики и нравственности, затем — естественного, политического и нравственного права Московского университета, литератор.

[9] «В «Баснях и сказках» И.И. Хемницера (Ч. 1—3. СПб., 1811. С. 162) действительно в басне «Метафизик» напечатано:

И Малова не научили,
А навек дураком пустили.

Но Снегирев тут ни при чем, да и никто не метил в М.Я. Малова, тогда еще никому не известного юношу, и лишь впоследствии студенческое зубоскальство создало на этой почве смешной анекдот» (Н.О. Лернер). О М.Я. Малове современники отзывались как о посредственном преподавателе и ученом. В 1831 г., после обструкции, устроенной ему студентами (так называемая «Маловская история»), Малов был уволен из университета (см.: *Насонкина Л.И.* Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 210—222).

[10] И.М. Снегирев приобрел в 1830—1840-х гг. известность своими работами по русскому фольклору: Русские в своих пословицах. Ч. 1—4. М., 1831—1834; Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Ч. 1—4. М., 1837—1839; Лубочные картинки. М., 1844. Галаховская характеристика Снегирева подтверждается другими современниками. В частности, И.А. Гончаров писал о нем: «И.М. Снегирев <...> был очень замечательною фигурой во многих отношениях. Вкрадчивый, тонкий, но в то же время циничный, бесцеремонный, с нами добродушный <...> Мы были друг к другу равнодушны и уживались с ним очень хорошо. Он же иногда умел сдабривать лекции остротами и анекдотами; балагурство было, кажется, господствующею чертою его характера. Он и в обществе имел репутацию буфона и наживал себе одним этим, кроме разных других проделок, много врагов. Он исподтишка мастер был посмеяться над всяким, кто попадется под руку» (*Гончаров И.А.* Воспоминания. В университете // Гончаров И.А. Собр. соч. Т. 7. М., 1980. С. 251).

[11] См.: *Франкёр Л.* Курс чистой математики. М., 1819.

[12] «Из всех университетских учителей Галахова, бесспорно, М.Г. Павлов оказал на него самое сильное влияние. Последним отмечены молодые натурфилософские статьи Галахова, особенно первая из них, «Четыре возраста естественной истории» (Московский вестник. 1827. Ч. V. № 17. С. 40—58). Павлов был у нас первым серьезным преподавателем естествознания, которое в его изложении было истинно философским, действительно научным. Среди наших натуралистов он был тем же, чем был Грановский среди историков. Именно благодаря школе, пройденной у Павлова, мог Галахов, естественник, а не словесник по образованию, занять особое и высокое положение среди словесников, и недаром впоследствии М.И. Сухомлинов, разбирая один из гала-

ховских учебников словесности, увидел в его научных приемах благой результат полученного им естественно-математического образования» (Н.О. Лернер).

[13] В воспоминаниях Д.Н. Свербеева, относящихся к 1810-м гг., А.Ф. Мерзляков был охарактеризован как «человек несомненно даровитый, отличный знаток и любитель древних языков <...> который дерзал, к соблазну современников, посягать на славу авторитетов того времени, как, напр[имер], Сумарокова, Хераскова, и за то подвергался не раз гонению литературных консерваторов. <...> У Мерзлякова было более таланта, чем постоянства и прилежания в труде... В его преподавании особенно хромал метод. К своим импровизированным лекциям он, кажется, никогда не готовился; сколько раз случалось мне <...> прерывать его крепкий послеобеденный сон за полчаса до лекции. <...> Студенты его любили и уважали, он был с ними добр и не заносчив. Учтивости от профессоров мы не требовали» (*Свербеев Д.Н.* Из воспоминаний // Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М., 1989. С. 66). Ср. также: *Гончаров И.А.* Воспоминания. В университете // Гончаров И.А. Собр. соч. Т. 7. М., 1980. С. 247; *Назимов М.А.* В провинции и в Москве с 1812 по 1828 год // Русский вестник. 1876. № 7. С. 142.

[14] См.: *Двигубский И.А.* Московская флора, или Описание растений, дико цветущих в Московской губернии. М., 1828.

[15] Журнал «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических» издавался И.А. Двигубским в 1820—1829 гг. По оценке «Биографического словаря профессоров и преподавателей Московского университета» (Ч. 1. М., 1855. С. 294) «Новый магазин» — «это сокровищница сведений по всем отраслям естествознания, как чистым, так и прикладным, где помещалось много статей самого издателя, также Ловецкого, Максимовича и других».

[16] *Тавлинка* — берестяная табакерка.

[17] Эта история описана и Н.Н. Мурзакевичем (см.: *Мурзакевич Н.Н.* В Московском университете. 1825 // Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М., 1989. С. 92).

[18] *Матвей* Гаврилович (у Галахова ошибочно Иванович) *Гаврилов* издавал с 1790 г. «Политический журнал с показанием ученых и других вещей» (совместно с П.А. Сохацким). В 1809—1828 гг. журнал выходил под редакцией одного Гаврилова под названием «Исторический, статистический и географический журнал, или Современная история света». После смерти редактора журнал до 1830 г. издавался его сыном.

[19] Очень похоже история изгнания «чужака» изложена в воспоминаниях Н.И. Пирогова (*Пирогов Н.И.* Посмертные записки // Русская старина. 1885. № 1. С. 43—45) и Н.Н. Мурзакевича (*Мурзакевич Н.Н.* В Московском университете. 1825 // Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М., 1989. С. 92).

[20] См.: *Павлов М.Г.* О способах исследования природы // Мнемозина. Ч. 4. М., 1824; «Введение в физику» — скорее всего, введение к книге М.Г. Павлова «Основания физики» (Ч. 1. М., 1833).

[21] профессиональная зависть (*фр.*).

[22] См.: *Одоевский В.* Старики, или Остров Панхай // Мнемозина. Ч. 1. М., 1824. В этой антиутопии изображен остров, вода на котором способна омолодить и дать бессмертие. Обитают там «старцы-младенцы», погруженные в разного рода пустые и суетные занятия. Живут там и юноши, которых «не туманило *ничтожное земное*; душевная деятельность пылала во всех их чертах, во всех движениях; они презирали шумный, суетный крик младенцев, — их взоры быстро стремились к возвышенному» (с. 8).

[23] См.: *Велланский Д.М.* Биологическое исследование Природы в творящем и творимом ее качестве, содержащее основные начертания всеобщей физиологии. СПб., 1812; *Галич А.И.* История философских систем, по иностранным руководствам составленная. Кн. 1—2. СПб., 1818—1819. О русском шеллингианстве того времени см.: *Каменский З.А.* Русская философия начала XIX века и Шеллинг. М., 1980; *Голубев А.Н., Гулыга А.В.* Шеллинг в России // Русская философия: Словарь. М., 1995. С. 614—615.

[24] См.: *Павлов М.Г.* Основания физики. Ч. 1. М., 1833; 2-е изд. М., 1835; Ч. 2. М., 1836.

[25] «Бахчисарайский фонтан» А.С. Пушкина вышел в Москве в 1824 г. с предисловием кн. П.А. Вяземского «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» — своего рода манифестом русского романтизма. Поэт и критик М.А. Дмитриев ответил Вяземскому статьей «Второй разговор между классиком и издателем “Бахчисарайского фонтана”» (Вестник Европы. 1824. № 5). Далее последовали статьи: Вяземского — «О литературных мистификациях» (Дамский журнал. 1824. № 7), Дмитриева — «Ответ на статью “О литературных мистификациях”» (Вестник Европы. 1824. № 7), Вяземского — «Разбор Второго разговора» (Дамский журнал. 1824. № 8), Дмитриева — «Возражения на Разбор Второго разговора» (Вестник Европы. 1824. № 8) и Вяземского — «Мое последнее слово» (Дамский журнал. 1824. № 9), после чего полемика закончилась. В ходе ее выявилось несходство взглядов оппонентов на развитие литературы. Вяземский в предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» отверг метафизическое противопоставление классицизма романтизму и обосновал историческую точку зрения на литературное развитие, исходя из которой как античный классицизм, так и современный романтизм явились художественным выражением народности в литературе. При этом Вяземский признавал романтическими все те литературные произведения, в которых находил литературную новизну и противостояние классическим канонам (даже у Горация он находил черты романтизма). В выступлении Дмитриева было подвергнуто критике одно из частных положений Вяземского, которое вытека-

ло из его представлений о взаимовлиянии литератур, — тезис о германском влиянии на русскую литературу, в частности на Ломоносова. В дальнейшем полемика велась по все более частным и незначительным вопросам. См. комментированное переиздание материалов полемики: Пушкин в прижизненной критике. 1820—1827. СПб., 1996. С. 152—188. См. также: *Дмитриев М.А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 219—222. В.К. Кюхельбекер, перечитывая в 1833 г. «Вестник Европы» 1824 г., записал в дневнике: «...он не занимателен и пуст <...> перебранка М. Дмитриева, Писарева и прочих сердитых малюток с Вяземским не заслуживает внимания по прошествии 9 лет: обе стороны переливают из пустого в порожнее» (*Кюхельбекер В.К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 244). «Перебранка» открыла собой период литературных споров между русскими романтиками и классиками, вызвала немалый читательский интерес и породила несколько эпиграмм, в том числе в водевиле А.И. Писарева «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье» (М., 1824. С. 32):

Известный журналист Графов
Задел Мишурского разбором;
Мишурский, не жалея слов,
На критику ответил вздором.
Пошли писатели шуметь,
Кричать, браниться от безделья,
А публике за что ж терпеть
В чужом пиру похмелье?

[26] Полемизируя с восторженным откликом Н.А. Полевого на комедию А.С. Грибоедова, М.А. Дмитриев поместил в «Вестнике Европы» (1825. № 6) статью «Замечания на суждение “Телеграфа”», в которой критиковал Грибоедова за карикатурность, за несамостоятельность замысла, обнаруживающего сходство с «Мизантропом» Мольера и «Абдеритами» Виланда, за структуру комедии, в которой сцены можно переставлять как угодно, причем «комедия не переменится», и за язык, «которого не признает ни одна грамматика, кроме, может быть, лезгинской». Критические суждения Дмитриева вызвали протесты О.М. Сомова и В.Ф. Одоевского (См.: *Сомов О.М.* Мои мысли о замечаниях г. Мих. Дмитриева на комедию «Горе от ума» и о характере Чацкого // Сын Отечества. 1825. № 10. С. 177—195; *Одоевский В.Ф.* Замечания на суждения Мих. Дмитриева о комедии «Горе от ума» // Московский телеграф. 1825. № 10. С. 1—12).

[27] Автором первой из эпиграмм некоторые современники считали И.М. Снегирева. Дмитриев ответил на нее четверостишием:

Не умер я, хвала Судьбе,
Могу полезным быть я снова,

Быть в явной с Вяземским борьбе
И молча плюнуть в Снегирева.

(См.: *Фет А.А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 119). Вторая эпиграмма одно время приписывалась А.С. Пушкину (см.: *Пушкин А.С.* Стихотворения, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Берлин, 1861. С. 104). На самом деле автор обеих эпиграмм — С.А. Соболевский (см.: Русская эпиграмма второй половины XVIII — начала XX в. Л., 1975. С. 372, 794—795). Галахов воспроизводит их не совсем точно.

[28] протеже (*фр.*).

[29] Выпускники университета, в зависимости от успеваемости, могли получить при выпуске звание действительного студента, дававшее при определении на службу право на чин 12-го класса по табели о рангах (губернского секретаря), либо низшую ученую степень кандидата, дававшую право на 10-й класс (коллежского секретаря).

[30] Об университетском акте 3 июля 1825 г. см.: Московские ведомости. 1825. № 81. 6 июля.

[31] «Искусство проводить своих заимодавцев, написанное светским человеком» (*фр.*). Упоминаемая Галаховым публикация — «Отрывки из книги "Искусство не платить долги"» // Московский телеграф. 1825. № 14. Прибавление. С. 295—302. В «Московском телеграфе» (1826. № 1. С. 107—108) появилась следующая рецензия на издание галаховского перевода, подписанная *А.* и принадлежащая Н.А. Полевому: «Искусство не платить долгов (долги?), или Дополнение к искусству занимать (кого или что?) Пер. с фр. М., 1826. Забавная шутка, только надобно бы перевесть сначала «Искусство делать долги»: к чему лекарство, если болезнь еще не описана? Жаль также, что русский перевод тяжел. Подлинник написан легко и приятно. Правда и то, что многие шутки сочинителя невозможно перевести по-русски».

[32] «Искусство делать долги, написанное светским человеком» (*фр.*).

[33] О деятельности книгопродавца А.С. Ширяева, арендатора университетской книжной лавки, см.: *Клейменова Р.Н.* Книжная Москва первой половины XIX в. М., 1991. С. 176—180.

[34] О лучшем типографе Москвы того времени А.И. Семене см.: *Клейменова Р.Н.* Указ. соч. С. 107—110; *Дружинин Н.А.* К биографии типографа и книгоиздателя Августа Семена // Книга. Исследования и материалы. Сб. 72. М., 1996. С. 212—216.

[35] См.: Правила биллиардной игры, содержащие показания всех французских партий и партии кеглей с казином, по употреблению Миланскому и Болонскому. М., 1826; рецензия: Московский телеграф. 1826. № 4. С. 393 («Забавно, что он [автор] говорит о биллиарде, как о важной науке. Впрочем, один

из артистов биллиардной науки уверял нас в достоинстве сей книги и потому рекомендуем ее — охотникам играть в биллиард».)

[36] Статья Галахова «О различии человеческого рода» была напечатана в ч. 2, № 3 «Нового магазина натуральной истории, физики, химии и сведений экономических» за 1826 г.; статья «Об ископаемых слоновьих костях» — в ч. 2, № 2.

[37] В гербе Ярославля изображен медведь, стоящий на задних лапах.

[38] См.: *Давыдов И.И.* Вступительная лекция о возможности философии как науки, при открытии философских чтений в Московском университете читанная Иваном Давыдовым, доктором и ординарным профессором философии. 1826. Маия 12. М., 1826. Характеристику этой лекции см. в: *Сакулин П.Н.* Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. Т. 1, ч. 1. М., 1913. С. 39—44.

[39] В 1835 г. гр. С.Г. Строганов был назначен попечителем московского учебного округа.

[40] *Давыдов И.И.* Вступительная лекция... С. 43. *Левкофея* — древнегреческая морская богиня. В 5-й песни «Одиссеи» Гомера описывается, как Одиссей, покинув остров Каллипсо, потерпел кораблекрушение. Левкофея дала ему волшебное покрывало. Одиссей обвязал им грудь, после чего два дня и две ночи носился по морю и остался невредим. Достигнув берега, он снял подарок Левкофеи и бросил его обратно в море.

[41] Прочь, прочь отойдите, непосвященные! (*лат.*). Это выражение принадлежит не Горацию, а Вергилию («Энеида», VI, 258).

[42] А.С. Шишков возглавлял министерство народного просвещения в 1824—1828 гг., был инициатором создания крайне стеснительного цензурного устава 1826 г. Свой взгляд на просвещение он сформулировал так: «Науки, изощряющие ум, не составляют без веры и без нравственности благоденствия народного. <...> Сверх сего науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое в них имеет» (*Шишков А.С.* Записки, мнения и переписка. Т. 2. Берлин, 1870. С. 175—176).

[43] И.А. Гончаров передавал дошедший до него слух о Давыдове: «Он прочел всего две или три лекции истории философии; на этих лекциях, между прочим, говорят (я еще не был тогда в университете), присутствовал приезжий из Петербурга флигель-адъютант, и вследствие его донесения будто бы лекции были закрыты. Говорили, что в них проявлялось свободомыслие, противное... не знаю чему. Я не читал этих лекций» (*Гончаров И.А.* Воспоминания. В университете // Гончаров И.А. Собр. соч. Т. 7. М., 1980. С. 230). Упомянутый Гончаровым флигель-адъютант — будущий попечитель Московского учебного округа гр. С.Г. Строганов, проводивший в мае 1826 г. по поручению Николая I ревизию Московского университета. И.И. Давыдов с 1831 по 1847 г. возглавлял кафедру русской словесности Московского университе-

та, с 1847-го — директор Главного педагогического института в Петербурге. Вплоть до 1840-х гг. А.Д. Галахов находился с Давыдовым в дружественных отношениях, что, в частности, отразилось в письмах Галахова к Краевскому (см.: *Клеман М.* Белинский в неизданных письмах А.Д. Галахова к А.А. Краевскому // Венок Белинскому. М., 1924. С. 148); позднее их отношения, по-видимому, ухудшились, что нашло отражение в «Записках человека» (см., напр., гл. X настоящего издания).

[ГЛАВА V] ОТ ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КУРСА ДО НАЧАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (1826—1832)

Впервые: Русский вестник. 1877. № 11 с подзаголовком «Из записок человека» и подписью «Сто-один».

[1] *Стевенская стипендия* была учреждена Христианом Христиановичем Стевеном, известным ботаником, садоводом и энтомологом, директором Никитского ботанического сада в Крыму. В 1825 г. он продал Московскому университету коллекцию насекомых за 12 тыс. рублей ассигнациями и оставил университету эти деньги для учреждения на проценты с них двух стипендий студентам, посвятившим себя изучению естественных наук. Во времена Галахова стипендия равнялась 300 руб. ассигнациями (в год).

[2] Имеется в виду Александр Григорьевич Фишер фон Вальдгейм.

[3] То есть чин титулярного советника.

[4] В «Новом магазине естественной истории, физики, химии и сведений экономических» Галахов поместил переводы статей Г.И. Фишера: «Описание некоторых ископаемых животных» (1828. Ч. 2. № 2); «О происхождении ископаемых» (1829. Ч. 3. № 3).

[5] Из книги Кювье «Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара» (1812) Галахов напечатал отрывок «О зубах животных» (Новый магазин... 1827. Ч. 3. № 1 и 2).

[6] Имеются в виду протоколы заседаний.

[7] «Братья-разбойники» А.С. Пушкина были изданы С.А. Соболевским в Москве в 1827 г.; тираж был продан книгопродавцу А.С. Ширяеву, который поместил 4 июня в «Московских ведомостях» объявление о продаже книги по 2 рубля (вместо проставленной на самой книге цены в 105 коп.). Возмущенный таким завышением цены, Соболевский в той же типографии напечатал второе издание (с цензурным разрешением 9 июня и проставленной на обложке ценой 42 коп.). Позднее (22 июня) он дал в «Московских ведомостях» объявление о скором выходе книги из печати и продаже по 42 коп., но Ширяев успел опередить Соболевского, поместив 15 июня новое объявление, из которого следовало, что книга продается по 2 рубля, а «по отпечатании ж 2-го издания продаваться будет по 21 копейке». Сложившаяся ситуация вызвала насмешки в

печати (см.: Северная пчела. 1827. 23 августа). В итоге второе издание так и не поступило в продажу. Подробнее см.: *Гессен С.* Книгоиздатель Александр Пушкин. М., 1930. С. 89—93; *Смирнов-Сокольский Н.* Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 148—156.

[8] См.: Калужские вечера, или Отрывки сочинений и переводов в стихах и прозе военных литераторов. Собранные А. Писаревым. Ч. 1—2. М., 1825. Кроме сочинений П. Свечина, А. Горяйнова, Н. Цыбульского, Я. де Санглена и других авторов здесь было помещено несколько произведений самого Писарева: «Речь, читанная в кругу любителей русской словесности в городе Калуге», «Письма двух жителей Перу» (пер. из «Перуанских писем» Графиньи), «Разделение поэзии на разные роды», переводы с немецкого — «О существенных видах или формах поэзии», «О сатире у греков и римлян», «О балладе», «О сельских видах в живописи» и два стихотворения. Над «Калужскими вечерами» посмеивалась не только критика (см., напр.: Московский телеграф. 1825. № 19), но и читатели (см.: *Дмитриев М.А.* Мелочи из запаса моей памяти // Дмитриев М.А. Московские элегии. М., 1985. С. 251).

[9] бесплатная (*лат.*).

[10] Скорее всего, речь идет о книге: *Пленк И.Я.* Начальные основания ботанического словоизъяснения и брачной системы растений <...> Пер. с лат. <...> СПб., 1798.

[11] к праотцам (*лат.*).

[12] общий хохот (*фр.*).

[13] здесь: до слез (*фр.*).

[14] На русский язык И.И. Давыдовым были переведены две книги Л.-Б. Франкера: «Курс чистой математики» (М., 1819) и «Дифференциальное исчисление» (М., 1824).

[15] прежде (*фр.*).

[16] Проходит земная слава (*лат.*).

[17] *Калибер* — небольшие рессорные дрожки, «на которые мужчины садились верхом, а женщины боком» (*Щукин П.И.* Воспоминания. М., 1997. С. 10).

[18] Дорогая (*фр.*).

[19] *Польский* — то же, что полонез, танец-шествие; *экоссез* — танец шотландского происхождения, при котором пары постоянно менялись местами, образуя сложные фигуры; *матрадур* — умеренно быстрый танец французского происхождения; *кадриль* — быстрый танец французского происхождения с четным количеством танцующих пар; *котильон* — разновидность кадрили, танец-игра, танцевался на мотив вальса; *мазурка* — быстрый танец польского происхождения, включавший мужское соло с прыжками и притоптываньем каблуками; *гавот* — французский танец, исполнялся парами в неторопливом ритме; *казачок, венгерка* — танцы, представлявшие собой хореографическую стилизацию соответственно в венгерском и русском стилях, исполнялись чаще всего

соло; *гроссфатер* — комический танец-шествие немецкого происхождения, особенно популярный в XVIII в., в котором, по определению В. Даля, «за журавлиной проходкой следует резвое, бешеное прыганье».

[20] Речь идет о сословных клубах — дворянском (Благородное собрание), купеческом (Купеческое собрание, позднее Купеческий клуб) и разночинно-иностранном (Немецкий клуб). Возникли в Москве соответственно в 1783, 1786 и 1819 гг. Центры московской общественной жизни: здесь устраивались балы, вечера, концерты и т.п.

[21] «*Шустер-клуб*» — «сапожничий клуб», обиходное прозвание Немецких клубов Москвы и Петербурга, членами которых были иностранные купцы и ремесленники.

[22] непременное условие (*лат.*).

[23] Об альбомах того времени см.: *Вацуро В.Э.* Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год. Л., 1979. С. 3—56; *Петина Л.И.* Структурные особенности альбома пушкинской эпохи // Ученые записки Тартуского университета. 1985. Вып. 645. С. 21—36; *Она же.* Об особенностях альбомной литературы // Пушкинские чтения. Таллинн, 1990. С. 108—128; *Корнилова А.В.* Мир альбомного рисунка. Л., 1990.

[24] Тогдашний культ «платонической любви» любопытно охарактеризован у А.С. Афанасьева-Чужбинского: «Офицеры, начитавшись тогдашних романов и сладеньких стишков, любившие, впрочем, проводить время весьма не платонически, считали обязанностию стоять за духовную любовь, которая называлась еще возвышенной, благородной, поэтической, в отличие от земной, вызывавшей, разумеется, на словах, презрение, но обыкновенно оканчивавшей многие платонические затеи <...> Всегда можно было встретить несколько офицеров, которые защищали этот принцип, стараясь доказать поэтичность своей природы, заключавшуюся, по их мнению, в том, что поэт отрешается от всего земного и парит в заоблачных сферах. Таким, по их словам, достаточно было упиваться взорами любимой особы, небесной улыбкой, а самая мысль об обладании ею казалась уже преступлением. Нелепая и невозможная эта доктрина поддерживалась молодежью даже в офицерских беседах, где за стаканом пунша противники платонизма развивали свое учение, осыпая самыми циническими выходками донкихотов XIX столетия <...> Природа лучше всего доказывала несостоятельность платонических тенденций, земная любовь постоянно опровергала их фактами, но отъявленный волокита и жеманная барыня или восторженная барышня старались на первых порах разыгрывать роль платоников. <...> Впрочем, любить поэтически допускалось только женщину равного или высшего сословия, а остальные не пользовались этим предпочтением, так что самый ярый платоник, страдавший по какой-нибудь княжне, довольствовавшийся одними вздохами, целовавший ее бантики и ленточки, выпрашива-

емые на память, в то же время соблазнял мещанскую или крестьянскую девушку, прикидываясь влюбленным и расточая клятвы и уверения» (*Афанасьев-Чужбинский А.С.* Стоянка в Дымогаре // Афанасьев-Чужбинский А.С. Соч. Т. 1. СПб., 1890. С. 214–216).

[25] Речь идет об эпидемии холеры 1830 г.

[26] Сольдейн (Сольдан) Вера Яковлевна, урожд. Мерлина, в первом браке была за Есиповым. О ней см.: *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Л., 1989. С. 412.

[27] Имеются в виду Мария Петровна Есипова и Александра Христофоровна Сольдейн, в замужестве Мясоедова.

[28] Ф.П. *Лубяновский* (второй инициал у Галахова поставлен неверно) был женат на А.Я. Мерлиной, сестре В.Я. Сольдейн, и имел двух дочерей: Анастасию и Александру.

[29] Журнал И.В. Киреевского «Европеец», выходивший в 1832 г., был закрыт на третьем номере вследствие анонимного доноса. Издателя подозревали в неблагонадежности, ему грозила высылка из Москвы, и понадобилось заступничество В.А. Жуковского и кн. П.А. Вяземского, чтобы отвести удар. Подробнее см.: *Фризман Л.Г.* Иван Киреевский и его журнал «Европеец» // Европеец. Журнал И.В. Киреевского. 1832. М., 1989. С. 429–460.

[30] П.А. Вяземский был знаком с А.Д. Галаховым и в стихотворении «Литературная исповедь» назвал его «браковщиком живых и судьею славных прахов» (*Вяземский П.А.* Стихотворения. Л., 1986. С. 330). Его письмо Галахову 1865 г. см.: Ученые записки высшей школы г. Одессы. 1922. Т. 2. С. 130–132. Письмо Галахова Вяземскому 1865 г. см.: РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1691.

[31] Указанная встреча могла произойти в декабре 1830-го или в январе – начале февраля 1831 г. (свадьба Пушкина состоялась в середине февраля 1831 г.). Сестер Гончаровых было три: невеста А.С. Пушкина Наталья, а также Екатерина и Александра Николаевны. В описанное время все они часто бывали в московском свете, и установить, кого из сестер, кроме Натальи, видел Галахов, нам не удалось.

[32] Имеется в виду датированное 21 марта 1833 г. «Циркулярное предложение управляющего министерством народного просвещения Уварова по поводу вступления его в управление министерством» (опубликовано в: Сборник распоряжений по министерству народного просвещения. Т. 1. СПб., 1866. С. 837–839). О формуле С. Уварова см.: *Виттекер Ц.Х.* Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999. С. 110–128; *Зорин А.* Идеология «православия – самодержавия – народности»: Опыт реконструкции // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 71–104.

[33] В николаевское царствование министерство народного просвещения последовательно проводило принцип государственной школы и всемерно ограни-

чивало частные учебные заведения и домашнее образование. В 1833 г. было запрещено открывать новые частные пансионы в столицах и затруднено их открытие в провинции. В 1834 г. «Положение о домашних наставниках и учителях» определило требования к желающим занять эти должности и упорядочило домашнее образование. Преподавание русского языка законодательно регламентировалось главным образом в западных губерниях, но личный пример императора, демонстративно употреблявшего русский язык как в деловой переписке, так и в общении с придворными, способствовал своего рода моде на русский язык в великосветской и чиновничьей среде (см.: *Полиевктов М.* Николай I. М., 1918. С. 228—229).

[34] Дом А.К. Разумовского сохранился (ул. Казакова, д. 16).

[ГЛАВА VI] ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В МОСКВЕ (1832—1849), ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

Впервые: Русский вестник. 1878. № 6, под заглавием «Из записок человека. Педагогические занятия в Москве (1832—1849), женское образование за этот период времени», с подписью «Сто-один».

[1] Дом С.С. Апраксина был приобретен в казну в 1831 г. Сохранился в сильно перестроенном виде (ул. Знаменка, д. 19). Александринский сиротский институт существовал до 1849 г.

[2] Речь идет о коллежском советнике Ираклии Федоровиче Шаповалове, занимавшем с 1832 г. в Александринском институте должность помощника директора, эконома и полицмейстера.

[3] Источник цитаты установить не удалось.

[4] Но это гений, мой любезный (*фр.*).

[5] «Царь и два пастуха» — басня И.И. Дмитриева.

[6] И.Д. *Шумахер* и И.А. *Тауберт*, представители так называемой «немецкой партии» в Академии наук, пользовались в ней большим влиянием. С ними настойчиво боролся в 1740—1750-х гг. М.В. Ломоносов.

[7] *Экзекутор* — чиновник, в обязанности которого входило исполнение полицейских или хозяйственных функций.

[8] Имеются в виду следующие книги: *Греч Н.И.* Начальные правила русской грамматики. СПб., 1828; *Востоков А.Х.* Сокращенная русская грамматика. СПб., 1831.

[9] См. его учебник: *Эртель В.А.* Элементарный практический курс немецкого языка. Ч. 1—2. СПб., 1837—1840.

[10] Речь идет об императрице Александре Федоровне, жене Николая I.

[11] Имеется в виду управляющий хозяйственной частью в Екатерининском институте в 1840-х гг. коллежский асессор Савва Иванович Беляев.

[12] *Императрица Мария* Федоровна, вдова Павла I, мать Александра I и Николая I, много сделала для расширения и упорядочения сети благотворительных учреждений, находившихся в ведении ее личной канцелярии.

[13] *Антики* — старинные, древние вещи.

[14] *Сюжет* — здесь: герой, персонаж.

[15] Поэт-переводчик, журналист, педагог С.Е. Раич возглавлял московский литературный кружок 1823—1825 гг., в который входили В.Ф. Одоевский, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, И.В. и П.В. Киреевские и др. Был членом декабристского «Союза благоденствия». В 1827—1831 гг. преподавал русскую словесность в Московском университетском Благородном пансионе, где среди его воспитанников был М.Ю. Лермонтов. Позднее преподавал в других московских учебных заведениях, в том числе в Александровском институте. Перевел часть поэмы А. Ариосто «Неистовый Роланд» и «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо.

[16] *Скрупулы* — мелкие частицы; аптекарский вес, равный 20 гранам.

[17] *Шифр* — знак отличия институтки: металлический вензель императрицы, носившийся на груди.

[18] Мсье Пако, прошу вас, читайте (*фр.*).

[19] Ваше превосходительство, имеется письмо императрицы (*фр.*).

[20] Отрывки из «Старой записной книжки» П.А. Вяземского печатались в «Русском архиве» 1872—1877 гг. анонимно. О С.К. Певцовой говорилось так: «Одна из дочерей [Модераха], жена генерала Певцова, бывшего гатчинца, была необыкновенной красоты и очень образованная и любезная женщина» (Русский архив. 1875. № 12. С. 454—455).

[21] О *С.К. Певцовой* вспоминал Ф.Ф. Вигель: «Как алмаз, вправленный в олово, так сияла <...> вторая дочь Модераха Софья Карловна, выданная за гатчинского генерал-лейтенанта Аггея Степановича Певцова. <...> Столь милого личика и столь пристойного, умного кокетства трудно было найти» (*Вигель Ф.Ф.* Записки. Ч. 2. М., 1892. С. 146—147).

[22] В Екатерининском институте училась сестра писательницы Н.Д. Хвощинской Софья (выпущена в 1842 г.). Она опубликовала воспоминания о своем обучении в институте: *N* [Хвощинская-Зайончковская С.Д.] Воспоминания институтской жизни // Русский вестник. 1861. № 9, 10.

[23] Примерно к этому же времени относятся воспоминания выпускницы Екатерининского института А.Н. Энгельгардт: «Летом были свои, специальные увеселения. Самым выдающимся из них было посещение одного соседнего с нами института и затем наш визит к нему. <...> Нас встречают, бывало, соседние институтки в саду, выстроенные в два ряда; при нашем появлении гремит оркестр. <...> Обыкновенно экономы и полицеймейстеры обоих институтов соперничали друг перед другом, кто наилучшим образом примет и угостит гостей. <...> Но всего курьезнее то, что между воспитанницами обоих инсти-

тутов искони существовала вражда, передававшаяся из рода в род. Соседки звали нас лягушками за зеленые платья, а мы в отместку величали их вареными раками за их темно-красные платья. <...> Начальство знало об этой распре и всегда усовещивало перед посещением враждебного лагеря и убеждало воспитанниц вести себя прилично и не браниться друг с другом. <...> В существовании этой распри был виноват главным образом наш институт. Он тщеславился и величался перед соседним тем, что принадлежал к институтам 1-го разряда, а соседний стоял во 2-м разряде. Наши институтки считали себя выше своих соседок и давали это чувствовать» (*Бельская А.* [Энгельгардт А.Н.]. Очерки институтской жизни былого времени (Из воспоминаний старой институтки) // Заря. 1870. № 9. С. 53—54.

[24] *Адъюнкт* — ученое звание, предшествовавшее профессорскому.

[25] См. гл. XI настоящего издания.

[26] на деле; в силу факта, но не закона, не права (*лат.*).

[27] Число мест для бесплатного (казеннокоштного) обучения в женских институтах было невелико, почему и существовал обычай баллотировки: все претендентки на эти места к известному сроку съезжались в институт и тянули жребий.

[28] Имеется в виду альманах «Левиафан», который Белинский готовил к изданию в 1846 г. Издание не состоялось; все материалы были переданы Н.А. Некрасову и И.И. Панаеву для приобретенного ими журнала «Современник».

[29] Цитируемое письмо Белинского не сохранилось.

[ГЛАВА VII] МОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЖУРНАЛАХ

Впервые: Исторический вестник. 1886. № 11, с подзаголовком «Отрывок из записок».

[1] См.: *Галахов А.* Четыре возраста естественной истории // Московский вестник. 1827. № 17. С. 40—58; «Московский вестник» выходил в 1827—1830 гг., издателем и редактором его был М.П. Погодин.

[2] См.: Московский телеграф. 1833. № 4. С. 572—591.

[3] Позднее К.А. Полевой вспоминал, что А.Д. Галахов «в 1837 и следующем годах беспрестанно бывал у меня, искал работы, разумеется, за деньги, и наконец с моей помощью и на мое иждивение издал свою знаменитую «Русскую хрестоматию», которая до сих пор составляет всю его славу» (*Полевой К.А.* Записки. СПб., 1888. С. 420).

[4] *Табельные дни* — официальные праздники.

[5] «Журнал современного просвещения» «Телескоп» издавался в 1831—1836 гг. Н.И. Надеждиным с приложением «газеты мод и новостей» «Молва». В августе—сентябре 1834-го и июне—декабре 1835 г. фактическим редактором «Телескопа» был Белинский, он же в конце 1834—1836 г. редактировал «Молву».

Журнал был закрыт в октябре 1836 г. за публикацию «Философического письма» П.Я. Чаадаева.

[6] Отец Н.С. Селивановского — известный московский типограф и книгопродавец С.И. Селивановский (предприятие Селивановских существовало с 1793 по 1859 г.). См. о нем: *Любавин М.* Издатель и типограф Семен Селивановский // Альманах библиофила. Вып. 10. М., 1981. С. 149—153; *Клейменова Р.Н.* Книжная Москва первой половины XIX в. М., 1991. С. 101—105.

[7] Согласно недавним разысканиям письмо перевел Ал.С. Норов, а Н.Х. Кетчер только отредактировал перевод. См.: *Эльзон М.Д.* Кем было переведено «Философическое письмо»? // Русская литература. 1982. № 1. С. 168—176.

[8] См.: *Галахов А.* Как прежде учили и как еще учат грамматике // Телескоп. 1836. № 11; *Он же.* «Русская грамматика» Александра Востокова // Там же. № 13, 14; *Г-в А.* [Галахов А.] [Рецензия на кн.: Азбука <...>. М., 1836] // Молва. 1836. № 12.

[9] См.: *Карамзин Н.М.* Великий муж русской грамматики // Карамзин Н.М. Сочинения. Т. 8. М., 1820. С. 134—145. Герой рассказа — некий «крайне ученый муж, который живет единственно для склонений и спряжений» (С. 134).

[10] См.: Ех-студент *Никодим Недоумка* [Надеждин Н.И.]. «Полтава». Поэма А.С. Пушкина // Вестник Европы. 1829. № 8, 9; [*Надеждин Н.И.*]. «Евгений Онегин», роман в стихах. Гл. VII. Сочинение Александра Пушкина // Вестник Европы. 1830. № 7.

[11] О литературных вечерах Н.С. Селивановского по субботам см.: *Оксман Ю.Г.* Белинский и литературно-театральный салон Н.С. Селивановского // Ученые записки Саратовского государственного университета. Т. 31. 1952. С. 242—262; *Насонкина Л.И.* Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 268—273; *Инсарский В.А.* Записки. Ч. 1. СПб., 1894. С. 9—10.

[12] У Галахова ошибка: «Московский телеграф» был закрыт в 1834 г.

[13] Журнал «Библиотека для чтения» начал выходить в 1834 г. Его редактор О.И. Сенковский платил авторам по 100—300 руб. ассигнациями за авторский лист. В.Г. Белинский писал: «Мы помним, как при появлении этого журнала многие литераторы были скандализированы тем, что он платит своим сотрудникам за каждую строку и платит хорошо, следовательно, принося выгоды своему владельцу, дает средства существования многим людям, работающим для него постоянно» (*Белинский В.Г.* Петербургская литература // Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1955. С. 564).

[14] Под «направлением редакторской деятельности» Сенковского подразумевается то, что он бесцеремонно вторгался в авторский текст, сокращал его, переписывал и дописывал. Н.В. Гоголь по этому поводу писал: «В «Библиотеке для чтения» случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что он объявлял об этом сам довольно смело и

откровенно. «У нас, — говорил он, — в «Библиотеке для чтения» не так, как в других журналах: мы никакой повести не оставляем в прежнем виде, всякую переделываем; иногда составляем из двух одну, иногда из трех, и статья значительно улучшается нашими переделками». Такой странной опеки до сих пор на Руси еще не бывало. Многие писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помещаемых без подписи или под вымышленными именами, за их собственные, и потому начали отказываться в издании сего журнала. Число сотрудников так умалилось, что на другой год издатели уже не выставили длинного списка имен и упомянули глухо, что участвуют лучшие литераторы, не означая какие» (*Гоголь Н.В.* О движении журнальной литературы в 1834—1835 году // Гоголь Н.В. Собр. соч. Т. 4. М., 1952. С. 72; подробнее см.: *Рейтблат А.И.* Из истории редакторской профессии в России // Редактор и книга. Вып. 10. М., 1986. С. 116—117).

[15] «Московский наблюдатель» выходил в Москве с 1835 по 1839 г. Редактором его в 1835—1837 гг. был В.П. Андросов.

[16] См.: *Шевырев С.П.* Словесность и торговля // Московский наблюдатель. 1835. № 1. С. 5—29; *Шевырев С.П.* Критическое объяснение // Московский наблюдатель. 1835. Ч. 5. С. 479—490.

[17] См.: *Гоголь Н.В.* О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году // Современник. 1836. Кн. 1. С. 198.

[18] В.П. Андросов оставался номинальным редактором «Московского наблюдателя» до 1839 г., хотя с весны 1838-го уступил издательские права Н.С. Степанову, а фактическое руководство передал В.Г. Белинскому. Указание Галахова на то, что это произошло после смерти Андросова, ошибочно, поскольку Андросов умер в 1841 г.

[19] А.А. Краевский с 1835 г. был помощником редактора «Журнала министерства народного просвещения», а в 1837 г. — его редактором.

[20] А.А. Краевский был внебрачным сыном внебрачной же дочери московского обер-полицмейстера Н.П. Архарова. Его мать — в замужестве «майорша» фон дер Пален — содержала в 1830-х гг. пансион в Хамовнической части Москвы.

[21] Пансион Генриетты Жарни находился в 1820-х гг. в четвертом квартале Мещанской части (№ 60 по тогдашней нумерации); пансион Дарьи Данкварт в 1820-х гг. размещался на Хамовническом валу, а в 1830-х — на Никитской улице, в сохранившемся до сих пор (перестроенном) доме Воронцова (д. 13); пансион Севенард в 1830-х гг. был на Старой Басманной улице в доме Трейтера.

[22] См. отрицательные отзывы о В.Н. Пален Ф.В. Булгарина, Н.А. Греча и М.А. Дмитриева: *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 150—151; Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение. М., 1998. С. 491—492, 545; Эпиграмма и сатира. Т. 1. М.; Л., 1931. С. 328—331.

[23] «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» выходили в 1831—1839 гг., в том числе в 1837—1839 гг. — под редакцией А.А. Краевского. Рецензию Галахова на книгу В.Г. Белинского «Основания русской грамматики для первоначального обучения. Ч. 1. Грамматика аналитическая (этимология)» (М., 1837) см.: Литературные прибавления к Русскому инвалиду. 1837. № 36, 37 (4 и 11 сентября). Первая встреча Галахова с Белинским может быть датирована 1835 г. (знакомство Белинского с Н.А. Полевым произошло в январе—феврале 1835 г.; см.: *Оксман Ю.Г.* Летопись жизни и творчества В.Г. Белинского. М., 1958. С. 89).

[24] Тетради Галахова за 1839—1855 гг., в которых было зафиксировано распределение книг между рецензентами — Белинским, Катковым и самим Галаховым, были приобретены после смерти Галахова библиографом Н.М. Лисовским. В 1920 г. тетради перешли в руки В.С. Спиридонова, использовавшего их для работы над Полным собранием сочинений Белинского в 13 томах (Т. 12—13. М., 1926—1948). В 1959 г. тетради поступили в Пушкинский дом (ИРЛИ. Ф. 419. № 52). В.Э. Боград пользовался ими для атрибуции рецензий «Отечественных записок» (см.: *Боград В.Э.* Журнал «Отечественные записки». 1839—1848: Указатель содержания. М., 1985. С. 10—23).

[25] См. рецензии: [*Белинский В.Г.*]. Народный русский песенник, собранный В.Т. 2-е изд. М., 1839 // Отечественные записки. 1839. № 10. С. 41—42; *Он же.* Как любят женщины? М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 29—35; *Он же.* Необыкновенный случай [В.С. Голицына]. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 37—41; *Он же.* Письмо из Бородина от безрукого к безногому инвалиду. И.Н. Скобелева. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 1—13; *Он же.* Собрание рецептов парижских городских больниц. Соч. Ф.С. Ратье. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 70—74; *Он же.* Рассуждение о лаже. Соч. Н. Демидова. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 53—56; [*Катков М.Н.*]. Карманная книжка о ценности российской и иностранной монеты. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 57; *Он же.* Borodino-Moscou par un Vétéran de l'année 1812 [N.B. Golitzin]. Moscou. 1839 // Там же. 1839. № 11. С. 199—200; [*Белинский В.Г.*]. «Бородинская годовщина» В.А. Жуковского. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 1—13; [*Катков М.Н.].* Сын миллионера. Роман Поль де Кока. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 37; *Он же.* Полное изложение правил весеннего лечения болезней. Соч. К. Каспари. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 70; *Он же.* О жизни, Ив. Зацепина (Терапевтический журнал. 1839. № 1—4) // Там же. 1839. № 9. С. 142—147; [*Галахов А.Д.*]. Галерея умных животных, или Собрание анекдотов, любопытных замечаний. М., 1839 // Там же. № 10. С. 80—85; *Он же.* Лексикон городского и сельского хозяйства, составленный Ив. Двигубским. Т. 11. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 53; *Он же.* Aux calomniateurs de la Russie, par A. Tsourikoff d'aprés Poushkine. M. [1839] // Там же. 1839. № 11. С. 196—197; *Он же.* Прожектёр, или Сумасшествие от меч-

тательности. Повесть. Соч. М-ла Т-ва. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 35–37; *Он же.* О болезненных влияниях в Германии. Из путевых записок Ив. Зацепина. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 63; *Он же.* Таблица о ценности российской и иностранной монеты. Соч. П. Хавского. М., 1839 // Там же. 1839. № 10. С. 57.

[26] См.: *Нестроев А.* [Кудрявцев П.Н.]. Катенька Пылаева, моя будущая жена // Телескоп. 1836. № 4; *Он же.* Флейта // Московский наблюдатель. 1839. Ч. 1. № 1.

[27] См. примеч. 25 к гл. VIII.

[28] Журнал «Маяк современного просвещения и образованности» (1840–1845), который издавали С.А. Бурачок и П.А. Корсаков, носил ультраправославный и антизападнический характер, подвергал резкой критике новейшую русскую литературу (в том числе В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова) как недостаточно народную и религиозную. В негативной оценке «Маяка» сходились самые разные литераторы — от В.Г. Белинского до славянофилов. Известна эпиграмма С.А. Соболевского (1840) на журнал:

Просвещения Маяк
Издает большой дурак
По прозванию Корсак;
Помогает дурачок
По прозванью Бурачок.

(Русская эпиграмма (XVIII – нач. XX в.). Л., 1988. С. 308).

[29] То есть Н.М. Карамзин.

[30] См.: *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 253–254.

[31] См.: [*Белинский В.Г.*]. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России <...> Соч. И. Голикова. Изд. 2. М., 1837–1840 // Отечественные записки. 1841. № 4–6; *Он же.* Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные. М., 1818 // Там же. 1841. № 9–12.

[32] См.: [*Голубинский Ф.А.*]. Содержание и история учения о конечных причинах или целях. Письмо 1 // Прибавления к творениям св. Отцов. 1847. Ч. 5. Переиздано в кн.: Премудрость и благость Божия в судьбах мира и человека. Изд. 3. М., 1855, включающей, помимо указанной статьи Ф.А. Голубинского, также продолжение ее, написанное Д.Г. Левицким.

[33] «Revue des deux mondes» — французский журнал. Выходил в Париже в 1829–1899 гг.

[34] См.: *Литтре Е.* Важность и успехи физиологии // Современник. 1847. № 2. Отд. 2. С. 125–164.

[35] Автором рецензии, помещенной в журнале без подписи, был сам Галахов.

[36] А.В. Горский составил (при участии К.И. Невоструева) «Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки» (Отд. 1—3. М., 1855—1917).

[37] Автором помещенной без подписи рецензии был сам Галахов (см.: *Боград В.* Журнал «Современник». 1847—1866: Указатель содержания. М.; Л., 1959. С. 78).

[38] Ф.В. Булгарин заказал для издаваемого им журнала «Северный архив» польскому историку И. Лелевелю рецензию на «Историю государства Российского» Карамзина; переписка, на которую ссылается Галахов, посвящена этой рецензии и обстоятельствам ее публикации. Наиболее резким по отношению к Карамзину местом в ней может считаться следующий фрагмент из письма Булгарина: «Смею еще просить уважаемого земляка об одной милости, т.е. не подарить гордому историографу ни малейшей ошибки в исторических фактах. Здешняя публика по преимуществу обращает внимание на это и жадно ловит ошибки человека, которого приверженцы почитают непогрешимым, как католики папу» (Иоахим Лелевель как критик «Истории государства Российского» соч. Карамзина. Переписка с Ф.В. Булгариным. 1822—1830 // Русская старина. 1878. № 8. С. 639). Полученные от Лелевеля статьи Булгарин сам перевел на русский язык и отредактировал (см.: *Лелевель И.* Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина // Северный архив. 1822. Ч. 4; 1823. Ч. 8; 1824. Ч. 9, 11, 12). Булгарин в дальнейшем сам рецензировал книгу Карамзина: [*Булгарин Ф.В.*]. Критический взгляд на X и XI тома «Истории государства Российского», сочиненной Карамзиным // Северный архив. 1825. Ч. 13, 14. Подробнее см.: *Попков П.С.* Иоахим Лелевель — критик «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина // Вопросы историографии в высшей школе. Смоленск, 1975. С. 287—299; *Козлов В.П.* «История государства Российского» Н.М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 41, 55—59, 107—114.

[39] *Жарт* — шутка (*польск.*). Н.А. Полевой в рецензии на «Ревизора» писал о Гоголе: «...у него есть свой бесспорный участок в области поэтических созданий. Его участок — добродушная шутка, малороссийский *жарт* <...>» (Русский вестник. 1842. № 1. Паг. 3. С. 61; ср. отзыв Ф.В. Булгарина о той же пьесе: «Это презабавный фарс, ряд смешных карикатур <...>» — Северная пчела. 1836. № 98). Булгарин несколько раз писал про «Поль-де-Коковские творения» Гоголя (Северная пчела. 1842. № 279; 1843. № 18, и др.), О.И. Сенковский же в своей рецензии на «Мертвые души» поставил Гоголя ниже Поль-де-Кока (Библиотека для чтения. 1842. № 8. С. 51—53).

[40] В рецензии на «фантазию» А.В. Тимофеева «Елисавета Кульман» О.И. Сенковский писал: «...из всего числа поэтов, которых произвел Пушкин,

г. Тимофеев едва ли не тот, чьи произведения соединяют в себе наиболее начал пушкинской поэзии» (Библиотека для чтения. 1837. Т. 21. С. 42).

[41] Подробнее см.: *Корсунский И.* К характеристике О.И. Сенковского (польские наезды на русский язык) // Русский архив. 1891. Кн. 2. С. 365–401; *Каверин В.* Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». М., 1966.

[42] Галахов не любил О.И. Сенковского и писал о нем в одной из статей: «Ученый с необыкновенным умом и такими же дарованиями, с превосходным классическим образованием, с начитанностью, поражавшей разнообразием и обширностью, с знанием языков всех важнейших народов Европы и Азии, вымерших или еще существующих, принимается за издание журнала. Издание свидетельствует о дурном употреблении, скажу больше — о злоупотреблении ума и учености. В истории русской журналистики оно осталось памятником умственного и нравственного индифферентизма, недостойного обращения с наукой, насмешкой над истинами, в которых никто не сомневался, изобретением парадоксов, которые изобретатель пускал в оборот ради шутки, смешением серьезного с пустяками, умышленным возведением мелкого в важное, умышленным низведением важного до мелочи, похвалами, которые хуже осуждения, осуждениями, которые лучше похвал, все выходило безразличным, нарочно спутанным, искусственно склеенным. Кто помнит добром вышереченного журналиста? Кто примется за чтение его журнала в видах пользы?.. Журнал, издававшийся С[енковским], отличался рьяным преследованием философии, величал ее бреднями, пустословием, а самих философов — чуть-чуть не сумасшедшими и шутами» (О статье В.В. Григорьева «Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве», напечатанной в III и IV книжках «Русской беседы» за 1856 г. // Отечественные записки. 1857. № 2. С. 141).

[43] «Как было велико влияние Ж. Санд на русскую литературу и общественность, об этом свидетельствуют восторженные отзывы современников. О «Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Санд» М.Е. Салтыков [Щедрин] писал («За рубежом». Гл. 4): «...оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век находится не позади, а впереди нас». И.С. Тургенев назвал ее «одной из наших святых» (Русские пропилеи. Т. 3. И.С. Тургенев. М., 1916. С. 240). Ф.М. Достоевский, когда он давно уже перестал сочувствовать социализму, посвятил ей в своем «Дневнике писателя» 1876 г. несколько горячих страниц, говоря о ней: «...одна из ясновидящих предчувственниц более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеала которого она бодро и великодушно верила. <...> Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на стремлении его к совершенству и чистоте». И тут же Достоевский отмечает тем большее значение романов Ж. Санд у нас, что «тогда только это и было позволено, то есть романы —

остальное все, чуть не всякая мысль, особенно во Франции, было строжайше запрещено». Последние слова Достоевского вполне сходятся с замечаниями Галахова о «настоящем кладе»» (Н.О. Лернер). О рецепции творчества Ж. Санд в России см.: *Кафанова О.Б.* Жорж Санд и русская литература XIX века: Мифы и реальность. 1830—1860 гг. Томск, 1998.

[44] Журнал «Современник» был основан А.С. Пушкиным в 1836 г., после его смерти перешел к П.А. Плетневу. В сентябре 1846 г. Плетнев передал права на издание журнала Н.А. Некрасову и И.И. Панаеву, которые пригласили к сотрудничеству В.Г. Белинского, еще в феврале 1846 г. покинувшего «Отечественные записки». В «Современник» перешел из «Отечественных записок» также А.И. Герцен, часто стали печататься И.С. Тургенев, Д.В. Григорович и др. См.: *Евгеньев-Максимов В.Е.* «Современник» в 40—50-х гг. Л., 1934. С. 23—42.

[45] Этот мемуарный очерк см. ниже, в приложении.

[46] Сто и один (*фр.*). Имеется в виду широко известный альманах «Paris, ou le Livre des Cent-et-Un» [«Париж, или Книга ста одного»] (Т. 1—15. Paris, 1831—1834). Белинский писал в 1844 г.: «Кому не известна «Книга ста одного», которая соединила в себе труды едва ли не всех — и великих, и средних, и малых — французских писателей и, будучи сборником множества статей в форме повестей, рассказов и юмористических очерков, по своему содержанию была посвящена изображению и характеристике Парижа» (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1955. С. 377). См. подробную характеристику этого издания: *Якимович Т.* Французский реалистический очерк 1830—1848 гг. М., 1963. С. 101—118. Псевдонимом Сто-один были подписаны в «Отечественных записках» статья «Е.А. Баратынский» (1844. № 12), повести «Старое зеркало» (1845. № 9) и «Кукольная комедия» (1847. № 3), а также ряд других публикаций.

[47] Галахов отсылает к соответствующему разделу «Записок человека» («Время школьного учения...»), но он неточен: должен быть октябрь (№ 10), а не ноябрь.

[48] [*Скуполи Л.*] Подвиг христианина против искушений. [М.], 1794. См. также примеч. 40 к главе III.

[49] См.: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956. С. 445.

[50] ***Фетировать*** (от фр. fêter) — чествовать.

[51] Речь идет о Федоре Николаевиче Фортунатове, инспекторе Вологодской губернской гимназии в 1838—1852 гг., впоследствии директоре Петрозаводской гимназии.

[52] По-видимому, речь идет о протоиерее А.Е. Покровском, священнике церкви Богоявления в Елохове: она единственная близ Разгуляя имела придел Благовещения.

[53] «Капитан корабля и его юнга» (*фр.*).

[54] См.: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956. С. 465.

[55] Неприятные минуты (*фр.*).

[56] См. с. 309—310.

[57] «К Галахову капризный и суровый митрополит московский Филарет относился вообще неблагожелательно. В 1849 г. А.И. Невоструев писал своему брату К[апитону] И[вановичу], что Филарет запретил Галахову в «Исторической хрестоматии» употреблять выражение «Остромирово Евангелие», а между тем сам раньше пользовался этим выражением (*Постников В.* Очерки жизни и деятельности А.В. Горского // У Троицы в Академии. М., 1914. С. 319). А. Котович сообщает, ссылаясь на архивное дело 1844 г. о пропуске «Хрестоматии» Галахова, что «составителю пришлось отстаивать право пользоваться отрывками из Остромирова Евангелия и др. источников в их подлинном виде» (*Котович А.* Духовная цензура в России. СПб., 1909. С. 545)» (Н.О. Лернер). Как покушение на евангельские истины воспринял публикацию Галахова в «Отечественных записках» и Ф.В. Булгарин. К своей поданной в III отделение в марте 1848 г. записке «О ценсуре и коммунисме в России» он приложил вырезанные из журнала страницы с этой публикацией Галахова и написал на полях: «Явно нельзя опровергать Евангелия — но это есть осязаемое восстание противу евангелического учения, смирения, повиновения и верования в будущую жизнь. Умное духовенство восстало и даже жаловалось, но Краевский оправдался тем, что напечатал, якобы это переведено из сочинения одного испанского монаха» (Видок Фиглярин. М., 1998. С. 550).

[58] *Туга* — печаль.

[59] Характеризуя свое отношение к Грановскому, Галахов писал: «Хотя я не принадлежал к числу близких к нему людей, но тем не менее он постоянно был ко мне добр и внимателен и никогда не выкидывал из того круга, в котором любил обращаться, как в своем. Я знал и чувствовал, что принадлежу ему по образу мыслей, что в этом отношении он настолько же мой, насколько и я ему не чужой, что все члены его общества, из которых одни, по личным связям, сидели к нему ближе, а другие дальше, были, несмотря на такие различия, одного полка, одного поля. Я гордился знакомством с Грановским...» (Письмо А.В. Станкевичу от 23 апреля 1869 г. — ОПИ ГИМ. Ф. 351. Ед. хр. 70. Л. 66—66 об.).

[60] См. с. 318—326.

[61] У Галахова ошибка, имеется в виду: *К.* [Корф Ф.Ф.] Петербургская летопись // Санкт-Петербургские ведомости. 1848. № 17. 22 янв.

[62] См.: Сатиры Кантемира // Отечественные записки. 1848. № 11; Сочинения Д.В. Давыдова // Там же. 1849. № 2; Сочинения И.Ф. Богдановича // Там же. 1849. № 5; Сочинения Княжнина // Там же. 1850. № 4—12; Сочинения Кострова и Аблесимова // Там же. 1851. № 11; Карамзин (Материалы для определения его литературной деятельности). Ст. 1—2 // Современник. 1853. № 1, 11; Жуковский (Материалы для определения его литературной деятельности). Ст. 1—2 // Отечественные записки. 1852. № 11; 1853. № 6; Сочинения Измайлова // Современник. 1849. № 12; 1850. № 10, 11.

[63] См.: Отечественные записки. 1858. № 1.

[64] См.: Старое зеркало // Отечественные записки. 1845. № 9; Ошибка // Там же. 1846. № 9; Кукольная комедия // Там же. 1847. № 3; Превращение // Современник. 1847. № 7.

[65] А. Григорьев писал про «Кукольную комедию», что это «очень хороший рассказ» (*А.Г.* [Григорьев]. Обзор журналов за март 1847 года // Московский городской листок. 1847. № 69). Положительно оценил эту повесть и И.С. Аксаков. В письме к родным от 12 апреля 1847 г. он писал о ней: «Очень, очень недурно, хотя и есть выходки против Константина [Аксакова]. Тоном своим она напоминает Тепфера, «Nouvelles génevoises» [«Женевские новеллы»]» (*Аксаков И.С.* Письма к родным. 1844—1849. М., 1988. С. 368).

[66] Цитируемое письмо не сохранилось. Довольно сурово отозвался Белинский и о другой повести Галахова —«Старое зеркало»: «много интересных частностей и умных замечаний, <...> но в целом эта повесть не выдержана и развязка ее как-то странна, неестественна и неудовлетворительна» (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 9. М., 1955. С. 397). Аполлон Григорьев в 1862 г. в статье «Стихотворения Некрасова» писал про повести Галахова — «крайние, голые, сухие выражения протеста, сходившие, однако, не только с рук, но возбуждавшие даже интерес своим голым протестом» (*Григорьев А.* Литературная критика. М., 1967. С. 458).

[ГЛАВА VIII] ВОСПОМИНАНИЯ О ЖУРНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ М.Н. КАТКОВА В 1839 И 1840 ГОДАХ

Впервые: Исторический вестник. 1888. № 1.

[1] Речь идет о кн. Михаиле Николаевиче Голицыне, камергере, тайном советнике, литераторе. Он был женат на княжне Анне Николаевне Вяземской (1796—1873), имел сыновей Николая (1820—1885), Льва (1822—1848), Дмитрия (1827—?) и Михаила (1830—1890), а также двух дочерей — Марию и Софью. Голицыным принадлежало подмосковное село Никольское-Урюпино. В этой же семье летом 1838 г. давал уроки русского языка 18-летний С.М. Соловьев, оставивший в своих воспоминаниях подробную характеристику князя и его окружения (см.: *Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 251—254).

[2] Мать М.Н. Каткова — Варвара Акимовна, урожд. Тулаева.

[3] См.: [*Катков М.Н.*]. Песни русского народа, изданные И. Сахаровым. СПб., 1838—1839 // Отечественные записки. 1839. № 6, 7.

[4] М.Н. Катков учился в пансионе М.Г. Павлова в 1831—1834 гг.

[5] Речь идет о следующем высказывании Н.А. Полевого: «Кто читал, что писано мною доныне, тот, конечно, скажет вам, что квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю, и — еще более позвольте приба-

вить к этому, — Русь меня знает и любит» (*Полевой Н.А.* Клятва при Гробе Господнем. Ч. 1. М., 1832. С. IX). Формулу «Я знаю Русь, и Русь меня знает» неоднократно цитировал В.Г. Белинский в полемике с Полевым (см.: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1953. С. 500; Т. 6. М., 1954. С. 404), Достоевский вложил ее в уста Фомы Опискина (Село Степанчиково и его обитатели // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 3. Л., 1972. С. 68). «История русского народа» — труд Н.А. Полевого (Т. 1—6. М., 1829—1833).

[6] См.: Отечественные записки. 1839. № 6. Отд. 6. С. 5—6 («нам должно быть стыдно перед нашими меньшими братьями, перед бедными чужеземными племенами славянскими»).

[7] в процессе становления (*нем.*).

[8] См.: *Зиновьев А.З.* Основания русской стилистики по новой и простой системе. М., 1838.

[9] «Оратор» и «Красноречие» (*лат.*).

[10] Имеется в виду сочинение Квинтилиана «Institutio oratoria» («Об ораторском образовании») в 12 книгах.

[11] «Семь свободных искусств» — система учебных предметов, разработанная в античные времена и использовавшаяся в средневековой школе. Включала в себя грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку.

[12] Риторика управляет словами (*лат.*).

[13] «А ведь она не исчезла, — она наш вечный жид, реторика! Как ни старались други и недруги, одни ласками, другие побоями уложить ее кости в могилу, — не смогли уложить» ([*Катков М.Н.*]. Основания русской стилистики по новой и простой системе. М., 1839 // Отечественные записки. 1839. № 11. Отд. 6. С. 55).

[14] «Речь о стиле» (*фр.*). Перевод речи Ж.Л. Бюффона, осуществленный В.А. Мильчиной, см.: Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 167—172.

[15] См.: *Максимович М.А.* История древней русской словесности. Кн. 1. Киев. 1839.

[16] См.: *Греч Н.И.* Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1822.

[17] с начала (*лат.*).

[18] *Скептическая школа* — направление в русской исторической науке 1-й половины XIX в., выдвигавшее требование критического отношения к историческим источникам. К этой школе принадлежали историки М.Т. Каченовский, С.М. Строев, О.М. Бодянский и др. «Скептики» требовали относиться к истории как к науке, а не как к нравоучительному повествованию, подвергать проверке сведения источников, а не довольствоваться только удостоверением их подлинности. На этом основании они подвергали сомнению многие известия «Повести временных лет» и «Русской правды», не принимали нормандскую теорию, считали варягов прибалтийскими славянами и т.д.

[19] задней мысли (*фр.*).

[20] Рецензию М.Н. Каткова на «Сочинения в стихах и прозе графини С.Ф. Толстой» (М., 1839) см.: Отечественные записки. 1840. № 10. С. 15—50.

[21] с любовью (*ит.*).

[22] См. переведенные М.Н. Катковым «Сцены из Ромео и Юлии» Шекспира (Московский наблюдатель. 1838. Июнь. Кн. 1; 1839. Январь, а также: Пантеон. 1841. Ч. 1. Кн. 1); переводы стихотворений Г. Гейне — Отечественные записки. 1839. № 6, 7, 11; 1840. № 1; Ф. Рюккерта — Отечественные записки. 1839. № 7; 1840. № 10.

[23] См.: *Зарич Ф.* [Станкевич Н.В.] Несколько мгновений из жизни графа Т*** // Телескоп. 1834. № 21. С. 290—316. Речь идет о следующей фразе Станкевича: «Презрение и жалость — вот что наполняло грудь его при виде этих тварей, безрассудно разорвавших высокую связь с жизнью вселенной, поправших свое назначение, уничтоживших красоту свою» (*Станкевич Н.В.* Избранное. М., 1982. С. 70).

[24] *Мистрис Джемсон* — английская писательница Анна Джемсон. В «Отечественных записках» (1841. № 2) был опубликован в переводе В.П. Боткина отрывок из ее книги «Женщины, созданные Шекспиром». Белинский называл ее «гениальной женщиной» (в письме к В.П. Боткину от 1 марта 1841; см.: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956. С. 26). *Беттина* — немецкая писательница Беттина фон Арним, известная своей борьбой за эмансипацию женщин; *Рахель* — Рахиль Варнгаген, жена Карла Варнгагена фон Энзе (1785—1858), немецкого дипломата и писателя романтической школы. Личность Р. Варнгаген высоко оценивалась в кругу западников. Я.М. Неверов писал о ней: «Она <...> не оставила никаких следов своего существования в литературе, не была собственно ученой женщиной <...> Но высокий ум, верный и глубокий взгляд на людей и на весь мир соединяла с основательными познаниями, чарующею теплотою сердца и дивною женственностью. <...> Была некрасива собою и, в пожилых летах выйдя замуж за молодого человека, умела этот неравный брак сделать для него счастливейшею эпохою его жизни» (*Неверов Я.М.* Тимофей Николаевич Грановский // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989. С. 349).

[25] В качестве приложения к этому мемуарному очерку Галахов поместил список статей М.Н. Каткова в «Отечественных записках» 1839 и 1840 гг. со следующим примечанием: «Все статьи, как в отделе «Критики», так и в отделе «Библиографической хроники», по условию, положенному редакцией журнала, без подписи авторов. Но я вел обстоятельные списки книг, подлежащих рассмотрению, с обозначением, какие из них поступали ко мне, Белинскому, Каткову и Кудрявцеву. Эти списки сохраняются у меня в целости». Указания Галахова были учтены при подготовке подробной росписи содержания

журнала; см.: *Боград В.Э.* Журнал «Отечественные записки» 1839—1848: Указатель содержания. М., 1985.

[26] Статья И. Зацепина «О жизни» была напечатана в «Терапевтическом журнале» (1839. № 1—4). Рецензию Каткова см.: Отечественные записки. 1839. № 9. Отд. 7. С. 142—147.

[27] См.: *Глинка Ф.Н.* Обед, какого не бывало. М., 1839. Рецензия Каткова: Отечественные записки. 1840. № 1. Отд. 6. С. 30—35.

[28] *Пировая храмина* — пиршественный зал.

[29] *Ловитва* — охота.

[30] В «Московском наблюдателе» Катков поместил перевод статьи Г.Т. Рётшера «О философской критике художественного произведения» (1838. Май, кн. 1, июнь, кн. 1—2; со своей вступительной статьей); стихотворный перевод сцен из «Ромео и Джульетты» Шекспира (1838. Июнь, кн. 1. 1839. Январь), несколько стихотворений.

[31] См. гл. XI в настоящем издании.

[32] См.: *Галахов А.Д.* Лермонтов. Ст. 1—3 // Русский вестник. 1858. Июль. Кн. 1 и 2; Август. Кн. 1.

[ГЛАВА IX] ЛИТЕРАТУРНАЯ КОФЕЙНЯ В МОСКВЕ В 1830—1840 ГОДАХ

Впервые: Русская старина. 1886. № 4, 6, с подзаголовком «Воспоминания А.Д. Галахова».

[1] Кафе остроумцев (*фр.*).

[2] «По причине существовавшего между кофейной Бажанова (где собирались, очевидно, «те, которые почище») и трактиром Печкина (где бывала публика посерее) тесного «контакта», в воспоминаниях современников оба заведения часто смешиваются, но во всяком случае чаще упоминается “кофейная Печкина”» (Н.О. Лернер). (См.: *Берг Н.В.* Московские воспоминания // Русская старина. 1884. № 10. С. 55; *Полонский Я.П.* Мои студенческие воспоминания // Полонский Я.П. Проза. М., 1988; *Стахович А.А.* Клочки воспоминаний. М., 1904. С. 155—157; *Горбунов И.Ф.* Сочинения. Т. 3, ч. 1—4. СПб., 1907. С. 26—27; и др.). Литературная кофейная Бажанова изображена в романах А.Ф. Писемского «Масоны» (Ч. 4. Гл. 1 и 10) и А.А. Вонлярлярского «Магистр» (Гл. 20, 29). А.А. Фет, вспоминая о ней, называл в числе ее постоянных посетителей А.Д. Галахова (см.: *Фет А.А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 221).

[3] До 1812 г. И.А. Бажанов торговал в серебряном ряду, но, разоренный войной, открыл кофейную (см.: *Шумилова-Мочалова Е.П.* К биографии П.С. Мочалова // Исторический вестник. 1899. № 3. С. 940). По воспоминаниям актрисы П.И. Орловой-Савиной, «Мочалов пьяный женился на дочери

содержателя кофейной Баженова, который подвел ему дочку и обещал простить весь долг по кофейной» (*Орлова-Савина П.И.* Автобиография. М., 1994. С. 140).

[4] С.А. Соболевскому и Н.Ф. Щербине принадлежит множество эпиграмм и экспромтов, в том числе фривольного содержания, пользовавшихся большой популярностью у современников. При жизни авторов эти тексты не публиковались.

[5] М.А. Бакунин поместил в «Московском наблюдателе» перевод «Гимназических речей» Гегеля со своим предисловием (1838. Апрель. Кн. 1, 2).

[6] В 1840-х гг. Е.А. Санковская была наиболее популярной московской балериной и постоянной соперницей петербургской танцовщицы Е.И. Андреяновой (у Галахова — Адрианова), часто гастролировавшей в Москве. Театральная публика поделилась на две «партии» — поклонников Андреяновой или Санковской (последних называли «санковистами»). Ко вторым относились многие московские студенты, которые устраивали Санковской шумные овации, поднесли в бенефис серебряный венок, шикали ее сопернице и т.п. В 1845 г. был исключен с 3-го курса и сослан рядовым на Кавказ «санковист» В.М. Каченовский (сын профессора М.Т. Каченовского) за то, что во время выступления Андреяновой швырнул на сцену дохлую кошку (см.: Московский университет в воспоминаниях современников. 1755—1917. М., 1989. С. 279—280; Русские писатели. 1800—1917. Т. 2. М., 1992. С. 516).

[7] без сокращений (*фр.*).

[8] Статью эту разыскать не удалось.

[9] Тут Галахову изменила память. «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» перестали выходить в 1839 г., и А. Григорьев там никогда не печатался. Криптоним А.Г. он использовал в «Московском городском листке», но газета эта рецензий на театральные спектакли не помещала. После появления там нескольких рецензий А. Григорьева, подписанных А.Г., Галахов (который и сам печатался в газете — под псевдонимом Сто-один) опубликовал там следующее «Письмо к редактору» (№ 65. 27 марта): «Многие из моих знакомых приписывают мне статьи «Московского городского листка», подписанные буквами А.Г. Не желая присвоивать себе чужих статей, как бы они достойны ни были, покорнейше прошу вас напечатать это письмо, которым извещаю, что *статьи, подписанные буквами А.Г., принадлежат не мне*». Можно предположить, что его появление было вызвано полемикой А. Григорьева с влиятельным С.П. Шевыревым (см. № 43).

[10] О поклонниках Ф.В. Булгарина см.: *Рейтблат А.И.* Ф.В. Булгарин и его читатели // Чтение в дореволюционной России. М., 1992. С. 55—66; об эпиграмме Д.Т. Ленского — «Мои студенческие воспоминания» Я.П. Полонского (в кн.: *Полонский Я.П.* Проза. М., 1988. С. 370), где приводится и первый стих: «В смысле так, не философском...»

[11] Букв.: погоня за благоволением (*лат.*).

[12] Источник цитаты установить не удалось.

[13] jeune-premier — герой-любовник (театральное амплуа).

[14] Под это описание подходит семья актера И.В. Самарина, игравшего с 1837 г. на сцене Малого театра роли «первых любовников». Его жена Самарина исполняла комические роли (в частности, Марью Антоновну в «Ревизоре» Н.В. Гоголя); их дочь также была актрисой.

[15] Имеется в виду актриса П.И. Куликова, в первом браке Орлова, во втором Савина. Подробности «волокитства» Д.Т. Ленского см. в ее воспоминаниях: *Орлова-Савина П.И.* Автобиография. М., 1994. С. 114—120. Однако Галахов тут явно допускает анахронизм. Вторая жена Д.Т. Ленского умерла в 1845 г., а П.И. Куликова вышла замуж за И.В. Орлова еще в 1835 г. (см.: Там же. С. 135, 405).

[16] Полностью этот экспромт Д.Т. Ленского приводится в «Воспоминаниях» А.А. Алексеева (М., 1894. С. 56):

Илья Васильев сын Орлов
Женился для приплода.
Посмотрим же ребят
Орловского завода.

[17] Эпиграмма, о которой говорит А.Д. Галахов, следующая:

Бранд-майор Тарновский
Тем себя прославил,
Что ... Санковской
Цинскому представил.
Так ли? При рапорте ль?
Слухи не доходят,
Но чрез этот фортель
Многие выходят.

(Русская старина. 1880. № 10. С. 446).

[18] О А.Н. Дьякове и П.А. Максине см.: *Горбунов И.Ф.* Сочинения. Т. 3, ч. 1—4. СПб., 1907. С. 22—23, 26—35.

[19] Дебют П.С. Мочалова состоялся в 1817 г.

[20] Мочалов сошелся с П.И. Петровой, которая была значительно его старше, вскоре после своей женитьбы, в 1822 г., и имел от этой связи двоих детей. В 1826 г. тесть Мочалова И.А. Бажанов принес жалобу гр. А.Х. Бенкендорфу, после чего Мочалова вернули в семью. По свидетельству многих современников, в том числе А.И. Шуберт, Петрова «умела удерживать его от вина и оказывала благодетельное влияние на его талант, после же возвраще-

ния к жене скоро Мочалов опять закутил, да так и не останавливался больше» (*Шуберт А.И.* Моя жизнь // Судьба таланта. М., 1990. С. 319; См. также: *Мочалов П.С.* Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П.С. Мочалове. М., 1953. С. 348—349; *Шумилова-Мочалова Е.П.* К биографии П.С. Мочалова // Исторический вестник. 1899. № 3. С. 934—937).

[21] О П.С. Мочалове и его игре Галахов вспоминал также в статье «Шекспир в России» (Русская сцена. 1864. Т. 2. Кн. 4).

[22] Ф.А. Кони однажды в письме к Галахову хвалил Петербург. В ответном письме Галахов писал (16 апреля 1837 г.): «...есть ли у вас Мочалов-Гамлет? а? прикусил язычок? Да, Théodore, шутки в сторону. Если есть у артистов воскресение их таланта, то Мочалов воскрес в Гамлете. <...> В последний раз перед масленицей он так играл, что публика вызывала его после 3-го акта, в котором он торжествует. Ирония и злоба нашего трагика уж не походят нисколько, господа петербургские, на иронию и злобу Каратыгина. <...> Скажу тебе, что в нервическом, каком-то болезненном припадке радостной злобы он запрыгал на сцене и обдал всех ужасом. Каратыгин в подобном деле был бы смешон» (ИРЛИ. Ф. 134. Цит. по выписке Н.О. Лернера).

[23] С.Т. Аксаков дал характеристику исполнения П.С. Мочалова в статьях: Отелло, или Венецианский мавр // Драматическое прибавление к Московскому вестнику. 1828. № 2. С. I—II; 2-е письмо из Петербурга к издателю Московского вестника // Московский вестник. 1828. № 21/22. С. 148—154 (см.: *Аксаков С.Т.* Собр. соч. Т. 3. М., 1986. С. 330—333, 337—339).

[24] Речь идет о мелодраме В. Дюканжа и М. Дюно «Тридцать лет, или Жизнь игрока».

[25] Речь идет о гастролях Каратыгиных в Москве в 1841 г.

[26] Первое представление «Гамлета» в переводе Н. Полевого состоялось в Москве 22 января 1837 г. Белинский посвятил пьесе и исполнению Мочалова большую статью «“Гамлет”, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (Московский наблюдатель. 1838. Март, кн. 1, 2; Апрель, кн. 1).

[27] Портрет П.С. Мочалова был приложен к изданию: *Коцебу А.Ф.* Ненависть к людям и раскаяние. Комедия в 5 действиях. Пер. с нем. М., 1824.

[28] ансамбль (*фр.*).

[29] Исполнение Мочаловым этой роли подробно описано в романе А.Ф. Писемского «Масоны» (Ч. 4. Гл. 4).

[30] Опера французского композитора Д.Ф.Э. Обера «Фенелла, или Немая из Портичи», сюжет которой был взят из истории неаполитанского восстания 1647 г., была очень популярна в России в 1830—1840-х гг.

[31] Пьесы, посвященные событиям Смутного времени, долго (особенно вторая) державшиеся в репертуаре. За негативный отзыв о «Руке Всевышнего...» был в 1834 г. закрыт «Московский телеграф» Н.А. Полевого.

[32] «Писемский действительно вывел Максина в романе «Масоны» (Ч. 4. Гл. 1 и 10; Ч. 5. Гл. 10, 13, 15) под довольно прозрачным прозвищем «Максиньки», и это был, конечно, Максин-младший, Петр Алексеевич, а не старший его брат Максим Алексеевич (1796—1828)» (Н.О. Лернер).

[33] По случаю этого юбилея Галахов обратился к М.С. Щепкину с поздравительным письмом (Москвитянин. 1855. Ноябрь. Кн. 1/2. С. 273—275). В 1860 г. Галахов просил Щепкина принять участие в благотворительном вечере в пользу Литературного фонда. В сохранившемся ответном письме Щепкин, между прочим, высказал свое отрицательное отношение к «Грозе» А.Н. Островского (письмо ниже цитируется Галаховым; полностью: Записки актера Щепкина. М., 1988. С. 184—185).

[34] См.: Записки актера Щепкина. М., 1988. С. 184—188.

[35] «*Москаль-чаривник*» — комическая опера И.П. Котляревского (1769—1838), директора в 1820-х гг. Полтавского театра, чиновника канцелярии кн. Н.Г. Репнина. Котляревский и Репнин сыграли важную роль в истории выкупа М.С. Щепкина из крепостной зависимости (см.: Записки актера Щепкина. М., 1988. С. 116—118). Роль Чупруна в «Москале-чаривнике» была написана специально для Щепкина; в 1844 г. была выпущена литография, изображающая актера в этой роли.

[36] См.: Записки актера Щепкина. М., 1988. С. 181—183.

[37] Большая часть устных рассказов Щепкина пропала, немногие были записаны; некоторые были использованы писателями (Н.В. Гоголем — в «Мертвых душах» и «Старосветских помещиках», А.И. Герценом — в «Сороке-воровке», А.В. Сухово-Кобылиным — в «Деле» и др.). Свод записей см.: Записки актера Щепкина. М., 1988. С. 216—317.

[38] «*Подражание Иову*» — ода М.В. Ломоносова; «*Эдип в Афинах*» — трагедия В.А. Озерова.

[39] Персонажи пьес А.Н. Островского: «Свои люди — сочтемся» (Подхалюзин), «Не в свои сани не садись» (Русаков), «Грех да беда на кого не живут» (Краснов), «Бедная невеста» (Беневоленский), «Доходное место» (Юсов).

[40] Брат С.В. Васильева (1-го) — П.В. Васильев, актер петербургских императорских театров, также много играл в пьесах А.Н. Островского.

[41] На сцене выступала также дочь А.Т. Сабуровой — Е.А. Сабурова (младшая).

[42] «Я!», «Пусть он умрет!» (*фр.*) (Из трагедий Корнеля «Медея» (действие 1, явление 5) и «Гораций» (действие 3, явление 6).

[43] М.П. Погодин издавал журнал «Москвитянин» в 1841—1856 г. С 1851 г. он передал художественный и литературно-критический отделы группе молодых литераторов (А.Н. Островский, А.А. Григорьев, Б.Н. Алмазов, Е.Н. Эдельсон, Т.И. Филиппов и др.), которые и составили т.н. «молодую редакцию», существенно обновившую журнал и способствовавшую росту его популярности.

[44] Это неудачное выступление состоялось в 1851 г.

[45] Из двух братьев Щепиных — скрипача Артемия Мардарьевича и оперного певца и режиссера Павла Мардарьевича — второй попал в сатирическое стихотворение Д.Т. Ленского «Кавалькада», где была выведена почти вся труппа Малого театра (см.: *Шуберт А.И.* Моя жизнь // Судьба таланта. М., 1990. С. 323).

[46] «*Лючия* ди Ламмермур», «*Лукреция Борджиа*» — оперы Г. Доницетти.

[47] Устные рассказы актера и писателя И.Ф. Горбунова пользовались исключительно большой популярностью в 1850—1890-х гг. в самых разных общественных слоях (см.: *Шереметев П.* Отзвуки рассказов Горбунова. 1883—1896. СПб., 1901) и положили начало своеобразному литературно-сценическому жанру.

[48] «*Стряпчий под столом*» — водевиль М. Теолона и А. Шокара, пер. с французского Д.Т. Ленского; «*Что имеем — не храним, потерявши — плачем*» — комедия-водевиль С.П. Соловьева; «*Лев Гурыч Синичкин*» — известный водевиль Д.Т. Ленского.

[49] «*Аскольдова могила*» — опера А.Н. Верстовского по одноименному роману М.Н. Загоскина.

[50] «*Норма*» — опера В. Беллини.

[ГЛАВА X] СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

Впервые: Исторический вестник. 1892. № 1, 2.

[1] С.Г. Строганов возглавлял Московский учебный округ в 1835—1847 гг. Он получил известность как археолог, нумизмат, собиратель икон, автор книги «Дмитриевский собор во Владимире (на Клязьме)» (М., 1849), основатель Строгановского училища технического рисования, глава «Общества истории и древностей российских», основатель и первый председатель Археологической комиссии. Он много сделал для улучшения преподавания в Московском университете, привлечения новых научных кадров (в том числе Т.Н. Грановского, С.М. Соловьева, П.Г. Редкина, В.С. Печерина, С.И. Баршева и др.). С.Г. Строганов заслужил лестные отзывы многих мемуаристов (Ф.И. Буслаева, К.С. Аксакова, А.Н. Афанасьева и др.). С.М. Соловьев писал о нем: «Сам он получил плохое, поверхностное образование, но благородным инстинктом понял, что наука есть могущество; отсюда — глубокое уважение к науке, интерес ко всем явлениям науки и литературы <...> Попечитель уважал мысль вообще, уважал науку, ставил выше всего честность, прямоту, благородство, талант, трудолюбие, святое исполнение обязанностей, имел практический смысл, не увлекался первою мыслию, как бы она ни поразила его с первого раза своею верностью и пользою в применении <...> Никто из нас не выходил из его кабинета без уважения к человеку добра, который умел оценить всегда все хорошее и дать ему ход» (*Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М.,

1983. С. 244—246). Не без иронии, но в целом доброжелательно отзывался о Строганове и А.И. Герцен: «Он хотел поднять университет в глазах государя, отстаивал его права, защищал студентов от полицейских набегов и был либерален, насколько можно быть либеральным, нося на плечах генерал-адъютантский «наш» с палочкой внутри (Вензель Николая I; «наш» — название буквы «Н» в старом русском алфавите. — *В.Б.*) и будучи смиренным обладателем строгановского майората» (*Герцен А.И.* Собр. соч. Т. 5. М., 1956. С. 195).

[2] Роман А.Ф. Писемского «Люди сороковых годов» (Заря. 1869. № 1—9), носивший в значительной степени автобиографический характер, воспроизводит духовную атмосферу того времени.

[3] Статья И.В. Киреевского «"Горе от ума" на московском театре» была помещена в журнале «Европеец» (1832. № 1) и послужила одной из причин его скорого закрытия (на 3-м номере) (см.: *Фризман Л.Г.* Иван Киреевский и его журнал «Европеец» // Европеец. Журнал И.В. Киреевского. 1832. М., 1989). В статье говорилось: «Оригиналы тех портретов, которые начертал Грибоедов, уже давно не составляют большинства московского общества <...> но главный характер московского общества вообще — не переменился. Философия Фамусова и теперь еще кружит нам головы; мы и теперь так же, как и в его время, хлопочем и суетимся из ничего, кланяемся и унижаемся бескорыстно и только из удовольствия кланяться; ведем жизнь без цели, без смысла; сходимся с людьми без участия, расходимся без сожаления; ищем наслаждений минутных и не умеем наслаждаться <...> Эта пустота жизни, это равнодушие ко всему нравственному, это отсутствие всякого мнения и вместе боязнь пересудов, эти ничтожные отношения, которые истощают человека по мелочам и делают его неспособным ко всему возвышенному и достойному труда жить, — все это дает московскому обществу совершенно особенный характер <...> Конечно, есть исключения <...>: есть общества счастливо отборные, заботливо охраняющие себя от их окружающей сметенности и душного ничтожества; есть люди, которые в кругу тихих семейных отношений, посреди бескорыстных гражданских обязанностей, развивают чувства возвышенные вместе с правилами твердыми и благородными» (Европеец. Журнал И.В. Киреевского. 1832. М., 1989. С. 105—106).

[4] Речь идет об «Обществе любомудрия», существовавшем в Москве в 1824—1825 гг., членами которого были В.Ф. Одоевский (председатель), Д.В. Веневитинов (секретарь), И.В. Киреевский, А.И. Кошелев, А.С. Норов, Н.М. Рожалин, П.Д. Черкасский и др. (см.: *Цимбаев Н.И.* Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX в. М., 1986. С. 63—65; *Рудницкая Е.Л.* В поисках пути. (Начало философского осмысления судеб России) // В раздумьях о России (XIX век). М., 1996. С. 42—73).

[5] «*Мнемозина*» — литературный альманах, издававшийся в 1824—1825 гг. В.К. Кюхельбекером и В.Ф. Одоевским. Всего вышло четыре книжки.

В.Ф. Одоевский напечатал в «Мнемозине» «Афоризмы из различных писателей, по части современного германского любомудрия» (№ 2), статью «Секта идеалистско-елеатическая (Отрывок из Словаря истории философии)» (№ 4), аллегорию «Старики, или Остров Панхай» (№ 1) и др.; М.Г. Павлов поместил статью «О способах исследования природы» (№ 4).

[6] *«Телеграф»* — «Московский телеграф», журнал, издававшийся Н.А. Полевым (1825—1834); *«Московский вестник»* — журнал М.П. Погодина (1827—1830); *«Вестник Европы»* — журнал, основанный Н.М. Карамзиным в 1802 г., выходивший до 1830 г. (в 1811—1830 гг. его редактировал М.Т. Каченовский). Н.И. Надеждин сотрудничал в «Вестнике Европы» с 1828 г. (под псевдонимом Никодим Надоумко).

[7] «Это явление было давно подмечено Пушкиным («Мысли на дороге»): «ученость, любовь к искусству и талантам неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский. Московская критика с честью отличается от петербургской»» (Н.О. Лернер).

[8] Кружок Н.В. Станкевича сложился в 1831/1832 учебном году. Кроме перечисленных лиц в него входили: В.И. Красов, О.М. Бодянский, С.М. Строев, Я.М. Неверов, Я.И. Почека, М.А. Бакунин, В.П. Боткин, Т.Н. Грановский, А.А. Беер, П.Я. Петров, А.П. Ефремов (см.: *Анненков П.В.* Н.В. Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857; *Колюпанов Н.П.* Биография А.И. Кошелева. Т. 2. М., 1892. С. 42—50; *Манн Ю.* В кружке Станкевича. М., 1983). Увлечение философией Гегеля пришло к участникам кружка в 1836—1837 гг. и ими же было введено в моду. К началу 1840-х гг. мода на «гегельянство» достигла своего апогея. Как свидетельствовал И.В. Киреевский, «нет почти человека, который бы не говорил философскими терминами; нет юноши, который бы не рассуждал о Гегеле; нет почти книги, нет журнальной статьи, где незаметно бы было влияние немецкого мышления; десятилетние мальчики говорят о конкретной объективности» (*Киреевский И.В.* «Опыт науки философии». Сочинение Ф. Надеждина // Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 222). О русском гегельянстве см.: *Колубовский Я.Н.* [О русских гегельянцах] // Ибервег-Гейнце. История новой философии в сжатом очерке. СПб., 1890. С. 538—547; *Чижевский Д.И.* Гегель в России. Париж, 1939; Гегель и философия в России. М., 1974; *Абрамов А.И.* Гегель в России // Русская философия: Словарь. М., 1995. С. 109—110.

[9] *Непотизм* — предоставление должностей и льгот «своим людям».

[10] Вот эта эпиграмма:

Подлец по сердцу и из видов,
Душеприказчик старых баб,
Иван Иванович Давыдов,
Ивана Лазарева раб.
В нем грудь полна стяжанья мукой,

Полна расчетов голова,
И тащится он за наукой,
Как за Минервою сова.
Сквернит своим прикосновеньем
Науку Божию педант,
Так школьник тешится обедней,
Так негодяй официант
Ломает барина в передней.

(Русская эпиграмма (XVIII — начало XX в.). Л., 1983. С. 33; иной вариант см.: *Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 258—259. И.И. Лазарев — попечитель Института восточных языков, инспектором которого был Давыдов). Еще одну эпиграмму И.П. Клюшникова приводит К.С. Аксаков (*Аксаков К.С.* Воспоминания студентства 1832—1835 годов // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989. С. 323—324). Из других многочисленных эпиграмм на И.И. Давыдова приведем еще одну, неизвестного автора, относящуюся к 1860-м гг.:

Он при Уварове-французе
Жил с атеистами в союзе,
Из русских немцев идеал
За университет стоял.
Он при Ширинском, при монахе,
Ел просфоры, жил в Божьем страхе.
К заутрене ходил,
На Никитенку доносил.
Теперь, когда латынь и аллилуйя
Легли, сожрав друг друга, в гроб
И всей науке бреют лоб
....
Он стал доносчик богомерзкий,
На жизни русской светлый крин,
Науки русской сукин сын.

(Голос минувшего. 1919. № 1/4. С. 38; вариант см.: Русская эпиграмма (XVIII — начало XX в.). Л., 1983. С. 463).

[11] Статью Давыдова о книге Г.П. Павского «Филологические наблюдения над составом русского языка (Рассуждения 1—3)» (СПб., 1841—1842) см.: Москвитянин. 1843. № 2, 3.

[12] Речь идет о статье Ф.В. Буслаева «Материалы для русской грамматики. О местоимениях вообще и о русских в особенности» (Москвитянин. 1845. Ч. II. № 2). Цитируемый Галаховым выпад Буслаева был помещен в статье в качестве «грамматического примера» (другой «пример» этого же рода выглядел так: «От его дружбы ожидай себе больше зла, чем от его неприязни»). О конфлик-

те Буслаева и Давыдова см.: *Бобров Е.А.* И.И. Давыдов и Ф.И. Буслаев // Бобров Е.А. Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки. Т. 2. Казань, 1901.

[13] С.М. Соловьев свидетельствовал: «Строганов <...> заместил кафедры новоприбывшими из-за границы учеными; отсюда понятно, что он связывал свое дело неразрывно с делом последних, которые нашли в нем покровителя и проводителя их мыслей и планов; отсюда понятно, как он смотрел на эти остатки старины — на Погодина, Шевырева, Давыдова; он держал их в университете по авторитету, какой они успели приобрести, и по неимению людей, которыми бы можно было их заменить. <...> Он их раскусил с первого раза и возненавидел их, как людей, он начал презирать Давыдова, из-за ордена и чина готового на всякую гнусность; Шевырева — как человека мелкого и вместе задорного, несносного; Погодина — как корыстолюбивого, грязного холопа и вместе с тем дерзкого, надменного. <...> Трое этих господ, с придачею еще четвертого, Перевощикова, преподавателя очень способного, но человека грубого, не умевшего разбирать средства для достижения целей, видя отвращение от себя попечителя, бросились к министру Уварову, врагу Строганова» (*Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 266—267).

[14] О давней неприязни Строганова и Уварова, имевшей семейные корни, см.: *Чичерин Б.Н.* Москва сороковых годов // Русское общество 40—50-х годов XIX в. Ч. II. Воспоминания Б.Н. Чичерина. М., 1991. С. 25; *Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 268.

[15] См.: [*Давыдов И.И.*] Село Поречье // Москвитянин. 1841. № 9; впоследствии Давыдов еще обращался к этой теме: [*Давыдов И.И.*] Академические беседы в 135 верстах от Москвы // Москвитянин. 1844. № 10; *И.Д.* [Давыдов И.И.]. Думы и впечатления // Москвитянин. 1846. № 9—10. Об «Академических беседах» в Поречье, гостями которого бывали кроме Давыдова М.П. Погодин, С.П. Шевырев, И.Т. Спасский и др., см.: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 6. СПб., 1892. С. 147—149. См. также: *Гуренок М.К.* Поречье Уваровых // Исторический музей — энциклопедия отечественной истории и культуры. М., 1997. С. 89—99. А.В. Никитенко свидетельствовал: «Давыдов особенно завоевал его [Уварова] сердце статьею о Поречье, деревне Уварова, — статьею до того льстивою, что она насмешила всех в Петербурге, где нравы не так уже наивны, как в Москве» (*Никитенко А.В.* Дневник. Т. 1. Л., 1955. С. 243).

[16] Анекдот о разговоре гр. С.Г. Строганова с Е.Ф. Коршем несколько иначе рассказан А.И. Герценом («Былое и думы». Ч. 4. Гл. 3).

[17] здесь: в дополнение (*фр.*).

[18] О Платоне Степановиче Нахимове, инспекторе Московского университета (1834—1848), сохранилось много умиленно-благодарных воспоминаний (А.Н. Афанасьева, Н.А. Попова, Я.П. Полонского и др.). Б.Н. Чичерин писал

о нем: «Это была чистейшая, добрейшая и благороднейшая душа, исполненная любви к вверенной его попечению молодежи. Тихий и ласковый, он был истинным другом студентов, всегда готовый прийти к ним на помощь, позаботиться об их нуждах, защитить их в случае столкновений. <...> Про Платона Степановича ходило множество анекдотов, как студенты его обманывали и как он поддавался обману. Но поддавался он нарочно, по своему добросердечию, потому что не хотел взыскивать строго с молодых людей, а предпочитал смотреть сквозь пальцы на их юношеские проделки. Иногда он отворачивался, когда встречал студента в слишком неряшливом виде. Когда же случалась в университете история, он призывал к себе лучших и разумнейших студентов и ласково уговаривал их, чтобы они старались собственным влиянием на товарищей положить ей конец» (Русское общество 40—50-х годов XIX в. Ч. II. Воспоминания Б.Н. Чичерина. М., 1991. С. 28).

[19] Реминисценция из стихотворения Пушкина «Ты и вы» («Пустое вы сердечным ты // Она, обмолвясь, заменила...»).

[20] «Русский вестник» издавался М.Н. Катковым при участии П.М. Леонтьева с 1856 г.

[21] *Д.Л. Крюков*, профессор римской словесности и древностей с 1835 г., занимал в кружке «молодых профессоров» Московского университета 1830-х гг. то же ведущее место, что позднее занял Т.Н. Грановский, и имел сходное научное и нравственное влияние на студентов (среди которых были А.А. Григорьев, Я.П. Полонский, А.А. Фет). С.М. Соловьев вспоминал о нем: «Крюков, можно сказать, бросился на нас, гимназистов, с огромною массою новых идей, с совершенно новою для нас наукою, изложил ее блестящим образом и, разумеется, ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и потом посеял хорошими семенами, за что и вечная ему благодарность» (*Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 260). Именно вокруг Крюкова сложился тот кружок единомышленников, который к середине 1840-х гг. стал известен как кружок московских западников.

[22] *«Отечественные записки»* издавались в 1818—1830 гг. под редакцией П.П. Свиньина; в 1839 г. были возрождены А.А. Краевским. Наиболее яркий период существования журнала —1839—1846 гг., когда в нем сотрудничали В.Г. Белинский, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А.И. Герцен и др. С 1847 г. ряд ведущих сотрудников журнала во главе с Белинским перешли в «Современник» (который с этого года стали редактировать Н.А. Некрасов и И.И. Панаев), и вскоре он стал самым популярным русским журналом.

[23] В 1845 г. фактическим редактором «Москвитянина» стал И.В. Киреевский, успевший опубликовать в нем «Обозрение современного состояния словесности» (1845. № 1—3) и несколько рецензий, но вскоре, из-за разногласий с Погодиным, покинувший журнал (под редакцией Киреевского вышло

всего три книжки). Другими «представителями славянофильства» в журналистике были: «Синбирский сборник» (Т. 1. М., 1845), «Сборник исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных» (М., 1845) и «Московский литературный и ученый сборник» (М., 1846, 1847, 1852; см.: *Егоров Б.Ф.* Неопубликованная рецензия А.Д. Галахова на «Московский сборник» 1852 года // Научные труды Куйбышевского гос. пед. ин-та. 1974. Т. 136. С. 34—43). О периодических изданиях славянофилов см.: *Пирожкова Т.Ф.* Славянофильская журналистика. М., 1997.

[24] Воспоминания А.Я. Панаевой были впервые напечатаны в «Историческом вестнике» 1889 г. (№ 1—11), то есть за три года до появления настоящего очерка Галахова.

[25] Цитируется «Акафист блаженному борзописцу Василию [Боткину], литературы ради юродивому» (1852) (*Щербина Н.Ф.* Избранные произведения. Л., 1970. С. 258).

[26] Отец В.П. Боткина Петр Кононович, купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, в начале XIX в. основал чаеторговое дело (с 1854 г. «Торговый дом Петра Боткина сыновей»).

[27] Пансион Ф.И. Кистера был популярен в Москве 1820-х гг., здесь, между прочим, учился Т.Н. Грановский; однако В.П. Боткин окончил другой частный пансион — В.С. Кряжева.

[28] «Письма об Испании» Боткина печатались в «Современнике» в 1847—1851 гг.; вышли отдельным изданием в 1857 г. (см. современное научное издание: *Боткин В.П.* Письма об Испании. Л., 1976).

[29] В.П. Боткин опубликовал в «Современнике» переводы очерков Т. Карлейля из цикла «Герои, культ героев и героическое в истории»: «О героях и героическом в истории» (1855. № 10); «Героическое значение поэта. Дант. Шекспир» (1856. № 1, 2).

[30] Разбор «Стихотворений» А. Фета (СПб., 1856) был помещен В.П. Боткиным в «Современнике» (1857. № 1). Статей, специально посвященных творчеству Н.А. Некрасова, Боткин не писал.

[31] *Тороватый* — щедрый.

[32] *Предилекция* — предвзятость.

[33] Имеется в виду издание: *Панаева А.Я.* Воспоминания. Русские писатели и артисты. СПб., 1890.

[34] См.: *Пыпин А.Н.* Белинский, его жизнь и переписка. Т. 1—2. СПб., 1876.

[35] Имеются в виду «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина. Об источниках книги см.: *Сиповский В.В.* Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899. С. 247—295.

[36] Так называемые «Письма Д.И. Фонвизина из второго заграничного путешествия». См.: *Фонвизин Д.И.* Собрание сочинений. Т. 2. М.; Л., 1959. С. 412—

495. Об их источниках см.: *Стричек А.* Денис Фонвизин. Россия эпохи Просвещения. М., 1994. С. 420—422.

[37] Об источниках «Писем об Испании» В.П. Боткина см.: *Звигильский А.* Творческая история «Писем об Испании» и отзывы о них современников // Боткин В.П. Письма об Испании. Л., 1976. С. 289—292.

[38] Эта эпиграмма впервые была опубликована в «Новом времени» (1880. 23 мая) и тогда же вызвала реплику П.В. Анненкова (в письме к М.М. Стасюлевичу от 25 мая 1880): «Помой очень много вылито на Вас и на меня пакостниками Н[ового] В[ремени]. Я полагаю, что эпиграмма на меня, живущего только для брюха, сочинена в редакции и Некрасову принадлежать не может. <...> А впрочем, может быть, и он состряпал — таков был человек. Если эпиграмма подлинная, то вероятно скропана она была тогда, когда он занимался ограблением Белинского или когда задумал он оттянуть 500 душ от Огарева. Я не воздерживался от черствоты мысли и слова при этих случаях, а фуражки — ей богу — никогда не носил. Это напраслина» (М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 3. СПб., 1912. С. 387).

[39] В «Отечественных записках» были опубликованы «Письма из-за границы» П.В. Анненкова (1841. № 3—12; 1842. № 1—9; 1843. № 4), а «Парижские письма» печатались в «Современнике» в 1847—1848 гг. (см. современное научное издание: *Анненков П.В.* Парижские письма. М., 1983).

[40] См.: *Станкевич Н.В.* Переписка его и биография, написанная П.В. Анненковым. М., 1857.

[41] См.: *Чернышевский Н.Г.* Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася» // Атеней. 1858. № 18; *Анненков П.В.* О литературном типе слабого человека. (По поводу рассказа г-на Тургенева «Ася») // Атеней. 1858. № 32.

[42] См.: *Анненков П.В.* Воспоминания и критические очерки. 1849—1868. Т. 1—3. СПб., 1877—1881.

[43] Стиль — это человек (*фр.*).

[44] См.: *Пушкин А.С.* Сочинения. Т. 1—7. СПб., 1855—1857 (первое научное издание); *Анненков П.В.* Материалы для биографии А.С. Пушкина. СПб., 1855; *Анненков П.В.* Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874.

[45] В 1874 г. по просьбе А.Н. Пыпина, в связи с его работой над биографией Белинского, Галахов написал следующие воспоминания о Белинском, содержащие некоторые факты и сведения, отсутствующие во включенных в данное издание воспоминаниях Галахова:

«Первый раз я увидал Белинского у одного из моих товарищей по университету, Николая Семеновича Селивановского, сына известного в свое время московского типографщика. Это было в 1835 или 1836 г., когда Белинский жил у Надеждина. Кроме Белинского на вечере у Селивановского находились Н.А. Полевой и А.Ф. Вельтман.

Потом встречался я с Белинским у В.П. Боткина и в книжной лавке Н.Н. Улитина, куда заходили и П.И. Артемьев и Савельев-Ростиславич для чтения новых нумеров «Литературных прибавлéний» на 1837-й год, с которого я начал свое заочное знакомство с Краевским и сотрудничество в его издании. После небольшого отчета моего о «Грамматике» («Литературные прибавления» 1837 г., № 36 и 37) знакомство между нами усилилось.

Когда же Белинский принял на себя в 1838 г. редакцию «Московского наблюдателя», на четвертый год существования этого журнала, начавшегося в 1835 году, тогда и он, и некоторые его сотрудники приходили иногда в кофейную, которую содержал Бажанов, тесть известного трагического актера Мочалова, и которой я был частым посетителем, наравне с другими сотрудниками журналов, некоторыми учителями и актерами, так как эта кофейная помещалась в центре города — против присутственных мест, позади Охотного ряда. Цель сходок была прочитать новые журналы и потолковать о тех и о других статьях их. Здесь-то впервые увидал я Бакунина, автора философической статьи, помещенной или в первом, или в одном из первых номеров «Наблюдателя» за 1838 г., и Ефимовича, молодого уланского офицера, тоже занимавшегося философией и печатавшего свои философские статьи (очень неважные) в «Наблюдателе» как 1838 и 1839 гг., так и прежних лет, до издания его Белинским. Статья Бакунина произвела впечатление — на одних же, любителей немецкой науки, очень приятное, на других же, противников всякой трудности содержания и научной терминологии, непривычной их слуху, очень неприятное. Булгарин старался осмеять ее (в «Северной пчеле»), а московский актер и водевилист Ленский, обладавший даром остроты, сложил на нее экспромтом эпиграмму. Осушив бутылку шампанского и держа ее в руках пустую, он произнес перед нами:

В смысле — так, не философском —
С чем тебя сравню я?..
В «Наблюдателе» московском
Философская статья.

Стихам этим смеялись, а Булгарину Белинский отвечал «Журнальной заметкой» («Сочинения» Белинского, ч. 2, с. 461).

Издателем «Московского наблюдателя» на 1838 г. был типографщик Степанов, у которого он и печатался. За редакцию платил он Белинскому, если не ошибаюсь, 1000 руб. в год (по 80-ти с чем-то в месяц). По крайней мере знаю, что когда по смерти Степанова думал взять издание журнала Улитин (но не взявший его однако), то он назначал за месяц 80 руб. Это я слышал от самого Улитина.

Сделавшись редактором, Белинский предался своему делу так усердно, как он обыкновенно предавался по своему увлечению и добросовестности. Он

ожидал успеха своему изданию, преданному интересам знания (преимущественно немецкого) и искусства. Но подписка на «Московский наблюдатель» 1839 года показала ему своею скудностью, что он напрасно надеялся. Публика имела уже любимый журнал — «Библиотеку для чтения»; другая, меньшая часть публики, подписывалась на «Отечественные записки» и другие петербургские журналы. Белинский увидал, что гонорарий его, как издателя «Московского наблюдателя», мал, и что от издания его остается еще немало времени, которое он может посвятить другим литературным работам. Тогда-то (это было в июне 1839 г.) он вызвался делить со мною отчеты о московских книгах в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и в «Отечественных записках». Я был очень рад такому вызову, потому что эта журнальная работа производилась мною сообща с М.Н. Катковым, кончавшим или уже кончившим курс в Московском университете. Вдвоем мы не успевали справляться со всеми книгами и книжонками. Таким образом, сотрудничество Белинского в двух означенных петербургских периодических изданиях началось со второй половины 1839 г.

Нововыходящие книги в Москве получал я в месяц раз или два из цензурного комитета при Московском университете. Некоторые, кроме того, собирал у московских книготорговцев. Получив, делил их на три части по числу сотрудников (меня, Каткова и Белинского). Каждый писал частию в «Литературные прибавления», частию в «Отечественные записки», но так, что писавший о какой-нибудь книге в одно издание, не писал уже о ней в другое, а передавал другому сотруднику.

Все получаемые мною книги я вносил в реестр, с обозначением, какие именно книги переданы какому сотруднику и куда он о них пишет. Реестры эти сохранились у меня.

Отъезжая в конце 1839 г. в Петербург, Белинский рекомендовал мне на свое место П.Н. Кудрявцева, бывшего еще студентом. С ним мы и остались вдвоем, после того, как Катков летом 1840 г. уехал за границу».

(Печатается по: *Боград В.Э.* Журнал «Отечественные записки». 1839—1848: Указатель содержания. М., 1985. С. 394—396).

[46] *«Литературные мечтания»* — первое крупное критическое сочинение Белинского (Молва. 1834. № 38—52).

[47] См.: Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития, с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и жизнеописаний знаменитых людей, издаваемое Августом Семеном. М., 1835—1844. Н.А. Полевой взялся составлять это компилятивное иллюстрированное издание после запрещения «Московского телеграфа» в 1834 г.

[48] О субботних вечерах у Н.С. Селивановского, которые посещали В.П. Боткин, А.Ф. Вельтман, Н.Х. Кетчер, Н.А. Полевой, М.С. Щепкин и др., см. примеч. 11 к гл. VII.

[49] См. мемуарный очерк Галахова «Литературная кофейня в Москве в 1830–1840 годах» в настоящем издании.

[50] См.: *Аксаков К.С.* О грамматике вообще (по поводу грамматики В.Г. Белинского) // Московский наблюдатель. 1839. № 1. С. 1–26.

[51] В.Г. Белинский редактировал «Московский наблюдатель» в 1838–1839 гг. В это время в журнале были помещены повести П.Н. Кудрявцева «Одни сутки из жизни старого холостяка» (1838. Март, кн. 1) и «Флейта» (1839. Январь, кн. 1).

[52] О конфликте, связанном с переходом ряда сотрудников «Отечественных записок» в «Современник» см.: *Евгеньев-Максимов В.Е.* «Современник» в 40–50 гг. Л., 1934. С. 23–78; *Мельгунов Б.В.* Некрасов-журналист. Л., 1989. С. 65–82. Ниже Галахов излагает письмо Белинского к В.П. Боткину от 4–8 ноября 1847 г., где, между прочим, говорится: «В деле твоего участия в «Отечественных записках» мне уже следует коситься не на одного тебя: Кавелин и Грановский как будто уговорились с тобою губить «Современник», отнимая у него, своим участием в «Отечественных записках», возможность стать твердо на ноги. <...> Нам желают всевозможных успехов, но жалеют и Краевского! О добрые, чувствительные, сострадательные души! Как глубоко вникли они в мысль писания: блажен кто и скоты милует! Ай да Галахов – молодец! То-то, я думаю, доволен, то-то смеется! И «Отечественным запискам» помог, следовательно, и самому себе, и умных людей заставил поступить по-своему. И как было не надавать Краевскому статей? Галахов кланялся, ползал, плакал, умолял, хлопоча о своем отце и командире, благодетеле и покровителе, кормильце и милостивце! Форма пошла и гадка, но сущность поступка Галахова разумна. Ему в «Современнике» не может быть ни на столько работы, как в «Отечественных записках», ни такой, как в них, роли. Там он теперь первый и главный; у нас всегда был бы одним из нескольких» (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956. С. 403–422).

[53] Галахов принимал участие в подготовке «Сочинений» Белинского в 12 т. (М., 1859–1862), изданных под ред. Н.Х. Кетчера. В начале работы над «Сочинениями» М.Н. Лонгинов составил для них список произведений критика, опубликованных в «Молве», «Телескопе», «Московском наблюдателе», «Отечественных записках» и «Петербургском сборнике» (кроме «Современника»). Всего в список было включено 164 работы (см. ИРЛИ. Ф. 250. Оп. 1. № 259). Н.Х. Кетчер нашел список Лонгинова неполным и передал его Галахову для доработки. Галахов пополнил список, кое-что посчитал сомнительным, но и галаховский перечень работ Белинского оказался неполон. См.: *Боград В.Э.* Журнал «Отечественные записки». 1839–1848: Указатель содержания. М., 1985. С. 13.

[54] «Галахов возбудил вопрос о пенсии семье Белинского в комитете Литературного фонда 15 января 1860 г. В это время М.В. Белинская служила касте-

ляншей в московском Александровском училище, получала около 11-ти рублей в месяц и ютилась вместе с 14-летней дочерью в холодной и сырой комнате. Назначенную ей пенсию в 600 руб. она получала до 1865 г., когда сама отказалась от половины ее, а половину продолжала получать до самой смерти в 1890 г.» (Н.О. Лернер).

[55] Сохранилось несколько документов, характеризующих личные отношения Галахова и И.С. Тургенева. В 1860 г. Тургенев обращался к Галахову и А.А. Краевскому с «Проектом программы общества для распространения грамотности и первоначального образования». Когда в 1868 г. Галахов овдовел, Тургенев поручил П.В. Анненкову передать свои соболезнования. Следствием этого стала короткая переписка Галахова с Тургеневым 1868—1869 гг.; в письме от октября 1869 г. Тургенев благодарил Галахова за некоторые дополнения к его «Воспоминаниям о Белинском». Эти дополнения Тургенев вскоре использовал в своих «Литературных и житейских воспоминаниях» (см.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 8. М., 1965. С. 87—88). Несколько писем Галахова к Тургеневу хранятся в Парижской национальной библиотеке.

[56] Речь идет о К.Н. Леонтьеве, известном публицисте и прозаике. О споре Тургенева с В.П. Боткиным из-за Леонтьева см.: *Анненков П.В.* Литературные воспоминания. М., 1983. С. 384. См. также: *Леонтьев К.Н.* Мои дела с Тургеневым и т.д. (1851—1861) // Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 9. СПб., 1914. С. 69—113.

[57] Этим офицером был поэт К.К. Случевский, творчеством которого Тургенев очень увлекался, объявив его в начале знакомства «будущим великим писателем» (*Анненков П.В.* Литературные воспоминания. М., 1983. С. 384). Впоследствии Тургенев охладел как к Случевскому, так и к Леонтьеву. См.: *Случевский К.К.* Одна из встреч с Тургеневым (Воспоминания) // Случевский К.К. Новые повести. СПб., [1904]. С. 95—107.

[58] Уехав за границу в 1838 г., Тургенев слушал в Берлинском университете лекции профессора К. Вердера, ученика Гегеля.

[59] Сохранились в пересказе сюжеты нескольких детских сказок Тургенева (см.: *Полонский Я.П.* И.С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину // Полонский Я.П. Проза. М., 1988. С. 438—445; *Иванов И.И.* И.С. Тургенев. Нежин, 1914. С. 87—89).

[60] В письме к П. Виардо от 24 ноября/6 декабря 1850 г. Тургенев писал: «Мать моя в последние свои минуты не думала ни о чем, как (стыдно сказать) о разорении нас, меня и брата. В последнем письме, написанном ею своему управляющему, она давала ему ясный и точный приказ продать все за бесценок, поджечь все, если бы это было нужно» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 2. М., 1987. С. 370).

[61] Речь идет о поваре Степане, купленном за тысячу рублей, который был очень привязан к Тургеневу и даже отказался от предложенной ему вольной (см.:

И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1983. С. 161, 463).

[62] Устные рассказы П.М. Садовского неоднократно записывались, но вместе не были собраны. Некоторые рассказы упоминаются Галаховым выше (см. гл. IX настоящего издания), другие можно найти в воспоминаниях Н.В. Берга (Русская старина. 1884. № 6, 10) и в романе А.Ф. Писемского «Масоны» (Ч. 4. Гл. 10).

[63] И.А. Гончаров 30 января 1859 г. писал В.П. Боткину о «Дворянском гнезде»: «Тургеневская повесть делает фурор, начиная от дворцов до чиновничьих углов включительно» (*Гончаров И.А.* Собр. соч. Т. 8. М., 1955. С. 305). О читательском успехе «Дворянского гнезда» см. также свидетельства П.В. Анненкова (Литературные воспоминания. М., 1983. С. 416) и Н.И. Свешникова (Воспоминания пропащего человека. М., 1996. С. 179).

[64] Повесть Д.В. Григоровича «Антон Горемыка» была впервые напечатана в «Современнике» (1847. № 11).

[65] «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым» или, иначе, Литературный фонд, было основано в 1859 г. по инициативе А.В. Дружинина и при участии К.Д. Кавелина, А.П. Заболоцкого-Десятовского, А.В. Никитенко, Е.П. Ковалевского, И.С. Тургенева, Галахова, С.С. Дудышкина, Е.И. Ламанского, Н.Г. Чернышевского, П.В. Анненкова и А.А. Краевского. Ставило целью «вспомоществовать нуждающимся осиротевшим семействам литераторов и ученых и самим литераторам и ученым, которые по преклонности лет или по каким-либо другим обстоятельствам находятся в невозможности содержать себя собственными трудами». Капитал общества составлялся за счет пожертвований, регулярных взносов, издательской деятельности, проведения платных чтений и т.д. Общество выплачивало как единовременные пособия, так и пожизненные пенсии.

[66] В этом чтении участвовали Я.П. Полонский, А.Н. Майков, В.Г. Бенедиктов, Н.А. Некрасов, Б.М. Маркевич, но И.С. Тургенев имел наибольший успех. Когда он вышел на эстраду, «уста, руки, ноги громко гремели во славу его <...> Такой же взрыв рукоплесканий, как при встрече, и проводил его» (*Штакеншнейдер Е.А.* Дневник и записки. М.; Л., 1934. С. 246).

[67] Под фамилией Ворошилова (у Галахова ошибка: Воротилов) Тургенев вывел в «Дыме» поэта К.К. Случевского.

[68] При первой публикации в газете «Голос» эта эпиграмма была приписана «одному из наших ветеранов-поэтов» (Голос. 1867. № 124), что было воспринято читателями именно как намек на П.А. Вяземского, являвшегося автором целого ряда эпиграмм на Тургенева (свод их см.: *Бельчиков Н.Ф.* Тургенев и Вяземский. История личных отношений // Документы по истории литературы и общественности. Вып. 2. И.С. Тургенев. М.; Пг., 1923. С. 16—17). В дальнейшем эпиграмма была атрибутирована Ф.И. Тютчеву (*Мордовченко Н.* Неизвестный экспромт Ф.И. Тютчева (по поводу повести Тургенева «Дым») //

Звезда. 1929. № 9. С. 202—203). В «Полном собрании стихотворений» Тютчева (Л., 1957. С. 282) напечатана в таком виде:

«И дым отечества нам сладок и приятен!» —
Так поэтически век прошлый говорит.
А в наш — и сам талант все ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом он отечество коптит!

[69] Публичное чтение отрывка из «Дыма» состоялось 29 марта 1867 г. (см.: *Клеман М.К.* Летопись жизни и творчества И.С. Тургенева. М.; Л., 1934. С. 164).

[70] Речь идет об И.П. Арапетове, публицисте, чиновнике министерства уделов, члене Редакционных комиссий по крестьянскому вопросу. Он был университетским товарищем А.И. Герцена, приятельствовал с К.Д. Кавелиным, И.И. Панаевым, В.П. Боткиным и др. Приводимая эпиграмма была написана Тургеневым совместно с Н.А. Некрасовым и А.В. Дружининым. В 1881 г. Тургенев рассказывал Я.П. Полонскому, что Арапетов так рассердился на него за эпиграмму (вероятно, эту), что много лет с ним не раскланивался (см.: И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1983. С. 369).

[71] Имеется в виду поэт А.А. Фет, получивший в 1873 г. право на ношение фамилии своего отца А.Н. Шеншина. В декабре 1874 г. И.С. Тургенев писал ему: «...как Фет, вы имели имя, как Шеншин, вы имеете только фамилию» (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 10. М.; Л., 1965. С. 339).

[72] Фет пишет, что эта эпиграмма была опубликована в «Новом времени» в такой форме:

Как с неба свет,
Как снег с вершин,
Исчезнул Фет
И встал Шеншин.

(*Фет А.А. Мои воспоминания. Ч. 2. М., 1890. С. 283*).

[73] Речь идет о статье Е.Л. Маркова «Тургенев и гр. Л.Н. Толстой в основных мотивах своего творчества» (Голос. 1876, 15—23 дек.; 1877, 26 янв. — 14 февр.).

[74] См.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 7. М.; Л., 1964. С. 206.

[75] Рецензия И.С. Тургенева на роман Е. Тур «Племянница» была помещена в «Современнике» (1852. № 1), и, во всяком случае, недоброжелательной ее не назовешь: «...упомянем о чувстве, с которым мы положили из рук ее книгу. Это чувство было теплое, симпатическое: эта книга написана сердцем и говорит сердцу. От нее веет чем-то благородным, искренним, горячим». «Надеемся, что г-жа Тур, ободренная успехом, который несомненно ждет ее «Пле-

мянницу», не остановится на поприще, так прекрасно ею начатом» и т.п. (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. Т. 4. М., 1980. С. 489—490).

[76] См.: *Панаева А.Я.* Воспоминания. М., 1986. С. 223.

[77] *«Свисток»* — сатирическое приложение к «Современнику» (1859—1863), основанное Н.А. Добролюбовым (он же был там основным автором). См. современное научное издание: Свисток. М., 1981.

[78] Автор этой эпиграммы неизвестен. См.: Русская эпиграмма (XVIII — начало XX в.). Л., 1988. С. 464, 655.

[79] Возможно, имеется в виду стихотворение «Напутственное послание к некоему бессеребреннику и московскому книгочию, старцу Михаилу Погодину, отправляющемуся на казенный счет изучать монголов — на месте» (см.: *Щербина Н.Ф.* Избранные произведения. Л., 1970. С. 262—263).

[80] Эту эпиграмму с разночтением (2-й стих: «Он младенец зрелых лет») см.: *Щербина Н.Ф.* Избранные произведения. Л., 1970. С. 292.

[81] *Пауперизм* — нищета трудящихся.

[82] См.: *Эмин Ф.* Путь к спасению, или Разные набожные размышления, в которых заключается нужнейшая к общему знанию часть богословия. СПб., 1780. В дальнейшем эта духовно-назидательная книга многократно переиздавалась.

[83] *«Покоящийся трудолюбец»* — журнал, издававшийся Н.И. Новиковым в 1784—1785 гг.

[84] «Это было сказано об А.А. Краевском» (Н.О. Лернер).

[85] Имеется в виду эпиграмма «Вопросы спиритов» (1865):

Возвести нам, дух Фаддея,
Откровения свои:
Кто продажнее Андрея
И гнуснее Илии?
И Фаддей, незримо вея,
Начертал слова сии:
«Нет продажнее Андрея,
Нет гнуснее Илии».

(Русская эпиграмма (XVIII — начало XX в.). Л., 1988. С. 400; Фаддей — Ф.В. Булгарин, Андрей — А.А. Краевский, Илия — И.А. Арсеньев).

[86] Речь идет о Е.П. Ростопчиной.

[87] *Стратагема* — военная хитрость.

[88] Этот эпизод послужил сюжетом для карикатуры Н.А. Степанова, помещенной в альбоме «Знакомые. Рисунки Н.А. Степанова» (СПб., 1857). Она называлась «Чтение драмы в пяти актах с интермедией, прологом и эпилогом под названием “Неистовый Якута и влюбленная маркиза, или Катакомба на Чукотском носу”».

[89] И.А. Гончаров вернулся из кругосветного путешествия, описанного им в книге «Фрегат «Паллада»» (Т. 1–2. СПб., 1858), в начале 1855 г.

[90] «Что ему книга последняя скажет, // То на душе его сверху и ляжет. // Верить, не верить — ему все равно, // Лишь бы доказано было умно» (*Некрасов Н.А.* Саша. Гл. 4).

[91] См.: Пчела. Сборник для народного чтения и для употребления при народном обучении. Сост. Н. Щербина. М., 1865. Впоследствии вышло несколько переизданий. См.: *Лернер Н.О.* Н.Ф. Щербина // Исторический вестник. 1906. № 10. С. 226–227.

[92] Отец П.Н. Кудрявцева — Николай Семенович — сначала был священником московской церкви Покрова на Лыщиковой горе, а затем кладбищенской церкви Данилова монастыря.

[93] Это письмо Белинского, по всей видимости, утрачено.

[94] См. в современном издании: *Анненков П.В.* Литературные воспоминания. М., 1983. С. 263.

[95] См.: *Нестроев А.* [Кудрявцев П.Н.]. Без рассвета // Отечественные записки. 1847. № 2 (см. современное издание: Живые картины. Повести и рассказы писателей «натуральной школы». М., 1988. С. 184–234).

[96] Так называлась диссертация П.Н. Кудрявцева, защищенная в декабре 1849 г. (издание: М., 1850).

[97] Ученик Грановского и Кудрявцева, известный историк К.Н. Бестужев-Рюмин вспоминал: «Изложение Кудрявцева значительно отличалось от изложения Грановского: оно было фактичнее, а главное — изобиловало психологическим анализом. <...> С этой стороны любопытны и его повести; любопытны они и грустно-романтическим настроением, так характеристичным для Кудрявцева, который никогда не смеялся, а как-то тихо улыбался. У нас привыкли считать Грановского каким-то главою западников. Это неправда: Грановский, живой и бодрый, был гораздо более русским человеком, чем отвлеченный романтик Кудрявцев, видевший в истории преимущественно культурную сторону, высоко ставил европейское просвещение и мало ценил русские особенности» (*Бестужев-Рюмин К.Н.* Воспоминания. СПб., 1900. С. 23–24).

[98] В.А. Кудрявцева умерла во время поездки в Италию в марте 1857 г. Ее смерть потрясла Кудрявцева: он впал в отчаяние и через несколько месяцев умер от скоротечной чахотки.

[99] Из писем Кудрявцева к Галахову (1857 г.). См. настоящее издание, с. 278, 281.

[100] М.П. Погодину посвящены статьи Галахова: М.П. Погодин // Русский вестник. 1889. № 8. С. 129–145; О М.П. Погодине // Русский вестник. 1891. № 4. С. 245–250.

[101] Погодин был сыном вольноотпущенника, бывшего крепостного, и родился за шесть лет до обретения отцом воли, тем не менее всегда говорил, что происходит из обер-офицерских детей (его отец позднее служил в Московской управе благочиния). См.: *Петров Ф.А.* М.П. Погодин и создание кафедры российской истории в Московском университете. М., 1995. С. 7.

[102] *Тускулума* — здесь: загородное имение (Tusculanum (*лат.*) — поместье Цицерона, располагавшееся близ города Тускула). «Поречье — Тускулума графа Уварова» — расхожий литературный оборот 1840-х гг. (см., например: *С.* [Шевырев С.П.]. Московская летопись // Москвитянин. 1841. № 8. С. 569).

[103] «Московский вестник» — журнал, издававшийся в 1827—1830 гг. М.П. Погодиным при участии литераторов круга «любомудров» — Д.В. Веневитинова, С.П. Шевырева, А.С. Хомякова, И.В. и П.В. Киреевских и др.

[104] Дом кн. П.И. Тюфякина на Большой Мясницкой ул. имел № 284 по Мясницкой части (современная нумерация не установлена). О сплетнях, ходивших по поводу покупки Погодиным дома Тюфякина, см.: *Бобров Е.А.* Литература и просвещение в России XIX в. Т. 2. Казань, 1901. С. 183—186.

[105] В этом альманахе Галахов поместил «Письмо из Москвы о заведении призрения бедных сирот». Рецензию см.: Телескоп. 1831. № 4. С. 575 («Письмо о заведении призрения бедных сирот А. Галахова <...> было бы занимательнее, если б заключало в себе поболее подробностей и поменее фраз. Благородный подвиг московских дам, основавших сие заведение, не имеет нужды в риторических панегириках: его б следовало только показать, а не расписывать»).

[106] См.: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 2. СПб., 1889. С. 123; Кн. 4. СПб., 1891. С. 182.

[107] А.И. Герцен написал пародию на книгу М.П. Погодина «Год в чужих краях» под названием «Путевые записки г. Вёдрина» (Отечественные записки. 1843. № 11).

[108] Рецензию Н.А. Полевого на «Год в чужих краях» М.П. Погодина см.: Библиотека для чтения. 1844. № 7.

[109] В своей рецензии Галахов писал: «Стыдно и жалко признаться, а мы должны же сказать откровенно, что в книге г. Погодина есть 440 страниц бумаги и больше ничего нет в ней. <...> Чем же наполнены четыре части его путешествия, как не мелочами и частностями, из которых одни относятся, а другие не относятся к нему лично? В них больше говорится о том, чего автор не видел, нежели о том, что он видел, больше заметок о том, что бы надобно было сделать, нежели указаний того, что сделано. Ничего нового, интересного, ничего возбуждающего сочувствие, что бы заставило печально задуматься, что бы сорвало улыбку или отозвалось страхом! Нет места, которое захотелось бы перечитать снова. Везде равнодушие, пустота, мелочность» (Отечественные записки. 1844. № 9. Отд. 6. С. 20—21).

[110] По справедливому замечанию биографа Погодина Н.П. Барсукова, «в то время (летом 1844 г. — *В.Б.*) Погодин был уже в отставке и прикован был к одру болезни, следовательно, не мог с кафедры излагать свои сетования на несправедливый отзыв о его книге рецензентов» (*Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Кн. 7. СПб., 1893. С. 386).

[111] *Выпускная яичница* — глазунья.

[112] В основе этого анекдота лежит комически заостренный эпизод из 4-й части «Года в чужих краях» (М., 1844. С. 164).

[113] М.П. Погодин защитил свою магистерскую диссертацию «О происхождении Руси» 11 марта 1825 г. (издание: М., 1825).

[114] анфас, спереди (*фр.*).

[115] Слова французского публициста Эмиля де Жирардена «Sans unité point d'ordre, désordre, contre-ordre» («Без единства нет порядка, а есть беспорядок, хаос») (*фр.*).

[116] Возможно, С. Сераковский был автором помещенного в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1860. № 67, 25 марта) «Отчета о диспуте гг. Погодина и Костомарова 19-го марта 1860 г.», подписанного С.С.

[117] Карикатура Н.А. Степанова была помещена в журнале «Искра» (1860. № 13).

[118] См. помещенную без подписи статью: Голос. 1864. № 32.

[119] О диспуте между Погодиным и Костомаровым, состоявшемся 19 марта 1860 г. и вызвавшем широкий общественный резонанс (свод откликов в периодике см.: *Венгеров С.А.* Источники словаря русских писателей. Т. 3. Пг., 1914. С. 214—215), сохранилось много воспоминаний: *Костомаров Н.И.* Литературное наследие. СПб., 1890. С. 115—116; *Скабичевский А.М.* Литературные воспоминания. М., 1928. С. 118; Записки гр. М.Д. Бутурлина // Русский архив. 1898. № 10. С. 183—184; *Юнге Е.Ф.* Воспоминания (1843—1860 гг.). М., [1914]. С. 248—251; и др.

[120] Речь идет о М.В. Соловьеве.

[121] См.: *Соловьев С.М.* Очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу // Отечественные записки. 1848. № 11, 12. *Он же.* Даниил Романович, король Галицкий // Современник. 1847. № 2. *Он же.* Обзор событий русской истории от кончины царя Федора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых // Современник. 1848. № 1—4; и др. Подробнее см.: С.М. Соловьев. Персональный указатель литературы. М., 1984.

[122] К.Д. Кавелин в 1861 г. ушел из Петербургского университета, протестуя против административно-полицейского подавления студенческих волнений, хотя и не был их сторонником. С.М. Соловьев же осудил студенческие выступления (см. подробнее: *Цимбаев Н.И.* Сергей Соловьев. М., 1990. С. 198—208).

[123] «Вечера на хуторе близ Диканьки» вышли в 1831—1832 гг. (СПб. Ч. 1—2); «Арабески» (Ч. 1—2) и «Миргород» (Ч. 1—2) — в 1835 г. (СПб.).

[124] См.: *Основьяненко Г.* Пан Халявский // Отечественные записки. 1839. № 6, 7.

[125] Трехтомное издание «Полной русской хрестоматии» впервые вышло из печати летом 1849 г. (см.: Отечественные записки. 1849. № 9. Отд. 6. С. 24—25). Исходя из этого данную встречу можно приблизительно датировать августом — сентябрем 1849 г.

[126] Последний раз Гоголь приехал из-за рубежа в Москву в октябре 1848 г. Так что упомянутая встреча состоялась не летом, а в конце 1848 г., либо это действительно было лето, но уже следующего, 1849 г.

[127] См.: *Сто-один* [Галахов А.Д.]. Письмо к Гоголю по поводу предисловия ко второму изданию «Мертвых душ» // Отечественные записки. 1847. № 2. «Книга ваша достигла второго издания, — писал Галахов. — Тысячи экземпляров ее разошлись по России. Она известна каждому образованному человеку. Ее прочли с большим удовольствием, как произведение высоко-поэтическое, а таким может назваться только действительное изображение жизни. И что же? Сам автор говорит, что он был оплошен, незрел и поспешен, что в книге его описания неверны, что в его книге множество промахов и ошибок, так что на каждой странице есть что поправить. Чем же, позвольте спросить, восхищалась публика, читая «Мертвые души»? <...> Эту публику, не умевшую понять первого издания «Мертвых душ», автор просит поправить второе, напечатанное без малейших перемен с первого! Он публично говорит нам: «никто из вас не заметил» и тут же прибавляет: «заметьте все!» Воля ваша, это насмешка, одна из выходок юмористики, в которой обида и почтение, смирение и гордость так нераздельны, что не знаешь, где оканчивается одно и где начинается другое» (Отд. 5. С. 79).

[128] Дом обер-прокурора Синода гр. А.П. Толстого на Никитском бульваре (д. 7), в котором умер Гоголь, сохранился.

[129] М.С. Щепкин, уроженец Курской губернии, был русским, но в молодости несколько лет прожил на Украине, играя в театрах Харькова и Полтавы.

[130] Галахов хорошо знал Кетчера, вместе с ним редактировал собрание сочинений В.Г. Белинского (издание К.Т. Солдатенкова) и хлопотал об обеспечении семьи Белинского.

[131] Кетчер окончил Медико-хирургическую академию (московское отделение) в 1828 г.

[132] «Москвич в Гарольдовом плаще» (7-я глава «Евгения Онегина»).

[133] Речь идет об опере К. Вебера «Волшебный стрелок».

[134] Перифраза стихов Н.М. Карамзина из «Послания к А.А. Плещееву»:

Смеяться, право, не грешно,
Над тем, что кажется смешно...

[135] См.: *Гиляров-Платонов Н.П.* Возрождение Общества любителей российской словесности в 1858 г. // Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 г. М., 1891. С. 142.

[136] Завещание Н.Х. Кетчера было исполнено. Все три могилы сохранились (Пятницкое кладбище, участок 22).

[137] Автор рассказа «Последняя депеша» — П.Д. Боборыкин.

[138] В 1841—1850 гг. в Москве вышли 18 пьес Шекспира в переводе Н.Х. Кетчера (в виде отдельных выпусков). Кетчер перевел произведения Гофмана: «Мейстер Фло» (Отечественные записки. 1840. № 12), «Крошка Цахес» (Отечественные записки. 1844. № 6), «Кот Мурр» (Ч. 1—4. М., 1840).

[139] Эта эпиграмма принадлежит не Н.А. Некрасову, а И.С. Тургеневу (первые строки: «Вот еще светило мира, // Кетчер, друг шипучих вин...» (см.: Русская эпиграмма (XVIII — начало XX в.). Л., 1988. С. 380, 636).

[140] Эпиграмма «Бесталанный горемыка и кабачный Аполлон...» была написана Н.Ф. Щербиной не на Ап. Григорьева, а на П.И. Якушкина (см.: *Щербина Н.Ф.* Избранные произведения. Л., 1970. С. 283).

[141] Единственный прижизненный сборник Ап. Григорьева «Стихотворения» (СПб.) вышел тиражом в 50 экз. в феврале 1846 г.

[142] См.: *Шиллер Ф.* Собр. соч. Т. 1. СПб., 1857.

[143] Из многочисленной семьи московского врача Ф.А. Корша получили известность в литературном мире журналисты и переводчики Е.Ф. и В.Ф. Корши; их сестра Любовь Федоровна стала женой профессора Московского университета Н.И. Крылова, а Антонина Федоровна — женой К.Д. Кавелина. Ап. Григорьев сначала был безответно влюблен в Антонину Корш, а затем, в 1847 г., женился на ее младшей сестре Лидии. О семье Коршей см.: *Фет А.А.* Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 156—157; *Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 296—297.

[144] А.А. Григорьев стал домашним учителем кн. Ю.И. Трубецкого в июле 1857 г. и пробыл с ним за границей до осени 1858 г.

[145] См.: *Григорьев А.* Сочинения. Т. 1. СПб., 1876.

[146] «*Время*» — литературно-политический журнал; издавался в 1861—1863 гг. М.М. и Ф.М. Достоевскими. «*Якорь*» — журнал общественной жизни, литературы и искусства; издавался в 1863—1865 гг. Ф.Т. Стелловским под ред. А.А. Григорьева. «*Эпоха*» — продолжение «Времени», литературный и политический журнал, выходивший в 1864—1865 гг. Издатель-редактор М.М. Достоевский (совместно с Ф.М. Достоевским). Все три журнала были органами почвенников.

[147] См.: *Благонравов Э.* [Алмазов Б.Н.]. Сон по случаю одной комедии // Москвитянин. 1851. № 7, 9, 10; *Он же.* Наблюдения Эраста Благонравова над русской литературой и журналистикой // Там же. 1852. № 17; *Григорьев А.* Русская литература в 1851 г. // Там же. 1852. № 4; *Он же.* Русская изящная

литература в 1852 г. // Там же. 1853. № 1; *Он же.* О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене // Там же. 1855. № 3.

[148] крайних пределов (*лат.*).

[149] Хорошо смеется тот, кто смеется последним (*фр.*).

[150] Б.Н. Чичерин вспоминал: «События 1848 г. вызвали сильнейшую реакцию в ничем неповинной России, которая должна была расплачиваться за европейские смуты <...> [В Москву] был прислан [генерал-губернатором] граф Закревский, который должен был укротить вовсе не думавшую бунтовать столицу. <...> Он <...> явился в Москву настоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости грубой, невежественной и ничем не сдержанной власти. Он хотел, чтобы все перед ним трепетало. <...> В особенности либералы были предметом зоркого наблюдения. Закревский всюду видел злоумышленников, шпионство было организовано в обширных размерах. <...> Этот крутой поворот не мог не отразиться и на университете, который, как центр просвещения, сделался главным предметом подозрений» (Русское общество 40—50-х годов XIX в. Ч. II. Воспоминания Б.Н. Чичерина. М., 1991. С. 59—61).

[151] См.: *Нифонтов А.С.* Россия в 1848 году. М., 1949.

[152] О салоне Е.В. Салиас де Турнемир в 1840—1860-х гг. см.: *Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы. Л., 1929. С. !, 366, 368, 372; *Бестужев-Рюмин К.Н.* Воспоминания. СПб., 1900. С. 28—33; *Салиас Е.А.* Семь крестов // Исторический вестник. 1898. № 1. С. 90—92.

[153] Работа П.М. Леонтьева «О поклонении Зевсу в Древней Греции» (М., 1850) была его магистерской, а не докторской диссертацией.

[154] Е.М. Феоктистов вспоминал: «...люди, вращавшиеся в сфере умственных интересов, мечтавшие о лучшей будущности для своего отечества, вовсе не были воодушевляемы тогда патриотическим чувством: явление, по-видимому, в высшей степени странное, безобразное. <...> Конечно, только изверг мог бы радоваться бедствиям России, но Россия была неразрывно связана с императором Николаем, а одна мысль о том, что Николай выйдет из борьбы победителем, приводила в трепет. Торжество его было бы торжеством системы, которая глубоко оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образованных людей и с каждым днем становилась невыносимее; ненависть к Николаю не имела границ» (*Феоктистов Е.М.* За кулисами политики и литературы. Л., 1929. С. 89). О том же писал С.М. Соловьев: «Когда Россия стала терпеть непривычный позор военных неудач, когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении: с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, с другой, мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы» (*Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 333). О самом Галахове К.Н. Бестужев-Рюмин

вспоминал, что тот в 1855 г. пропускал уроки — главный источник своего существования, — «если этою ценою можно было купить возможность услышать весточку о том, где и как нас поколотили» (*Шмурло Е.* Очерк жизни и научной деятельности К.Н. Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1899. С. 58).

[155] Скорее всего, С.М. Соловьев.

[156] *Зуавы* — вид легкой пехоты во французских войсках.

[157] Столетие Московского университета отмечалось в январе 1855 г.

[158] Имеется в виду Николай I, умерший в феврале того же года.

[159] Речь идет об императрице Марии Александровне, жене Александра II.

[160] См.: *Галахов А.Д.* История русской словесности, древней и новой. Т. 1—2. СПб., 1863—1875; *Он же.* Историческая хрестоматия нового периода русской словесности. Т. 1—2. СПб., 1861—1864; *Буслаев Ф.И.* Опыт исторической грамматики русского языка. Ч. 1—2. М., 1858; *Он же.* Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861. Подробнее см. ниже очерк «Мои сношения с Я.И. Ростовцевым».

[161] «Шутка насчет отставки Закревского, ни в какой газете не появлявшаяся, приписывается разным лицам (между прочим, актеру Д.Т. Ленскому — см.: *Шуберт А.И.* Моя жизнь. Л., 1929. С. 118), но вероятнее всего принадлежала знаменитому остроумцу светлейшему князю А.С. Меншикову (см.: *Найденов Ник.* Воспоминания о слышанном и виденном. Т. 1. М., 1903. С. 103)» (Н.О. Лернер). Об отставке Закревского см.: *Экштут С.А.* На службе российскому левиафану. М., 1998. С. 147—168.

[ГЛАВА XI] ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ КУДРЯВЦЕВЕ

Впервые: Русский вестник. 1858. Февраль, кн. 2.

[1] См. примеч. 95 к гл. X.

[2] Мать П.Н. Кудрявцева умерла, когда ему было 8 лет.

[3] *Суровые Катоны* — речь идет о римских государственных деятелях Марке Порции Катоне Старшем (234—149 гг. до н.э.) и его правнуке, тоже Марке Порции Катоне Младшем (95—46 гг. до н.э.). Прославились принципиальностью и республиканскими добродетелями. Имя *Катон* сделалось нарицательным для обозначения человека строгих правил и стойких убеждений.

[4] См. примеч. 25 к гл. VII.

[5] См.: Учебная книга русской словесности, или Избранные места из русских писателей в прозе и стихах, с присовокуплением правил риторики и пиитики <...> изд. Николаем Гречем. 3-е изд. СПб., 1844 // Отечественные записки. 1845. № 4; Замечания об осаде Троицкой лавры, 1608—1610, и описание оной историками XVII, XVIII и XIX столетий. [Д.П. Голохвастова]. М., 1842 // Отечественные записки. 1842. № 11; Несколько слов о новой статье автора «Замечаний об осаде Троицкой лавры» // Там же. 1844. № 9; Ответ на рецензию и

критику «Замечаний об осаде Троицкой лавры» // Там же. 1844. № 10; «Стихотворения» Н.М. Языкова // Там же. 1844. № 11; Гаммы. Стихотворения Я.П. Полонского // Там же. 1844. № 10; А. Фет // Современник. 1850. № 3; Воспоминания об А.Ф. Мерзлякове // Литературная газета. 1845. 22 и 29 марта, 26 апр.

[6] См.: Цветок // Отечественные записки. 1841. № 9; Недоумение // Там же. 1840. № 4; Живая картина // Там же. 1842. № 9; Последний визит // Там же. 1844. № 10; Ошибка // Там же. 1845. № 10; Сбоев // Там же. 1847. № 3; Без рассвета // Там же. 1847. № 2. Повести Кудрявцева печатались под псевдонимом А. Нестроев. Повести «Сбоев» и «Без рассвета» переизданы в кн.: Живые картины. Повести и рассказы писателей «натуральной школы». М., 1988.

[7] Аполлон Григорьев отмечал, в частности, «его необыкновенную способность уловлять слишком тонкие, для других неуловимые черты самых повседневных явлений, придавать высокий драматический интерес самому простому и обыкновенному <...> — жаль одного только, что эта способность у него слишком одностороння, что все его характеры — чада одной и той же мысли» (*А.Г.* [Григорьев А.А.] Обзор журналов за март 1847 года // Московский городской листок. 1847. № 69).

[8] См.: *Майков А.Н.* Две судьбы. СПб., 1845.

[9] Речь идет о Елизавете и Ольге Кудрявцевых.

[10] Имеется в виду Петр Федорович Копосов.

[11] Магистерская диссертация Кудрявцева «Папство и Священная Римская империя в IX, X и начале XI века», написанная в 1842—1844 гг., не была назначена к защите ввиду неодобрительного отношения некоторых профессоров (в частности, С.П. Шевырева), и по возвращении из-за границы Кудрявцев представил новую диссертацию «Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим. Обозрение осттото-лангобардского периода италианской истории» (издание: М., 1850). В декабре 1850 г. диссертация была защищена. Отчет о публичном диспуте на защите см.: Москвитянин. 1851. № 1. С. 58—59.

[12] Одно из писем Галахова к Кудрявцеву хранится в ОР РГБ (М. 5184. 31а).

[13] *Чичероне* — гид.

[14] См.: *Нестроев А.* [Кудрявцев П.Н.]. Бельведер // Отечественные записки. 1846. № 3; *Он же.* Письма из Парижа. Лувр // Там же. 1847. № 4, 5. См. также: *Он же.* Венера Милосская // Пропилеи. Т. 1. М., 1851.

[15] *Дискуры* (от фр. discours) — речи.

[16] См.: Письма из Флоренции // Русский вестник. 1857. № 3—5; О мюратизме в Италии // Там же. 1857. № 10 (Совр. летопись); Что думает и гадает Италия о своем будущем // Там же. 1857. № 18/19; Юность Катерины Медичи // Там же. 1857. № 21/22; Дант, его век и жизнь (ст. 1—3) // Отечественные записки. 1855. № 5, 7; 1856. № 3.

[17] Помимо упомянутого некролога П.Н. Кудрявцева в «Московских ведомостях» за 21 января 1858 г. С.В. Ешевскому принадлежит статья «Кудрявцев как преподаватель» (см.: Русский вестник. 1858. № 12).

[18] *Побыт* — род действий.

[19] тоска по родине (*нем.*).

[ГЛАВА XII] ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

Впервые: Исторический вестник. 1891. № 6; с подзаголовком: «Отрывок из воспоминаний».

[1] Книги имеют свои судьбы (*лат.*).

[2] *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. Т. 8. СПб., 1883.

[3] См.: *Пенинский И.С.* Российская хрестоматия, или Отборные сочинения русских писателей в прозе и стихах. Ч. 1—2. СПб., 1833.

[4] По цензурному уставу в хрестоматиях разрешалась перепечатка отрывков из одного произведения общим объемом лишь немногим более одного печатного листа.

[5] См.: *Гете.* Слово Его Превосходительства г-на управляющего Министерством народного просвещения, президента С.-Петербургской Академии наук Сергия Семеновича Уварова, произнесенное на французском языке в торжественном собрании Академии, 12-го марта 1833. Перевод профессора Давыдова // Ученые записки Императорского Московского университета. Ч. 1. М., 1833. С. 79.

[6] См.: *Шевырев С.П.* Стихотворения М. Лермонтова // Москвитянин. 1841. Ч. 2. Кн. 4. С. 525—540.

[7] См.: *Петр Бульдогов* [Белинский В.Г.]. Педант, литературный тип // Отечественные записки. 1842. № 3. Отд. 8. С. 39—45.

[8] См.: Письма Ю.Ф. Самарина К.С. Аксакову // Русский архив. 1880. Кн. 2. С. 271, 298—302.

[9] В своей статье «Полная русская хрестоматия, или Образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей. Ч. 1—2. М., 1843» (Москвитянин. 1843. № 5, 6) С.П. Шевырев упрекал книгу Галахова во фрагментарности, чрезмерном внимании к форме в ущерб содержанию, сложности материала, не доступного младшим школьникам, в непродуманности структуры и т.п. Но главным образом критик не одобрял пренебрежения составителя к писателям-классикам («Ложная мысль <...> разорвать все связи между новым поколением и нашими славными учителями: Ломоносовым, Державиным и даже Карамзиным»; «дух неуважения ко всем прежним образцам нашим», которым «хотят заразить юные умы будущих поколений»; «последний дух учения классического переродится в дух невежественного журнализма» и т.п.), а также увлечения современными авторами («Вы хотите приковать рус-

ский язык и слог к одной современности»; «какой-то рой стихотворцев и прозаиков-эфемерид, которые в журналах будут рождаться ежегодно, точно так, как и в Хрестоматии» и т.п.). При этом Шевырев не скрывал своей партийной неприязни к «Отечественным запискам». «Русская Хрестоматия, духом мнений своих нарушающая всякую живую связь между поколениями <...> не может принести живой пользы учению», — резюмировал он (№ 5. С. 233—236, 248).

В своем отклике (Ответ г. Шевыреву на разбор его «Полной русской хрестоматии», составленной г. Галаховым // Отечественные записки. 1843. № 7 и № 10) Галахов подробно разобрал все упреки Шевырева и сделал вывод: «Критика г. Шевырева так плоха, что не стоила бы дельного, подробного ответа. Повредить Хрестоматии она не может». «Г. Шевырев показал ясно, что он видит во мне не столько издателя Хрестоматии, сколько сотрудника “Отечественных записок”» (№ 10. С. 69). О полемике по поводу хрестоматии Галахова см.: *Дементьев А.Г.* Очерки по истории русской журналистики 1840—1850 гг. М.; Л., 1951. С. 158—166.

[10] См.: Письма А.П. Елагиной А.Н. Попову // Русский архив. 1886. № 3. С. 343.

[11] Второе издание «Полной русской хрестоматии» Галахова вышло в 1844 г.

[12] См.: *Давыдов И.И.* Чтения о словесности. Т. 1—4. М., 1837—1838.

[13] Речь идет о сочинении Н.М. Карамзина «Историческое похвальное слово Екатерине Второй».

[14] согражданин (*фр.*).

[ГЛАВА XIII] МОИ СНОШЕНИЯ С Я.И. РОСТОВЦЕВЫМ (1850—1858)

Впервые: Русская старина. 1879. № 2.

[1] Речь идет о великом князе Александре Николаевиче, будущем императоре Александре II.

[2] В молодые годы Я.И. Ростовцев входил в Северное общество декабристов, был близок к К.Ф. Рылееву и его окружению: А.А. Бестужеву-Марлинскому, Н.А. Бестужеву, А.И. Одоевскому, В.К. Кюхельбекеру, О.М. Сомову, Н.И. Гречу, Ф.В. Булгарину и др. О литературном творчестве Ростовцева — его лирике и пятиактной трагедии «Персей» (СПб., 1823) — см.: *Переселенков С.А.* Литературная деятельность Я.И. Ростовцева // Педагогический сборник. 1913. № 8. С 1835 по 1855 г. Ростовцев состоял начальником штаба главного управления военных учебных заведений, а с 1855-го до своей смерти в 1860 г. был их главным начальником. Как вспоминал Ф.И. Буслаев, предпринимая свою педагогическую реформу, Ростовцев «не ограничивался фактическими интересами вверенных его ведомству корпусов и училищ, а имел в виду и вообще успехи науки в ее университетском объеме» (*Буслаев Ф.И.* Мои воспоминания. М., 1897. С. 327).

[3] Указанное «Наставление», напечатанное в 1849 г., предписывало учителям выбирать факты и толковать их так, чтобы служить развитию в ученике определенных убеждений и понятий. Между прочим, учитель должен был разоблачать «мишурную добродетель древнего мира и показать величие, непонятое историками римской истории». Т.Н. Грановский составил собственную записку к программе учебника всеобщей истории для военно-учебных заведений (опубликована: Вестник Европы. 1866. № 3), где указывал «на честное и вполне правдивое изложение науки, как на лучшее средство устранить опасность лживых и безнравственных учений или односторонних выводов, как на средство, которое уже само по себе представляет учение добра и нравственности для учащихся» (Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 1. М., 1897. С. 227—231).

[4] И.И. Введенский поместил в «Отечественных записках» переводы романов Диккенса: «Замогильные записки Пиквикского клуба» (1849. № 11—12; 1850. № 1—12) и «Давид Копперфильд» (1851. № 2—10). Известен также как критик; с 1852 г. занимал должность главного начальника-наблюдателя за преподаванием русского языка и словесности в военно-учебных заведениях. Среди учеников Введенского были В.С. Курочкин, Д.С. Минаев, М.И. Семевский и др. Сохранилось несколько писем Галахова к Введенскому, в одном из которых (от 1854 г.) он выражал благодарность за содействие общему делу: «Без вас оно могло бы кончиться иначе. Вы его не только поддержали, но, можно сказать, вынесли на плечах. Без вас не решились бы самые существенные, живые пункты и содержания конспекта, и направления и — что всего важнее — приложения его. Вы дали ход делу, которое, бесспорно, ново, важно и полезно. Будем союзными силами устраивать его крепче: да не погибнет доброе начало» (Цит. по: *Левин Ю.Д.* Иринарх Введенский и его переводческая деятельность // Эпоха реализма. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1982).

[5] С Ф.И. Буслаевым Галахова связывала многолетняя дружба. «Мы с Галаховым, — вспоминал Буслаев, — были усердными сотрудниками Краевского в отделе критики его «Отечественных записок», иногда одну и ту же статью писали вдвоем, искусно прилаживая одну к другой отдельные части, которые каждый из нас измышлял сам по себе, так что я сам с трудом могу отличить теперь, что принадлежит мне и что Галахову» (*Буслаев Ф.И.* Мои воспоминания. М., 1897. С. 327—328).

[6] «В этом деле, — писал Ф.И. Буслаев, — принимал участие и я, сколько мог, по своей специальности, именно: по грамматике, стилистике и по древнерусской и народной словесности <...> Всякий раз, как Ростовцев приезжал в Москву, непременно вызывал нас обоих к себе, и тогда мы должны были сообщать ему, что каждый из нас успевал сделать в предпринятых нами по его заказу работах» (*Буслаев Ф.И.* Мои воспоминания. М., 1897. С. 328).

[7] В бумагах И.И. Введенского сохранились: «Мнения о программах русского языка, составленных г. Галаховым»; «Отчет о совещаниях по предмету русского языка и словесности, происходивших в Москве между профессором Буслае-

вым, коллежским советником Галаховым и главным наблюдателем за преподаванием русского языка и словесности над[ворным] сов[етником] Введенским» и другие материалы на ту же тему (*Левин Ю.Д.* Указ. соч. С. 79).

[8] О некоторых подробностях борьбы за новую программу Галахов рассказывал в письмах к известному воронежскому педагогу М.Ф. Де Пуле (см.: Sertum bibliologicum в честь... А.И. Малеина. Пг., 1922. С. 216–218).

[9] «Об этих словах Пушкина Галахов знал, вероятно, от А.А. Краевского, который в 1837 г. в письме кн. В.Ф. Одоевскому вспомнил «завет Пушкина», что «приязнь и дружбу создал Бог, а литературу и критику мы сами выдумали» (Русская старина. 1904. № 6. С. 570)» (Н.О. Лернер).

[10] В статье о «Русской грамматике» А.Х. Востокова (Телескоп. 1836. № 13, 14), сравнивая грамматику Востокова с «однородными сочинениями, прежде вышедшими», Галахов обратил внимание на ряд расхождений в грамматических правилах у Востокова и Греча. В письме к Ф.А. Кони от 10 сентября 1836 г. Галахов интересовался мнением Греча об этом разборе. «В моей статье я указывал, что совсем не нужно учиться русскому языку по грамматике <...> Она не должна ему нравиться, ибо Греч сочинил несколько грамматик, которые приносят ему значительный доход» (ИРЛИ. Ф. 134. Цит. по выписке Н.О. Лернера).

[11] См.: [Рецензия на кн.:] Учебная книга русской словесности, или Избранные места из русских писателей в прозе и стихах, с присовокуплением правил риторики и пиитики, и обозрение истории русской литературы, изд. Николаем Гречем. Изд. 3. СПб., 1844 // Отечественные записки. 1845. № 4 (ст. 1; автор – П.Н. Кудрявцев), № 5 (ст. 2; автор – А.Д. Галахов).

[12] В статье Н.И. Греча, в частности, указывалось на труды французских филологов как на образец в изложении правил языка. Греч писал, что примеры в грамматике должны предшествовать определению, «примеры сии должны состоять из речей обыкновенных, часто встречающихся, а не из фраз и периодов какого-либо витиеватого писателя», тем более что многие литературные произведения (в частности, басни Крылова) не отличаются грамматической правильностью. «Не следует брать в пример стихотворения: в них слишком часто нарушаются правила языка» (*Греч Н.И.* Заметки о преподавании русского языка и словесности // Морской сборник. 1856. № 7. С. 198, 199).

[13] См.: *Греч Н.И.* Рассмотрение книги «Опыт общесравнительной грамматики русского языка, изданной Вторым отделением им. Академии наук. Изд. 3. СПб., 1854–1856» // Северная пчела. 1864. № 1.

[14] Источник цитаты установить не удалось.

[15] К. Полевой обвинял Галахова в невежестве, самонадеянности, противоречиях, отстаивал мысль Греча об узком круге литературных образцов, способных служить примерами чистоты языка («некоторые, даже из лучших наших писателей, не могут быть образцами правильности и чистоты языка, как, например, Марлинский, Гоголь»). Образцовыми, вслед за Гречем, Полевой считал тексты Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина. Основной упор

в полемике с Галаховым Полевой сделал на вопрос об использовании простонародного языка в качестве источника грамматических правил: «г. Галахов худо понимает значение и границы грамматики, когда хочет учиться ей из говора простонародья. Пусть только определит он: где этот выхваляемый им так высокопарно народный язык, то есть в каком краю, в какой области России? <...> Не только целые области русские говорят с различными изменениями в языке, но почти в каждом округе, в каждой деревне встречаются слова и выражения, которых не услышите более нигде. К тому же народ безотчетно коверкает слова и звуки. <...> [Галахов] с языком смешивает дух, гений народный, который выражается не в одном языке, но и во всех действиях, во всех памятниках народа, и даже в предметах, окружающих его. Он не понимает, что этого нельзя перенести в грамматику». «Образованный русский понимает Русь и знает дух языка русского хуже какого-нибудь базарного разносчика?.. Не верю! <...> Я русский не хуже ни одного из моих соотечественников: ни покойного Пушкина, ни русского мужика, который не умеет сказать трех слов без ошибки. А между тем я не признаю простонародного говора моим языком». «Грамматика должна выучить нас правильно писать, а пишут языком книжным». И наконец, Галахов «не понимает различия между разговорным и письменным языком, кажется, и не подозревает различия между прозаическою и стихотворною речью» (Споры о грамматике и языке. СПб., 1857. С. 9, 11—13).

[16] См.: *К.П.* [Полевой К.А.]. Споры о грамматике и языке. СПб., 1857. С. 75—76.

[17] Автором этой эпиграммы был С.А. Соболевский. В более распространенном варианте:

Нет подлее до Алтая
Полевого Николая,
И глупее нет от Понта
Полевого Ксенофонта.

(Русская эпиграмма (XVIII — начало XX в.). Л., 1988. С. 307).

[18] В стихотворении «Откровение музы» говорилось:

Хотя же строгая судьба отъемлет
От уст твоих витийства дар,
Создав тебя косноязычным,
Но чувств сердечный жар

Тем с большей силою да воскресает
В размере сладостных стихов:
Язык тебе не даден смертных,
Но дан язык богов!

(Востоков А.Х. Стихотворения. Л., 1936. С. 167—168).

О значении Востокова в области русской версификации Галахов писал в своей «Исторической хрестоматии нового периода русской словесности» (Т. 2. СПб., 1864. С. 183—184).

[19] Некоторые подробности об этом диспуте см.: *Буслаев Ф.И.* Мои воспоминания. М., 1897. С. 328—329.

[20] В анонимно напечатанном некрологе Н.И. Греча (Журнал министерства народного просвещения. 1867. № 2), между прочим, говорилось: «Грамматика Греча принадлежит к тому роду руководств для изучения родного языка, которые брали себе за образец филологическую грамматику языков древних, почему все существенные отличия последней перешли и на труд нашего филолога. Она ограничивается только правилами, а не излагает законов языка. Правила эти извлекаются ею только из образцовых писателей, преимущественно современных, или ближайших к современности, а не из всех областей речи — старинной, простонародной, разговорной образованного общества. В случае разногласия форм или оборотов у образцовых авторов она, за решением спорного вопроса, обращается не к истории языка или к помощи сравнительного языкознания, а к требованиям здравого смысла, к логическим соображениям. Единственная цель ее состоит в практическом применении, то есть она должна, как гласит ее определение, научить правильному употреблению языка на письме и в разговоре». «Достоинства же ее заключаются в лучшей, сравнительно с прежде изданными грамматиками, системе спряжений, в отчетливом изложении словопроизведения, в обильных и весьма полезных заметках касательно правописания и строения речи, наконец, в ясности и простоте научного изложения». «Греч имел право учить других русскому языку, потому что сам изучил его основательно и владел им, как знаток». «Как часто сердились на Греча за то, что он почитал себя стражем русского языка, блюстителем его чистоты и благоустройства! Однако ж, забыв все журнальные перепалки, нельзя не сознаться, что его мнение о себе самом было в этом отношении справедливо, что он имел право так думать о себе, а право — не одно и то же с самозванным притязанием» (С. 243—245).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ЗАПИСОК ЧЕЛОВЕКА

Впервые: Отечественные записки. 1847. № 12; 1848. № 3 с подписью «Стоодин».

[1] Я римлянин (*лат.*).

[2] «Блажен, кто молча был поэт» (А.С. Пушкин. «Разговор книгопродавца с поэтом»).

[3] Имеется в виду рыбинский священник-проповедник Родион Путятин, печатные издания проповедей которого Галахов несколько раз рецензировал.

В качестве достоинств проповедей Путятина Галахов называл «краткость <...>, простоту выражения и сердечность <...>, т.е. присутствие теплого чувства, увлекающего слушателей своею искренностью» (Отечественные записки. 1847. № 3. Отд. 6. С. 25–26).

[4] Галахов Григорий Сергеевич, отставной поручик.

[5] *Богаделенки* — обитательницы богадельни.

[6] То есть любовью Простаковой из «Недоросля» Д.И. Фонвизина.

[7] «довод палкой» (*лат.*), то есть убеждение насилием.

[8] «В древности славилась картина великого греческого живописца Зевксиса (V–IV вв. до н.э.), изображавшая Елену и находившаяся в храме Геры — Лакинии близ Кротона (Южная Италия). По преданию, для этой картины позировали самые красивые кротонские девушки, и художник соединил их совершенства в одном образе Елены» (Н.О. Лернер).

[9] То есть гипотеза.

[10] Речь идет о книге «Брань духовная». См. подробнее примеч. 40 к гл. III настоящего издания.

[11] Обстоятельный библиографический обзор источников истории русского мистицизма эпохи Александра I см.: История русской литературы XIX в. / Под ред. Д.Н. Овсянико-Куликовского. Т. 2. М., 1909. С. 401–402. См. также: *Булич Н.И.* Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в. Т. 1. СПб., 1902. С. 303–377; *Котович А.* Духовная цензура в России. СПб., 1909. Сам Галахов напечатал в «Журнале министерства народного просвещения» (1875. № 11. С. 87–175) «Обзор мистической литературы в царствование Александра I».

[12] См.: *Эккартсгаузен К.* Ключ к таинствам натуры / Пер. с нем. У.М. [А.Ф. Лабзин]. Ч. 1–4. СПб., 1807; 2-е изд. СПб., 1820–1821. *Он же.* Важнейшие иероглифы для человеческого сердца / Пер. с нем. У.М. [А.Ф. Лабзин]. Ч. 1–2. СПб., 1803; 2-е изд. М., 1816; *Он же.* Кодекс, или Законоположение человеческого разума / Пер. с нем. Ив. Шамшин. СПб., 1817; *Он же.* Облако над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая Философия и грезить не смеет / Пер. с нем. У.М. [А.Ф. Лабзин]. СПб., 1804; *Юнг-Штиллинг Г.* Угроз Световостоков. Ч. 1–8. СПб., 1806–1815; 2-е изд. СПб., 1815 (вышло три части); *Он же.* Приключения по смерти Ч. 1–3. СПб., 1805; *Гион М.-Ж.* Кратчайший и легчайший способ молиться, коим каждый легко может приобрести внутреннюю, сердечную молитву и достигнуть через то высокого совершенства <...>. СПб., 1821; 2-е изд. СПб., 1822; *Она же.* Избранные сочинения г-жи де-ла-Мот Гион, или Изъяснения и размышления на Апокалипсис святого Иоанна Богослова, руководствующие к внутренней жизни. М., 1821. Обе последние книги были в 1825 г. запрещены (см.: О запрещенных книгах в 1825 г. // Щукинский сборник. Вып. 2. М., 1903. С. 280–281).

[13] См.: *Дю-Туа.* Божественная философия в отношении к непреложным истинам, открытым в тройственном зерцале: вселенной, человека и священного писания. Ч. 1—6. М., 1818—1819. Книга была запрещена в середине 1820-х гг. (см.: Щукинский сборник. Вып. 2. М., 1903. С. 280—281).

[14] *Театинский орден* — католический монашеский орден (иначе — квиетинцы), проповедовавший апостольскую простоту жизни и отказ от всякой собственности.

[15] «Битва» (*фр.*); подробнее см. примеч. 40 к гл. III.

[16] Помни о смерти (*лат.*).

[17] *Картезианцы* — католический монашеский орден, отличавшийся строгим уставом, неукоснительным соблюдением постов, молчания и т.п. Череп, как напоминание о смерти, символизирует отшельническую жизнь и бренность мира.

[18] Работы Якоба Бёме (Бема) были популярны в России XVIII – начала XIX в., особенно в масонской среде. Наиболее известна была его «Christosophia, или Путь ко Христу» (СПб., 1817).

[19] Матф. 19.12.

[20] Стихотворение И.П. Клюшникова (подражание стихотворению А.С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный») напечатано в «Отечественных записках» (1840. № 10. С. 230) под псевдонимом -Θ-. Под подлинной фамилией автора помещено в «Полной русской хрестоматии» Галахова.

[21] Имеется в виду Рязань.

[22] То есть на службу.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

*В указатель не внесены лица, упомянутые только в тексте предисловия и комментариев, а также мифологические персонажи.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 1996-1999 гг. вышли:

Серия **«Россия в мемуарах»**

Н.И. Свешников. **ВОСПОМИНАНИЯ ПРОПАЩЕГО ЧЕЛОВЕКА**

Автор, бродячий торговец книгами второй половины 19 в., много видевший и испытавший, рассказывает о своей своеобразной и богатой впечатлениями жизни: общение с уголовным миром (ночлежки, притоны, трактиры, тюрьмы), знакомства с известными литераторами (Н.С. Лесков, Г.И. Успенский, А.П. Чехов) и т.д. Впервые напечатанные в 1896 г. воспоминания Свешникова были переизданы в 1930 г. и давно уже стали библиографической редкостью. В предлагаемое переиздание включены также опубликованные и неопубликованные воспоминания о народной книжности (рыночные букинисты, уличные разносчики).

«ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БЛАГОРОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ»

Объединенные под одной обложкой воспоминания А.Е. Лабзиной, В.Н. Головиной и Е.А. Сабанеевой охватывают один из самых ярких периодов русской истории от начала царствования Екатерины II до восстания декабристов — время небывалых событий и характеров, блеска и изящества, пышных дворцов, роскошных парков, прекрасных дам и мужественных кавалеров. Перед читателем проходят бытовые картины придворной и провинциальной жизни: Петербург и Париж, Нерчинск и поместье в Калужской губернии. Среди действующих лиц: Екатерина II, Павел I и Александр I; придворные и простые провинциальные жители. На первом плане — личная жизнь: любовь и измены; истовая религиозность и разврат — все с точки зрения русской женщины конца 18— начала 19 в.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 1996-99 гг. вышли:

Серия **«Россия в мемуарах»**

М.А. Дмитриев. **ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ**

Впервые публикуемая книга не уступает по своим литературным и познавательным достоинствам лучшим образцам русской мемуарной прозы. Пытливый и цепкий взор автора запечатлевает усадьбу сибирского помещика и московский благородный пансион при университете, а затем и сам университет 1810-х гг., московский театр 1820-х гг., суд и уголовные процессы того времени, литературную жизнь 1820-1840-х гг.

Н.А. Варенцов. **СЛЫШАННОЕ. ВИДЕННОЕ. ПЕРЕДУМАННОЕ. ПЕРЕЖИТОЕ**

Воспоминания видного московского предпринимателя и общественного деятеля Н.А. Варенцова (1862—1947) охватывают период с середины XIX в. по 1905 г., в них описывается история становления и развития крупнейших московских фирм, банков, торговых домов, даны яркие характеристики их владельцев; книга содержит также бытовые зарисовки купеческой жизни Москвы и изложение драматических и анекдотических событий из жизни московских предпринимателей.

В.Н. Харузина. **ПРОШЛОЕ. ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСКИХ И ОТРОЧЕСКИХ ЛЕТ**

В.Н. Харузина (1866—1931), первая русская женщина, получившая звание профессора этнографии, демонстрирует в своих впервые публикуемых мемуарах не только профессиональную наблюдательность и незаурядную память, но и блестящие литературные способности, которые позволили ей создать выразительную картину быта и нравов московского купечества второй половины XIX века.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В серии **«Россия в мемуарах»** готовятся:

Иванов-Разумник. ПИСАТЕЛЬСКИЕ СУДЬБЫ. ТЮРЬМЫ И ССЫЛКИ

ЕВРЕИ В РОССИИ (сборник)

Ф.Ф. Фидлер. ДНЕВНИК

П.П. Перцов. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Я.В. Глинка. ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

В.И. Гурко. ЧЕРТЫ И СИЛУЭТЫ ПРОШЛОГО

Ф.В. Булгарин. ВОСПОМИНАНИЯ

Галахов Алексей Дмитриевич

ЗАПИСКИ ЧЕЛОВЕКА

Редактор
М.К. Евсеева

Корректор
Л.Н. Морозова

Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

ООО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6 мая 1997 г.
Формат 60×90/16
Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 29. Заказ № 892

Отпечатано с оригинал-макета в Московской типографии «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6


ISBN 5-86793-022-X
9 785867 930226

россия в мемуарах

